Владимир Петров

ЕДИНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ




В
И



ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

ЕДИНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

РОМАН



Ордена
Трудового
Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
СССР
МОСКВА—1981

Р2
П30

Петров В. Н.

П30 Единая параллель: Роман.— М.: Воениздат, 1981. — 440 с.

В пер.: 1 р. 80 к.

В остросюжетном многоплановом романе охватываются события с 30-х годов до 1943 года. В героических трудовых буднях предвоенной таежной стройки формируются высокие нравственные качества героев книги, их психологическая готовность к схватке с германским фашизмом. События войны показаны автором в драматических переплетениях человеческих судеб, в жестоких боях, в которых рождается солдат-победитель.

Владимир Петров — лауреат премии имени А. Фадеева.

П $\frac{70302\text{-}078}{068(02)\text{-}81}$ 125.81.4702010200.

ББК84Р7
Р2



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДШЕСТВИЕ



«Слышатся бури раскаты...»
Старая сибирская песня

1

То, что в России называют бабьим летом, здесь именовалось «альтвайберзоммер». Звучало по-немецки красиво, но плоско и пресно. Терялся какой-то очень существенный оттенок, да и смысл менялся: «старушечье лето»...

Осенний Тиргартен жил бархатными полутонами увядающей зелени, пестрым сумраком дальних аллей, последним приглушенным говором птиц, почуявших близкие холода. Через пруд, сплошь усыпанный листьями, тянулись за парой лебедей ровные полосы, словно колея проселка, проложенная по целине. Белые лебеди, черная вода — извечный контраст...

Где-то неподалеку, из каменного колодца соседнего двора, рвалась на волю бравурная песня, хлесткая, полная бесшабашного задора, вплетенная в такт кованых башмаков. Десятки молодых голосов дерзко горланили «Хорст Весселя» — марш-молитву штурмовиков.

Инженер Шилов осторожно, искоса приглядывался к своему спутнику, с которым его на днях познакомили на одном из деловых бирабендов.

— Я кое-что слыхал об этом студенте Весселе...— вкрадчиво, по-немецки сказал он.— Газеты писали о судебном процессе в связи с его убийством. По-моему, дело было скандальным. Сутенеры, проститутки и все такое прочее...

— Чепуха! Домыслы красной пропаганды! — резко произнес собеседник Шилова рослый Хельмут Бергер.— Хорст Вессель — наш национальный герой. Такова правда.

— Прошу извинить, но я вовсе не оспариваю.— Шилов вежливо притронулся к полям модной шляпы.— Тем более что я читал об этом процессе несколько лет назад. Да к тому же в московских газетах.

Хельмут Бергер приостановился, холодно усмехнулся:

— Вы все там, в большевистской России, смотрите на Европу через щель, через замочную скважину. А между тем истина выглядит иначе. Германию продувает свежий ветер, она переживает возрождение. И как знать,

насколько притягательным в ближайшие годы окажется ее путь для других стран. Оригинальный путь!

— Возможно...— Шилов поежился, слегка приподнял воротник.— Но все-таки многое пока непонятно... Например, эта кровавая резня в ночь на 30 июня. Рем, Гейнес, Эрнст — это же столпы штурмового движения! А их всех за одну ночь — к ногтю...

— И не поймете! — Бергер откровенно насмешливо посмотрел на инженера.— Потому что плохо знаете историю. А она учит, что сильная личность не терпит рядом себе подобных. Сильная личность, как правило, окружена посредственностями. Это ее фон и ее реальная сила. Безропотно повинующаяся.

— Допустим...— опять зябко поежился Шилов. Помолчал, вглядываясь в темную воду.— А как насчет оригинальности, о которой вы говорили? Вот взять ваши так называемые атрибуты нацизма. Ведь в них многое отовсюду: от догм древних огнепоклонников до статуса римских легионов. Кстати, «свастика» по-древнеирански «основа добра». И вообще, у Заратустры лейтмотив учения — добро. А тут, мне кажется, все поставлено наоборот. Ну это согласно Фридриху Ницше.

— Вздор! — спокойно отпарировал немец.— Еще никто и никогда не установил критерии добра и зла. Человечество будет спорить об этом до самого конца своей истории.

Оба они — русский Шилов и немец Бергер — прекрасно понимали, что легкая деликатная дискуссия — своего рода прелюдия, разминка перед серьезным и важным разговором. К тому же Хельмут Бергер умышленно не пытался обострять беседу: показная ершистость русского инженера легко объяснима психологически. Жалкая престижная уловка человека, уже вошедшего под кодовым номером в агентурную картотеку имперского управления безопасности...

Тоскливо закричали лебеди, захлопали крыльями. Разбрызгивая воду, пытались разбежаться, пытались взлететь, но в конце пруда снова упали в пестрое месиво мокрых листьев и тягучей ряски.

— На подрезанных не улетишь...— вздохнул Шилов, в раздумье хрустнул пальцами.— А я вот улетаю на родину... Все-таки, скажу вам откровенно, господин Бергер, ностальгия — единственное великое и вечное... За год работы здесь я истосковался по родине, буквально извелся

душой. Конечно, я люблю Германию, но Россия для меня нечто неизмеримо большее...

— Именно поэтому мы ценим вас,— солидно сказал Бергер,— как патриота.— А сам подумал: «Черт возьми, как все они неоригинальны, эти платные «зафрахтованные патриоты!» Сколько раз ему уже приходилось выслушивать банальные стереотипные фразы о ностальгии, о подрезанных крыльях! А в конечном счете все заканчивалось примитивной торговлей, базарным спором за лишнюю сотню марок. Конечно, Шилов — фигура покрупнее прочих. На него и ставка особенная, уже не говоря о том, что заполучить его оказалось делом долгим, запутанным и трудным. В ход были пущены самые изощренные средства и многоступенчатые связи.— Скажите, Шилов, вы в самом деле близко знали Троцкого?

— Да, имел честь...— Инженер нервно улыбнулся, полез в карман за портсигаром.— В годы гражданской войны состоял в кавэскадроне его личной охраны. Ну и позднее общался... Приезжал к нему в Алма-Ату, куда он был выслан в 1928 году. Могу сказать, что я и сейчас предан ему.

— Мы это знаем,— заметил Бергер, тоже закуривая папиросу,— но не одобряем. Надеюсь, вы понимаете, что для вас в этом кроется дополнительная опасность. Я имею в виду сегодняшнюю ситуацию в Советской России.

— Но именно поэтому я пошел на контакт с вами! — упрямо возразил Шилов.— Именно поэтому! И вы должны знать, господин Бергер, что я и мои единомышленники исповедуем и сейчас доктрину политической вибрации. Мы полны решимости...

— Довольно, довольно! — с прежней улыбкой, но уже с явным раздражением в голосе перебил Бергер.— Я тоже читал последний «Бюллетень» Троцкого, где он пишет, что политическая вибрация отрицает стабильность. Ее суть: расшатать режим, посеять хаос, неразбериху, недоверие, панику... И так далее. Но советую запомнить: это нас, а значит, и вас, не устраивает. Повторяю: не устраивает! Нам ближе и интересней другая часть последних указаний вашего Троцкого: наносить чувствительные удары в наиболее чувствительных местах. Вот тут нам с вами явно по пути. Вы понимаете меня?

Резкий и властный тон не просто охладил Шилова. Инженер сразу скис, нахохлился, молча покусывал мундштук потухшей папиросы. Он, конечно, понимал: речь

шла о диверсиях в широком масштабе. Может быть, его беспокоила совесть: ведь как-никак, а он, бывший командир Красной Армии, крупный советский инженер-администратор, переступал сейчас очень важную черту, окончательно сжигая за собой мосты. Правда, он еще пытался украсить жесткую реальность разного рода «идеологическими цветочками», оправдать себя в своих собственных глазах, но все это было делом пустым, бесполезным.

Бергер понимал, что именно сейчас происходит перелом в разговоре. Надо наращивать нажим, не допуская, чтобы «патриот Шилов» юлил и вилял по сторонам. Пусть занимается самооправданием в другое время и в другом месте, тем более что условия для этого у него еще будут самые благоприятные.

— Мне известно, господин Шилов, что руководство Троцкого планирует для вас долговременную консервацию. И что есть несколько вариантов. Прошу рассказать о них. И предупреждаю: пожалуйста, без эмоциональных отклонений. У нас мало времени.

— Варианты есть... Из них один наиболее вероятный.

— Ну-ну. Слушаю.

— Алтай,— сказал Шилов, чувствуя нарастающую злость. Он знал, что предстоит нелицеприятная беседа, но подобного высокомерного обращения не ожидал. Его корежил немигающий фельдфебельский взгляд немца.— Ну словом, это очень далеко. Южная Сибирь. Вряд ли вы представляете себе, где эта глухомань...

— Ошибаетесь! — скупо улыбнулся Бергер, опять чуть пренебрежительно скривив губы.— Прииртышская зона, богатейший рудный регион: свинец, цинк, золото, серебро. Бывшая концессия английского миллионера Лесли Уркварта. Это вы имеете в виду?

— Совершенно точно...

— Ну что ж, в таком случае весьма любопытно. Продолжайте.

Шилов выдержал паузу, снова щелкнул портсигаром. Продолжил уже спокойно, без прежней озлобленности — в конце концов, он уважал деловых людей.

— Собственно, речь идет не о рудниках и даже не о строящемся полиметаллическом комбинате. Их это прямо не касается...— Шилов помолчал, раздумывая. Прикинул: надо ли давать общую картину или сразу изложить главную цель? Пожалуй, следовало говорить немцу то, чем он интересуется и что ждет в первую очередь.— Я имею в

виду энергетическую базу, а точнее, строительство высоко в горах плотины для снабжения водой головной гидроэлектростанции рудников.

— Так, так...— живо прищурился Бергер.— И что же из этого следует?

— Как что? Плотина и есть то самое «наиболее чувствительное место». Ко всему прочему — колоссальный морально-политический эффект. Миллионы кубометров воды, ревущий вал ринется в долины, сметая на пути десятки населенных пунктов. Вы представляете эту картину?

Бергер позволил себе широко улыбнуться. Шагнул к инженеру, взял за пуговицу пальто, приятельски подмигнул:

— У вас, господин Шилов, я чувствую, отличные французские папиросы? Где вы их достаете, черт побери? Угостите и меня.

Шилов с готовностью открыл портсигар:

— Битте! Французский ширпотреб — привычная привилегия всех сотрудников нашей торгово-промышленной фирмы. Даже привычная мелочь. Я могу вам презентовать несколько пачек этих папирос.

— Спасибо, не надо беспокоиться! Тем более вы завтра уезжаете в Россию. А французский ширпотреб, я полагаю, скоро будет доступен и нам, чиновникам бюрократического аппарата.

Смакуя папиросу, Хельмут Бергер прошелся по аллее, усыпанной мелким гравием чистейшего кирпичного цвета. Счел нужным объяснить Шилову, что у них под ногами вовсе не битый кирпич, как это может показаться. Здесь настоящий речной гравий из горной речки южной Тюрингии, текущей по каменному ложу красного гранита. Его ежегодно завозят сюда еще со времен Бранденбургского курфюршества. Ничего не поделаешь: немцы страшно педантичны в отношении раз и навсегда установленного интерьера.

— Да, заманчивая картина...— мечтательно протянул Бергер.— Нет, не эта аллея, я имею в виду ту далекую горную плотину. Но скажите, Шилов, а при чем тут вы?

— Как при чем? Все очень просто: через полгода решением наркомата я буду назначен туда начальником строительства. Предварительные шаги уже сделаны. Все остальное решается на месте. Ну конечно, потребуется

некоторое время для подготовки финала. Того самого — эффектного.

— Да, но в таком случае мы рискуем потерять вас?

— Не думаю. Впрочем, игра стоит свеч.

— Надо взвесить... Кроме того, вам, пожалуй, следует сегодня вечером встретиться с одним человеком. Крупным специалистом этого профиля.

Небо темнело, хмурилось. С севера, с промозглой Балтики, наползали рваные, трепанные ветром тучи. По жухлой траве застучали первые дождинки.

— Кажется, мы исчерпали время,— сказал Бергер.— Пора нам уходить.

Немец шагал размашисто и крупно, по-солдатски твердо ставя ступню. Молчал, погруженный в какие-то свои, очевидно очередные, заботы. На Шилова он, казалось, уже не обращал внимания, и тот еле поспевал сзади, дивясь и негодуя,— теперь ему демонстративно отводилась роль малоинтересного, второстепенного партнера. («Чтоб они все подавились своей спесью, эти кичливые штурмовики!»)

Неподалеку от входных ворот Бергер, что-то вспомнив, вдруг резко остановился. Вперил в инженера немигающий стеклянный взгляд:

— Да, кстати! А эта плотина, эта стройка как называется?

— Черемша.

— Черемша... Слышится что-то татарское.

— Возможно. Впрочем, в нас, русских, немало татарского. А «черемша» — это таежный лук. Имеет пикантный вкус и способствует долголетию.

— Даже так? Ну что ж, желаю вам отведать этой черемши. Благополучно и с пользой.

Хельмут Бергер опять одарил улыбкой. Только на этот раз она показалась Шилову явно двусмысленной.

2

Худой, горемычный год сошел на Авдотьину пустынь — кержацкий монастырь-скит, затерянный в таежных чащах, в недоступных отрогах Ерофеевского белка. Под великий пост околели две лучшие нетели, а в мае, в пору первого черемухового медосбора, медведь разорил пасеку, а на троицу, в духов день, утонули в Раскатихе три молодые монашки-белицы: Устинья, Меланья и Уль-

яна-хромуша. Мать-игуменья посылала инокинь на праздничные моления в Стрижную яму, а вышло вон как: угодили девки в царствие небесное...

«Божья милость, бог прибрал»,— сказала мать Авдотья, и хотя бурная, бешено-грязная Раскатиха, вспоенная талыми снегами в верховьях, не вернула даже тела — унесла их в бурунах вместе с перевернутой лодкой-долбленкой, на махоньком сиром монастырском погосте нарыли три холмика, увенчанные кедровыми крестами. Кресты тесала, обстругивала рубанком сама мать-игуменья, завсегда делавшая в ските все плотницкие работы.

Как и положено по-кержацки, отпевания не делали — сотворили молебствие краткое «за упокой душ безгрешных, невест христовых: Устиньи, Меланьи да Ульяны». Со слезами искренними, с возрыданиями — старицы от сердца жалели безропотных работящих инокинь, на которых держался сенокос, да и скотный двор тоже. Все при этом косились на стоявшую в моленной Фроську-келейницу — она одна уцелела третьеводни из всей четверки «божьих посланниц», выплыла, выбралась на берег верстой ниже переправы — в синяках, избитая о камни. В диковатых Фроськиных глазах ни слезинки: смотрит по стенам, разглядывая березовые вязки-веники, единственное украшение божьего храма. Дерзостная, злоязыкая девка, да, видать, везучая, удачливой судьбой помеченная.

Неделю заладили дожди — холодные, беспросветные, лишь по полдням перемежаемые нудной моросью да волглыми утренними туманами, которые серой куделью скатывались с окрестных заледенелых хребтин. Бабки-старицы невылазно сидели по избам, пели псалмы, штопали изношенную лопатину, судачили о скором судном дне — преподобная Секлетинья, возлежащая в уготовленной своей домовине, уже дважды слыхала голос архангельских труб. Мать-игуменья с Фроськой отбивали в сарае литовки — прошел Никола летний, пора уж подкашивать для коров.

Ввечеру у черных избяных срубов, под поветями, затолклись комары — к перемене погоды, к теплу и вёдру. Серебряный колокол, которым звонарица Агашка звала к вечерне, пел раскатисто и чисто, будто откашлявшись от недельной сырой слизи. Пудовый колокол, привезенный в кержацкое Синегорье еще первыми страстотерпцами, был единственной ценностью Авдотьиной пустыни: в лихие времена, почуяв опасность, монахини не раз сни-

мали и прятали его в укромное место, старательно укутав в холщовое рядно.

Колокол был «гласом и зовом божьим», утехой и радостью стариц: услыхав на дальних покосах, в малинниках или на овсяном клину стеклянно-хрупкий перезвон, они истово двуперстно крестились, сразу светлели морщинистыми лицами. Да и то мастерица Агашка: истинно оживала холодная твердь под ее женской ласковой рукой — колокол пел на разные голоса: от густого перегуда до малинового перезвона, бывая временами торжественным и бодрым, тревожным и грустным.

С ветхой замшелой колоколенки Агашка первой и увидела незваного гостя: далеко внизу по единственной таежной тропе с Рябинового волока спускался всадник к берегу Раскатихи. Агашка мигом бросила колокольный повод, перегнулась через перила:

— Гостя бог послал, матушка!

Игуменья вышла на крыльцо, пригляделась из-под ладони, вполголоса молвила недовольно:

— Кабы бог — то-то и оно. Дура непутевая...

Монахини, что недавно копались в огороде и в дровнике, теперь столпились на яру у рубленой стены моленной, оживленно шушукались, крестились, гадали: рискнет ли странник перебираться через дурную Раскатиху в этакое многоводье? А когда тот смело направил коня через пенные валы и переплыл реку, тотчас разбежались по избяным кельям: видать, несет в обитель антихристова посланника...

Вскоре, преодолев небольшой подъем в прибрежном осиннике, всадник въехал в монастырское подворье. Домотканые занавески на окнах мигом задернулись: приезжий был голец-бритоусник, да еще в форменной фуражке (эту-то фуражку и приметила с первого взгляда глазастая мать Авдотья). Она по-прежнему стояла на крыльце и не двинулась с места, лишь ниже, на самые брови, сдвинула туго повязанный черный платок.

— Здравствуйте, бабушка! — Всадник спрыгнул на землю, ослабил подпругу и, достав из переметных сум тряпку, стал вытирать мокрый круп коня.— Ну и забрались же вы! Как говорится, в самую тараканью щель. Чуть было не заблудился: хорошо, колокол услыхал. Звонкий он у вас, голосистый. Серебряный?

— То богу ведомо,— сухо сказала игуменья.— Ты почто к нам? Проездом али по делу какому?

Приезжий обернулся, тычком сбил на затылок фуражку, крепко расставил — будто воткнул ноги в мощеное подворье. Был он молод, росл, немного скуласт — похоже, пожалуй, здешней породы. И нахален, судя по озорному взгляду. Ну а смелость свою да ловкость он только что выказал, переплыв Раскатиху.

— По делу, бабушка. По важному делу. Приехал, стало быть, в командировку. С вами лично встретиться, с народом поговорить. Кто я таков? Я есть председатель Черемшанского сельсовета Вахромеев Николай Фомич. Представляю в данном разе советскую власть.

— Единая власть от бога. Все остальное — от антихриста,— строго перекрестилась игуменья.

Председатель рассмеялся, достал из кармана деревянный портсигар, однако, встретив негодующий взгляд старухи, крякнул и сунул его обратно.

— Чепуха и вредные заблуждения! Религиозный дурман, уважаемая бабушка. Но спорить с вами не собираюсь, хотя вы и есть классово чуждый элемент. Вы лучше пригласите меня в помещение, и мы побеседуем на официальном уровне. Вы мне, например, расскажете, почему и как погибают у вас люди, и не какие-нибудь завалящие старухи, а цветущие девушки, которым советская власть открыла дорогу к социализму. Короче — проведем расследование. Вам понятно, о чем речь?

Гость посуровел и при этом выразительно похлопал по щеголеватой кожаной сумке, висевшей через плечо на тонком ремешке.

Игуменья качнулась, опустила глаза, стиснула в ниточку бескровные старческие губы.

— Нам мирские законы не указ. На все воля божья...

— Но-но, бабушка! — рассердился председатель.— Вы это дело бросьте и антимонию не разводите. Или вы меня примете, или я сейчас же возвращаюсь в Черемшу, беру милицию, и мы живо прикроем вашу богодельню — рассадник прямого одурачивания трудящихся.

Горестно покачав головой, игуменья тут же кликнула Агашку, велела ей расседлать лошадь, поставить на ночевку в стайку да всыпать меру овса. Потом пригласила гостя в приезжую горницу, где была своя особая утварь, которую потом кропили и омывали святой водой, окуривали вереском, изгоняя «сатанинский дух».

Там мать Авдотья и беседовала с Вахромеевым до глубокой полночи. Говорила и отвечала, сдержанно погля-

дывая на бегающий по бумаге председателев карандаш, морщилась, чувствуя временами тягостное удушье в груди,— уж больно едкий, непривычно смрадный мужичий дух исходил от приезжего, хотя он и воздерживался от курева. Да ведь провонял весь табачищем...

Игуменья думала о том, что мирская греховность зачастую воплощена в запахах, как отрава в печном угаре, и что безгрешность близка разве только бестелесности: вон и молодые белицы-монашки, по вечерам вернувшись с лесных делянок, смердят греховно, густо, и дух тот алчный не в силах угомонить ни святое масло, ни воскурения, ни окропления водою. Греховна плоть человеческая по сути своей...

Наконец спрятав бумаги в сумку, председатель устало потянулся, распахнул окошко и долго глядел в сырую темень. Вернулся, поправил на столе пламя свечного огарка.

— Крепко ж вы тут угнездились, мать Авдотья! Считай, что последний раскольничий скит, причем разношерстный. По-научному называется конгломерат. У вас кого только нет среди этих теток: и бывшие самокрестки, и дырницы, и оховки, и федосеевки. Одним словом, полный кержацкий букет. Это что же за религия такая: обряды разные, а потом все в одну кучу. Где принципиальность?

— А потому, сын мой,— сказала игуменья,— как гонения испытываем антихристовы. Повсеместно и повседневно. А обряды что же? Дело не в обрядах, а в вере. За веру наши предки на гари шли. И мы не поступимся — в огонь пойдем за веру святую.

— Ну-ну! — усмехнулся Вахромеев.— Зачем же такая постановка вопроса? Советская власть за веру не преследует. По закону. Лично я уважаю человека, ежели он во что-то верит. Веруй на здоровье, однако так, чтобы обществу, народу вреда от этого не было. Понятна моя мысль?

— «Учуся книгам благодатного закона, как бы можно было грешную душу очистить от грехов»,— сказывал протопоп наш Аввакум, да святится имя его. Какой же вред от сего?

— А такой! — упрямо рубанул рукой Вахромеев.— Такой, что отвлекаете трудящихся от полнокровной жизни, засоряется индивидуальное сознание. Ладно-ладно, не перечьте, уважаемая мать Авдотья! Я сам из кержацкой семьи и хорошо знаю, что такое религиозный опиум для

народа. Родителей своих и по сей день осуждаю за их духовную ограниченность. На сегодня — все. Завтра буду говорить с народом.

— С каким таким народом?

— Ну с вашими монашками.

— Побойся бога, председатель! Не гоже, не положено в обители. Да и не будут они слушать тебя.

— Будут! — рассмеялся Вахромеев.— Еще как будут, под бурные аплодисменты. У вас заутреня в шесть? Вот вместо службы будет моя речь. От имени и по поручению Черемшанского сельсовета депутатов трудящихся. Спокойной ночи, мать Авдотья!

Игуменья, мелко крестясь и сутулясь, вышла из комнаты, в сенцах брезгливо — не за ручку, а ногой — притворила дверь.

«Монастырский митинг» поутру все-таки состоялся — куда же было деваться старицам и белицам? Правда, только не в моленной (игуменья начисто запретила туда входить Вахромееву), а прямо на подворье. Слегка по-кавалерийски корячась, Вахромеев стоял на бревенчатом крылечке моленной и, посмеиваясь, не давал монашкам ходу в храм — так помаленьку они собирались, подходили парами, серые, белолицые, с восковыми свечками в руках. Черные платки обрамляли брови и снизу — линию рта, и в эти четкие одинаковые амбразуры проглядывали одинаково встревоженные, недобро прищуренные глаза.

«Как мыши,— подумал Вахромеев,— которых потревожил из теплого амбарного сусека непоседливый кот». Председатель смотрел и подсчитывал подходивших — набралось двадцать три. Пожалуй, все. Откашлявшись, гаркнул:

— Граждане женщины! Товарищи!

От этих слов серая толпа качнулась, а передние попятились, образовав перед крыльцом солидный полукруг (а может, от табачного перегара, которым дыхнул Вахромеев,— он успел только что тайком покурить за сараем).

— От имени советской власти я хочу вас призвать покончить с религиозным мракобесием и приобщиться к полезному труду. Наша страна дала женщине полные права, поставила на высокий пьедестал. А вы здесь ютитесь в сырых темных избах, живете впроголодь — пробовал я вчера вашу овсяную похлебку, это же нищенская еда!

У нас в Черемше затевается громадное дело: строится высокогорная плотина. Позарез нужны рабочие руки.

в том числе женские. Бросайте свои молитвы и айда к нам на стройку! Жилье, семьи, дети, кино, радио — все будет у вас. Полная чаша человеческого счастья. Имеется также электрическое освещение — круглосуточно. Предлагаю обсудить мое предложение. Какие будут вопросы и пожелания? Можно и критику. Валяйте.

Подворье угрюмо безмолвствовало. На выгоне замычала корова, в соседнем сарае брякнули стремена, вроде кто-то седлал коня. «Уж не моего ли Гнедка?» — подумал Вахромеев. Из-за хребта выглянуло солнце, обрезало-осветило часть монашеской толпы и тогда сразу отчетливо проявилась откровенная ненависть, злоба в глазах, обрамленных выцветшими платками.

— Благословиша дела наши благости твоея, господи! — громко прозвучал голос игуменьи, и Вахромеев только сейчас заметил, что она стоит рядом, а вернее, чуть сзади него. Когда успела подойти или вышла из моленной?

Монашки дружно принялись креститься и отбивать поклоны, однако Вахромеев решил не отступать, да и отступать уже было поздно.

— Внимание, внимание, граждане! Какие дела? Про какие такие ваши дела вы тут распространяетесь? Настоящие дела там, на стройке, на быстрине жизни. А вы какие полезные дела делаете? Никаких. Стало быть, вы даром хлеб едите. А это в корне неправильно: кто не работает, тот не ест.

Председатель нарочно заострял фразы, чтобы вызвать возражения, развернуть дискуссию. А уж тогда он мог выдать по-настоящему: не то что в Черемше, во всем кавалерийском полку, где еще недавно служил Вахромеев, не было, не находилось никого, кто смог бы пересилить в споре азартного, изворотливого и находчивого Николая Фомича.

Монашки продолжали молчать. И опять раздался за спиной громкий, со старческой хрипотцой голос игуменьи Авдотьи:

— Не хлебом единым жив человек.

— Чем же еще? — Вахромеев живо обернулся: кажется, наклевывалась возможность поспорить. Пусть хотя бы только с одной игуменьей.— Чем еще жив человек?

— Помыслами, верою, благостию своею,— врастяжку сказала мать Авдотья.— И еще греховностью, потому как мир лежит во зле, торжествуют в нем сыны Каина. А мы,

дети Авеля, не признаем дающих и вершащих. Грядет великий суд божий и почтение тогда сотворит господь ко всем живущим на земле, к обремененным и страждущим. Старые небеса погибнут сожигаемые, все растает. Будут небеса новые с землей новой, и все земное обновится. Всякое естество человеческое уравняется, перегородки между людьми огонь поест. Установятся новые порядки, перестанет человек ненавидеть человека и наступит царствие божие на земле, царство мира и радости...

— Стой, стой! — возмущенно закричал Вахромеев.— Ты мне, бабушка, проповеди не читай! Ты не отвлекайся, а говори по существу. По конкретному вопросу.

Послышался неровный шум, толпа тихо, осуждающе загудела, зашевелилась, и в задних рядах медленно выслаивался коридор, узкий просвет. Вахромеев увидел в этом образовавшемся пятачке странную белую фигуру и сперва смутился, не понимая, в чем дело. Потом сообразил: «на митинг», оказывается, явилась преподобная Секлетинья, прямо в саване восстав из своего обжитого долбленого гроба. Она шла, как привидение, не слышно, не быстро и легко — на негнущихся ногах, будто слегка парила над землей. У старухи был немигающий шалый взгляд, который она вперила в крест, сжатый вытянутой жилистой рукой.

— Чую антихриста, вижу два рога антихристова...— Старуха говорила негромко, жарким ненавидящим шепотом.

Пока Вахромеев бестолково глядел на происходящее, старуха приблизилась, неожиданно дико взвизгнула и огрела оратора увесистым деревянным крестом. От второго удара председатель успел увернуться, но тут в него полетели камни, свечи, какие-то палки. Он метнулся с крыльца вправо: здесь было свободное узкое пространство; с кавалерийской лихостью перемахнул через тесовый забор и удивленно-обрадованно замер — на лужайке мирно пасся его оседланный и стреноженный Гнедко! Осталось лишь растреножить коня, взнуздать и вскочить в седло.

...Наступила сушь. Солнце ярилось с утра до вечера, тайга парила, дышала сизым маревом, дурманящим духом вздыбленного буйного разнотравья, сладким тленом моховых грибников и черничных полян. Вяли в логах покосные угодья, чередой и чистотелом зарастали монастырские

огороды — старицы вторую неделю исступленно готовились к «святой гари». Таскали из лесу валежник, тщательно обкладывая им сруб моленного храма, отбеливали на речке холсты для непорочных саванов, готовили толстые восковые свечи. Ждали второго прихода антихриста, с появлением которого и будет возжжена «гарь святого искупления».

В ночь на пятницу из обители сбежала Фроська. Собрала все манатки в торбу, даже деревянные чашку с ложкой прихватила, а псалтырь демонстративно бросила на пол, в сорный угол близ двери.

Побег обнаружился только утром и никого особенно не удивил. Ни гнева, ни сожаления старицы не выказали: уж больно злоречива да занозиста была девка. Такой в инокинях не век вековать.

3

Черемша гуляла троицу. С утра поселковская комсомолия прошлась шумным «антирелигиозным маршем» — под треск барабанов и неистовое дудение горнов — от школьного двора, через пустую базарную площадь, вдоль единственной Приречной улицы. Несли разноцветные плакаты, а жилистый Степка-киномеханик держал во главе колонны фанерного попа — страшноватого, вымазанного дегтем, с патлатыми соломенными волосами.

За поскотиной, на Касьяновом лугу, попа спалили в огромном костре. Пели песню «Наш паровоз» и читали гневные стихи Демьяна Бедного против попов и монахов.

Старухи староверки плевались, заслышав горны — «антихристовы трубы», хотя на Степкиного дегтярного попа смотрели равнодушно: все местные кержаки были беспоповцами, так что сожжение церковного чина не волновало их ни с какого боку.

Уже к полдню зашевелилась, понемногу загомонила Черемша, несмело забренькала, будто застоявшаяся лошадь, встряхнувши сбруей. По тесовым подворьям кое-где уже пиликали гармошки, а с яру, из-под повети крепко рубленного троеглазовского пятистенника, полилась нестройная полутрезвая песня.

Грунька Троеглазова выходила замуж за немца — инженера Ганса Крюгеля — в поселке, переиначив по-местному, его называли Ганькой Хрюкиным, а на строительстве — Американцем.

Ганс Крюгель был мужик видный из себя, заметный. Носил шляпу, спортивный френч, замысловатые штаны с вислыми боками и ярко-желтые краги над коваными добротными ботинками. Черемшанских собак эти краги приводили в ярость, поэтому инженер всегда появлялся в селе с увесистой заграничной тростью.

Крюгель работал на стройке с самого начала, однако за три года русский язык так и не изучил как следует, за исключением ругательств — они нравились ему своей наивной витиеватостью.

Тетка Матрена — Грунькина мать — показывала дотошному, слегка подвыпившему зятю иконостас в переднем углу, украшенный березняком по случаю святой троицы. Крюгель хлопал поросячьими ресницами, разглядывая суровые лица на деревянных иконах: Николая угодника, Казанской богоматери, Параскевы-пятницы, равноапостольного святого Владимира...

Кивал и улыбался, ежели нравилось: «Гут, гут, карашо», или хмурился, кривился: «Шлехт, совсем отшень плехо». Хотя все иконы писаны были на одно лицо местным богомазом из Стрижной ямы и, в общем-то, почти не отличались. Вот он таким Крюгель был и на стройке: въедливым и беспрекословным. «Плехо» или «карашо» — третьего для него не существовало.

В избе пахло самогоном, медовухой, вареной картошкой и дурманящим немецким одеколоном — Крюгель то и дело промокал лысину надушенным клетчатым платком. Обычного свадебного чада не чувствовалось: вдова Матрена жила скудно, бедствовала с пятью дочками. Поросенок да дюжина кур — весь приплод-приговор.

Курносенькая смазливая Грунька, пунцовая от выпитой медовухи, счастливо перебирала переброшенные на грудь кончики косы, впервые расплетенной надвое. Младшенькие — круглолицые, сопливые, носы пуговкой, как на подбор,— ерзали на лавке у окна, ели шаньги с творогом, восхищенно разглядывали невестино кружевное платье — свадебный подарок Американца. Двухгодовалая Настюшка, недопущенная к столу, сосала на печи леденцы, обиженно отпихивала надоедливую кошку.

Соседские мужики выпили по очередному стакану картофельного самогона, гаркнули положенное «горько!» и, не дожидаясь традиционного поцелуя, завели двухголосую надрывную «Скакал казак через долину». Крюгель

неожиданно запротестовал, стал колотить алюминиевой ложкой.

— Замолчайт! Я есть жених, который говорит слово. Их фанге ан! [1] Сильно замолчайт!

Не тут-то было: уже подключились бабы. С душевной слезой, подвывая, выводили: «...скакал он садиком зеленым, блестит колечко на руке...»

Горластая тетка Матрена все-таки навела порядок, устыдила гостей: «Всяка песня только опосля добрых слов на лад идет. А на свадьбе словам — первое место, потому как свадьба и есть сговор». Послушались, притихли.

Жених расстегнул френч, развязал-ослабил полосатый галстук:

— Камераден, товарищи! Медьхен Грунька есть моя отшень большой любовь. Она был пролетариат — убираль мусор наша контора дирекцион. Эс ист унмеглих вайтер! [2] Теперь Грунька есть майне фрау Аграфен — хозяйка большой дом. Майн хаус. После стройка плотина вир коммен нах Дойчланд [3]. Вместе мы строим зоциалисмус Германия.

— Брешет Хрюкин! — подал голос углежог Устин Троеглазов, Матренин деверь.— Брешет сукин сын. Он ее там на скотный двор отдаст. Бывал я у них в плену в ихнем распрекрасном фатерлянде.

Крюгель ничего не понял, радостно осклабился:

— Да, да! Прекрасный фатерлянд! Грунька будет самый счастливый фрау. Гроссес глюк! [4].

— Клюкнем, клюкнем! — поднял стакан дядька Устин.— Вот это правильно — кончай болтать. Знаем мы вас, немцев. Давай лучше клюкнем по единой.

Сивуху заедали кержацкой закваской, черпали из двух больших деревянных мисок: холодный квас на тертой редьке и прошлогодней квашеной капусте. Резкое терпкое пойло, аж слезу вышибает...

От такой закуски все на мгновение трезвели и постно, с откровенной жалостью поглядывали на Груньку. Понимали, кто тут не понимал: не в свои сани впрягается девка, не в те ворота норовит проскочить... Как ни крути, а

---

[1] Я начинаю! *(нем.)*
[2] Это невозможно дальше! *(нем.)*
[3] Мы поедем в Германию *(нем.)*
[4] Огромное счастье! *(нем.)*

этот Хрюкин, почитай, годков на двадцать постарше своей сопливой невесты. Да и Матрену понять можно: куда ей деваться с пятью-то ртами? А так хоть помощь какая будет. Ганс Крюгель не чета местным парням-обормотам. Главный инженер стройки, а нынче уже второй месяц за начальника строительства действует. Дом-то какой имеет — залюбуешься! — с шиферной крышей, с застекленной верандой, с собственной баней, в которой, говорят, установлено чугунное эмалированное корыто. Оно все и называется звучно, не по-здешнему — коттедж.

Дед Спиридон, большой любитель газетной политики, изрядно захмелев, протиснулся к инженеру и стал «прояснять международную обстановку». Старик был издавна худогорлый: чтобы говорить, ему требовалось затыкать пальцем на шее дырку в железном колечке.

— Хрюкин, а Хрюкин! — пьяно сипел Спиридон.— Ты, слышь-ка, объясни, мил человек, что же такое происходит-получается в твоей Германии? Девку нашу в жены берешь, а там у вас обратно же никакого порядка нету — куды повезешь-то? Это как же: к фашизму, значит, приклоняетесь, супротив рабочего классу идете, забижаете народ — газеты ведь пишут. Ну-ка скажи нам, ответствуй!

Инженер побагровел, опустил голову, стиснул челюсти. В избе сразу сделалось тихо, перестали стучать деревянные ложки, примолкли бабы-говорухи, только Настюшка продолжала канючить с печки — выпрашивала у сестер медовые коврижки. Патлатый, закопченный Устин Троеглазов ехидно сощурился напротив, запустив в бородищу, в волосатый рот чуть ли не всю пятерню — ковырялся в зубах, будто только что до отвала наелся баранины.

— Я политика нихт ферштейн! Не понимайт! — громко сказал Крюгель и дважды прихлопнул платком вспотевшую лысину.— Я есть инжинир. Мне политика не надо. Не хочу!

— Ишь ты, хитрая немчура, язви тебя в душу! — не унимался, пыжился дед Спиридон, расплескивая стакан.— Нет, ты скажи, ты ответь людям. Раскрой свою душу — я ведь теперича по жене сродственником тебе довожусь.

Дед по-петушиному теребил-клевал жениха за рукав, Крюгель сердито сопел, бычился, все ниже нагибая загорелую шишковатую голову. Наконец Устин Троеглазов отобрал у Спиридона стакан, усадил-припечатал его к лавке.

— Сиди уж! Сродственник нашелся: седьмая вода на киселе.

Бабы разом вскрикнули, завели староверские жалобные распевки «На таежном крутояре», а деда Спиридона постепенно оттеснили от молодоженов на край лавки, к самой печке, где он и продолжил свои высказывания перед обрадованной Настюшкой.

На крыльце затопали, загорланили; послышались переборы трехрядки, и в распахнувшуюся дверь ввалилась ватага парней — изба враз заходила ходуном. Все по-праздничному в пиджаках, при картузах и кепочках, сбитых на затылок, впереди черемшанский заводила Гошка Полторанин.

Гармонист врезал подгорную. Гошка пошел вприсядку, повертелся чертом-козырем, потом выдал цыганочку с выходом — и пошло, и поехало, завертелось — замелькало так, что не поймешь, где руки, где ноги, сплошной дробот и шлепки: по голенищам, по бедрам, по груди, по скобленому полу. Бабы не выдержали, кинулись в круг, завизжали, заойкали; надсадно тараща глаза, затараторили частушками. Всякими: и девичьими, и невестиными, и обманными и... непристойными — тут думать да припоминать слова некогда, шпарь по следу товарки, не отставай, а запутаешься, забудешь — вываливайся из круга.

Невеста тоже не утерпела, каблучковой дробью вошла в круг, дразня парней городским фасоном платья, лиловыми рюшками, воланчиками по подолу. А когда устала, вернулась за стол, Гошка Полторанин метнулся в сенцы, принес оттуда охапку розового духовитого марьина коренья и эффектно бросил перед невестой. Все это, надо полагать, было заранее уговорено меж парней, потому что гармонист сразу замолк, а Гошка налил первый попавшийся стакан.

Молча выпил до дна, не закусывая, утерся рукавом и громко, с вызовом сказал жениху:

— Хрюкин, ты пошто у меня невесту отбил?

До Крюгеля, кажется, не дошло, но по напряженной тишине он понял, что в его адрес прозвучало нечто неприличное. Сделал шаг в сторону, в проход, приблизился к Гошке. И только тут разглядел откровенную насмешку в серых глазах парня.

— Шпрехт нох айн маль. Еще раз говори. Я не понимайт.

— Чего тут не понять? — усмехнулся Гошка и пока-

зал пальцем на невесту: — Она была моей девкой, понимаешь? Я гулял с ней. Гулял, понимаешь? А ты у меня отбил.

— И что же? — Инженер высокомерно вздернул подбородок.

— Да ничего особенного,— сказал Гошка,— только отбивать девок у нас не положено.

— Я есть лючший за тебя! — Крюгель выставил ногу, обтянутую блестящей крагой. Капризно притопнул: — Она хотель меня, не тебя. Нет! Ты есть глюпый.

— Да подавись ты ей! — махнул рукой Гошка.— Больно она мне нужна. Я с ней погулял — и будь здоров. В кусты ходил с ней, понял?

— Не ври, варнак! — завизжала Грунька, выскакивая из-за стола.— Не наговаривай на честную девушку, змей подколодный!

Гости возмущенно загалдели, иные повставали с лавок, однако Крюгель всех перекричал, успокоил, заставил сесть по местам.

— Тихо камераден! Я понимайт этот хулиган! Но моя невеста он не подорваль авторитет. Я будем плевать на него. Вот так.— И, сделав еще шаг, Крюгель плюнул на Гошкин пиджак.

Дальше все произошло стремительно, неожиданно, как во всякой драке. Гошка саданул Крюгеля в ухо, замахнулся во второй раз, однако, екнув, получил такой тычок в подбородок, что улетел к печке, под шесток, попутно свалив с ног деда Спиридона и соседскую невестину подругу. Сразу встать не мог — ноги вяли в коленках, в голове наслаивался звон. Так, сидя на полу, ошарашенно оглядываясь, спросил:

— Братцы! Мать-перемать, что же это такое?

— Дас ист айн бокс! — сказал Крюгель и, распрямляя кулак, подул на костяшки пальцев.

Гошка катался по грязному полу, исступленно стучал кулаками, всхлипывал: его репутация деревенского заводилы оказалась непоправимо подмоченной, он это понимал. И кем? Этим плешивым немцем с лошадиными зубами...

— Перо! — плевался и вопил Гошка.— Дайте мне ножик, охламоны!

Кто-то из парней кинул ему финку, лезвие воткнулось в плаху пола, задрожало. Однако Гошка не успел дотянуться — нож ногой отбросил в угол Устин Троеглазов,

потом огромными своими ручищами сгреб Гошку в охапку и швырнул в дверь, как швыряют полено в печь. Гошкины дружки мигом исчезли из избы, второпях бросив гармошку.

...Вечером, по случаю нерабочего дня, в карьере была очередная отпалка, рвали скалу на заготовки для каменотесов. Потом оказалось, что во время отпалки был взорван один из трех экскаваторов «Бьюсайрус», находящихся в карьере. Как раз самый новый, наиболее исправный — кто-то заложил пакет аммонала под поворотный круг.

Ганс Крюгель до рассвета мотался по стройке, по карьеру в составе специальной комиссии, спешно созданной для расследования диверсии. Так что первая его брачная ночь фактически не состоялась.

4

Здесь все было пронизано дыханием высоты, всюду лежала печать скупой и строгой суровости. Холодный ветер, пахнущий льдом, гранитные скалы в рыжих пятнах лишайника, альпийская впадина, поросшая вереском, кое-где утыканная хилым кедровым стланником. И мох под ногами — настоящий тундровый ягель с ветродуйками — мохнатыми, словно утепленными, голубыми колокольчиками.

Пронзительная синева... Только этот цвет щедр и безбрежен тут, разлит, растушеван от бледно-фиолетового зенита, сочно-синей каймы горизонта до васильковой глади огромного водохранилища и синеватого оттенка растительности. Синева холодит, будоражит, зовет в дымчатые дали горных хребтов, в упавшее далеко внизу летнее марево тайги.

Бетонно-белая плотина, крытая глыбами тесаного гранита, напоминает пломбу, добротно всаженную между двух замшелых зубьев ущелья. Правда, впечатление основательности несколько портил обычный строительный хаос: торчащие вразностык доски опалубки, ходовые плахи для тачек, ржавые ежи арматуры и особенно карьер на левом склоне — там сплошная мешанина камней, кранов-дерриков, деревянных будок-времянок. У самого края, будто больной гусак, — подорванный экскаватор «Бьюсайрус» уныло повесил стрелу, на которой так и остался красный плакат «Даешь вторую очередь!».

— Ну что ж, теперь мне все ясно, — сказал новый начальник стройки инженер Шилов. — Остается завершить второй этаж, отделать бьеф и закончить туннель гидравлического сброса. Правда, срок довольно сжатый — всего один год.

— Это есть нереально, — буркнул Ганс Крюгель, сидевший чуть ниже на уступе скалы.

Парторг Денисов промолчал, поглядывая на стрелу «Бьюсайруса», раздраженно подумал: «Ведь еще утром велел снять и перевесить плакат. Безответственные шаромыжники...»

— Срок реальный прежде всего потому, что другого нам не дадут. Прошу это запомнить, товарищ Крюгель! — Шилов носком сапога пнул камень-голыш, проследил за ним, пока он падал в ущелье, резво, как мячик, подпрыгивая на скалах. — Надо не болтать, а действительно работать по-новому. Выполнять на практике все шесть условий хозяйствования, которые выдвинул товарищ Сталин. Они, как я вижу, подзабыты у вас.

— Не согласен, — сказал парторг Денисов. Он все еще трудно дышал, покалывало в легком — давала знать старая рана с гражданской. И вообще, на кой ляд им надо было переться на эту гору, ведь и так полдня мотались по стройке? — Данный вопрос мы обсуждали в начале года на открытом партийном собрании. Доклад делал товарищ Петухов, старый начальник строительства.

Шилов обернулся, долго, в упор глядел на парторга. Взгляд неподвижный и цепкий — от такого не отведешь глаз.

— Вы на Петухова не ссылайтесь. Он и без того достаточно авторитетный специалист. И вообще, у него были свои задачи, у нас — свои. Проблема рабочей силы — первые три условия товарища Сталина — вот что для нас сейчас главное. Потрудитесь именно на этом сосредоточиться. Особенно бытовой вопрос: в бараках непролазная грязь, антисанитария. Надо немедленно навести порядок.

— А мы этим и занимаемся. Ликвидируем нехватку рабочей силы. Член парткома председатель сельсовета Вахромеев, например, имеет задание по дополнительной мобилизации на стройку местного населения. Проводим и другие мероприятия бытового плана. А что касается ваших замечаний, давайте обсудим их на парткоме. Примем решение.

— Я уже принял решение, — Шилов опять не мигая

уставился на парторга, — и потрудитесь его выполнять. Между прочим, уважаемый Михаил Иванович, вы, очевидно, плохо знаете линию партии на современном этапе хозяйственного строительства. Сейчас курс на единоначалие, время дискуссий и споров прошло. Надо делать дело на основе персональной ответственности.

Ганс Крюгель, прислушиваясь к разговору, демонстративно отвернулся. Шилов ему не понравился сразу: приехал на все готовое и еще пытается поучать, повторяя, в общем-то, давно и хорошо известные истины.

— Интересно... — Сдерживаясь, парторг почесал мизинцем прокуренный ус. — Значит, не понимаем линию партии? Ну что ж, вам, как товарищу из центра, может быть, виднее... Тогда соберем сегодня же партком, и вы нам разъясните обстановку. Ну и попутно о себе расскажете, по личной биографии. Проходили ли чистку, состояли ли в оппозициях и так далее. Для знакомства.

Шилов прищурился, чуть изменился в лице — понял, что разговор, кажется, делает тот самый поворот, за которым начинается конфликт. Спокойно заметил:

— Вряд ли сейчас это уместно.

— А почему? Самое время. Идет всесоюзная проверка и обмен партбилетов.

— Мне партбилет уже заменили в Москве.

— Ну что ж. Поговорим просто — оно не помешает.

Начальник строительства, бросив за спину руки, минуту смотрел вдаль, молчал, покусывая губу: ссориться с парторгом, да еще на первых порах, никак не входило в его планы. Простоватый, похожий на деревенского плотника, Денисов оказался на удивление цепким и въедливым. Шилов рассчитывал только слегка приструнить парторга и главного инженера, дать обоим представление о будущих взаимоотношениях. Но, пожалуй, завернул слишком круто, не сдержался... Проклятая дыра, она вышибла его из равновесия: он и сейчас внутренне ежился, вспоминая адскую дорогу сюда, почти сутки в допотопном шарабане через кручи и перевалы, через опасные броды и каменные россыпи.

— Вы есть отшень недовольный, товарищ Шилов, — поднимаясь и вступая в беседу, сказал Крюгель. — Почему?

— Я прошу понять меня правильно, — произнес Шилов, медленно переводя, словно бы осторожно перенося свой свинцово-неподвижный немигающий взгляд на

главного инженера. — Я действительно, кажется, расстроен. Этой историей с экскаватором.

— Не понимаю... — Крюгель простодушно развел руками.

Работала специальная комиссия, объяснил он. Разбиралась в происшествии двое суток, опрашивала взрывников-отпальщиков, дежурных стрелков охраны, даже экскаваторщика Бухалова. Взрывники вполне надежные люди, стахановцы, которые овладели новым прогрессивным методом отпалки — это вдвое повысило производительность взрывных работ. Очевидно, они немного перестарались, пошли на риск. Слишком близко заложили два шпура, в одном из которых заряд сработал раньше, — взрывом выбросило аммонал из соседнего шпура и отбросило его вместе с горящим бикфордовым шнуром под экскаватор: там он и ухнул. Варшайнлих — вполне возможно. Так отметила вся комиссия. Собственно, товарищ Шилов уже слышал эти выводы — в чем же дело?

— А дело в том, — сухо, резко сказал Шилов, — что все это чепуха. Вранье на постном масле.

— Какое масло? — рассердился Крюгель. — Почему постное масло?

— Дас ист пуре люге! — по-немецки сказал Шилов. — Унд дас ферштеен зи аусгецайхнет [1].

— Найн, найн! — замахал руками Крюгель. — Неправда!

— Правда, — спокойно подтвердил Шилов и повернулся к парторгу: — Вы ведь тоже были в составе комиссии и, значит, подтверждаете этот нелепый вывод?

— Ошибаетесь, — глухо сказал Денисов, — я как раз поставил его под сомнение.

— Вот именно! Ведь даже неспециалисту понятно, что экскаватор взорван умышленно: никак не мог пакет аммонала попасть под поворотный круг — траектория не та. Он был заложен туда заранее. Дураку ясно, что это было прямое вредительство. Акт комиссии уже готов?

— Еще нет, — ответил Крюгель.

— Я не советую его подписывать. Ни вам, Крюгель, ни вам, товарищ Денисов. Я вас искренне уважаю и хочу предостеречь от очень опрометчивого шага. В современной обстановке классовой борьбы это будет называться укрывательством вредителей. Именно так.

---

[1] Это чистейшая ложь! И вы это отлично понимаете *(нем.)*.

Денисов насупился, покусывая кончик уса. Главный инженер клетчатым платком усердно тер сразу вспотевшую шею. Взглянув на парторга, виновато опустил глаза — новый начальник им обоим, кажется, объявил эффектный мат.

— Что же предлагаете? — Крюгель наконец поднял голову.

— Во-первых, я объявляю вам свое решение: сегодня же шифрограммой сообщаю о факте вредительства в город и вызываю следователя. — Шилов опять пнул камень, долго с интересом следил за его падением: внизу, над бывшим руслом реки, от камня наросла небольшая лавина. — Во-вторых, предлагаю в акте комиссии прямо указать, что причину взрыва экскаватора установить не удалось. Ведь оно так и есть на самом деле. А это нелепое предположение надо просто отбросить. Пусть расследованием займутся специалисты, квалифицированные лица. Пусть они делают выводы и определяют виновного. Вот и все.

— Между прочим, я уже звонил в райком партии, — негромко произнес Денисов.— Так что в городе насчет экскаватора в курсе дела.

Закатное солнце пряталось за грядой облаков и освещало из-за них, как из-за ширмы, причудливую гребенку дальних хребтов на горизонте: мягкий перламутровый свет падал на скальные вершины, похожие на башни рыцарских замков. Вечернее раздолье рождало успокоение, тихое, но тревожное, в котором нераздельно слиты восторг и грусть...

Все трое молча любовались закатом, каждый думая о своем. Парторг Денисов зашелся кашлем, торопливо вынул пачку дешевого «Беркута», закурил папиросу-гвоздик.

— Шприхст ду вар, зо браухст ду айн гедехтнис; люгст ду, зо браухст ду цвай [1], — меланхолично, в раздумье произнес Шилов, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Так любил говорить один мой немецкий товарищ.

— Это есть народная мудрость. — Ганс Крюгель почтительно поднял палец. — Мой дед тоже говорил так. Гроссфатер.

Денисов раздраженно сплюнул.

---

[1] Если скажешь правду — припоминаешь один раз; соврешь— припоминать приходится дважды *(нем.)*.

— Ну-ин ладно. Я, однако, пойду: совещание агитаторов назначено. — Взглянул на часы, угрюмо пошутил: — У вас фатеры, а у меня агитаторы.

Он втоптал каблуком недокуренную папироску и, не попрощавшись, молча направился вниз — сутулый, большеголовый, старчески кхекающий через каждые несколько шагов. Крюгель и Шилов проводили взглядами его неширокую спину: под габардиновым пиджаком четко угадывались костлявые лопатки.

— Он что, больной? — спросил Шилов.

— Да, у него еще в войну прострелено легкое. Но крепкий человек, крафтман. По-русски говорят «кремень мужик». Вот такой, как этот камень. Шлаген дас фойер — высекать огонь.

Немец поднял два черных кварцитовых обломка, покресал ими, показывая-высекая искорки, и бросил один Шилову.

— Вам нелегко будет работать с ним, геноссе Шилов.

Тот усмехнулся, подкинул на ладони пойманный камушек, зачем-то сунул в карман.

— Поживем — увидим...

Оба они с уходом Денисова почувствовали появившуюся вдруг напряженность, оба осторожно приглядывались друг к другу. Крюгель подумал о том, что первое его впечатление, возможно, ошибочно: в новом начальнике, несомненно, ощущалось обаяние, правда несколько странное, из категории неопределенных. Оно и привлекало и отталкивало одновременно. Особенно неприятны были холодные рыбьи глаза, в которых ничего нельзя уловить, кроме безграничного равнодушия.

— У вас отличное произношение, — по-немецки сказал Крюгель. — Правда, чувствуется берлинский акцент, так сказать, дистиллированная речь. Вы давно были в Берлине?

— Почти год назад, — польщенно улыбнулся Шилов. — Вернулся после длительной командировки.

— Ну и как выглядит наш славный Берлин?

— В Берлине толков много, толку мало, — по-русски произнес Шилов, вынимая пачку «Казбека».

— Простите, не понял.

— На немецком этот каламбур не звучит. Ну а если сказать проще, то ничего хорошего в Берлине я не увидел. Перемены малоутешительные, во всяком случае на мой взгляд.

— Вы имеете в виду нацистский бум?

— Не только. Общая взбудораженность, нарастающая атмосфера какого-то повального психоза. Я никогда не думал, что немцы, как нация, могут быть настолько шумны и крикливы.

Он хотел добавить кое-что и насчет несдержанности — в Берлине он сам видел, как уличные зеваки не раз избивали иностранцев, если те не отдавали нацистского приветствия марширующим штурмовикам, — однако передумал: Ганс Крюгель и без того обиженно надул толстые губы.

— Что же плохого вы усматриваете в одухотворенности народа? — спросил Крюгель, запальчиво ерзая на кампе. — Немецкий народ подымает голову, начинает ощущать свое национальное достоинство, которое было втоптано в грязь Версальским договором. Разве позорно сегодняшнее воодушевление вашего советского народа? Разве смогли бы вы без него строить социализм, решать колоссальные задачи, вот как эта плотина?

— Все зависит от идеи, на которой базируется это самое воодушевление. Что касается Германии, то там социальный психоз прочно стоит на нацизме, то есть на вещах крайне реакционных, которые проповедуют Гитлер и компания.

— Неправда, — вспылил Крюгель. — Нельзя смешивать немецкий народ и гитлеровцев. Мы, социал-демократы, всегда решительно выступали против подобных инсинуаций. Немецкий народ не пойдет за Гитлером, не поддержит его расовых и реваншистских идей, милитаристских мероприятий. Нет и еще раз нет!

Затягиваясь папиросой, Шилов с любопытством поглядывал на разошедшегося всерьез инженера. Он, конечно, запросто мог опровергнуть наивные и давно устаревшие социал-демократические догмы. Мог бы рассказать, насколько легко удалось решить Гитлеру даже такую, казалось бы, нереальную проблему, как введение новой административной системы, которая упраздняла традиционные Саксонию, Пруссию, Баварию, Силезию и вводила сто территориальных округов (против этого тщетно конфликтовал даже Герман Геринг!). Или припомнить восторженно орущие толпы берлинцев в сентябре тридцать четвертого, когда состоялся грандиозный спектакль официального вступления Адольфа Гитлера на пост президента. Во время работы в Германии он многого насмотрелся,

а еще больше наслушался на так называемых деловых бирабендах. Он отлично знал истинную ситуацию в Германии, но, к сожалению, пока не знал подлинных настроений собеседника.

— А что вы скажете насчет недавней оккупации Рейнской зоны? — Шилов наблюдал, как брезгливо морщился Крюгель от папиросного дыма, и это его забавляло. — И в частности, о речи Гитлера в театре Кролля? Помните, газеты подробно писали об этом?

— Речь фюрера была глупой и невежественной, а угрозы и хвастовство просто беспардонны, — горячился Крюгель. — И все-таки возвращение Рейнской зоны в лоно матери-Германии есть справедливый шаг. Это убедительно показал и проведенный там плебисцит.

— Но это же первый шаг к войне. И он уже сделан. Теперь вскоре последуют другие шаги.

— Нет, нет! Немецкий народ не будет воевать. Он жаждет восстановления справедливости, возвращения Германии незаконно отнятого. И на этом он поставит точку.

— Уверяю вас, для Гитлера это только разбег, проба сил. Дальше — война. Он пойдет сюда, на Восток. Вспомните его клятвенную «Майн кампф».

Откровенно говоря, затянувшийся спор стал уже надоедать Шилову — все это было на уровне чистой декларативности, в пределах, дозволенных иностранному специалисту, каким был Крюгель. Наивно было бы рассчитывать на его искренность, да еще при первой же встрече. Он, конечно, гнул и будет гнуть свое: убежденный социал-демократ, последовательный националист — не более. Пожалуй, пора было закруглять, для начала вполне достаточно.

В общем-то, Ганс Крюгель ему нравился: крепкоголовый, самоуверенный немец. По внешности — типичный баварец.

— Вы из Баварии?

— Нет. — Крюгель несколько удивился повороту в разговоре. — Я родился и вырос в Магдебурге. Город знаменитого фарфора марки «двух мечей». Именно у нас, в нашем соборе, похоронен император Оттон Первый. Вы бывали в Магдебурге?

Шилов кивнул, сразу вспомнив древний готический собор и рядом в палисаднике — памятник негру — слуге германского императора.

— Насколько я помню, Магдебург — это и город Мартина Лютера?

— О да! Великий Лютер — мой земляк. Он учился в нашей школе.

«Черт его знает... — невесело подумал Шилов. — Стоит ли сразу раскрывать ему карты? Немцы — народ упрямый, настырный и безжалостный, протяни ему палец, запросто оттяпает и голову. Впрочем, удочку закинуть все-таки надо, а что последует дальше — поплавок покажет».

Он сорвал какой-то блеклый цветок с жесткими кожистыми листьями, растер его в ладони, подивился сильному незнакомому запаху. Вскользь бросил:

— Между прочим, вам просил передать привет ваш давнишний берлинский друг Хельмут Бергер.

Крюгель вздрогнул, рывком повернулся, заметно побледнел. В глазах — не радость, скорее, неприятное изумление, испуг. Впрочем, этого и следовало ожидать.

— Да, я его знаю, — медленно, жестко произнес Крюгель. — Но он мне вовсе не друг.

— Странно, — усмехнулся Шилов, — а он утверждал другое.

— Я вместе с ним учился в школе. Но никогда не разделял его взглядов. Хельмут Бергер — оголтелый нацист, фашист, как сейчас говорят. Более того, он подвизался в штабе Эрнста Рема, главаря штурмовиков. Поэтому я не нуждаюсь в приветах Бергера.

«Неужели он откровенен? — подумал Шилов. — Правда, Крюгеля именно таким и рекомендовали: резким, несговорчивым, отклоняющим любые компромиссы. А может, он просто манкирует, опасается провокации? Ну что ж, придется на этом ставить точку. Время покажет».

— Да бог с ним, с Бергером! — рассмеялся Шилов, изумляясь, однако, огонькам ярости в голубоватых глазах инженера. — Напрасно вы горячитесь, забудем о нем: просто случайный привет от случайного человека. А вас, честно признаюсь, я представлял несколько иным — более спокойным и очень солидным. И извините — более старым. Вы превосходно выглядите, просто молодо в свои тридцать шесть лет. Как вам это удалось?

— Я недавно женился, — застенчиво и одновременно слегка хвастливо заявил Крюгель.

— Что вы говорите? Женились? Здесь?

— Вот именно. На местной девушке. Ее зовут Груня, по-русским святцам Аграфена.

— Так вот оно что! Поздравляю от души! Теперь мне понятна некоторая ваша экзальтированность — ведь вы переживаете медовый месяц. Как это здорово, я вам завидую, дружище!

Шилов приятельски хлопнул по твердому круглому плечу инженера, обнял его за талию, и они стали не спеша спускаться вниз, к рабочему поселку, к ближнему бревенчатому бараку, где размещалась контора стройуправления.

Над плотиной затихал дробот перфораторов, наслаивались фиолетовые сумерки, лишь дальние заводи все еще полыхали багряными отблесками.

5

С прошлого года уволился дед Спиридон из шорной: здоровье стало сдавать. Раньше-то он ходил в шорниках первой руки: случалось, и седла делал, и хомуты отменные шил. Правда, давно это было: в последнее время больше на мелочах сидел, на ремонте. Латал подседельники, менял гужи, занимался строчкой сбруи, а то просто сучил дратву, щетину заправлял для других мастеров.

Обидно делалось. Спервоначалу терпел, потом плюнул и вовсе ушел. Лето промотался водовозом на лесосеке, а осенью старый знакомый, председатель сельсовета товарищ Вахромеев, по доброте душевной определил Спиридона на подходящую должность в пожарную команду. По официальной ведомости дед числился третьим топорником, а на самом деле исполнял обязанности дворника на припожарной площади (она же была и центральной в Черемше).

При этом Вахромеев поручил Спиридону наблюдение порядка и во дворе сельсовета, что располагался напротив пожарного депо. Дворницкое дело, сказал он, самое подходящее для человека с больным горлом. Завсегда в наличии свежий воздух. Спиридон не возражал, работа ему нравилась: и почетно, и несуетно.

При депо у деда имелась персональная сторожка с печкой, лежанкой и радиорепродуктором, который в хорошую погоду Спиридон выставлял на подоконник. Закончив по раннему утру подметальные дела, он садился на листвяжный чурбак и, греясь на солнышке, слушал радио. Удивленно тряс сивой бороденкой: каждый день в мире творились невероятные происшествия! Кидают бомбы,

шлют угрозы, передвигают войска, делают нахальные агрессии («До чего драчливый народ — племя Адамово!»), а про ту Абиссинию и вовсе перестали говорить, знать, пропала не за понюшку табаку. Хотя держава сама по себе маленькая, да и люди там аспидно-черные, а все одно жалко.

Хорошая штука эта «говорилка»! Все знает: где какой завод построили, сколько руды накопали, куда и зачем канал прорыли; знает, где жарко, где холодно, в каких местах дожди идут, и почему затмение происходит, и как надо лечить ту же самую лихоманку — малярию. А то еще физкультуру под музыку передают — тоже интересно. Встаньте, потянитесь, ногу — туды, руку — сюды. Поскакайте: ать-два, ать-два! Ну это, видно, специально для ленивых, которым все надо непременно под команду, да чтобы с музыкой. Может, и правильно: народ теперь куражливый, деликатное обхождение любит...

Напротив пожарного депо, внизу на прибрежной лужайке, топчется реденький утренний базар: картошка да скороспелый лук-слизун, за которым пацаны лазят на отвесные скалы. Никакого мяса, ни дичи — оно и перед праздником редко бывает, а сейчас, когда скотина на вольном выгоне, и подавно. С краю навеса на обычном своем месте торгует медовыми сотами Савватей Клинычев, кержацкий староста. До меда охочих нету, потому как нонешний, весенний — стало быть, с черемуховой горечью, болиголовом. А медовуха из припрятанного туеска идет бойко: частенько заглядывают парни, шагающие на стройплощадку, полтинник кружка на послепраздничное похмелье. Надо будет подсказать товарищу Вахромееву, пускай приструнит кержацкого торгаша, не гоже рабочий народ спаивать.

А вот и сам он гарцует на Гнедке в конце улицы. Мерин сыто екает селезенкой, сечет искры на булыжниках — неделю, как кованый. Председатель сидит ловко, едет ровно, не шелохнет плечом, даром что Гнедко далеко не иноходец. Сразу видно — кавалерист.

Привязав мерина у коновязи, Вахромеев направился не к сельсовету, а к сторожке, похлестывая по голенищу нагайкой. Понятное дело — несколько дней находился в отсутствии, а кто, как не дед Спиридон, лучше всех знает текущую информацию? Посидишь-ка целыми днями на самой черемшанской пуповине — чего только не насмотришься, наслушаешься.

Товарищ Вахромеев руку подает с размаку, будто сплеча рубит шашкой.

— Здорово, Спиридон!

— Здравия желаем! — затыкая дырку на горле, старается гаркнуть дед-топорник, однако получается сипло, не очень-то вразумительно. Услужливо протягивает кисет — сам давно не курит из-за плохого горла, но табак завсегда держит для начальства. Из собственного огорода и по собственному секретному рецепту изготовленный. (Вахромеев любит по утрам побаловаться самосадом.)

— Давай засмолим твоего дальнобойного! — Председатель с удовольствием вертит козью ножку, набивает табаком из пригоршни, запаляет трут. — Ну, какие имеются последние известия? Докладывай.

— Да опять же военные угрозы проистекают. — Спиридон возмущенно тычет большим пальцем назад, в сторону репродуктора на окне. — Сказывают, слышь-ка, будто фашисты нападение готовят на эту самую... На Испанию. Этак вот.

— Слыхал, дед, — поморщился Вахромеев и подумал, что из Спиридона хреновый все-таки информатор: шипит, как сковородка на углях. — Я тебя про местные новости спрашиваю. Как прошел праздник, какие в народе происшествия случились?

— Никаких. — Дед помотал головой. — У нас ведь как? Кержаки вовсе не пьют, остальные медовуху потребляют. А она на голову не действует, только что ноги связывает.

— Чего, чего? — не расслышал Вахромеев.

— Ноги, говорю. По ногам бьет. Аль сам не знаешь?

— Драки-то были?

— Были, как не быть. Что оно за праздник без драки? Ну дак молодые ведь. У них чешется. А ежели мужики вступаются, так то для порядку. Гошку-то, слышь-ка, Гошку Полторанина вот урезонили, язви тебя в душу!

Дед стал рассказывать про Грунькину свадьбу, про то, как инженер Хрюкин обработал Гошку немецким боксом. «Ногу, слышь-ка, выставил да кулачищем-то в морду — тык! Вот бабы подушки выбивают, так оно как есть похоже. Гошка, стало быть, на полу спички собирает, встать никак не может. Этак вот». Потом про Устина-углежога начал было объяснять, но Вахромеев перебил, махнул рукой: «Ладно, с Устином разберусь сам». Уж больно тужился старик, аж сизый лицом сделался — трудно ему было го-

ворить. А вот поди ж ты, любил поболтать, покуда не остановишь.

Нечаянно затянувшись, председатель схватился кашлем — еле отдышался, зло сплюнул и сказал сразу осевшим голосом:

— Что за табачище, мать твою в касторку? Прямо живодер. Или подмешиваешь что?

— Само собой, — ухмыльнулся Спиридон. — Мяту, значит, для резкости, полынки — для крепости, а еще одеколончиком брызгаю, чтоб дух приятный.

— Фокусничаешь... Вот от такого курева, видать, и сам безголосый остался, — проворчал Вахромеев. — Так говоришь, Гошка Полторанин обратно безобразничает? Что-то надо с ним делать в воспитательном плане... На стройку его определить в рабочий класс, а то он среди возчиков околачивается, пьянствует. Это наше упущение, Спиридон, потому как этот самый Гошка-обормот разводит в нашем обществе классовый антагонизм. Понял, куда идет суть?

— Вестимо, — прошипел дед. — Я его, гада, в прошлом году чересседельником отхлестал. Ей-бо, не вру! Приперся пьяный в шорню и стал, паразит, хомуты кидать, вот как ты говоришь, антагонизм делать. Ну мужики-шорники дали ему чесу. В каменотесы его надобно, эдак вот!

В сопровождении Спиридона председатель обошел площадь, велел прогнать с сельсоветского двора чью-то наседку с выводком да заодно узнать, кто хозяин приблудной курицы. А уж сельсовет примет меры — имеется постановление против тех, кто бесконтрольно распускает живность по селу.

Обычно от калитки сельсовета Спиридон отправлялся в свою сторожку. Однако сегодня почему-то плелся следом до самого крыльца. Вахромеев остановился, спросил:

— Что у тебя еще?

— Не у меня, а у тебя, — хитро прищурился Спиридон. — Вон погляди-ка на речку.

Вахромеев присмотрелся, недоуменно склоняя голову к одному, к другому плечу.

— Ну сидит какая-то баба. Воду пьет, что ли.

— Это она завтракает, сердешная. Горбушку в речке размочит и ест. Я за ней, почитай, с самого рассвету наблюдение веду.

— Тьфу! — рассердился Вахромеев. — Ну и наблюдай, я-то при чем?

— Да она же к тебе прибыла, товарищ Вахромеев! — Дед язвительно заюлил, задергал бороденкой. — Я, говорит, старая знакомая Николая Фомича.

— Врет! — небрежно бросил председатель.— Не знаю такой.

— Вот и я говорю ей: врешь, дескать. Дак она оскорблениями кидается, обозвала старым козлом. Да я не обиделся: девка уж больно красивая.

Вахромеев снял фуражку, поерошил чуб, недоверчиво оглядел ехидную физиономию шорника-топорника.

— Девка, говоришь? Хм... А ну, давай зови.

Она вошла в открытую дверь неслышно, незаметно, как дуновение ветерка, мягко ступая в своих чалдонских бутылах, подвязанных под коленками ремешками. Вахромеев не услыхал, а почувствовал ее появление, ощутив сразу свежий и крепкий запах пихтовой хвои, бревенчатых стен и березового дегтя — неповторимый запах человека из тайги. Такой дух носят с собой промысловики-охотники, шишкобои, лесорубы да еще, пожалуй, кержацкие странники-провидцы.

Он сразу узнал ее: молодая монашка из скитского монастыря, уцелевшая после той трагической переправы через Раскатиху. Вспомнил, как допрашивал в полутемной приезжей избе при свете свечи — в блокноте где-то даже запись осталась.

— Ефросинья Просекова? — Председатель вдруг пожалел, что тогда, при ночном допросе, не разглядел ее как следует; лукавый Спиридон прав, девка и впрямь красивая. Диковатая, смутная какая-то красота.

— Она самая, — певуче, не без жеманства подтвердила гостья и прошествовала-проплыла к председательскому столу. («Походочка, как на вожжах!» — про себя усмехнулся Вахромеев.) — Здравствуйте вам!

Он сухо буркнул в ответ, дивясь невесть откуда взявшемуся смущению, и подумал, что монашка приперлась издалека неспроста, а по важному делу и что дело это будет иметь далеко идущие последствия. В том числе для него самого. Наверняка...

Ефросинья отошла к стене, уселась на табуретку, положила на колени холщовую торбу, предварительно аккуратно одернув платье. Затем спокойно, с интересом оглядела канцелярию: портреты на стенах, географическую карту, грубо сколоченный шкаф, железный ящик-сейф — все не спеша, по порядку. Задержала взгляд на Спири-

доне, который притих в дверях, прислонившись к косяку. Показала на него пальцем:

— Он пущай уйдет.

Начальственно кашлянув, Вахромеев сказал деду:

— Ступай-ка в сельпо, там нынче обувку давать будут. Провентилируй насчет очереди — чтоб строго соблюдалась. От моего имени предупреди завмага, а то опять бабы подерутся. Действуй.

— Да, поди, еще рано, — недовольно просипел Спиридон. — Магазин-то, однако, в восемь открывают.

— Вот до открытия и предупреди. А то я мимо проезжал, видел — уже столпотворение происходит.

Когда дверь захлопнулась, Ефросинья скоренько подвинула табурет поближе к столу, доверительно спросила:

— У тебя ливорверт-от имеется?

Вахромеев слегка опешил, затем похлопал по заднему карману брюк. Усмехнулся:

— А как же. Браунинг — всегда при себе.

— Ну слава богу! Я-то, дуреха, напужалась. Думала: ну, порешат тебя, прибьют старые стервы у моленной. Они ведь с вечера каменья припасли, игуменья всех подговорила.

До председателя только теперь дошло. Он сразу вспомнил то сумеречное волглое утро, злые старушечьи лица в обрамлении черных платков, припомнил, как почудилось ему, будто в сарае бренчала седельная сбруя, будто звякнули стремена...

— Так это ты заседлала Гнедка?

— Я. Опосля вывела через задние ворота и у забора стреножила.

— Молодец, ну молодец девка! — Вахромеев вскочил порывисто, с размаху тиснул ей руку. — Спасибо, выручила! Да тебя за это прямо расцеловать надо.

— Чего уж там — целуй. — Она с готовностью поднялась, прижмурилась, в ожидании подставила губы. Целуя, Вахромеев сразу ощутил давно забытый трепетный жар — Ефросинья явно прильнула к нему, обмякла както, задышала горячо и часто.

— Ну-ну, — сказал он, расцепляя ее руки на своем затылке. Усаживая на табуретку, мысленно усмехнулся: «Ну и монашки пошли, едрит твои салазки! Такая не упустит, слопает, как пить дать». — Давай садись и рассказывай, какое у тебя дело?

Она степенно оправила платок. «А платок не монашеский — с цветочками! Знать, давно припасла»,— отметил про себя Вахромеев. Вздохнула трудно, с затаенной внутренней решимостью:

— Да вот пришла к тебе... Ты же звал.

— Звал, это точно. У нас народу на стройке не хватает. Прямо острая проблема. Вот видишь плакат «Кадры решают все!». Так что правильно ты бросила монастырь и двинулась к нам. Работу найдем.

— Что это ты заладил: «мы» да «мы»? — с тихим укором произнесла она. — Я к тебе пришла.

— Как... ко мне? — Вахромеев изумленно подался вперед, опершись о стол растопыренными пальцами. — Ты что такое мелешь, Ефросинья?

— Полюбила я тебя, Николай Фомич... Вот как перед святым крестом. — Она перекрестилась, стыдливо опустила глаза. — Сон я вещий видела на троицу, намедни как нам с девками топуть. Будто я упала в яму кромешную, ни зги не видать. И чую: пропадаю совсем, отходит душа моя грешная. А оно глядь — парень руку мне протягивает. Бровастый да белозубый такой, в фуражечке блином. Ну как есть ты вылитый... Как ты к нам приехал, я тебя, значит, сразу и признала. А в ту ночь явилась ко мне пресвятая Параскева-пятница, благодетельница моя, и перстом указует: «Се твоя судьба Ефросинья!» Так и сказала: «твоя судьба». Ты уж не серчай, Коленька, что я пришла к тебе... Куды ж мне деваться?

Ефросинья всхлипнула, уголочком платка, по-бабьи, смахнула слезу. Подперла щеку, пригорюнившись, глядя в окно.

Вахромеева бросило в жар. Такого горячего, лихорадочного смятения, замешанного на острой тревоге, давненько не испытывал он. Пожалуй, что с полузабытых армейских стрельб или показательной рубки лозы... Торопливо, крадучись, морщась от скрипа собственных сапог, прошел к двери, проверил: не подслушивает ли дотошный Спиридон? Зажег папиросу, жадно затянулся.

— Ты соображаешь, что говоришь, Ефросинья?! Ведь я женатый, понимаешь?

— Да уж я и то думала... — скорбно вздохнула она.— Гадала про себя: а коли он женатый? Невезучая я, несчастливая... Как есть сиротинка горемычная...

Она уставилась на него ясными и печальными своими глазами, глядела долго, пристально, любуясь и жалея, как

разглядывают дорогого покойника. Вахромеев почувствовал неловкость под этим немигающим взглядом, заерзал на табуретке, недовольно тряхнул чубом. Хоть бы уходила скорее, что ли...

— А развестись с жёнкой нельзя? Ведь теперича, говорят, развестись просто: взял да вычеркнул бумагу или вовсе порвал.

— Ну ты даешь стране угля! — напряженно рассмеялся Вахромеев. — С чего это я буду разводиться? У меня дочка растет — пятый годок. Да и жена хорошая, по крайней мере не жалуюсь. Учительствует в школе.

— А как же сон-то, Коля? Ведь вещий сон...

Вахромеев подумал, что Фроська ему очень даже нравится, иначе давно бы прогнал ее вместе с глупыми вопросами. Он испытывал к ней симпатию, сочувствие, жалость, искренне переживал за нее. Да и не мог он иначе относиться к человеку, откровенно распахнувшему душу, глядящему тебе в лицо исповедально чистыми глазами.

— А сон свой толкуй правильно, соответственно обстановке, — доброжелательно сказал он, поглядывая в окно. — У тебя сейчас что получается? Крутой поворот в жизни, ты выходишь в люди. На самую быстрину выходишь, понимаешь? Я тебе во всем помогать буду. Как у вас говорят, буду тебе ангелом-хранителем. Устраивает?

Она тоже смотрела в окно, задумавшись. Пошептала о чем-то, несмело улыбнулась:

— А, может, домработницей возьмешь, Николай Фомич? Я ведь по хозяйству все умею: и стирать, и варить. Тут сказывают, ваши начальники берут в дома работящих баб. Вот и ты возьми меня.

— Брось дурить, Ефросинья! — всерьез рассердился Вахромеев. — Ни в какие домработницы ты не пойдешь — ни ко мне, ни к кому-либо другому. Говорю это тебе с полной ответственностью. А пойдешь на государственную работу — молодежь должна строить социализм. Понятно?

— Это я и без тебя знаю. Слыхала, — вяло отмахнулась она и опять надолго задумалась. Потом неожиданно быстро спросила: — А какую работу дадите?

— Работы у нас всякой навалом. Только выбирай. Ты вообще-то как, грамотная?

— Псалтырь немного читаю.

— Значит, пойдешь в ликбез. Потом в вечернюю школу. Ну а пока тебе, как малограмотной, можно предложить работу на нашей молочно-товарной ферме.

— Скотницей, что ли? Не пойду, — резко сказала Ефросинья. — Мне и так монастырские коровы опостылели.

— Ну, уборщицей в рабочее общежитие.

— Тоже не пойду. Нашто оно мне чужие плевки-то подтирать? Это пусть наши старухи черницы делают. А ты мне дай настоящую работу, чтоб человеком быть. Чтоб эти самые машины водить.

— Видали ее! — недовольно развел руками Вахромеев. — Да ты оказывается настырная, Ефросинья! Что ж тебя на экскаватор прикажешь посадить? Или, может быть, на мотовоз?

— Научите, так и сяду. — Ефросинья подняла с полу торбу, завязала лямки крепким узлом. — Затем и шла, чтобы научиться.

— Ладно, направим тебя в бетонщицы — это как раз по тебе. Сейчас позвоню в отдел кадров, договорюсь. — Вахромеев покрутил ручку телефона, его соединили с начальником-кадровиком, и он быстро обо всем договорился: бетонщики были одной из самых дефицитных специальностей на стройке. А подучить обещали — наука не из мудреных. — Можешь идти оформляться.

На телефон Ефросинья глядела с подозрением и опаской — уж больно вычурной и таинственной показалась ей блестящая коробка: не врет ли? Однако расспрашивать, уточнять постеснялась, да и гордость не позволяла. Перед уходом все-таки спросила:

— А что, с тобой через нее тоже можно говорить?

— Вполне! — улыбнулся Вахромеев. — Ты как оформишься на работу и в общежитие определишься, позвони сюда от дежурного. Попроси у коммутатора сельсовет.

Ефросинья кивнула, медленно, молча, как в первый раз, оглядела стены и вышла, вскинув голову, словно бы тяжелая коса оттягивала ей затылок.

Председатель распахнул раму, боком уселся на подоконник — уже теплый, нагретый солнцем. Ефросинья пересекла двор и направилась вдоль улицы, помахивая монастырской торбой небрежно, по-девичьи грациозно, как каким-нибудь модным ридикюлем. Серое домотканое платье неброско, но удивительно четко обрисовывало легкую и сильную фигуру. Вахромеев дымил сигаретой, щурился, долго глядел вслед. Очень ему хотелось, чтобы она обернулась. Но так и не дождался.

6

Шальным половодьем захлестнуло тайгу алтайское лето. Росными утрами вставали над логами голубые завесы, солнце гнало с откосов к Шульбе охлопья посленочных туманов, сушило черные ощерья россыпей, зажигало косогоры алыми всполохами марьина коренья. Тайга гудела, наливалась теплом, сладкими соками жизни.

Поскотина за конным двором вызвездена желтомохнатыми одуванчиками, вся — в пчелином гудении, в брызгах росы. То тут, то там вспыхивают радужные шарики: перед тем как сесть на цветок, пчелы жужжат — сушат венчики.

И на эту-то благодать выводили одров — конченных сапных коняг, которым впереди одна дорога — под расстрел. На завалинке конторы расположилась выбраковочная комиссия во главе с ветфельдшером Иваном Гринасем. Стола не было — очкастый, тонкошеий Гринась держал на коленях портфель и на нем, в ведомости, делал соответствующие пометки.

Парторг Денисов — тоже член комиссии, сидел отдельно, на персональном стуле, который ему вынесли из конторы. Сумрачно курил, поглядывал из-под надвинутой на брови старенькой кепки.

Вот они наяву, во всей обнаженной откровенности, перспективы второй очереди... Заездили, уходили лошадок в карьере, а ведь какие ладные были кони. И не когда-то — всего три года назад. Денисов помнил, как пригнали табун зайсанок — диковатых низкорослых лошадок местной алтайской породы. Было их тогда, гривастых, выхоленных на таежном травостое, что-то около шестидесяти голов. А теперь осталось тридцать, да из тех почти двадцать больны.

Да, он знал и прекрасно понимал, что строительству первой очереди было отдано слишком многое, почти все: энергия и безудержный энтузиазм людей, лучшие стройматериалы, лучшие лошади и машины. Все, что имелось под рукой, без резервов, без думы о завтрашнем дне — страна не могла ждать.

И вот, когда отгремели победные фанфары, когда подшиты в дело восторженные рапорты об окончании первой очереди, когда старый начальник Петухов благополучно отбыл на новую стройку, забрав с собой наиболее ценных

специалистов, наступила пора трезвых будней, время нового, не менее трудного рывка.

А чем и с кем? Какими силами его делать? Людей не хватает, транспортных средств почти нет — только лошади. И их приходится выбраковывать. Где теперь взять новых?

— Так какое будет ваше мнение, Михаил Иванович? — шелестя брезентовым фартуком, остановился рядом фельдшер Грипась.

— Насчет чего? — нахмурился Денисов.

— Ну по поводу очередного экземпляра. Вот он, полюбуйтесь. Мерин Урал, возраст семь лет. Дистрофия второй степени.

— Тоже сап?

— Разумеется. Подвести поближе?

— Не нужно.

И так хорошо было видно: лошадь на издыхании. Ребра все на виду, как растянутая гармонь, под гноящейся шкурой торчат угловатые мослы. Плоская голова виснет к земле, беспрерывно тянется из ноздрей характерная синеватая слизь...

Что-то щемяще-тоскливое виделось в слезящемся глазу мерина, в немощной изможденной шее. Денисов не выдержал, подошел к пряслу, покачал головой, разглядывая незаживающие раны на крупе, над которыми роились зеленые помойные мухи.

— Где же его так ухайдакали, бедолагу?

Фельдшер неопределенно пожал плечами, поманил выводного конюха, бородатого мужика с марлевой повязкой на лице.

— Евсей Исаевич, вот комиссия интересуется: на каком объекте работал Урал?

В подошедшем конюхе Денисов только сейчас узнал заведующего конным двором Евсея Корытина, разбитного, цыганистого любителя лошадей и охоты — именно на этой почве у него в свое время сложились близкие отношения со старым начальником стройки. Помнится, Петухов собирался даже включить его в список «особо ценных специалистов» и забрать с собой. А вот поди ж ты, не взял почему-то.

— Тебя не узнать. Замаскировался, — сказал Денисов.

— Так ведь сап, Михаил Иванович. — Корытин развел руками. — Штука серьезная.

— А почему сам на выводе? Конюхов нет, что ли?

— А все поэтому, Михаил Иванович. По причине сапа. Из конюхов никто не соглашается ни за какие коврижки. Вот стоят пялятся, дармоеды.

Взяв ведро с карболкой, Корытин тряпкой протер жердину, прясла, предупредил: желательно не прикасаться.

— Насчет Урала спрашиваете? Сами видите — полный доходяга. Работал, как и все они, в щебеночном карьере. Грузовоз. Ну, а похлестали его, так это дело житейское — план гнали. Да и ленивый коняга был, только под палкой и работал.

«Был...» — с неожиданной горечью отдалось в сердце у Денисова. Легко и просто сказано, а ведь мерин-то еще живой. Только здоровые, уверенные в себе люди способны изрекать такие равнодушно-пренебрежительные приговоры. Очень здоровые и, пожалуй, наглые. Не поэтому ли не включил Петухов завзятого коновода в свой «золотой список»?

Денисов махнул рукой, повернулся и, когда шел к своему стулу, вздрогнул, как от толчка в спину, услыхав сзади зычно-повелительное «гони!».

Вот такими все они были, коняги-доходяги, их прошло перед глазами еще одиннадцать, а всего выбракованными, а значит, приговоренными, оказалось семнадцать. Конюхи и возчики, стоявшие группой поодаль, посмеивались, острили: «Казна — больше тянуть не положено», имея в виду заповедное картежное правило.

Больше и не тянули. Правда, в конюшне осталась еще одна саповая кобыла, ту вовсе не стали трогать — она и на ногах не стояла, обвисла в стойле на двух ременных подпругах.

— Куды их теперича? — озорно крикнул кто-то из возчиков. — Али на колбасу?

— Дурак! — Корытин погрозил кулаком остряку. — Чтоб ты подавился той колбасой.

Он тщательно продезинфицировал руки, помылся и выглядел по-обычному бодрым, даже довольным, чего впрочем, не пытался скрывать.

— Слава богу, отделались! А то ведь прямо беда: неделю в конюшне стоят сапные лошади, а комиссию не соберешь. Так можно совсем остаться без тягловой силы.

Денисов с трудом сдерживал неприязнь. Противным ему были и холеная борода Корытина, и его сильные загорелые руки, и довольная ухмылка. Конечно, заведующего конным двором можно понять: избавился наконец от на-

висшей угрозы. Но нельзя же радоваться столь откровенно, нельзя же плевать на судьбу лошадей, которые вместе с людьми перекромсали тут гору, вывезли сотни тонн разных грузов.

Выбраковочный акт Денисову не понравился. Он читал его долго и трудно (забыл в парткоме очки), потом еще несколько минут раздумывал, глядя на обреченных лошадей, понуро стоявших в углу загона.

— Написано не по-деловому, не по-человечески, — сказал он, возвращая фельдшеру бумагу. — Нельзя так писать: «подлежат расстрелу».

— А как же иначе, Михаил Иванович? Это формулировка вышестоящих организаций. Вот пожалуйста.— Ветеринар обиженно полез в портфель, вытянул оттуда зеленую папку. — Имеется типовой акт, утвержденный райземотделом. Тут прямо написано: «Лошади, списанные по причине остроинфекционных заболеваний, подлежат расстрелу». Читайте.

— Ничего я читать не буду, — хмуро, но спокойно сказал Денисов, — и не нужно тыкать мне указания райземотдела. Надо иметь свою голову на плечах. Эти лошади три года трудились на стройке плотины, а ты их приговариваешь к расстрелу. Ты понимаешь политическую суть вопроса?

У фельдшера от испуга отвисла челюсть. Машинально зажав портфель между ног, он снял очки, стал зачем-то усердно протирать их, растерянно и близоруко щурясь.

— А как же... А что же написать?

Члены комиссии озадаченно молчали: каждый понимал — парторг сказал истинную правду. Но как быть в таком случае с больными лошадьми? Ведь необходимо законное основание, а им может быть только акт. Евсей Корытин боком подошел к ветеринару, покосился цыганским своим глазом на акт, хмыкнул, дескать, думайте или решайте, а дело все равно сделано.

— Возьми да напиши: «подлежат уничтожению». Например путем отравления ядом. И дело с концом.

— Лошадей не травят, — раздраженно сказал фельдшер. — Это не какие-нибудь собаки. Лошадей только расстреливают.

Слово неожиданно попросил дед Спиридон, включенный в комиссию как бывший кадровый работник конного двора — знаток лошадей и шорник. Подошел поближе к парторгу, надавил на свою «говорильную кнопку».

— Зазря спорите, люди добрые. Ей-бо, зазря! — Спиридон пощупал акт в руках ветеринара, потер меж пальцами, как новенький рубль. — Бумага хорошая, умная. Только жалости в ней нет, вот незадача.

— Это тебе не больничный лист. — Ветеринар ревниво высвободил акт из заскорузлых пальцев Спиридона. — Это официальный документ.

— Вот, вот, я и говорю. Вы бы допрежь того как энту бумагу писать, у людей спросили: а кто стрелять будет? Ведь не найдете нипочем. Да я, слышь-ка, за тыщу рублей лошадь застрелить не соглашусь.

— Чепуху мелешь, дед! — солидно вмешался Корытин. — Желающих будет сколько угодно, ежели заплатить. Вон те же конюхи и возчики возьмутся.

— А ты их спроси, спроси? — кряхтел, подначивал Спиридон. — Как торкнешься, так и трекнешься.

Корытин вопросительно поглядел на парторга: может, сходить к мужикам, поговорить? Денисов не возражал, хотя предложение старика шорника не имело существенного значения — главное-то все равно еще не решено.

И только когда Корытин вразвалку направился к возчикам, он вдруг почувствовал сильное беспокойствие и понял серьезность ситуации. Комиссия тоже приумолкла в ожидании: найдется или не найдется человек, способный застрелить полтора десятка лошадей? Нет, это был не праздный интерес...

Конечно, как ни говори, а конь — та же домашняя скотина, вроде овцы или коровы. Ведь на что корова близка крестьянину — и кормилица, и поилица, а режут на мясо.

И все-таки конь есть конь — далеко не каждый осмелится поднять на него руку...

Ну да — так оно и есть: отказываются наотрез, машут руками, отплевываются. Хотя нет, предложения, кажется, не оправдались: какой-то белоголовый парень в сиреневой майке перемахнул через прясло, и вот вдвоем с Корытиным они уже шагают к ним. Кто такой выискался?

— Гошка Полторанин! — с досадой прошипел дед Спиридон. — Ну этот и тетку родную на сучок вздернет, отпетый обормот.

Корытин подвел парня к комиссии, почесал пятерней бороду, буркнул:

— Вот привел.

— Нашелся-таки Федот. — Денисов неприязненно, но с любопытством оглядывал щеголеватого парня: модная футболка, плисовые штаны с напуском, ухарская гармошка на сапогах. Прямо-таки деревенский фраер-муха.

— Федот, да не тот, — опять глухо, в бороду сказал Корытин. — Он, видите ли, заявление имеет. Ну говори, чего зенки таращишь! — Корытин подтолкнул возчика в спину, но тот лишь качнулся — стоял крепко, с места не шагнул.

— Вы меня не пихайте, — огрызнулся парень. — И вообще, грубость есть пережиток капитализма. А молодежь надо воспитывать добротой и лаской, а также пламенным словом. Правильно я говорю, товарищ Денисов?

— Ну, ну, — усмехнулся тот. — Ты дело говори, не ерничай. И руки из кармана вынь.

Волосы у парня были удивительно белые, даже казалось, какого-то неестественного, неживого цвета. Будто пук пряжи, вымоченной в известке. Уж не химичит ли, подумал Денисов. Они ведь сейчас и завивку, и окраску делают. Вон дочка накурчавилась под барана на целых шесть месяцев.

— Давай высказывай, мы тебя слушаем.

— Один момент, сперва обмозговать формулировку надо. — Полторанин картинно дрыгал ногой и морщил лоб, изображая «работу мысли». Откровенно рисовался, наглец. Потом поплевал на пальцы, пригладил соломенный чубчик-челку и начал со счета: — Заявляю первое: этих лошадей убивать не имеете права. Их надо лечить. Заявляю второе: ежели лошадей убьете, напишу в Москву справедливую жалобу лично товарищу Ворошилову. И третье: отдайте всех этих лошадей мне. В просьбе прошу не отказать. Все.

Посмеиваясь и по-прежнему дрыгая ногой, Гошка обвел взглядом членов комиссии, дескать, ну что, выкусили? Пожалуй, особенно его забавлял дед Спиридон, сидевший с разинутым от изумления щербатым ртом.

— Балаболка худая! — раздраженно сплюнул Корытин. — Из-под какого шестка такой герой выскочил? И еще пугает. Валяй-ка отсюда на полусогнутых и не разыгрывай дурачка, Полторанин! Не твоего ума дело.

— Хамство не украшает большого руководителя! — громко сказал Гошка и сделал оскорбленную рожу.

— Чего-о?! — взъярился Корытин, грудью попер на возчика. — Ты как разговариваешь с нами, молокосос?

Пришлось вмешиваться, успокаивать Денисову.

— Хватит! — Он поднялся со стула, с трудом распрямляя затекшую поясницу. Закашлялся, потом спокойно обратился к Гошке: — Зачем тебе кони, Полторанин? Что будешь делать с ними?

— Лечить.— Парень пожал плечами.— Что еще с ними делать? Отдадите, погоню табун к деду Липату на Старое Зимовье — он травы знает. Пущай отдохнут, нагуляются на воле. А потом возверну их вам. Рысаками верну.

— Болтаешь, балагуришь? — усомнился Денисов.

— Не, я на полном серьезе.

— А ежели загубишь лошадей?

— Так они же все равно к смерти приговоренные. Вам же лучше — не стрелять. Да вы не бойтесь, все будет в норме. Сказал: поставлю коней на ноги. Может, забожиться по-ростовски?

Гошка, конечно, куражился — это видели и понимали все. Однако понимали и другое: парень, при всей своей несерьезности и бесшабашности, предлагает единственно разумный выход. Даже фельдшер Грипась не пытался возражать, тем более что с него лично снималась значительная доля ответственности. Хотя он мог, имел полное право не разрешить: инфекция...

— А с работой как? — с насмешкой спросил Корытин. — Поди немедля уволишься?

— Уж это никак нет! — присвистнул Гошка. — Увольнять меня закон не разрешит. Беру лошадей только с сохранением оклада-жалованья. А как же: я не для себя, для государства стараться буду. Надо помнить, граждане-товарищи.

— Ладно, Полторанин, — сказал парторг Денисов. — Бери лошадей. Попробуй, а мы постараемся помочь. Что тебе потребуется?

— Да ничего! — рассмеялся Гошка. — Давайте мне моего Кумека да инвентарь положенный.

Он небрежно бросил на плечо пиджак и, дымя папиросой, направился в дальнюю конюшню седлать своего мерина. Члены комиссии молча проводили его взглядами, переглянулись: парень, как ни крути, прав. На все сто процентов.

7

Коз в Черемше не было — проку от них мало, к тому же большинство хозяев держали коров. А козел был —

единственный в селе, беспутный бродяга и алкоголик. Звали его Ромкой.

В черемшанское высокогорье Ромка попал случайно, крохотным пушистым козленком, которого привезла с собой жена бывшего начальника строительства Петухова — большая любительница всякой живности. Через год она уехала (здешний климат оказался вредным для ее здоровья), а козленка бросила, оставила в рябиновом палисаднике коттеджа. Инженер Петухов сутками невылазно торчал на стройке, ему было не до экзотического козла, крайне избалованного, привыкшего по утрам жрать шоколад. Он попросту отделался от козла, сплавив его на конный двор, на руки услужливому Евсею Корытину.

Так Ромка стал ничейным, общественным козлом.

Очень скоро он забыл про шоколад, жизнь приучила его к овсу, жесткому сену и черствой корочке хлеба. А мужики-возчики приучили к водке: уже к осени Ромка запросто выпивал четвертинку, которую под дружный гогот ему вливал в горло кто-нибудь из возчиков. Потом, оправдывая свое происхождение и породу, он начинал козлить: брыкаться, бодаться, мекать, всячески куражиться, как и подобает пьяному козлу, на потеху не менее пьяным возчикам и конюхам.

По субботним дням, когда обычно приходил очередной обоз снизу, из города, Ромка уже с утра делался крайне беспокойным, назойливым и агрессивным. Он являлся к открытию сельмага ровно к восьми, занимал свою привычную позицию справа от крыльца и, не моргая, следил дерзкими ореховыми глазами за каждым покупателем: его интересовали водка и сладости. Насчет выпивки тут редко везло, зато перепадали леденцы, кусочки сахара или жгутики слайки — вяленой бухарской дыни, которую Ромка любил до умопомрачения. С козлом предпочитали не связываться, давали ему, если просит, кидали какую-нибудь подачку. Ромка отказов не терпел, нахально бежал рядом и мекал, а то, разозлившись, случалось, давал под зад — рога у него были хоть и ломаные, но довольно крепкие.

В очередную субботу Ромке не особенно везло, солидных покупателей не видно, так — одна мелюзга. Ребятишки-пацаны, забегавшие, чтобы истратить заповедные копейки на хлебный мякиш для приманки гальянов, а то и на пачку папирос. Ежели кто из них и дразнил кусочком рафинада, Ромка не реагировал — этих стрекулистов не просто догнать.

И вдруг Ромка тревожно поскреб копытом и принял боевую стойку: из дверей магазина показалась огромная дебелая женщина в черно-оранжевом платье, обвешанная сумками с разнообразной снедью. Козел потянул носом и удовлетворительно мекнул: он уловил знакомые соблазнительные запахи.

Бродяга бросился к крыльцу, преградил дорогу и просительно склонил свою грязно-белую голову. Однако покупательница через кульки и пакеты, прижатые к пышной груди, презрительно поглядела на странного попрошайку и прошла мимо. Тогда Ромка забежал вперед и снова появился на пути, на этот раз — с угрожающим меканьем.

Он неожиданно получил такой пинок, что перевернулся, отлетел к обочине. А покупательница пошла по дороге, и могучие ее бедра колыхались, обтянутые сатином тигриной расцветки, словно предупреждая: сильный опасен. Впрочем, это только еще больше разозлило козла, он разбежался и пошел на таран, с яростью направив рога в пухлый полосатый полукруг...

Удар был потрясающий — Ромка сам, как мячик, отлетел назад, а покупательница всей своей монументальной мощью шлепнулась оземь, прямо посередине пыльной улицы. Посыпались ириски, карамельки, пшено и макароны, полилось из бидона пахучее подсолнечное масло. Козел же кинулся к слайке, отлетевшей далеко в сторону.

Несколько минут, ползая на карачках, покупательница собирала рассыпанное добро. Она решительно отказалась от помощи пацанов, галдевших на обочине (половина конфет могла бы запросто оказаться у них за пазухами).

Наконец выпрямившись, красная от натуги, она подняла над головой увесистый кулак и сказала басом:

— Ну погодите, чертовы скобари, окаянные сермяжники! Я вам покажу вместе с вашим вонючим козлом!

Угроза прозвучала очень серьезно, потому что пострадавшая дама была не кто иная, как Леокардия Леопольдовна — хозяйка дома, экономка самого начальника строительства товарища Шилова.

Уже к вечеру вся Черемша знала о скандальном происшествии, и все понимали, что на этот раз над беспризорным непутевым козлом нависла реальная опасность: начальник Шилов мог запросто отправить Ромку в котел орсовской столовой (уже не говоря о том, что Ромка, если

разобраться, принадлежал ему лично как собственность бывшего начальника стройки).

Прибывшие с обозом возчики, жалеючи, напоили Ромку до беспамятства, до положения «рога в землю», а потом возбужденной гурьбой отправились к завкону Корытину: «Ни в коем разе не дадим в обиду любимого общественного козла!»

Пришлось Корытину покупать в буфете бутылку дорогого коньяку и идти вечером на мировую к начальнику строительства.

Городок ИТР располагался в километре от Черемши, вверх по Шульбе, в живописном логу, поросшем старым пихтачом. Дом Шилова — один из восьми коттеджей, стоял у самого въезда в городок, слева под скалой, и от других отличался двухэтажным своим видом, да еще, пожалуй, крышей — она была застлана не шифером, а лиственной щепой, сохранившей янтарную древесную свежесть.

За штакетником бесновался здоровенный кобель — помесь немецкой овчарки с местной лайкой, — сочетавший в себе все истинно собачьи лютости. Кобель метался по проволоке, привязанной вдоль забора, проволока визжала, вжикала, будто там, за кустами раскидистой рябины, точили на ремне огромную бритву. «Не то что мой Брелок, — с уважением подумал Корытин. — Ластится к каждому кержаку, облизывает бутыла — деготь, дурак, любит. Ну так мой зато первостатейный охотник».

Когда наконец кобеля уняли (дородная экономка пинками загнала его в собачью будку), Корытин толкнул калитку и увидел на крыльце хозяина: скрестив на груди руки, Шилов с вежливым интересом наблюдал за неожиданным гостем. В углу рта попыхивала дорогая папироса, таинственно блестели в сумерках золотые запонки на манжетах. С крыльца он не спустился, молча смотрел, пока Корытин шел по дорожке, усыпанной речной галькой, — только перебросил во рту папиросу. На приветствие не ответил, а сказал с некоторой странной многозначительностью:

— Стало быть, сам пришел. Это даже лучше...

«Видать, здорово обиделся за этого треклятого козла, — смекнул Корытин. — Никакая она ему не экономка, а, скорее всего, сожительница: стал бы он за простую домработницу обострять отношения. Как же...»

Уже в просторной прихожей Корытин с волнением

ощутил запах достатка и изощренного уюта — аромат добропорядочной, обеспеченной квартиры, жадно потянул носом, зажмурился, на мгновение вспомнив былое: когда-то и его по вечерам встречал такой же устойчивый запах крепкого семейного очага. Запах надушенных меховых воротников, добротной кожи и сладковатый угар изысканной кухни...

Экономка без лишних слов, сопя бросила ему домашние суконные тапочки, а Шилов молча повел по коридору. Миновали одну дверь, вторую, прошли через обширную гостиную («Эка они тут устроились! Прямо хоромы. На двоих-то!») и оттуда вошли в квадратный кабинет.

— Ну что ж, располагайтесь, — сказал Шилов, усаживаясь на диван. — Гостем будете, Елисей Исаевич.

Корытин неожиданно вздрогнул от этих слов, приподнялся, потом снова сел на диван. Натуженно прокашлялся, поправил:

— Евсей Исаевич...

— Разве? — Шилов усмехнулся, протянул руку, включил настенное бра. — Ну как вам будет угодно.

Минуту длилось молчание. Корытин чувствовал, как пристально и с непонятной ухмылкой начальник строительства разглядывает его — острым, цепким, режущим взглядом, словно раздевает до наготы, обшелушивает, как спелую луковицу. Он переживал явное смятение, внутреннюю растерянность под этим взглядом — такое с ним давненько не случалось...

— Я, стало быть, с мировой, Викентий Федорович... — Корытин выставил на стол нагретую в кармане бутылку. — Вот с коньячком прибыл. По поводу разбойного поведения нашего козла. Предлагаю выпить и забыть с миром.

— Какого еще козла? Что вы несете? — раздраженно спросил Шилов.

— Ну нашего, с конного двора. Он сегодня поутру сбил с ног уважаемую Леокардию Леопольдовну. Вы разве не знаете?

— Первый раз слышу.

— Ну как же! Это целое происшествие.

Подробно и с возможным юмором Корытин стал пересказывать уличный инцидент. Шилов слушал рассеянно, поочередно оттягивая пальцами красные подтяжки, щелкая ими по животу, а к концу рассказа все-таки расхохотался. Переспросил:

— Прямо под зад? Хотел бы я это видеть! Толстая, жадная дура. Вечно с ней происходят неприятности... Так вы, значит, за этим и пришли?

— А как же, Викентий Федорович! С извинениями.

Шилов расхохотался еще громче. Поиграл-пострелял подтяжками.

— Вот теперь я узнаю вас, Елисей Исаевич. Именно таким мне вас и рекомендовали.

Корытин обеспокоенно вскочил, оглядываясь, поерошил бороду. Лицо его выражало крайнюю нерешительность: он не знал — возмущаться ему или остерегаться? Он боялся этого человека с пристально-стеклянным взглядом, с его дурацкими щелкающими подтяжками. Кто он и на что намекает?

— Повторяю еще раз — Евсей Исаевич. Вы меня путаете с кем-то. И вообще, кто это и каким именно образом мог меня рекомендовать?

— Рекомендовали трусливым. Ваши друзья, — спокойно сказал Шилов.

Завкон насупился, в раздумье пожевал губами, потом взял со стола бутылку и направился к двери.

— В таком случае я ухожу. Ваши намеки не имеют ко мне никакого отношения. До свидания!

Быстрым прыжком Шилов перехватил его у порога, сказал тихим голосом:

— Вернитесь на место, Коровин! Да, да, Елисей Коровин, а не Евсей Корытин! Не делайте глупый вид и обойдемся без истерик. Я вам друг и знаю о вас все. Садитесь и давайте сюда коньяк. Будем пить и будем беседовать по душам. Прошу!

Они вернулись на диван, сели рядом, как сидели раньше, и долго молчали, тяжело и трудно дыша, словно после долгого бега. Затем завкон осмысленным взглядом оглядел гладкоструганые бревенчатые стены, плотно занавешенное окно, письменный стол, на котором не было ничего лишнего: оглядел оценивающе, не спеша, как человек, попавший в западню и убеждающийся в ее прочности. Погладил стоящую рядом у стены громоздкую полированную радиолу, на стеклянной панели которой были четко выписаны рабочие волны европейских столиц.

— Намучились с ней мои возчики, — вздохнул Корытин. — Везли с максимальной осторожностью. Я лично контролировал. Ну как она, работает? Все оказалось в исправности?

— Кое-что перетрясли, — пожал плечами инженер, достал из коробки новую папиросу, закурил. — Я сам подремонтировал.

Завкон поморщился, отгоняя от лица назойливый табачный дым.

— Вы бы хоть курили поменьше, Викентий Федорович! Ей-богу, терпеть не могу табачище. Прямо с души воротит!

— Уважая, уважить не могу, как говорил один мой приятель, — сухо усмехнулся Шилов, опять стеклянно блеснув глазами. — К сожалению, вам придется терпеть. Тем более что хозяин здесь я.

— Хозяин положения? — прищурился Корытин.

— Если хотите, и так. — Шилов прошел к столу, достал из тумбы хрустальные рюмки, налил коньяку. — Ну что ж, давайте выпьем наконец. За ваш визит и за ваше извинение, которое я охотно принимаю. А также за нашего дерзкого козла, за его здоровье.

Выпили по-разному: Шилов по-русски, единым залпом, опрокинул коньяк в рот. Корытин смаковал половинки, облизывая губы и пришептывая от удовольствия. В глазах у него появился обычный упрямый блеск, эдакий настырный цыганский чертенок.

— Вы напрасно изволите торжествовать, Викентий Федорович. — Корытин двумя руками, по-кержацки, степенно оправил пышную бороду. — То, что вы знаете истинную мою фамилию, ровно ничего не значит. Я не так прост, как вам кажется. Меня за хвост не ухватишь, а тем более не прижмешь. Я воробей стреляный.

— Да уж куда нам! — хохотнул Шилов, разрезая на дольки старый сморщенный лимон. — Состязаться с бывшим военным следователем не могу — это бесперспективно. Вы ведь были следователем при Особом отделе симбирского Временного правительства в Омске и имели звание ротмистра? Не так ли?

— Допустим. — Корытин судорожно глотнул. — Что же дальше?

— А дальше служба в полку «черных гусар» у атамана Анненкова. Там вас именовали «брат есаул», как командира карательной сотни. Надеюсь, вы помните деревню Верниберезовку, которая была сожжена дотла, а жители расстреляны вплоть до грудного ребенка?

Корытин взял бутылку, разлил по полной и, не чокаясь, выпил свою рюмку одним глотком, как это сделал недавно Шилов. Долго сосал лимон, морщился.

— Дела давно минувших дней... К чему вы это?

— А к тому, что с этого дня вы пристегнуты ко мне, прочным ремешком к моей правой руке. Точнее сказать, пристегнуты стальным наручником. Помните, были в жандармерии такие двойные наручники, для двух человек, чтобы рука к руке? Как следователь, вы имели их в обиходе.

— Провокация? — Корытин вскочил с дивана, пошагал по комнате, приоткрыл-проверил дверь. — Как вас понимать, товарищ начальник строительства?

— Так и понимать — в прямом смысле. Садитесь и слушайте. Запомните несколько неуклонных заповедей. Первое — ни одного шага без моего ведома, без моего приказа. Второе — полная лояльность к властям, что, впрочем, вы и делаете. И третье — прекратить дурацкую самодеятельность, эти блошиные укусы, которые только возбуждают подозрительность и не дают ощутимых результатов.

— Что вы имеете в виду?

— Ну хотя бы эту историю с сапными лошадьми. Ведь это ваша работа?

— Не понимаю вас, Викентий Федорович...

— Бросьте придуриваться, Корытин! Я уверен: сап организовали вы. И я вас предупреждаю в ваших же интересах.

— Если уж говорить честно — не было там никакого сапа. Просто обыкновенный мор, ну иногда стекло толченое подсыпали в кормушки.

— Подсыпали? Значит, кто-то участвовал еще?

— Да, кажется, конюх Савоськин, из бывших кулаков...

— Юлите? Ну черт с вами. Но имейте в виду, вы можете погореть из-за этого вашего Савоськина. Кстати, а что произошло с экскаватором, вы не в курсе этой истории?

— Помилуйте, Викентий Федорович! За кого вы меня принимаете?

Завкон потянулся было к бутылке, чтобы еще раз наполнить рюмки, однако Шилов бесцеремонно отодвинул коньяк на край стола, к окну, потом передумал и вовсе убрал в тумбу, которую закрыл на ключ.

— Излишнее спиртное мешает деловому разговору, — сказал Шилов, посмеиваясь холодно-синеватыми щелочками глаз. Он опять поиграл на помочах никелированными пряжками, походил по комнате энергичным пружинистым шагом и щелкнул переключателем радиолы. Приемник зашуршал, легко потрещал, вспыхнул зеленоглазой панелью: полилась тихая, баюкающая и печальная музыка, наполняя комнату осязаемой торжественной грустью.

— Берлин... — вздохнул Шилов. — Великий Вагнер — чародей вечной гармонии... Вы любите музыку, Корытин?

— Лишен, начисто лишен сего удовольствия. — Корытина забавлял и немножко злил нарочито начальственный тон инженера. Вон гляди-ка, даже обращается сугубо по фамилии, хотя отлично знает имя-отчество. Придется подыгрывать, очевидно, на равной ноге дело не пойдет. — Музыка понятна натурам глубоким, эмоциональным. Мы же грубы; нам, грешным, не дано. Вроде древнеегипетского языка.

— Не прибедняйтесь, не ерничайте, Корытин. — Шилов усмехнулся криво, пренебрежительно. — Вы когда-то посещали музыкальные классы, учились играть на флейте — я хорошо знаю вашу биографию. Я также знаю, что вы всегда грешили опрометчивостью, неумением предвидеть. И потому кое-что делали наобум, глупо, по-дурацки. За что после расплачивались. Этот ваш недостаток проявился и здесь, в Черемше. Надо признать, что вы действовали как мелкотравчатый уголовник, перли напролом, не думая о последствиях. Вы поставили себя в пиковое положение, выставив ослиные уши, за которые может ухватиться первый же чекист.

— Вы так думаете? — Корытин поерзал, нервно пощипал бороду.

— Уверен. Нам с вами придется немало потрудиться, чтобы замести ваши грязные следы. Ваши следы, понимаете?

— Понимаю...

— А начинать надо с этого... как его? Севастьянова.

— Савоськина.

— Вот именно. С него. Савоськина следует немедленно убрать, имея в виду скорый приезд следственной комиссии из города. Они сразу же потянут за эту ниточку.

— Убрать? — искренне удивился Корытин. — Каким образом?

— Ай-ай-ай! — рассмеялся инженер, сел рядом на диван и хлопнул Корытина по плечу. — Какая наивность! И такие вопросы задает бывший командир карательной сотни. Уму непостижимо!

Да, вопрос был действительно наивным — Корытин это тоже понимал. Но он задал его машинально, не думая, потому что мысли были заняты совсем другим. Он размышлял весь этот сумасшедший, сногсшибательный вечер, раздумывал о странном человеке, каким вдруг оказался начальник строительства, о его всевидении и всезнании, о возможных истоках его подозрительной информированности, наконец, о том, можно ли верить услышанному и полагаться на слова — убийственно-убедительные, пугающе-откровенные, но все-таки слова, пустые и нематериальные? А есть ли хоть какая-нибудь реальная гарантия того, что он, бывший кадровый офицер, ревнитель монархии, снова встает на истинно верный, надежный и честный путь борьбы за великие неутраченные идеалы белой России, или это опять зыбкие качели политического авантюризма, неопределенного цвета и не весьма приличного запаха?

— Вы что, совсем обалдели? — раздраженно ответил Шилов, когда услыхал этот вопрос. — Какие, к дьяволу, еще нужны вам гарантии, когда я и те кто стоят за мной держим вас, отпетого белогвардейца, за горло? У нас с вами общие цели, значит, бороться надо вместе.

— За что?

— Не за что, а против кого! Враг у нас один — стало быть, все правильно. А будущее само по себе распределит наши роли. Загадывать не надо — это плохая примета.

Евсей Корытин ежился, сопел от ярости, мял в кулаке бороду — давно он, сам привыкший хамить и грубиянить, не слыхивал в свой адрес столь обидных унизительных слов. И вместе со злостью — он явно ощущал это, закипала, жаркими толчками в крови всплескивалась, нарастала радость: наконец-то после стольких лет позорного прозябания, непристойного и унизительного притворства, он, офицер, ценивший и любивший повиновение, услыхал жесткий, полный звенящей воли и решительности, истинно командирский голос. Слава те господи.

— А какова наша цель, Викентий Федорович? Ближайшая задача наших действий здесь?

— А вот этого я вам не скажу, Корытин. — Шилов вышел на середину комнаты, вздернул подбородок, неистово

чадил папиросой, перебрасывая ее из одного угла рта в другой. — Вам сие не положено знать. Но могу заверить, что это будет не игрушечная акция с несчастными забитыми лошадьми. Это будет стоящее дело с размахом и эффектом. А пока ждите и не рыпайтесь. Поняли меня?

— Да уж как не понять! — Корытин в возбуждении развел свои мускулистые руки-клешни. — Снова вспомню боевой девиз братьев-анненковцев: «С богом — вперед!» Сейчас самый раз и выпить бы за него.

— За анненковский девиз пить не буду, — резко сказал Шилов, — а вот за наше с вами начало следует, пожалуй, выпить. Так оно полагается: «за успех предприятия».

Он достал недопитую бутылку, налил себе рюмку, а остальное — в граненый стакан, который взял с окна и подставил Корытину. Крякнули, переглянулись и подумали о будущем: оно теперь у них было одно, общее. Впрочем, общее ли...

Когда Корытин переобувался в прихожей, натягивал яловые охотничьи сапоги, за стенкой слышался могучий утробный храп — экономка досматривала первый сон. Он вспомнил шалопутного Ромку, удивленно покачал головой: надо же, такой невзрачный шельмец сковырнул здоровенную тетку под хорошенький полновесный центнер! Прощаясь, про себя пожалел инженера Шилова, посочувствовал: экая оказия спать с бабой-паровозом!

8

Звонарица Агашка, помнится, бывало, поучала Фроську: «Ты в мир не ходи — в миру правды нет. А коли пойдешь, рот не разевай: каждый тебя облапошить горазд. Никому не верь, токмо на себя надейся, на бога уповай».

Ну, это Фроська и без нее знала. И еще знала главное: нельзя раскрывать душу перед чужими людьми, нельзя изливать сокровенное, как иные глупые болтливые бабы. Оно все равно что дверь в избу перед жуликами распахнуть — уволокут добро. Болтливых жалеют, но никогда не уважают.

Комендантша рабочего общежития завела Фроську в свою каморку, поила чаем, выспрашивала: кто такая, откуда появилась, куда устроилась? Фроська прихлебывала

чай, дула на блюдце, помалкивала, только и сказала что имя да фамилию. Комендантша, однако, не обиделась, жалеючи промолвила: «Сколько нынче вас из тайги-то повылазило — убогих да недоделанных!» — и стала выдавать постельные принадлежности.

Место для Фроськи она определила в самом дальнем углу, у фанерной перегородки, за которой, пояснила комендантша, располагается семейная половина барака: они там живут попарно в клетушках — семиметровках. «Конечно, ночами-то слышно бывает, — сказала комендантша. — Только нашим девкам некогда прислушиваться: наработаются за день на стройке, потом еще до полночи на гулянке прошлындают. Придут, брякнутся в постель и до утра».

— Грязно тут у вас, — сказала Фроська, садясь на отведенный ей скрипучий топчан. — И клопы, поди, есть?

— Есть, а как же. Клопы, они завсегда при дереве живут. А что грязно, так сами виноваты. Неряхи девки, упаси господь. Разве ж одна уборщица намоется на всех?

«У самой-то в кладовке что в коровнике, — подумала Фроська, вспомнив недавнее чаепитие. На полу грязь наросла коростой, посуда замызганная. И кошатиной разит, как в норе какой-нибудь: трех котов держит, старая перечница. Нашто они ей?»

Фроська нашла в бытовке ведро, тряпку, промыла и насухо протерла топчан, потом подумала, разулась и принялась мыть пол на всем проходе барака, скоблила и терла веником-голиком до самого вечера. Для просушки распахнула двери: в лучах закатного солнца мытые лиственные плахи курились парком, пахли чистотой, блестели, как навощенные. На крыльцо и в сенцы Фроська наломала охапку пихтового лапника, а себе под матрац положила полынь-травы — для сонного духа, да и чтобы клопов, блох отгонять тоже.

Комендантша «маялась поясницей», а на самом деле полдня, запершись, проспала в своей каморке — Фроська слышала, как она похрапывала, простуженно сипела носом. Когда явились с работы девки, Фроська, заголив подол, домывала нижнюю последнюю ступеньку крыльца.

Размахивая веником, никого не пускала в барак, требуя снять грязную рабочую обувь. Девки напирали, горланили, ругались: многие торопились переодеться да поспеть в клуб, там сегодня крутили новое кино «Ущелье аламасов».

— Скидывай обувку! — кричала Фроська. — Вы, паразитки, небось в свою-то избу не потащите грязь. А сюда можно?

— Кто приказал? — шумели девки.

— Комендантша, — соврала Фроська.

Принялись барабанить в окно комендантши. Та проснулась, испуганно выскочила в коридор, увидала выскобленные полы, пихтовый лапник, мигом сообразила и стала собирать у топчанов и выбрасывать в окна домашние тапочки. У кого тапочек не оказалось, тех Фроська пропускала только босиком: ничего, теперь лето — простуда не схватит.

Уже когда в барак прошли все девки, на крыльце возле Фроськи задержалась последняя — рослая, ладно и крепко сбитая, в полинялой майке-футболке, под которой рельефно угадывался тугой лифчик. Виделось в ней нечто размашистое, мужичье, да и стрижена вроде бы под парня — на затылке рыжеватые волосы срезаны аккуратным уступом. Она рассматривала Фроську пристально, чуть насмешливо, поставив на ступеньку ногу в закатанной штанине.

— Новенькая?

— А то не видишь. Новенькая.

— Уборщица?

— Не. На плотину устроилась.

— Откуда сама-то?

— Откуда надо. К примеру, с кудыкиной горы.

— Ишь ты! Сердитая какая! — усмехнулась рыжеволосая, не спеша поднялась на крыльцо. Оттуда еще раз — со спины — уважительно оглядела Фроську. — Гарная у тебя коса, прямо роскошная! Однако придется тебе ее срезать, иначе намучаешься. Ради той же самой гигиены.

— Чего, чего? — Фроська обернулась, зло прищурилась, показала фигу. — На-кась, выкуси! Буду я косу резать ради вашей гигиены! Чего захотела. Мыться надо почаще, а то вы тут, я гляжу, все дерьмом поросли.

Рыжеволосая не обиделась — расхохоталась. Смех у нее был приятный — легкий, соблазнительный, какой и у других непременно вызывает улыбку. Искренность, доброта явно исходила от этой статной грудастой молодухи.

— Слушай, — сказала она, опускаясь на ступеньку ниже, — иди ко мне в бригаду?

— А ты кто такая?

— Я — бригадир бетонщиц Оксана Третьяк. У меня одни девчата-харьковчанки, с Украины. Так пойдешь?

— Подумаю... — степенно сказала Фроська.

— Ну, думай, думай. А вообще, ты мне нравишься: люблю колючих.

Бригадирша убежала в барак, а Фроська только потом сообразила, что ведь саму-то ее тоже определили в бетонщицы, поставили, как сказал кадровик, «на бетоно растворный узел». Уж не в бригаду ли к этой рыжухе? Зря не спросила... Ну-ин ладно, завтра поутру на стройке все одно выяснится.

В клуб на кинокартину Фроська не пошла, не хотелось в первый день на люди лезть. Да и не любила она кино, в Стрижной яме прошлым летом сходила как-то украдкой — сельские девки подговорили (мать Авдотья на успенье посылала их с покойной Ульяной-хроменькой на побирушки — собирать милостыню по дворам). Не понравилось, вовсе не приглянулось — целуются люди, в постель друг к дружке лазят, всякие непристойности вытворяют, а ты сидишь и вроде бы в дверную щель на чужую жизнь подглядываешь... И непонятного много: что-то написанное промелькнет, а прочитать, слово сложить не успеешь. Не то что псалтырь, где каждую буковку не спеша ногтем пометить можно.

Вечерний барак будто разворошенный муравейник. Девки шныряли по проходам, штопали, гладили, одеколонились, наводили румяна, чистили туфли, бегали в бытовку жарить картошку, кружками тащили кипяток из титана. За стеной ссорились семейные, на завалинке под окнами наяривала трехрядка. Фроська сидела на своем топчане, жевала зачерствелую шаньгу, жмурилась: от яркого электрического света, разноцветных тряпок, людского многоголосья у нее с непривычки мельтешило в глазах. «Ну базар, ну шабаш ведьминский! Это как жить-то тут при таком столповороте? Очумеешь».

Девки Фроську не трогали, не задевали, а ежели которая по надобности пробегала мимо, отворачивалась, пренебрежительно скривив губы. Им, видишь ли, Фроськины бутылы не понравились — дескать, дурно дегтем пахнут. А Фроське плевать — мало ли кто чем пахнет? Ей вот, к примеру, самой одеколон вонючий не по нутру, а терпит же, не кричит, не кривляется.

Одна вон тут — соседка, эдакая сыроежка-пигалица, давеча попробовала хвост подымать, уму-разуму учить,

ты такая, ты сякая, некультурная, да необразованная, бревно бревном. И вообще, полено с глазами, религиозным дурманом повитое. Сей же час убирай икону с тумбочки, а не то саму вместе с топчаном в окно выкинем. И ручищи тянет к иконе, это к пресвятой-то Параскевии!

Фроська дала ей по рукам и сказала: «Ежели еще раз сунешься, так врежу, что неделю плохие сны видеть будешь!» Убежала к комендантше жаловаться.

Ну и живут люди, ей-богу! Каждый каждого старается под себя переделать: будь таким, как я. А зачем, для какой надобности? Человеку естество его от природы дано, человек — сам по себе целый мир божий. А одинаковые люди, человеки-гривенники, кому они нужны?

Вот хотя бы девки — ведь разные все, а тоже, гляди, под одну Дуньку выряжаются. На всех косынки одинаковые, майки трикотажные, да и стрижены все на один манер, под мальчишку — «фокстрот» называется. Тошнотное однообразие Фроське и в ските опостылело, но там обряд, монастырский устав. Здесь, говорят, мода. Неужто и ей придется напоказ груди обтягивать, коленки голые выставлять, черным угольем брови мусолить?

«А пропади вы все пропадом! — Фроська рассерженно шмыгнула носом, втянула спертый барачный воздух, пахнущий пудрой, ваксой, жареной картошкой. — Уйду, ежели не понравится. Тайга-то большая...»

Из Фроськиного угла хорошо видна противоположная передняя половина барака — там раздавала клубные билеты грудастая Оксана своим харьковчанкам. У них в углу поинтереснее: на стене вышитые полотенца, картинки и большая разноцветная карта. Фроська еще днем ее разглядывала, да только мало что поняла. Карта показалась ей заманчивым окном в огромный мир, но окном смутным, полупрозрачным, через которое ничего толком не разберешь, вот как бывало через слюдяное окошко монастырской бани. Города обозначены, реки, моря и озера — велик и непонятен белый свет, во все стороны вокруг Черемши раскинулся...

А они, чернявые Оксанины девчата, оказывается, чуть ли не с края света сюда приехали. Из-под какого-то Харькова. Чудно получается... То ли им там туго жилось, то ли здесь рабочих рук не хватает? А может, женихов поискать в другие края подались? Да уж какие тут в Черемше женихи — шантрапа одна, голь перекатная...

Фроську дважды кликали до комендантши, но она и бровью не повела, лениво и мрачно дожевывала монастырскую шаньгу. Лишь после того как барак опустел и ватага девчат вместе с гармонистом прошествовала мимо окон в кино, Фроська поднялась, сняла с тумбочки, спрятала под подушку иконку и направилась к комендантше.

Та кормила котов ужином: каждому наливала в баночку парного молока.

— Непутевая ты, Фроська, — вздохнула комендантша. — Работящая, а непутевая.

— Какая есть, — сказала Фроська.

— Пошто дерешься-то?

— А я так живу: меня не трогай и я не трону.

— Кто тебя трогал?

— А та пигалица лупоглазая. Иконку почала лапать.

— Иконку? — сразу оживилась комендантша. — Какая иконка-то?

— Пресвятой Параскевы-пятницы.

— Да ты, никак, верующая, девонька? — Старуха торопливо взяла с подоконника очки, нацепила их и стала уважительно рассматривать Фроську. — В бога веруешь, моя хорошая?

— До этого никому дела нет! — сухо сказала Фроська, отпихивая кота, который вздумал тереться о ногу мордой, вымоченной в молоке. — Брысь, кашлатый!

Комендантша засуетилась, торопливо расчистила стол, заваленный всяким барахлом. Перед самоваром поставила уже знакомые Фроське замызганные чашки. Правда, в очках-то она разглядела наконец, какие они грязные и, охнув, бросилась за полотенцем.

Когда старуха сдернула со стены вафельное полотенце, у Фроськи удивленно обмерло сердце: под полотенцем, оказывается, висел телефон — аккуратная деревянная коробка с блестящими штучками — точно такой она видела утром в сельсовете!

— Да ты садись, садись! Чай-то с сахаром будешь пить али с вареньем? — тараторила комендантша, обхаживая Фроську, как какую-нибудь желанную гостью — близкую родственницу.

«Кержачка, — поняла Фроська. — Наверняка беспоповка-федосеевка. Здесь, в Черемше, у них и моленная была когда-то, а черемшанские мужики, помнится, бадьи с медом привозили в Авдотьину пустынь для даров. Не проговориться бы, что беглая монашка... Упаси господь!»

Отвечала односложно: дескать, верую — сама по себе и живу сама по себе. А что касательно общин кержацких, про то не ведаю. Теперь вот работать пошла, в люди выходить надобно — такая нынче жизнь.

— И то верно, моя хорошая, — поддакнула комендантша. — Твое дело известное, молодое. А что бога не забываешь, Ефросинья, — великая на тебя благодать сойдет со временем. Трудно будет, так я тебя с хорошими людьми сведу, однодумцами. Как пожелаешь.

— Нет, — мотнула головой Фроська, — этого не надо. Я же сказала: живу сама по себе.

— Ну как знаешь. Уж я-то всегда помогу, заместо матери родной стану. Зови меня Ипатьевной, слышь-ка.

— Ладно, — кивнула Фроська, наливая себе вторую чашку из самовара. — Мне покуда помощь не требуется. Вот только просьбу к тебе имею, Ипатьевна... Насчет коробки-телефона, стало быть. Поговорить по ней можно?

— А почему же — конечно, можно. — Старуха удивленно поджала губы. — А с кем говорить собираешься?

— Да есть тут сродственник... Дальний, по матери.

Фроська подошла к телефону, оглядела, осторожно сняла с крючка трубку с двумя блестящими чашками: внутри что-то тоненько звякнуло.

— Как с ней говорить-то, Ипатьевна? Растолкуй.

Комендантша показала: сперва крути вот эту ручку, опосля снимай трубку, прикладывай к уху и говори «але», чтобы, значит, тебя там услыхали. Ну, а дальше...

— Дальше я сама знаю. Спасибо! — нетерпеливо перебила Фроська, шмыгнула в затруднении носом. — Слышь-ка, Ипатьевна... У тебя вон, гляди, коты на двор просятся, двери скребут. Поди приспичило им?

— Да уж пойду прогуляюсь, — поняла намек комендантша, неодобрительно покачала головой: до чего ушлая девка! Набросила полушалок на плечи: — Ты полегче крути, не поломай машинку — я за нее головой в ответе.

Фроська с детства ненавидела кошек, когда-то ей, девчонке-батрачке, доводилось в драке отбирать у хозяйского кота лакомые куски со стола. Однако сейчас она, пожалуй, впервые в жизни с нежностью проводила взглядом торчащие у порога кошачьи хвосты. Тут же принялась крутить телефонную ручку.

— Але, але! — прокричала она в трубку, чувствуя, как быстро потеют пальцы, сжимающие гладкую деревяшку. — Але, я говорю!

— Коммутатор слушает. — Женский голос прозвучал сухо и равнодушно.

— Мне Вахромеев нужон. Который председатель сельсовета.

— Не кричите, я слышу. — Трубка зашелестела, два-три раза тренькнула и опять бесцветный голос: — Сельсовет не отвечает.

— Дайте мне Вахромеева! — упрямо, сердито повторила Фроська.

— Хорошо. Постараюсь найти.

«Вот то-то и оно, — отметила Фроська про себя. — С ними надо говорить построже, они все тут такое любят». Подумав, добавила в трубку:

— Ищи давай. Быстренько!

Вскоре трубка заговорила, и, к немалому удивлению, голос опять был женский, только другой — чуть дребезжащий и вроде бы заспанный.

— Квартира Вахромеева слушает.

— Квартира? — опешила Фроська.— А ты кто будешь?

— Я жена Вахромеева.

— Вот те раз... — Фроська отняла трубку от уха, поглядела на нее изумленно-испуганно. — Жена... Учительница, что ли?

— Она самая. Другой у него нет.

— Да уж конечно, — вздохнула Фроська, — так-то оно так...

— Ну говорите, что вам нужно? — с досадой и раздражением спросила жена. — Что ему передать?

— Ничего не надо передавать. Он где?

— Уехал на лесосеку и вернется поздно. Завтра с утра будет в сельсовете. Можете его там увидеть.

— Его-то я увижу... — в медленном раздумье, словно размышляя вслух, проговорила Фроська. — Да вот хотелось бы увидеть тебя, какая ты есть...

— Меня? — вскрикнула трубка. — Зачем? Кто это говорит?

— Да кто говорит — обыкновенная баба в юбке...

— Что за глупости? Что все это значит?

— Ладно, ладно, ты не кипятись. Я ведь так, про себя говорю — оставляй без внимания. Ложись-ка спать: утро вечера мудренее...

Фроська долго гуляла по ночной улице, сидела на камне у берега Шульбы, слушала глухое бормотание воды. Усмехаясь, вспоминала телефонную трубку: а ведь

напугалась учительница... Другой, говорит, жены у него нет. Ну, это еще поглядим...

На душе было легко, покойно-радостно и немножко стыдливо, словно она сделала нелегкое, очень необходимое дело, не совсем честно сделала, обманув кого-то при этом. Может быть, даже самое себя...

Один из котов Ипатьевны все время крутился рядом, терся о ногу, щекотал вздыбленным хвостом, игриво кусал суконные казенные тапочки. «Экий варнак! — подумала Фроська. — Противный, а ласковый. Надо будет завтра разглядеть, какой он из себя да кличку спросить у Ипатьевны».

Утром, собираясь на работу, Фроська долго не могла найти свои кержацкие бутылы. Видать, их выбросили или припрятали куда-то вернувшиеся поздно с гулянки девчата, из тех, которые не терпели дегтярного духа. Бутылы помог найти Фроське вчерашний друг — дымчатый кот с белым колечком на хвосте. Он повел Фроську по коридору во двор, спустился по ступенькам и ткнулся носом прямо в подкрылечные дверцы. Там, на старых метлах, и лежала просмоленная Фроськина обувка.

9

Вахромеев к Кержацкой пади подбирался давно, крепкий был орешек, с ходу не раскусишь, не угрызешь. С переселением он явно затянул, хотя решение на этот счет состоялось еще в прошлом году.

Кержацкая падь — проросток Черемши, давнее ее корневище. Тут первое семя проклюнулось, тут когда-то легли бревенчатые венцы первого кержацкого сруба. Именно здесь свил свое гнездо троеглазовский раскольничий скит, пришедший с низовьев Бухтармы, а уж потом, много позднее, появилось Приречье, понаехали скобари-переселенцы, прилепилось и новое название — Черемша.

Даже стройка с ее адскими машинами, сотнями пришлых рабочих, корежившиx заповедную Адамову землю, не очень-то встряхнула Кержацкую падь, может быть, только потревожила столетнюю медвежью спячку. Десятка три парней да с дюжину девок ушли-таки на строительство, соблазнились новой жизнью, «кином, вином да табаком», как говаривали-брюзжали старики.

Падь жила жизнью последней осажденной крепости, у которой уже качались башни и бастионы, опасливо тре-

щали бронированные ворота: новое неудержимо напирало со всех сторон.

Честно говоря, Вахромеев побаивался пади. Он вон даже на Авдотьиной пустыне обжегся. Из райисполкома прислали письмо (нажаловались!), в котором председателя журили и советовали впредь действовать осмотрительнее, «не преследовать граждан за религиозные убеждения». Рекомендовали также хорошенько изучить проект новой Конституции, он будет скоро опубликован в печати. Самому изучить и людям растолковать как следует.

Да, времена меняются. Помнится, военком эскадрона инструктировал их перед увольнением в запас: «Идите вперед смело и решительно, если надо, действуйте напролом. Помните: революция продолжается!»

Нет, с кержаками напролом не выйдет, настырный и завзятый народ. Потому и начинать приходилось издалека — с углежогов.

Артельщики-углежоги изумили Вахромеева: ни дать ни взять лесные черти, чумазые, прокопченные, пропахшие древесным дымом и горелой смолой. Они показывали ему чадящие, заваленные землей угольные ямы, в которых тлели сухие бревна, объясняли хитрости своего непростого дела, как запаливать и какой держать огонь, с какого боку ловить ветер-свежак и какая должна быть окончательная кондиция готового уголька.

Кузнечный уголь — это тебе не самоварная шелуха, потому как железо жар любит. Ты ему сперва подай солового хрусткого березнячка, а уж потом ядрено-черного листвяжного, а то и кедрового уголька — «едино для аспидного сугреву». А уж тогда куй-молоти на здоровье. Ежели потребуется, то пошевели, поработай мехами, сваривай железо. Почему бы нет при добротном-то уземистом угольке?

«Упрелую» готовую яму бригадир Устин Троеглазов определял по дыму: шумно тянул в огромные, заросшие седой щетиной ноздри, перекрестясь, говорил: «Эта сподобилась!» — и выпивал по такому случаю стакан картофельного самогону.

Ямы горели-шаили подолгу, днями, неделями, смотря, какие бревна и для какой надобности уголь. Артельщики не бездельничали, ладили берестяную утварь: туеса, котомки, ковши, плошки, короба. Теперь, когда после первых громов, таежное лето брало разбег и береза, отогнав

соки, бурно шла в лист,— наступало самое время берестяного свежевания. Береста шелушилась легко, стоило лишь сделать топором продольные насечки. И чулком тоже шла сподобисто: надо только хорошенько обстукать обушком вкруг спиленного ствола, обрезать по кругу — и готов тебе логушок для медовухи, приделывай днище.

Устинова продукция славилась в Черемше: емкая, ладная, украшенная узорами, которые он чеканил на бересте кренями-штампами, изготовленными из каменно-твердых вересковых корней. Берестяная посуда у кержачек нарасхват — ничего не прокиснет в ней, не проквасится, в любую жару родниковая вода стылой остается.

До поздней ночи пробыл Вахромеев у углежогов (там и заночевал), просидел подле Устинова пенька, на котором тот обстукивал, обрезал, изукрашивал берестяные листы, хитростно выпучивал, тачал к ним осиновые плашки-донышки. Уж больно рукодельный был мастер, казалось, непонятная чародейная сила пряталась в его корявых толстых пальцах, похожих на сучья столетней пихты.

Разговор у них шел осторожный, неторопливый, с оглядкой, с долгими паузами-отсидками. Будто оба они с разных сторон подбирались к токующему глухарю, часто затаивались, боясь обнаружить друг друга, а еще пуще боясь спугнуть того самого глухаря. Насчет свадебной драки председатель упомянул только для затравки (он и начал с этого: приехал, мол, разобраться). А потом стал исподволь прощупывать про Кержацкую падь. Дядька Устин был в общине давно отрезанным ломтем, но там с ним считались и авторитетом он пользовался непререкаемым.

Молчаливым, трудным на раскачку оказался артельный бригадир, но кое-что все-таки рассказал. И весьма существенное.

Однако и после этого Вахромеев не сразу поехал в Кержацкую падь. Подождал несколько дней, навел справки, посоветовался с парторгом Денисовым. А когда пришли газеты с проектом новой Конституции, сразу сообразил: теперь в самый раз! Причина веская поговорить с народом, да заодно растолковать мужикам-старообрядцам, какие они теперь есть граждане, что им дается-полагается и что от них обязательно требуется. По Главному закону.

Кержацкая падь начиналась сразу за мостом, влево от

поворота основной дороги. При въезде лежал огромный и гладкий, облизанный ветрами, камень-валун, неизвестно когда и как сюда попавший. Барсучий камень был своеобразной рубежной вехой, за которой располагалась территория кержацкой общины. Камень пестрел надписями, нацарапанными гвоздем, выведенными мелом, краской, а то и дегтем. Тут изощрялась в грамоте кержацкая ребятня, даже матерщина и та с ошибками.

Поджидая Павла Слетко — заместителя Денисова, Вахромеев перекуривал, от нечего делать читал надписи, посмеивался. «Школа кержачат за уши от бога оттаскивает, дома ревностные родители к псалтырю тянут за эти же самые уши... Как тут выдержишь, не заматюкаешься? Вот и достается Барсучьему камню».

Падь выглядела будничной приветливой деревенькой, по-вечернему хлопотливой. Но впечатление обманчивое: стоит лишь показаться чужому на чистом муравнике улицы, как все мгновенно изменится, уличная жизнь захлопнется, будто створки нечаянно тронутой раковины. Сразу померкнут веселые резные наличники, угрюмо-серыми сделаются затейливые крашеные палисадники. Из-за них — насупленные лица, недобрые взгляды, в которых немой вопрос: чево надо? И оголтелый собачий лай, какого не услышишь нигде в Черемше.

Собаки здесь особенные — лайка-троеглазовка, известная по всему Алтаю. Выводили ее десятилетиями, оттачивая звериный нрав. И по сей день бытует у кержаков безжалостно-трезвая отсевка: по осени ведут полугодовалые собачьи выводки в тайгу на медвежьи тропы, «гостевать к хозяину». Которые идут на медведя смело и злобно — тем жить; заскулила, попятилась, к бутылам прижалась — ту на поводок и к зиме на теплые охотничьи рукавички-мохнашки.

И к людям требования не менее суровые. Зато какая чистоплотность, ухоженность, хозяйская рачительность! В речку Кедровку ни одна соринка не упадет, не то что шульбинские берега в Черемше, вечно заваленные кучами коровьего навоза. Тут все работается миром: печки начинают топить как по команде в одно время, на покосы уходят все разом, зимой белковать в тайгу — артелью. Прямо тебе кержацкая рота, если к тому же учесть, что все они отменные стрелки-охотники.

Вахромеев, кстати, вспомнил наставление эскадронного военкома: «...уходите в запас не отдыхать, а гото-

вить к обороне людей, способных и умеющих воевать. Через пять лет за спиной каждого из вас должен быть, по меньшей мере, батальон обученных вами людей». Он на минуту представил в воинском строю бородатых кержаков в зипунах и бутылах и рассмеялся вслух.

— Ты чего это рыгочешь? — спросил подошедший сзади Слетко.— А, матюки изучаешь? От же паразиты, те пацюки. Оно три буквы выучит и уже лезет на заборе мировое хамство закарбувать. Взорвать треба цей поганый камень к чертовой матери!

— Наоборот, Павло,— сказал Вахромеев,— его надо сохранить для потомков, как памятник нашей культурной отсталости. Чтобы ученые не в земле искали, а сразу бы его углядели. Будут удивляться, когда расшифруют.

— Очи повылазят, як раздывляться на оци трехэтажны шматки! — хохотнул Слетко.— Ну темнота, эти кержаки, прямо стародавние скифы!

— А между прочим, они дельный народ,— серьезно сказал Вахромеев.— Я вот тут подумал: это же готовые бойцы. Каждый белку в глаз бьет не хуже ворошиловского стрелка.

— Ну так яка справа? Поведи их на стрельбище, хай сдадут нормы,— подначил Слетко.— Осоавиахим тебе грамоту пришлет.

— Не так-то просто к ним подступиться, Павло... Это тебе не на токарном станке шпиндель крутить. Колючие, варнаки...

— Шо вы с ними цакаетесь, як той дурень с глечиком? — раздраженно сказал Слетко.— И Денисов тоже мне каже: иди, Павло, агитируй за лошадей. А зачем? Хиба ты не можешь дать разнарядку — и хай им грець. Указание радянской власти!

Вахромеев давно знал и уважал Павла Слетко — харьковского специалиста-гидротурбинщика. Это он еще в первый год стройки сумел дать Черемше электрический ток, отремонтировав откуда-то привезенную изношенную шведскую турбину, настроив ее так, что карандаш стоймя поставишь — не шелохнется. Вот только горяч, норовист парень и фанатично упрям — настоящий «упэртый хохол». Вахромеев вчера уговаривал Денисова не посылать с ним «заводного» механика, но парторг настоял на своем — у него у самого тоже упрямства, пожалуй, на десятерых хватит.

— Понимаешь, Павло, разнарядками да указаниями здесь толку не добьешься. Ведь кержаки, они кто? Веками гонимые люди. Они, брат, научились приспосабливаться, их голой рукой не возьмешь. Ты думаешь, они тут живут так себе, цыганским табором? Обыкновенные единоличники? Ничего подобного — у них есть артель. Промысловая охотничья артель, зарегистрированная в районе, в промкооперации. Понял? И еще учти, что их защищает даже область. А как же? Они сдают пушнину, они дают государству валюту. В прошлом году заработали валюты столько, что хватило бы купить пять экскаваторов «Бьюсайрус», которые у нас имеются на стройке.

— Мабуть, они его и взорвали,— желчно сказал Слетко.

— Следователь разберется, кто взорвал. А гадать — пустое дело.

Слетко сердито мял в руке свою старенькую кожаную кепку. Носил он ее редко, вечно держал зажатой в кулаке, и если надевал — в цеху, у станка,— то обязательно козырьком назад.

— Так що получается, председатель? Мабуть, коней они не дадут?

— Могут не дать. По закону. Кони у них артельные, для охотничьих нужд. Надо просить, нажимать на сознательность.

— Тю, халепа! — Павло яростно шлепнул кепкой о ладонь.— Щоб я, потомственный пролетарий-гегемон, схилявся перед цими куркулями? Ни, не хочу. Не буду.

— Как знаешь,— пожал плечами Вахромеев,— обойдусь и без тебя. Только ведь у нас с тобой партийное поручение, ты не забывай.

Он скатал в колечко и сунул в карман галифе нагайку и направился в Кержацкую падь. В конце концов, будет даже спокойнее без такого шебутного оратора.

— Почекай,— крикнул вдогонку Слетко,— коня-то забери. Твой конь?

— Мой,— обернулся Вахромеев.— Пускай остается. Он чужого не подпустит. Ну ты идешь, что ли?

— Та иду...

Мужики сидели у начатого нового сруба на штабеле ошкуренных бревен, сидели рядочками: внизу — один ряд, потом — второй и выше — третий. Как есть собрались сфотографироваться на добрую артельную память.

Начальственным гостям вынесли из избы скамейку и столик — легкий, кухонный, ножки врастопырку. Вахромеев накрыл его куском красной бязи, который всегда держал в полевой сумке в качестве походной скатерти для собраний и заседаний.

Сидели, играли в молчанку, ждали кого-то. Вахромеев исподлобья разглядывал мужиков: крепкие, щекастые, породистые, язви их в душу. У всех бороды, кудлатые, чесаные, будто дворницкие метла: сидят ухмыляются, прячутся за этими бородами, как за занавесками: поди узнай, что у каждого на душе?

А ведь кто-то из них прошлым летом стрелял в него на Хавроньином увале — там вокруг покосы только ихние, кержацкие, других нет. Пуля срезала ветку прямо над головой. Промаха не было — просто предупреждали, такие, как эти, не промахиваются.

Низкорослый Слетко, нервничая, дрыгал ботинками — ноги со скамейки недоставали до земли. Вахромеев незаметно толкнул вбок: уймись, смотрят же на тебя! «Починай! — шепотом огрызнулся механик.— Якого биса тянешь?»

Начинать еще нельзя: не было главного. Не было пока деда Авксентия — патриарха кержацкого рода, и еще кое-кого из местной иерархии, которой принадлежит решающее слово.

Минут через пять появился наконец дед, тыча посохом мураву. Прищуренно огляделся, перекрестил братию на бревнах, помедлил — и президиум тоже. Ему освободили место в середине первого ряда. А еще через минуту, запыхавшись, прибежал и тот, кого, собственно, ожидали — Савватей Клинычев (Устин-углежог предупреждал, что Савва — третий по рангу в общине, но первый по влиянию и весу).

— Заметушился, забегался, простите христа ради!— Савва сбросил с головы войлочную шляпу-пирожок, порылся за пазухой, достал оттуда вчетверо свернутую газету.— Вот Афонька-постреленок принес, на почту бегал по моему указу. Радость-то какая, мужики! — Он потряс газетой над головой, развернул ее и положил-припечатал на красную скатерть.— Праздник у нас великий, братья товарищи: Конституция объявлена! Мы теперь с вами как есть свободные равноправные граждане. Все права нам дадены! Слава те господи, сподобились мы милости великой, снизошли на нас благости твоя! Слава те!

Сверкая лысиной, Клинычев, оборотясь к президиуму, стал отбивать земные поклоны, за ним поднялись мужики на бревнах, забормотали, истово крестясь и тряся бородищами.

— Кончай треп, Клинычев! — шагнул со скамейки и, крепко взяв за локоть кержацкого старосту, тихо сказал Вахромеев.— Слышишь, кончай.

— Погоди, председатель. Сядь, не гоношись. Я еще не все сказал.

Он опять выскочил на середину и, размахивая войлочной шляпой, голосом наторевшего проповедника принялся хвалить и возносить советскую власть, истинно и всенепременно народную, рабочую и крестьянскую, которая, будто матерь родная, заботится и печется о благе мужицком, о процветании и вознесении отечества нашего... Слава власти народной, слава вождю великому, многие лета, многие лета...

Умел говорить плешивый Савватей, умел поиграть душевностью — не зря считался кержацким краснобаем... Тем не менее Вахромеев понимал, что все это лишь заранее продуманный спектакль, отрепетированный и умело обставленный, в котором ему и Слетко отводятся роли незадачливых простаков статистов.

— Во дает! — вполголоса сказал Павло.— Як тот Гришка Распутин. Шо б ты сказился, Змей Горыныч.

— Тихо! — цыкнул Вахромеев.— Молчи и слушай, все идет как надо.

Кержаки аплодировали гулко, будто стучали в деревянные колотушки. А на лицах — никакого выражения, да и не видно лиц: одни холеные бороды. «Постричь бы их, лохматых,— злорадно подумал Вахромеев.— Привести сюда парикмахера и оголить всех под машинку, как новобранцев».

Он отложил мятую клинычевскую газету в сторону, а из сумки достал свою — свежую «Правду». И сказал:

— Верно говорит Савватей: вот здесь в проекте Конституции про все наши права подробно написано. Я зачитаю.— Вахромеев стал читать газету, временами делая паузы, чтобы проверить — как слушают? Слушали внимательно. — Ну вот, мужики. Чтобы не подумали вы, что права эти вам всем на тарелочке подносятся вроде святого дара, так я теперь прочитаю и о ваших обязанностях. Слушайте.— И это прослушали в полной тишине, заинтересованно и серьезно. Тогда Вахромеев объявил:—

Ежели вопросов нет, давайте выступать. Стесняться некого — здесь все свои.

— А нашто выступать-то? — простодушно улыбнулся Клинычев.— Выступают — это когда против. Как, к примеру, на войну выступают. А мы все согласные. Вот коли поговорить, обкумекать — завсегда с нашим удовольствием.

— Ну что ж, говорите. Кто желает первым?

Однако мужики молчали, и молчание это было красноречивым, дескать, пришел сюда, так сам и говори, а мы посидим да послушаем.

Еще в самом начале разглядел Вахромеев в верхнем ряду на бревнах Егорку Савушкина — когда-то вместе учились в шагалихинской школе, даже дружбу водили. Потом Егорка ушел с отцом в тайгу белковать, а Вахромеева призвали в армию. Теперь Егорка заматерел, раздался в плечах, обзавелся кудрявой бородой. Вахромеев сделал ему знак: может, дать слово? Тот не шелохнулся, не моргнул глазом, мол, знать тебя не знаю, ведать не ведаю.

Молчание затягивалось. Павло Слетко опять стал раздраженно дрыгать ногой, а тут еще к пряслу подошел бычок-сеголеток и принялся чесать бока о жердину, слышно было, как он пыхтел от удовольствия.

— Так что же, товарищи? Может, будут критические замечания по проекту? Или предложения, поправки? Вы все имеете право голоса. Высказывайтесь.

Наконец, кряхтя, поднялся старец Авксентий. Сперва прогнал бычка, огрел его посохом, потом сказал:

— Ты, Кольша, тары-бары не разводи. Говори, зачем пришел? Ежели опять на переселение нас тянуть, так тебе сказано было: не поедем. Не мы вашей плотине мешаем, а она нам поперек пути стала. Вот оно как. А может, ты опять за людьми явился? Так силком не имеешь права. Сам же читал: советская власть есть рабоче-крестьянская власть. Стало быть, ты крестьянина не замай — он тоже власть.

— Э нет, дидусь! — не утерпел-таки, вмешался Слетко.— Ты всех на одну доску не ставь. Рабочий класс — гегемон. Руководящая сила. Це ж политика.

Авксентий недовольно насупил белые клочкастые брови, наклонился к мужикам, чтобы справиться: кто такой крикливый? Ему объяснили: дескать, рабочий с плоти-

ны, механик. Дед заметно смягчился, перестал стучать палкой.

— Руководящая сила, говоришь?

— Еге ж.

— А почто всех крестьян в рабочие тянете, объясни-ка? Крестьянина земля держит, крестьянин хлеб держит, пушнину добывает. Кто кормить-то вас будет?

— Не перегибай, диду! — Слетко выбросил над головой руку с зажатой в кулаке кепкой и начал выдавать, как на цеховом митинге: — Нема такой линии, чтобы всех селян в рабочие! Це брехня. Есть смычка города и деревни, братерска взаимодопомога. Крестьянин должен помогать производству рабочей силой, часть селян вливаются в ряды рабочего класса. Классовое пополнение. Уразумилы?

Дед сел, махнул рукой: стар он для таких споров. И тут вкрадчивый голос снова подал Савватей.

— Уразуметь-то уразумели. Так ведь мы это самое пополнение не единожды давали. А теперь что получается? Товарищ председатель Вахромеев уже по монастырским закромам шарит, богомольных старух на стройку агитирует. Это какой такой рабочий класс объявляется?

За изгородью, в бурьянах, раздался хохот: там пряталась, подслушивала кержацкая ребятня. А мужики по-прежнему сидели серьезные и равнодушные, ни один не улыбнулся. «Они, наверно, и смеются по команде,— тоскливо подумал Вахромеев.— Черт ему подсунул этого занозистого коротышку Слетко. Завел никому не нужную дискуссию — о рабочем пополнении ведь и речи не было. Не дай бог, ежели раскипятится да сцепится с ними в споре — тогда пиши пропало...»

— Спокойно, мужики! — поднял руку Вахромеев, замечая кое-где на бревнах настырно вздыбленные бороды.— Идем дальше по регламенту. Кто следующий?

Желающих опять не находилось. Да это и неудивительно было... Именно так все предсказывал Устин Троеглазов. Теперь должен сказать слово еще один человек, который на бревнах не сидел, но присутствовал здесь, все видел и все слышал. Этим человеком была тетка Степанида — установница Кержацкой пади. Она сидела за спиной президиума на высоком резном крылечке и будто дремала все это время, медленно, нехотя перебирая четки.

Вахромеев и Слетко полуобернулись, когда тетка Степанида, шурша черным платьем, высокая, поджарая, ста-

ла неспешно спускаться с крыльца. Вахромеев знал о ней многое: о ее отчаянных сыновьях-медвежатниках, о ее непререкаемом авторитете по всей округе, о ее жестокости и добросердечии, религиозной фанатичности и удивительной начитанности. Все газеты и журналы, которые выписывались по почте на Кержацкую падь, на самом деле получала она одна. Да и читала их, пожалуй, только она.

Уставница вышла на середину и один из ее сыновей, очевидно младший,— безусый еще, стриженный в скобку, вынес за ней табуретку, однако она недовольным жестом тут же отослала его обратно. Вахромеев поморщился: от стоявшей рядом уставницы пахло шалфеем и мятой.

Говорила она тихо, но на удивление молодо звучащим голосом.

— Зря, мужички, кочевряжитесь. Понапрасну глотки дерете. Он ведь, Кольша Вахромеев, председатель наш, вовсе не за тем приехал. Не за переселение говорить и не людей на стройку требовать. Нет! — Она обернулась и, глядя на красную скатерть, а не на Вахромеева, насмешливо спросила: — Верно я говорю, председатель?

— Верно...— уныло и как-то пристыженно кивнул Вахромеев.

— То-то. Он, Кольша, парень у нас больно несмелый — я его, почитай, сопляком знаю. Вот ежели с бабами, так куда как удал да напорист: экую баталию учудил в Авдотьиной пустыне! В божьей-то обители? Да уж бог ему простит. Ну, а приехал он сюда с этим молодым человеком (рабочий, а шумлив. Негоже!) за конями нашими. Да, да! Чтобы просить у нас лошадей в извоз — каменья возить на эту иродову плотину. Так, что ли, председатель? Чего молчишь?

— Так...— вздохнул Вахромеев, чувствуя неловкость и стыд, будто пацан, пойманный в погребе с банкой варенья. Ну и ведьма. Все-таки пронюхала и сумела посадить в лужу! Прямо носом сунула. А ведь предупреждал дядька Устин, не советовал с ней связываться...

— То, что там у вас прорыв, это мы знаем. Не за горами живем,— продолжала Степанида,— однако лошадей не дадим, ни одной лошаденки. Думаешь, поди, жалко? Конечно, жалко. Вы же их за месяц загоните, до смерти измотаете, изобьете. Вы же никого не жалеете — ни людей, ни лошадей. Вы не работаете, а рвете. Все рвете, как те скалы, как богом данную Адамову землю. Гоните,

торопитесь, даже передохнуть боитесь. Разве так работают? Куды торопитесь, люди грешные? Али в ад?

У Вахромеева горели уши, наливались жаром стыда и ярости щеки, зудели руки, словно уставница хлестала его не тихими злыми словами, а крапивными вениками. Он понимал, что самое главное сейчас для него — выдержать, устоять, не сорваться, не дать втянуть себя в скандальную перепалку. Он был здесь советской властью, которой, в общем-то, говорили правду. Он обязан был ответить только правдой.

Павло Слетко корчился от обиды и злости и все порывался вскочить, возразить, выдать ответное пламенное слово, однако Вахромеев цепко сдерживал его, сдавив плечо. У Вахромеева чуть дрожали руки, когда с возможным спокойствием свертывал и укладывал в полевую сумку красную скатерть.

— Да, торопимся,— сказал он, щелкнув застежкой и посмотрев прямо в холодно-синие глаза уставницы.— Очень спешим, мать Степанида! Тут ты права. Выматываемся до последнего пота, не жалеем ни себя, ни людей — тоже правда. Но все это для того, чтобы выдюжить, выжить через несколько лет, когда начнется война. Может, та самая война, о которой говорите вы, когда станут полыхать небеса и все вокруг возьмется огнем. Однако мы выживем и победим, потому что сейчас не жалеем себя. Подумайте об этом все вы, мужики, подумай и ты, Степанида, мать пятерых сыновей! — Вахромеев вдруг поймал себя на том, что говорит очень громко и уж очень взволнованно; даже пацаны повылазили из бурьяна, вытянули настороженно шеи, разинули рты. Смутился, добавил тихо: — А без лошадей ваших мы обойдемся. Раньше обходились, управимся и теперь.

На обратном пути, у Барсучьего камня Павло сказал Вахромееву:

— Молодец председатель! Дуже гарную речь толкнул! Дадут коней, никуда не денутся. Слухай, вот плотину закончим, приезжай до мене в гости в Харьков, а?

— Далеко он твой Харьков. Поди найди его...

— Так це ж просто! У наших дивчат карта в бараке есть, и оно получается: Черемша с Харьковом на одной ниточке висят. Параллель называется. Пятидесятая. Так шо шпарь прямо — не заблудишься.

— Ну это как придется! — рассмеялся Вахромеев и подумал, что кержаки лошадей наверняка не дадут.

10

Фроське выдали новую брезентовую робу — штаны и куртку, которые остро и незнакомо пахли и коробились. Брезентуха ей понравилась: добротная, крепкая одежа, в шагу удобная и под дождем, говорят, не мокнет. Только вот карманов много понастрочено, целых шесть — чего в них класть-то? Оттопыриваются, цепляются, мешать будут при работе.

Когда переодевалась в будке, подошла Оксана-бригадирша, сунула Фроське резиновые тапочки-баретки.

— Возьми. В бутылах своих упаришься. А то и голову сломаешь — тут кругом одни камни, доски, на кожаной подошве скользко. А резина как раз хорошо держит.

— Не надо,— отказалась Фроська.— Мне платить нечем.

— Бери, бери, тебе говорят! Деньги отдашь с получки. Да косу-то вкруг головы замотай, платком свяжи — не то затянет в бетономешалку.

Жалко не попала Фроська в ее бригаду. Оказалось, бетонорастворный узел — это совсем другое. Там бетон варганят, а Оксанины девчата на тачках замесы развозят, в опалубки заливают.

— Сунули они тебя в самое пекло! — зло сплюнула Оксана.— У бетономешалок не всякий мужик управится. Да ты не дрейфь, держись покуда. Там, на узле, наш земляк — харьковчанин Никита, я с ним поговорю.

В брезентовой одежде Фроська выглядела неуклюже и, пожалуй, смешновато. Зато удобно, да и, как ни говори, — приятно. Ведь жесткая брезентуха отныне становилась ее новым обличьем, приобщая к совсем новой жизни, к этой пестрой толпе крикливых, озабоченных и веселых людей.

День завертелся, загрохотал, заскрежетал железом и камнем, заполыхал огнями электросварки, заполнился людской сумятицей, криками, бранью, — повитый серой щебеночной пылью, которая ложилась на потные лица. Давай, давай, давай! Урчали ненасытные чрева бетономешалок, переваривая замесы, тоскливо ныли мотовозы, скрипели деревянные стрелы дерриков; змеились ременные бичи над взмыленными спинами лошадей, ухал паровой молот, вколачивая сваи, — а над всем этим нещадно плавилось полуденное солнце.

Фроська уже давно перестала замечать окружающее, не видела ни лиц, ни машин, ни глади воды, ни ближних снеговых хребтов — в глазах был только обрамленный потом желтый круг, в котором пузатые чаши бетономешалок и груженые тачки. Тачка цемента, тачка песку, тачка щебенки... Она поочередно заваливала их шифельной лопатой и бежала вверх по деревянным мосткам.

Она словно бы одержимо плыла к заветному берегу, барахтаясь из последних сил, чувствуя себя так же, как месяц назад в бешено ревущей Раскатихе, когда в пенных валах било ее о скользкие камни.

Машинист растворного узла рябоватый Никита Чиж, управлявший работой бетономешалок, то и дело гикал, разбойно посвистывал, показывая большой палец: молодец, мол, девка! Фроська не обращала внимания, для нее существовали только тяжеленные тачки, выщербленные мостки да огромные, постепенно убывающие кучи песка и щебня. А когда вдруг наступила тишина — бетономешалки перестали вращаться, Фроська изумленно перевела дух, ладонью утерла мокрое лицо и как стояла, так и брякнулась на дощатый настил — ноги сами подкосились.

Внизу, у выпускных створок, разговаривало начальство: двое в фетровых шляпах и при галстуках. Никита что-то объяснял им, оправдывался, разводил руками. Потом помахал Фроське: спускайся сюда.

Фроська как была — в штанах и в заправленной в них, ставшей теперь безнадежно грязной ночной рубашке (брезентовую куртку она сбросила еще утром) — подошла, поздоровалась, стыдливо поправила бретельку на плече. Начальство удивленно ее разглядывало, особенно стоявший справа — высокий, с твердым, выдвинутым подбородком, в чудных каких-то черно-желтых сапогах.

— Вы есть стахановка! — осклабился он, показав крепкие длинные зубы. — Молодец! Вы работайт за три человека. Но! Это не есть правильно. Ваш начальник безголовый. Он эксплуатирен вас, такой симпатичный медьхен. Отшень стыдно вам, геноссе Чиж!

— Моей вины нема, — оправдывался машинист. — Сами план требуете, людей не даете. Человек пришел, ну пускай работает. Мне какая разница: мужик али баба?

— Девушка — медьхен, а не баба, — рассмеялся длиннозубый, с удовольствием делая поправку. Он шагнул к Фроське и стал бесцеремонно ее рассматривать, цокая

языком. Показал пальцем на оголенные плечи: — Нет хорошо! Солнца много, высота, ультрафюалейт. Кожа сгорайт, потом пиф-паф — отшень больно. Надо надевайт куртка.

Фроська демонстративно отвернулась: тоже мне, сострадатель выискался! В поросячих глазах елей липучий разлит, того и гляди лапать примется, чертова немчура...

Машинист с немцем полезли наверх чего-то там проверять, а Фроська сходила за курткой, вернулась. Уж очень интересным ей был этот второй, в шляпе: маленький и толстый, с аккуратным круглым животом, в котором будто разместился проглоченный арбуз. «Ровно баба на сносях, на девятом месяце, — про себя съехидничала Фроська. — Чего он тут стоит, молчит да потеет? Вроде бы тоже начальник по виду, а прибитый какой-то. Лопату сломанную все время держит. Нашел где-нибудь, что ли?»

— У нас вон тоже две лопаты сломанные валяются, — сказала Фроська, — шифельные. Ежели вы их собираете, так я принесу. Принести ай нет?

Толстяк угрюмо молчал, глядел куда-то мимо Фроськи на дальнюю эстакаду. «Наверно, тоже немец, — решила Фроська. — К тому же ни бельмеса не понимает». Однако толстяк, обмахивая шляпой мокрое лицо, вдруг заговорил на чистейшем русском языке.

— Головы вам поотрывать за эти лопаты! Не умеете с инструментом обращаться, варвары косопузые.

— Какой там инструмент! — рассердилась Фроська. — Вон у меня лопата одна-одинешенька, да и та, как ведьмина кочерга, кривая и корявая. Мозоли кровавые набила, видишь?

— Это по дурости, — спокойно сказал толстяк. — Пошла бы на склад, заменила и вся недолга. Кстати и сломанные снесла бы на обмен. А то вон из-за вас, олухов, Крюгель меня, прораба, теперь заставляет собирать этот лом. Тьфу!

Толстяк выругался и в этот момент прямо ему под ноги в цементную пыль сверху шлепнулись две лопаты с обломанными черенками — немец-таки разыскал их. Крикнул оттуда с издевкой:

— Геноссе Брюквин! Это тоже тащить ваш кабинет. Альс байшпиль. Пример бесхозяйственности.

— Поняла? — сказал толстяк, отпихивая лопаты носком щеголеватого ботинка.

— Ага. — Фроська сочувственно кивнула. — А что, вредный небось немец-то!

— Не твоего ума дело. Ты слушай-ка, вот что: снеси после обеда эти лопаты ко мне, да заодно и поговорим. Подумаем, какую подобрать тебе работу полегче. Может, ученицей поставим, а то и официанткой в столовую. Девка ты пригожая, видная, незачем тебе на черной работе спину ломать.

— Не надо мне другой работы, — сухо сказала Фроська, — подмогу пришлете и то хорошо.

Прораб посмотрел на нее исподлобья, осуждающе пожевал губами:

— Норовистая, как я погляжу... Ну смотри, дело твое.

А наверху начиналась свара. Немец пальцем подцепил бетон из бетономешалки и свирепо тряс этим грязным пальцем перед носом Чижа. Оба перешли на крик: инженер ругался, мешая русские и немецкие слова, машинист крыл по-русски.

— Ну сцепились! — рассмеялась Фроська.

— А ты не хихикай, — желчно сказал прораб. — Сейчас и тебе попадет на всю железку.

— Мне-то за что?

— За брак. Бетон-то вы, оказывается, готовили нестандартный, цементу в нем мало, а песку больше нормы. Так что липовые вы стахановцы.

— Ишь чего выдумал! — разозлилась Фроська. — Стахановцы! Да я сама, что ли, напрашивалась? Это вон тот долгозубый придумал, он и талдычил, окаянный.

— Но-но! Ты как про начальство выражаешься? — Прораб угрожающе пучил глаза, но Фроська-то хорошо видела и понимала, что брань в адрес немца-инженера втайне приятна ему.

Начальство уже с шумом спускалось вниз, на лесенке мельтешили отполированные краги. На вытянутой руке Крюгель держал большую щепку, которую выловил в бетоне. Этой щепкой, как шпагой, он поочередно стал тыкать прораба, машиниста, потом добрался и до Фроськи.

— Понимайт! Понимайт! — Инженер в ярости топал ногами. — Дас ист гроссес дефект! Унмеглих! Дер тойфель вайс! Бирнен зуппе, киршен зуппе!

Дальше последовала серия отборных русских ругательств, потом смешанные русско-немецкие фразы, из которых следовало, что щепка в бетоне, как и любой

другой посторонний предмет, есть преступное безобразие и безответственность. Потому что там, где щепка, там окажется пустота в теле плотины, именно там возможен разрыв, разлом и всяческое разрушение. Может быть, фройлен скажет, кто этот осел и халтурщик, просмотревший щепку в замесе, и вообще, понимает ли она что-нибудь в качестве бетона?

Фроська не любила крикливых, нервных людей. Крикливость еще простительна бабам, но не мужикам, да еще таким фасонистым — при галстуках и шляпах. Сама она придерживалась правила: не важно, как сказать, важно — что сказать.

— Зачем кричать-то? — сказала она инженеру. — Меня сперва научить надо, потом спрашивать. Понимаешь: научить! Так что не шуми, побереги здоровье, ежели ты умный человек.

— Замолчайт! — истошно завопил Крюгель.

— Сам замолкни! — не выдержала Фроська. — Ишь разошелся, тележкина твоя мать!

Крюгель так и замер с высоко поднятой злополучной щепкой. Выпучил в изумлении глаза.

— Доннер веттер! Такая прекрасная фройлен. И тоже матерился... О, загадочная дикая страна! Я здесь бессилен как инженер.

Он сбил на затылок шляпу, повернулся и быстро зашагал прочь. Прораб Брюквин приотстал, погрозил кулаком Чижу и Фроське.

— Ну погодите, архаровцы! Я вам устрою веселую жизнь!

Не успел он догнать инженера, как Фроська крикнула вслед, сцепив ладони, чтоб погромче:

— Эй! А лопаты забыли! Лопаты! — и подняла, показала сломанные лопаты: дескать, ежели нужны — забирайте, а нет, то пускай остаются. Место не пролежат.

Крюгель заставил-таки толстяка прораба вернуться за лопатами, а уж как он при этом упражнялся в красноречии, Фроська не слышала — Никита Чиж включил бетономешалку.

Во втором часу худенькая девчонка — дочка Никиты, принесла на работу обед: вареную картошку, хлеб да бутылку квасу. Чиж разложил еду на газете, пригласил и Фроську. Та отказываться не стала — все равно денег нет, в столовку не побежишь.

Машинист жевал хлеб, усмехался, думая о чем-то своем, щурил тронутые давней трахомой глаза.

— Промахнулись мы с замесами-то, — сказал он. — Я тебе говорил: считай тачки, Фроська. А ты, значит, того... Теперь начальство ругается. Вот как.

— А ништо, — Фроська махнула рукой, — обойдется. Бог не выдаст, свинья не съест.

Никита помолчал, налил в кружку квасу, выпил и удовлетворенно крякнул:

— Ладно, буду с тобой работать. Буду. Утром прораб говорит, даем тебе дуру — из тайги прибежала. Хочешь бери, хочешь нет. Я сказал: треба попробовать. Теперь беру.

— Ты один, поди, и работаешь?

— Нет! У меня два хлопца тут: Ванька-белый, Ванька-черный. Третий день, паразиты, гуляют: на свадьбе самогонку пьют.

Фроська с аппетитом уплетала еще теплую картошку, запивая резким и душистым тминным квасом: за несколько суматошных суток она, пожалуй, впервые имела возможность поесть как следует. А то все сухари да коржики.

— Хорошо ешь, — похвалил Никита, — хорошая жинка будешь. У меня жена плохо ела, болела, потом умерла. Подруга была Оксаны — она-то и уговорила нас сюда ехать.

— Царствие небесное, — сказала Фроська.

— Да вот так. Царство небесное... — вздохнул машинист, посмотрел на Фроську, усмехнулся: — Иди-ка ты ко мне в жинки, а? У меня машина швейная есть, дочка тебя строчить научит, помогать будет. Донька, будешь помогать новой матери?

Девочка вспыхнула, рассерженно отвернулась. Никита смеялся.

— Не хочет! Она против женитьбы. А молодые, говорит, совсем тебе не годятся. Женишься на молодой — гулять от тебя будет. Вот как.

Фроська тоже рассмеялась, потрепала девочку за кудельки-косички.

— Ишь разумница какая! Верно ведь говорит.

Остаток обеденного перерыва Фроська лежала в теночке на теплых досках, смотрела на мерцающее рябью водохранилище и думала. Светлые были думы, вольные и

легкие. Как ветерок, пахнущий льдом недальних горных вершин.

Мир казался добрым, бесконечным, заманчивым и зовущим. Он впустил ее и, прежде чем распахнуться по-настоящему, пробует на разных оселках: выдержит ли она грядущее, осилит ли дальние дали, не споткнется ли и не почнет рыть землю перед носом, успокоившись поросячьей огородной судьбой? Или взлетит высоко, подъемно, чтобы потом вовсю расправить сильные крылья. А для того разбег нужен тяжкий и долгий, по каменьям и колдобинам. Разбегайся, Фроська, не робей...

Не думала она, не гадала, а между тем уже совсем рядом, за спиной, поджидала ее первая большая беда.

После обеда случилась «волынка»: возчики, возившие из карьера щебенку дальней дорогой вокруг озера, насмерть загнали двух лошадей — и без того измотанных, больных. На остальных ездить отказались: жалко худобу заживо гноить, отдых коням хоть какой-нибудь нужен. За щебнем через озеро погнали старую баржу, но она до вечера так и не вернулась. Говорили, что, труженная, потекла.

Фроська с Никитой чистили бетономешалки, пользуясь вынужденным простоем. Девки-бетонщицы загорали прямо на плотине, на досках, расстегнув лифчики, бесстыже выставив голые спины. А потом целый час бузили у прорабовой конторки: начальство порешило лишить их вместе с растворным узлом премиальных денег за кладку некачественного бетона.

Фроська обомлела, когда увидела бегущих разъяренных девок. Всю свою злость они намеревались обрушить на нее. Это ведь она, дура непомытая, холера недобитая, делала замесы, сыпала что попадя в бетономешалку, не соображая ни уха ни рыла в ответственной работе!

Девки отчаянно ругались, лезли с кулаками, и только Оксана Третьяк стояла со своими в сторонке. Но и она не пыталась взять Фроську под защиту. Больше всех орала и визжала крашеная сыроежка — Фроськина соседка по топчану, которой вчера попало по рукам.

Спасибо Никите Чижу: схватил лопату и разогнал взбесившихся девок, бежал за ними по мосткам до самой будки-раздевалки. Там все и угомонилось.

Тяжко было на душе у Фроськи, ох как тяжко...

Хоть и не побили ее бетонщицы, а уходила она вечером со стройки словно поколоченная, измочаленная до

крайности. Все вокруг казалось ей постылым и серым, лихота теснила грудь, захлестывала, давила сердце. На людей тошно было смотреть — это надо же как все обернулось... «Черемша, Черемша — обормотская душа»... Недаром частушку-то поют на заимках.

Провожал ее до самого села Никита Чиж — видно, боялся как бы девки опять не напали на Фроську, не подкараулили. Он все винился, ругал себя за то, что прошляпил днем с замесами, но Фроська не слушала — ей теперь до всего этого не было никакого дела. Шел Никита вихлясто, вразнобой вскидывал длинные руки, заплетая ногами за бугры и дорожные камни, Фроська иной раз раздраженно косилась: что за человек такой, господи! Будто разобрали его, а потом собрали неправильно. И смех и грех!

Поужинала Фроська у Никиты: приютиться где-то надо было, в барак ей ходу пока нет — это она хорошо понимала. Да и зашли, можно сказать, по дороге — избушка Чижа стояла прямо на краю села, на бугорке, за поскотиной сразу.

Фроська все время молчала, ела молча, чай пила молча, на все, что окружало ее, смотрела отрешенно, непонимающе. Один только раз улыбнулась осмысленно и печально, заметив, как дочка Никиты укладывала, пеленала в углу тряпичных кукол.

Потом поднялась, завернула в газету резиновые тапочки, что несла со стройки, и ушла, не попрощавшись. И поблагодарить забыла.

Улица встретила сумеречным теплом, запахом парного молока, комариной толчеей, у только что вспыхнувших на столбах фонарей. Из огородов тянуло укропной свежестью, лениво гавкали собаки на рдяную позднюю зарю.

Общежитие Фроська обошла далеко — зареченской стороной — и, глядя на ярко освещенные окна, из всех обитателей вспомнила только белохвостого кота, его доверчивые и блудливые глаза. Усмехнулась: лакает, поди, сейчас молоко, ужинает перед ночной вылазкой...

Остановилась напротив сельсовета, разглядела кованый замок на калитке, сожалеюще вздохнула: опять, верно, в разъездах неугомонный Коленька-залетка. Не икнется ему, не вспомнится...

Переулком свернула в гору, туда, где призывно темне-

ла опушка тайги. Там все было надежно, уютно и просто — она знала это с детства.

Ночной пихтач ласково щекотал плечи, пружинила под ногой устланная хвоей, мягкая, на ощупь податливая земля, зыбкие тени жили, раскачиваясь в бледных осинниках, чащобы манили душной бархатной чернотой.

Тайга захватывала, завораживала, заставляла разом отбросить и забыть все мелочное, постороннее, что еще недавно гнездилось в душе, она обновляла и просветляла мир — и в этом была целебность таежного гостеприимства.

Уже через несколько минут Фроська ощутила в себе прежнюю уверенность и бодрость, почувствовала в жилах знакомые горячие толчки радости бытия, обрела ясность.

Шорохи не пугали ее, она знала — шумливый лес не опасен. Ей нравилось легко и ловко скользить меж кустов и деревьев, сливаясь с ночью; растворяясь в густой темени, нырять в сыроватые голубые малинники, бесшумно раздвигать тяжелый, падающий к земле лапник, чтобы где-нибудь у замшелого пня тихо рассмеяться, застав ошалелого от неожиданности лопоухого зайца или чванливого барсука, шастающих по своим ночным делам.

Она вышла на вершину горы, к подножию Федулова шиша — огромной гранитной скалы, обрамленной каменной россыпью. Днем из Черемши Федулов шиш напоминал залежалую на складе, посеревшую сахарную голову, которую с силой поставили на стол, от души припечатали. Она рассыпалась, но не развалилась совсем.

Посидела на камне, пожевала листок сараны — от него светлело в глазах. Красивая внизу виднелась россыпь огней, подмигивающая, временами рождающая в груди холодок тревоги... Похоже на невестины украшения: золотая гребенка на плотине и бусы-светлячки вдоль приречной улицы над Шульбой. Небрежно брошенные кем-то бусы, разорванные: за поскотиной и дальше, к молочной ферме, огоньки редкие, будто далеко одна от одной откатились бусинки. Плачет, поди, невеста...

Эх-ма, Черемша... Фроська встала, потянулась и, заложив пальцы в рот, свистнула протяжно, заливисто. Прислушалась, где-то внизу, слева, в Кержацкой щели, ответили. Знать, на гулянке бродят парни. Надо и самой спускаться да идти спать — чай, бетонщицы уже дрыхнут.

Она спустилась в ложбину, вышла на просеку, на за-

брошенную дорогу, ведущую к старым лесным делянкам. Подумала и решила идти тропинкой через увал, а там и до барака рукой подать.

Уже слышался недалекий говор Шульбы, когда на взгорке, среди кустов карагайника, дорогу Фроське преградили трое. Рослые, они стояли поперек тропы, плечом к плечу, зловещим черным заслоном. Белели лишь рубашки да поблескивали начищенные сапоги. «Парни приреченские», — решила Фроська, заметив одинаковые модные кепочки. Остановилась метрах в пяти, спросила спокойно, без испуга:

— Чего надо?

— Тебя, — сказал один, — тебя ждем, тебя и надо.

— А не обознались?

— Она, она самая! — Крайний из тройки шагнул вперед, заметно нервничая. Голос, казалось, был не столько злой, сколько трусливый. — Выдра согринская! Ишь явилась сюда права качать, порядки наводить. Девок наших бьет, нормы выработки накручивает в свою выгоду. А девки потом рассчитывайся за нее.

Фроська переложила сверток с резиновыми тапками из правой руки в левую, легко прижала, чтобы на случай можно было бросить. Почувствовала дрожь, не от страха, от злости — так вот как, паскудницы, решили расквитаться...

— Ну дальше. Чего замолчали?

— А дальше все в порядке, — сказал первый, который и начинал разговор, — уверенным нахальным баском. — Он, этот друг, побаловаться с тобой хочет — вот в этих кустиках. Сама пойдешь или тащить тебя?

Свободной правой рукой Фроська быстро нащупала над пояском прореху-карман, вынула из чехла охотничий нож, который всегда носила под платьем по таежной привычке. Шагнула, подбросила нож в руке — лезвие тускло блеснуло.

— Ну давай подходи, который хочет побаловаться! Я тебе мигом кишки выпущу, вонючий кабан. Вон в ските я как раз свиней резала — дело привычное. Ну, подходи.

Она сделала несколько шагов, и заслон мигом распался. Один из парней сиганул в кусты — напролом, аж сучья затрещали, двое попятились, потом сошли с тропы в сторону. Фроська прошла мимо, держа нож наготове. Смачно, со злостью выругалась:

— Суразы недоношенные! Ну гляди, ежели кто попадется мне, причиндалы отрежу и собакам выброшу. Дерьмоеды!

Пока спускалась к мосту, сзади не раздалось ни голоса, ни свиста — они, видно, еще не очухались как следует. Вот поди ж ты, трусливые шакалы, ходят стаей, этим и сильны. А получат отпор и разбегаются, как тараканы.

На мосту она постояла, подождала: не покажутся ли с горы те трое? Стоило их разглядеть, запомнить — может, доведется еще увидеться. Земля-то круглая, тайга дорожками кривыми исхожена — а вдруг пересекутся? Не вышли, не появились. Знать, ушли косогором по черемушнику, к дальнему краю села.

Рядом с перилами, по деревянному лотку, уводившему к мельнице, журчала дегтярной черноты вода, шелестела по-змеиному тихо, будто нашептывала-приговаривала: «не ж-жить, не ж-жить тебе тута... ухо-ди, ухо-ди...». Фроська усмехнулась горько, вслух проговорила: «Да придется, однако. Куды денешься...»

Темный барак спал, похрапывал раскрытыми окнами, лишь на противоположном семейном крыльце куражился какой-то пьяный, переругивался с сонной жинкой. В коридоре Фроська сняла бутылы, связала ремешком и босая, на-цыпочках прошла к своему топчану.

Соседка-сыроежка чмокала во сне губами, умотавши голову одеялом. «Спит, стерва, ровно праведница».

Ночь прошла как у таежного костра — в настороженном полузабытье. Мерещились химеры какие-то: не то люди, не то машины разевали пасти смрадные, стучали зубами почище щебеночной дробилки. И промеж всего безбоязненно ходила смуглая девочка, похожая на Чижову дочку, — в коротком ситцевом платье, в застиранных цветастых штанишках. Она все время смеялась, хотя глаза у нее были очень грустные, со слезой.

Уже светало, когда Фроська поднялась, надела платье, осторожно открыла тумбочку и стала укладывать в торбу свои манатки: кое-какое бельишко, кусок мыла да жестяную коробку из-под леденцов, в которой хранились материна фотокарточка, иконка, разные красивые бумажки от конфет, карандаш и коричневый комок листвяжной серы. Подумав, серу она переложила в карман — сгодится пожевать заместо завтрака.

В бараке совсем развиднелось, и, мельком взглянув

на соседний топчан, Фроська изумленно ахнула: там, оказывается, спала Оксана Третьяк! Она-то и чмокала-сопела во сне. Значит, обменялась топчанами с пигалицей. Интересно, зачем бы это?

Ну да к лучшему: тапочки-баретки прямо тут можно и оставить. Пускай утром приберет свой подарок, успокоится — никто ничего ей не должен. Фроська поглядела на рыжий стриженый затылок соседки, укоризненно покачала головой: «А глаза-то твои неверные, Оксана! Изменчивые. Любопытство в них было, не доброта. Ошиблась я маленько. Да уж бог тебе судья».

Провожал Фроську один только знакомец кот. Вывернулся откуда-то из-за крыльца, мягкий и взъерошенный, пахнущий картофельной ботвой. Видать, спал в огороде. Он бежал впереди до самого сельмага и хвост его торчал, как камышовая махалка.

Черемша только-только просыпалась. Орали первые петухи, на подворьях кое-где дымили летние печки, влево по-над речкой Березовкой уходило в лога коровье стадо, вдоль Шульбы в ивняках колобродил ночной туманец. Пахло прелыми досками уличного тротуара.

За поскотиной, где начинался узкий ржаной клин, Фроська остановилась, сунула в рот серу, жевала и долго сумрачно глядела на оставшуюся позади Черемшу. Среди разноцветных крыш отыскала сельсоветскую — с красным флажком на стрехе. Чему-то усмехнулась, тряхнула косой и пошла в гору прямой тропинкой.

Версты через две, уже вблизи перевала, чутким ухом услыхала она впереди конский топот: глухо цокали подковы по камням. А потом, увидав всадника, устало и бессильно привалилась спиной к шершавой лиственнице — навстречу ехал Вахромеев...

Он что-то говорил ей, радостно улыбаясь, гладил ее косу, прикасался губами к щеке, она ничего не видела, залитая счастливыми слезами, только чувствовала близкий запах пропыленной гимнастерки, ощущала сильные горячие руки, которые несли ее куда-то. Она словно летела по воздуху, плыла в голубую приятную пустоту, и над ней шатром смыкалась зелень таежной листвы...

11

Сиротское детство приучило Гошку к черствости, эгоизму. Попрошайничество, постоянные подзатыльники,

чужая притворная жалость не мутили и не коробили ему душу только потому, что он при каждом случае повторял про себя: «Все равно я лучше всех. И со временем докажу». С этим противовесом ему жилось не то чтобы легко, а, скорее, сносно. Укоры сиротского унижения никогда не мучили его.

Он любил верховодить, умел драться, был безжалостен, и этого оказалось достаточно, чтобы считаться вожаком в любой мало-мальски сплоченной ребячьей ватаге. Может быть, в городе он скоро попал бы в колонию малолетних правонарушителей, но таежная жизнь суровостью своей сглаживала остроту мальчишеской жестокости, приглушала безрассудство, а главное, она не давала никаких излишеств, той самой закваски, на которой бродит хмель уличной бесшабашности.

Со временем он стал понимать, что быть заводилой и забиякой не такое уже весомое достоинство и что жизнь измеряется совсем другими, более сложными мерками.

Все начало рушиться после того, как он влюбился.

Тут оказалось наоборот: нужны были качества, которые он всей душой презирал раньше. Требовались деликатность, заботливость, умение красиво говорить, чисто одеваться и еще черт знает что. Грунька Троеглазова просто отхлестала его по щекам, когда однажды вечером ни с того ни с сего он попытался прижать ее под пихтой.

В том же прошлом году, после шестого класса, Гошка бросил школу — приохочивать было некому — и подался в грузовые возчики.

А возчиком оказалось нелегко: народ вокруг отпетый, жизнью катанный, тайгой ученый, метельными дорогами крученный. Таких, как Гошка, за понюшку табаку не ставили: шибздик недосоленный. Туда пойди, сюда побеги, там поднеси, здесь положи. А заартачишься, у бригадира дядьки Гришая рука что деревянный валек, которым белье на речке выколачивают. Полдня потом музыка в ухе наигрывает.

Ушел бы куда глаза глядят, да лошадей больно любил. Никакой другой живностью не интересовался, кошек и собак не терпел, к коровам относился с презрением (молока с ведро, а навозу тоннами выгребай!), а вот уж кони — это тебе животные! Что красота, что сила, что стать — кругом одно загляденье. От одного только запаха лошадиного кружилась голова, чудился в нем простор, хлесткий ветер, цокот копыт и синяя даль, на которую

мягко нашибается грудь... Что-то смутное, глубинное, оставленное, может быть, далекими предками, будил в Гошке сумрак конюшни, и, когда подходил он к стойлам, сразу сбегала с лица утренняя сонная одурь, ноги делались легкими, упругими в шагу, в глазах словно светлело — ярким и четким входил в них рабочий день, уже окрашенный радостными предчувствиями.

И все-таки не только из любви и жалости взялся Гошка за сапных лошадей. Тут было еще и нечто другое, очень существенное, в чем он и сам пока не разобрался и о чем думал, когда на туманном слепом рассвете, таясь от людских глаз, погнал своих обреченных одров на Старое Зимовье.

Конечно, возчики так и подумали: нашелся, мол, жалостливый молокосос, пущай теперь барахтается с конягами-доходягами. Ну-ин ладно, пусть думают. А у Гошки прицел иной — натянуть хорошую дулю этому прощелыге, завкону Корытину. Крепко не любил его Гошка. И вроде причины особой не было, но вскипела эта неприязнь с первого дня, с того самого, когда Гошка появился на конном дворе. Рушились в прах его детские ватажные представления о жизни, их безжалостно разбивали и топтали все взрослые— бородатые мужики, пропахшие ременной сбруей и водочным перегаром.

А больше других завкон Корытин — улыбчивый и наглый. Он особенно явно и бесстыже-откровенно олицетворял собой самый страшный из пороков, который абсолютно не прощался в ребячьей ватаге, — неверность слову. Завкон направо и налево заверял, обещал, клялся, но не выполнял и половины своих обещаний, скалил в ответ зубы, отделывался шуточками и похабными присказками.

Корытин воочию показал разницу между людьми — детьми и людьми — взрослыми, и именно за это Гошка возненавидел его.

Гошка просто не мог не ухватиться за этот случай с больными лошадьми. Удобный момент, чтобы принародно взять верх над самодовольным болтуном. К тому же, честно говоря, Гошка не верил, чтобы насчет коней все было так, как изображал Корытин.

За табуном увязались сороки-вещуньи, чуяли, наверно, близкую поживу, надоедливо стрекотали, попарно улетая вперед, и за каждым поворотом дороги встречали коней настырным верещанием. Гошка собрался было шугануть по ним из старенькой переломки, но вовремя удер-

жался, вспомнив, что Кумек боится выстрела. Однажды Гошка как-то бабахнул из седла, и мерин мигом сбросил его на землю.

Утро занималось розовое, парное, обещая некстати жаркий день. С первыми лучами солнца появились мухи, зеленой тучей роились в смрадной пыли над табуном. Шли лошади плохо, еле плелись, а соловая кобыла, бывшая впереди, часто останавливалась, зачем-то совала изъязвленные губы в дорожную пыль. То же делали и другие кони, совсем не интересуясь изобильной травой на обочинах.

Воды им надо, пить хотят... А поить нельзя, дядька Гришай предупреждал: напоишь — дохнуть начнут, и дальше гнать уже нельзя будет, ослабеют.

К полдню табун прошел половину пути, уже рядом был последний перевал. Сделалось совсем жарко, лошади подолгу отдыхали в тенистых пихтачах, а вокруг надсадно галдела воронья стая — сороки назвали.

И вдруг кони заметно оживились. Соловуха-вожатая подняла голову, заторопилась, враскорячку переставляя немощные ноги. Гошка поздно сообразил, что впереди брод — горная Выдриха, которую и почуял табун. Ну а дальше он ничего не мог сделать: кони уткнулись мордами в студеную воду, разбрелись по мелкому плесу и пили, пили, пили, храпя и фыркая от удовольствия. Не помогли ни брань, ни нагайка, ни длинная хворостина — лошади накачивались водой, раздувались, пухли прямо на глазах.

Потом соловуха вывела табун на противоположный берег, отошла в прохладный осинник, брякнулась на землю и... подохла. Гошка минут пять тормошил ее, стегал, с руганью пытался поднять и, только увидев розовую пену на губах, тусклый остекленелый глаз, понял, что все напрасно.

Сел и заплакал. Плакал не от жалости, а от обиды, злости на весь мир, а пуще всего — на самого себя. Он оказался хвастливым дураком, недалеким болваном, сунувшим в петлю свою собственную голову. Ведь если теперь лошади начнут дохнуть, отвечать будет в первую очередь он, хотя прямая вина во всем не его, а Корытина. Но завкон уже остался в стороне...

Воронье совсем обнаглело, облепило окрестные деревья, надсадно орут-каркают над самой головой: убирайся, мол, от дохлой кобылы. А один — носатый, аспид-

по-черный и злобно взъерошенный — прыгал уже на земле, боком подкатываясь все ближе и настырнее. Жадный клюв, распахнутая красная глотка вдруг взбесили Гошку, он вскочил, схватил ружье и, слепнув от ярости, принялся палить в галдящую стаю: бах, бах! Ба-бах!

На пятом патроне замешкался: вроде почудился чей-то голос, будто кричал кто-то... Обернувшись, и в самом деле увидел на другом берегу человека, вернее, всадника. Тот орал и размахивал руками.

Гошка сразу узнал приезжего: ну конечно, это был Степка-киномеханик, черемшанский комсомольский бог. Вон и кобыла ихняя, клубная. «Культпросветка» называется. Ленивая, не дай бог. Гошке как-то доводилось ездить на ней в город за кинокартинами.

Очевидно, Степка едет куда-нибудь на дальние покосы или к лесорубам кинуху крутить. Только почему верхом? Обычно он прикатывал к таежникам на двуколке, в которой вез уложенный в сено киноаппарат, ручное динамо и железные коробки с лентой.

Киномеханик повел себя странно: слез с лошади, разнуздал и оставил пастись на том берегу, а сам направился к Гошке, ловко прыгая, переставляя по камням длинные ноги. Даже ботинки не замочил.

Выбравшись на траву, пояснил, показывая на саврасую «Культпросветку»:

— Это чтобы избежать контакта. Пускай побудет там. У тебя ведь сапные?

Гошка хмуро промолчал, отношения у них с киномехаником давненько были неважными — Гошка не раз водил в клуб свою безбилетную ватагу, на этой почве случались и потасовки.

Увидев лошадиный труп, киномеханик покрутил носом и сказал:

— Стало быть, одна уже готова... А я думал, чего ты из ружья палишь? А ты, значит, похоронный салют делал? Предрассудки все это. Хотя именно так поступали все истинные кавалеристы, даже буденновцы. Потому что конь есть боевой друг.

— Ага, — сказал Гошка. — А вот на панихиду тебя как раз и не хватало. Давай речь говори.

— Дурак ты, Полторанин. — Степан презрительно оглядел табунщика с высоты своего саженного роста. — Безыдейный, невоспитанный индивид. Удивляюсь и не

могу понять, как могли поручить тебе это ответственное дело?

У Степана головка маленькая, круглая, вроде сметанного горшка, а наверху заместо крышки — ершистая черная шевелюра и модная челка язычком-треугольником. Из-под челки буравят глаза, тоже черные, въедливые и цепкие.

Гошка скрутил цигарку, прикурил и, втянув махорочный дым, зычно кашлянул-гыкнул, как это делал дядька Гришай после первой затяжки. Покачал головой, с досадой подумал: воронье разогнал, так теперь этот деятель прицепился...

— Ты на лесосеку едешь, что ли? Ну так езжай своей дорогой. Вон по косогору обходи табун и мотай отсюда. Без тебя тошно.

— И не собираюсь. — Степка нагнулся, переломился надвое, обчищая штанины от репейников, затем с достоинством оправил фланелевую куртку, увешанную значками. — Я направлен к тебе для помощи и контроля. В свое время я прошел трехмесячные ветеринарные курсы, правда по овцеводству. Мы не можем бросать на произвол судьбы больных государственных лошадей.

— Кто это мы? — удивился Гошка.

— Комсомольцы. А вообще, меня Денисов прислал.

— Понятно... — протянул Гошка, ничуть не обрадовавшись неожиданному помощнику. — Ну что ж, прислал — стало быть, принимайся за дело.

А сам подумал: мороки прибавилось. Хотел было спросить Степку, где, мол, ты был, такой заботливый, когда лошадей стрелять собирались? Но махнул рукой: ругайся или не ругайся, от Степки все равно теперь не отвяжешься. Ежели за что берется — вцепится, как клещ. Да оно уж и не так плохо, все-таки какая ни есть, а медицина присутствует (хотя из Степки фельдшер, как из бабы самопал).

— Ну что делать-то будем, лекарь-пекарь?

— Зарывать труп, — сказал Степка. — Прямо на этом месте. А потом для дезинфекции разведем костер. За неимением извести.

— Зарывать? Чем?

— Лопатой. Я предусмотрел и захватил с собой.

«Ну прохиндей! — присвистнул Гошка. — Даже лопату не забыл. Наверно, и бумагу для всяких разных актов тоже прихватил. А как же».

— Ладно, — сказал Гошка, — тогда закапывай, а я пойду лошадей погляжу, которая теперь на очереди.

— Нет, — резко дернул головой киномеханик, — рыть будешь ты. Мне необходимо делать срочную медицинскую обработку лошадям. Карболкой, лизолом и другими медикаментами. Жара, мухи, пыль — пагубное дело для травмированного кожного покрова. Я иду за аптечкой.

Гошке осталось только руками развести: ничего себе помощничек явился! Прямо с ходу — в командиры. Ну да ладно. Какая разница, что кому делать, лишь бы польза была...

Солнце уже закатывалось, присаживалось на каменную плешину Проходного белка, когда они подогнали табун к липатовскому Старому Зимовью. Всю дорогу Степка из предосторожности ехал на своей кобыле впереди, так что возиться с изможденным табуном, пошевеливать отставших лошадей пришлось одному Гошке. На заимке не виделось жилья: торчало под скалой в смородиннике, в лопухах ревеня несколько посеревших досок да на жердине болтался закопченный медный чайник.

Встретил их Нагай, дряхлый, уже слепой кобель, хрипло погавкал для порядка, расчихался (карболовая вонь шла от табуна) и спрятался в карагайнике.

Гошка слез с седла, прислушался к говору недалекой Выдрихи. Смутно — и радостно, и грустно — на душе: липатовская заимка была, пожалуй, единственным отчим домом в сиротской его судьбе... Два долгих года прожито здесь, две зимы и два лета. Отсюда он ушел к людям, увидел школу, интернат, машины, кино, магазины — все это оседало потом в памяти ярко, выпукло, но разрозненно, не собранное воедино, не согретое теплом домашнего уюта. А вот то, что происходило тут, помнилось туманно, очень отдаленно, зато если вспоминалось, то теснило грудь, трепетным комом подкатывалось к горлу...

— Ну, где твой дед? — нетерпеливо спросил Степан.— Может, его и дома нету?

— Дома, — сказал Гошка. — Чайник висит — стало быть, дома. Это для таежников такой знак выставляется. Может, на речке лозу для корзин режет. Он ведь корзины плетет на продажу.

Почесав в раздумье затылок, Гошка хмуро оглядел сидящего в седле киномеханика (ну и дылда — ноги чуть не по земле волочатся!) и счел нужным предупредить:

— Ты, Степан, повежливее будь с дедом. Не перечь

ему и не спорь, разные теории не разводи. Он больно суровый, дед Липат. Быстро взашей надает, а то и палкой врежет.

— Не пугай, — отмахнулся киномеханик. — И вообще, не учи ученого.

— Как знаешь... — буркнул Гошка.

«Свистнуть, что ли? Да вроде несподручно: пальцы лекарствами провоняли, и опять же заразу всякую в рот тащить нельзя. Лучше, пожалуй, сходить, поискать хозяина».

Гошка направился было по заросшей тропе к жилью, но тут появился дед Липат собственной персоной: хромой, скособоченный, лохматый, в брезентовом плаще-балахоне, похожий на сбежавшее с грядки огородное пугало. Шел он как-то боком, повернув голову и нацелив на приезжих свой единственный глаз.

— А, Гошка? Опять ты... — равнодушно сказал дед, как будто Гошка только вчера приезжал на заимку (он с прошлого лета здесь не был!). — А лошаденки при тебе чьи? Зачем пригнал? — Не слушая ответа, дед ковылял дальше и неожиданно остановился, вперив удивленный глаз в киномеханика, дрыном торчащего в седле. — А это что за шкилет пожаловал, прости господи? Твой дружок, никак? Лицо надутое, а сам дурак — по глазам вижу. И не здоровкается. Ты пошто не здоровкаешься, парень?

У Степана кадык заходил на жилистой шее, будто шишку кедровую проглатывал. Что-то собирался ответить, силился сказать солидное, а не получилось — мешала та самая шишка.

— Ты с коня-то слезай, слезай! — бубнил дед. — Кто же со стариком с лошади разговаривает? Ит-ты, невоспитанный какой! Ну, слез? И слава богу. А говорить мне ничего не надо, помолчи лучше. Вижу, умного не скажешь. Потом, потом!

Суковатой палкой раздвигая лопухи, дед заспешил дальше, к табуну, понуро кучившемуся на опушке. Остановился, с минуту буравил глазом лошадей, сплевывал, пришептывал чего-то в жиденькую бороденку. Дернул Гошку за рукав сердито, озлобленно:

— Скажи-ка мне, варнак недобитый, это кто же так животину ухайдакал?

— Больные они, дед, — сказал Гошка, — сап у них.

— Чаво? — Дед потоптался на месте, зыркнул на Гошку, на киномеханика и побежал, дергаясь и семеня,

к табуну, зашел там в самую середку. Минут пять глядел лошадей, палкой приподнимал верхние губы, осматривал глаза, ноги, нагибался иным под брюхо.

Возвращался дед еще более злой, издали ругался, размахивая палкой. Попер прямо на Степку, тот быстренько увернулся, спрятался за «Культпросветку».

— Кто сказал сап? Ты, дубина, сказал сап? Ты фершал али кто?

— Я киномеханик...— не на шутку перепугался Степка.— Я их только мазал. Для профилактики.

— Погоди, погоди, дед! — вмешался Гошка.— Он тут ни при чем. Это на стройке, на конном дворе, определили, что у них сап. Понимаешь, работала комиссия.

— Ироды! — возмущенно кричал дед.— Забили, захлестали лошаденок, а все хотят свалить на болезнь! Нету у них никакого сапа! Они на брюхо худые, кормили их разной дрянью. Плохо кормили!

Дед возбужденно высморкался, прикладывая палец поочередно к одной и другой ноздре. Утерся грязной тряпицей, успокоился. Сказал Гошке:

— Опять ты вырядился будто юродивый. И штаны цыганские нацепил, балаболка! Тьфу! Коней-то лечить пригнал, что ли?

— Ну да...

— Вот сам и выхаживай, мне некогда. Моралий корень им надобен, пойло заварное делай. И пущай пасутся вволю, вон туда их гони на луговину, на кендырь да на дудник сладкий. Живо оклемаются.

Вечером на берегу старицы жгли «гостевой костер» по давней традиции Старого Зимовья. Раньше-то к деду много разного таежного люда хаживало — далеко шла о нем молва, как о человеке, знающем травы, «разговорном да приветистом», умеющем слово сказать заветное, истовое, из самой души вынуть то слово да и в душу положить. Не держался Липат ни кержацкой общины, ни властей местных, ни к кому на поклон не ходил, жил сам по себе бобылем-волдырем. Ладил дуги, полозья березовые, деготь гнал, медок махал (четыре колоды — не пасека!), а в последние годы, как медведь-шатун помял его по зиме: глаз вышиб, ногу изувечил, перешел старый на корзинки да веники. Да и народишко шибко умный пошел, забывать стал отшельника-ведуна.

Поздняя заря размахалась вполнеба, густая, молочно-розовая, цвета чистого коровьего вымени. Уходила

медленно, будто тяжелый полушалок сдергивала, из-под которого враз выскакивали-перемигивались звезды. Над костром висел тот самый медный чайник-шарабан с погнутым носом, неподалеку вздыхали, фыркали кони, жались к дыму от мошкары. На бугре скрипел дергач, в ивняке поблизости ему сонно вторили перепела...

После ухи дед дремал на чурбаке, а парни спорили, переругивались. Степан комсомольскую линию свою проповедовал, дескать, мы наш, мы новый мир построим, а кто не желает или будет мешать, того за ушко да на солнышко. Потому как диктатура пролетариата есть власть трудового народа, абсолютного большинства, и всякие хлипкие элементы во внимание не принимаются. Новый мир — это огромная задача и строить его должны суровые люди.

Гошка тоже был за новый мир, за диктатуру пролетариата, но чтобы без чоха, а с подходом к каждому человеку. А может, у того человека свое умное слово, своя идея насчет победоносной мировой революции?

Степан обозвал Гошку уклонистом и еще как-то заковыристо, а также сказал, что он ни бельмеса не смыслит в революционной теории.

— Цыц вы! — очнулся от крика дед, придвинул чурбан поближе к огню.— Ишь расчуфыркались, будто глухари на токовище. Житухи не хлебнули, а уже спорите. Вот, понимай-ка, что скажу: все беды человеческие идут от неверия. Я, к примеру, верующий, мне к чему спорить? Ты, комсомолец, тоже, стало быть, веруешь.

— Не верую, а верю,— поправил Степка.

— Все едино, как ни называй. Главное дело — стержень есть, стало быть, жизнь понятная и впереди все видать. Перспектива называется, понимай-ка. А вот Гошка опять же, кто он такой? Обормот и стрекулист, потому как ни бога ни черта не признает, ваши науки тоже не исповедует. Болтается как дерьмо, прости господи. Я ему каждый раз говорю: прибейся к берегу, поздно будет! Ржет жеребцом, да и только.

— Я в самого себя верю,— важно произнес Гошка.

— Во-во! — завозился дед, ехидно ощерил щербатый рот, выставив два оставшихся зуба.— Вот оно самое паскудство и есть. Себя лелеять, себя возносить, на себя молиться — хуже греха не бывает. Да кто ты есть, Гошка? Понимай-ка! Тлен, срамота и ничего больше. Сегодня ты есть, а завтра нет тебя, и пахнуть тобой уж не пах-

нет. Верить надо вечному, истинному, понял ты, обмен согринский?

— Понял, понял! — отмахнулся Гошка.— Ты не тужи, дед, я, однако, скоро в комсомолию подамся. Примешь меня, Степан, ай нет? Молчишь, сомневаешься. Ну да ладно, горевать не стану. Через год в армию подамся, лихим кавалеристом заделаюсь. Эх, приеду я к тебе, дед, весь в ремнях и при сабле, да как отбацаю яблочко! Ходи туды-сюды колесом изба, коромыслом деревня!

— А, пустомеля...— отвернулся дед, притянул к себе седую морду Нагая. Поглубже запахнул брезентовый плащ, поежился: — Холодит... К долгому ведру, к долгой жаре. Вон вишь, по небу сивина куделью распушилась?

Зенит над головой стал густо-фиолетовым, чернильным, вспух по самому центру серебристой Молочной дорогой, о которую изредка искристо, как о наждак, чиркали падающие звезды.

Высоко в листвяжнике ухал филин, разливая в ночи тоскливую тревогу...

— Дед, а война будет? — неожиданно спросил Гошка.

— Чаво?

— Война, говорю, будет или нет? Народ болтает.

— Будет,— кивнул дед.— И, однако, скоро, года через три-четыре. Большая война будет, упаси господь!

— Почем знаешь?

— Коли сказываю, так знаю.— Дед сердито пошуровал палкой в костре, зевнул, перекрестился.— Война, понимай-ка, вроде грозы — тоже загодя пахнет. Вот я теперича чую, идет война, наближается.

— Как это чуете? — усомнился Степка.— Газет вы не читаете, кинохронику не смотрите, радио у вас и в помине нет. А войну предсказываете. Странно даже.

— И предсказываю. А как же? Потому как людей вижу. Ты погляди-ка, какие теперь люди стали? Дерганые, хлопотные, неуступчивые, ни себя, ни других не жалеют. На иного посмотришь, а у него, сердешного, внутри все жилы натянуты, все жданки наизнанку — вроде на медвежью берлогу собрался. Народ-то тоже понимает, что к чему. Вот оно как.

— Нас война не испугает,— громко сказал киномеханик. — А если нападут проклятые фашисты, ответим на удар врага сокрушительным тройным ударом.

— А я сразу на фронт подамся! — решительно заявил Гошка.— А уж оттуда возвернусь героем. Это как пить дать.

— Эх вы, трясогузы...— Дед хмуро покачал головой.— Не дай вам бог повстречаться с той самой войной. Спаси и помилуй от неверия, а от бахвальства оборони.

12

Барачная завалинка была сыроватой от ночной росы. Фроська присела, положила рядом торбу, удивленно огляделась: как она оказалась здесь, как и почему снова вернулась сюда?

Вспомнила пихтовый косогор, шершавую кору лиственницы, представила улыбающееся обветренное лицо Вахромеева, и снова сладко закачался мир, поплыло, заколыхалось в глазах прохладное утро...

Они вдвоем спустились по тропе с горы, шли рядом, держась за руки, а сзади шумно фыркал, тряс уздечкой гнедой председателев мерин. Они о чем-то говорили, чему-то смеялись — она сейчас ничегошеньки не помнила.

Потом у моста Вахромеев свернул в улицу и ушел, так и не обернувшись, ведя лошадь в поводу. А она пришла сюда, к бараку. Зачем?

Просто ей еще нельзя уходить из Черемши. Не настало время.

А может, она навсегда останется здесь? Может, это судьба?

Она жмурилась от выходящего солнца, и сквозь полуприкрытые ресницы виделся ей янтарно-розовый разлив: розовые скалы на другом берегу реки, розовые смородинники на каменных россыпях. Не хотелось никуда идти, даже вставать не хотелось. Она ощущала только истому, усталость, покой...

На мгновение задремала и вздрогнула, испуганно вскинулась: чья-то тень заслонила солнце.

— Доброе утро, красавица! Больно рано ты поднялась. Или поджидаешь кого?

Напротив, через кювет, на дороге стояли двое мужчин. Одного — круглощекого увальня в полотняной рубахе-косоворотке, перепоясанной ремешком через круглый живот, Фроська узнала сразу — прораб Брюквин. Второй ей был незнаком: худющий, долговязый, в зе-

леном габардиновом френче. Это он спрашивал, ухмыляясь в густые «моржовые» усы.

— Вот, однако, вас и поджидаю,— хмуро отвернулась Фроська. Идут, поди, на стройку спозаранку, ну и шли бы мимо. Нет, обязательно надо прицепиться. Начальство, а все равно повадки мужичьи, прилипчивые.— Или вы дорогу на плотину забыли? Вон она, за мостом вправо.

— Постыдилась бы, Просекова! — Прораб укоризненно покачал головой.— С тобой сам товарищ Денисов разговаривает. Парторг строительства.

— Ну и что как парторг? Или я партейная? — Фроська поднялась, взяла в руки торбу, собираясь в барак. Да и по времени побудка должна быть скоро.

— Подожди минутку, красавица! — Усатый бесцеремонно взял Фроську за локоть, усадил опять на завалинку. Сел сам рядом.— Пару вопросов к тебе имеем, ты уж не взыщи. Живешь-то здесь, в бараке?

— Ну живу...

— Ну и как, устраивают тебя бытовые условия? Или не все нравится? Говори по-честному, не бойся.

— А я не из пужливых,— сказала Фроська.— А что касательно этих самых, как ты говоришь, условий, так ничего, жить можно. Простыни, наволочки дают, кипяток тоже имеется. Только что грязи полно да клопов много.

— Парни по вечерам не бузят?

— Не... Комендантша до полночи на крылечке сидит. Парням ходу не дает.

— Ну а как насчет культурно-массовой работы?

— А уж это я не знаю, чего оно такое,— развела руками Фроська. Потом снова взялась за торбу, поднялась: — Ты меня, дорогой товарищ, не пытай, я тут новенькая. Живу-то всего без году неделя. Ты вон наших девок-бетонщиц поспрашивай.

— Верно она говорит, Михаил Иванович,— вступился за Фроську прораб.— Таежница, один день всего проработала. Пусть идет, у них подъем через десять минут.

— Ладно,— согласился парторг.— Мы тут посидим перекурим, а ты, красавица, пойди разбуди да вызови сюда комендантшу. Скажи: бытовая комиссия пришла.

Ипатьевна как услыхала от Фроськи слово «комиссия», так обмерла вся, побелела, со сна, с перепугу принялась креститься левой рукой. Прямо в длинной ночной рубахе, босая и простоволосая, кинулась к двери.

Впопыхах наступила на кошачий хвост: кот дико завопил, зашипел, и это сразу отрезвило комендантшу. Она зло накинулась на Фроську:

— А ты где шляешься всю ночь, шалава беспутная?! Я ведь видела: топчан-то твой пустой. Натворила, поди, чего, вот и комиссию за собой приволокла.

— Чего мелешь-то, Ипатьевна,— спокойно сказала Фроська,— опомнись. А то ведь я рассердиться могу. И не погляжу, что ты старуха.

Фроська повернулась, вышла из каморки, громко хлопнула дверью: «Ведьма трусливая...» Бросила торбу под свой топчан, сняла платье, надела рабочие штаны, майку и пошла на речку умываться.

На берегу, прежде чем растревожить стеклянный блеск заводи, Фроська по давней монастырской привычке с минуту разглядывала свое отражение в воде. Вспомнила, как бегали они по утрам к Раскатихе вдвоем с подружкой веснушчатой Улькой (покойница, царствие ей небесное!) и как расчесывали тугие косы, глядясь в таинственную серебряную глубь омута — зеркал в обители не держали, мать Авдотья считала за великий грех «любование собой».

С тревожным удивлением вглядывалась Фроська в свое лицо: оно показалось ей каким-то чужим, похудевшим, постаревшим и очень красивым. Будто строгая зрелая женщина пристально и вопрошающе глядела на нее с искристого песчаного дна. Хмурила брови: «А понимаешь ли ты, Фроська, что произошло с тобой сегодня на рассвете?..»

— Понимаю...— Она вздохнула, украдкой перекрестилась и с досадой, решительно зачерпнула пригоршнями студеную воду, плеснула в лицо. Потом сбросила майку, охая от колючих ледяных брызг, умылась до пояса. Сразу взбодрилась, повеселела.

У барачного крыльца прохаживалась комиссия: усатый парторг и прораб Брюквин, вокруг них хорохорилась, мельтешила рукавами нового цветастого платья комендантша Ипатьевна. «Ишь ты, как она им зубы заговаривает! — усмехнулась Фроська.— А ведь наврет с три короба, да еще забожится. Тоже праведница на киселе!»

Барак просыпался, в распахнутых окнах мелькали девичьи фигуры. Тесной стайкой, в одинаковых лиловых майках, к реке бежала Оксанина бригада. Все черново-

лосые, а бригадирша впереди — огненно-рыжая. Выстроились на берегу, принялись враз размахивать руками, приседать, подпрыгивать, кланяться — ни дать ни взять будто дикари у поганого идолища.

— Фрося! — крикнула бригадирша.— Иди с нами зарядку делать!

— Да ну вас к лешему! — отмахнулась Фроська. Придумают же люди черт те что, лишь бы покрасоваться, выставить себя. Впереди вон целый день с тачками по плахам мотаться, тут бы силы беречь надобно, а они ногами дрыгают, выхваляются. Какой прок от этого? Вот студеной водичкой сполоснуться — это благое дело.

Умывались девчата тоже вместе. Смеялись, визжали, брызгая друг друга водой. Всем им Фроська втайне завидовала: хорошо у них — все ясно и понятно, все устроено и все благополучно. Оттого у людей и на душе весело.

А у нее — беспросветность, морок, как в ненастный день. Словно бы взялась везти тяжело груженный воз. В лямки впряглась, и сила вроде есть и с места уже тронулась, а вот куда везти — неизвестно. И зачем везти — тоже непонятно.

Вспомнила суматошный вчерашний день, бесконечное тарахтение бетономешалок, вспомнила ватагу разъяренных девок и огорченно плюнула: а ну как и сегодня опять такая же круговерть повторится? Может, подойти сейчас к грудастой Оксане да попроситься в ее бригаду? Неудобно, нехорошо... Скажет: когда предлагали — отказалась, а теперь сама просишься. Да и девчата-хохлушки засмеют — народ занозистый, языкатый. К ним на поклон не ходи, палец в рот не клади.

Не место тут для такого разговора и не время. Лучше подождать другого случая, чтобы поговорить с Оксаной с глазу на глаз, без свидетелей. Откажет, так и знать никто не будет.

В конце концов, на бетонорастворном узле не так уж плохо. Только надо как следует разобраться с этими проклятыми замесами, чтобы знать, сколько и чего засыпать. А работа, она везде работа. Были бы руки да ноги — остальное само приложится. Тачка или шифельная лопата — какая разница?

Оксана Третьяк сама подошла к Фроське. Вытирая полотенцем загорелую шею, хитровато прищурилась:

— Ну, как тебе спалось?

— А ничего,— сказала Фроська.— Сны видела разные.

— Уж очень ты ворочалась. Наверно, плохие сны?

— Нет, не угадала. Наоборот — хорошие.

— И про любовь? — Оксана дружески усмехнулась.

— А как же, и про любовь тоже. Говорю — разные.

— Это хорошо. А вот тапочки резиновые ты зря под мой топчан поставила. Я же тебе их подарила.

— То случайно. Я в темноте топчаны перепутала.

— Тогда понятно.

Оксанины девчата, заканчивая умываться, ревниво и внимательно прислушивались, как будто разговор их страшно интересовал. Во всяком случае, здесь чувствовалось больше, чем простое девичье любопытство. Фроське подумалось, что у них в бригаде наверняка о ней уже говорили, и скорее всего — вчера вечером, когда ее допоздна не было в общежитии.

Они вот с бригадиршей сейчас ничего ровным счетом не выяснили. Ни Оксана, ни она так и не затронули того главного, что их обеих интересовало по-настоящему и чего, очевидно, ожидали услышать черноглазые хохлушки-харьковчанки.

Уже по дороге к бараку, поотстав от своих, бригадирша слегка хлопнула Фроську по обнаженному плечу:

— Обижаешься на меня?

— За что?

— Ну за то, что мы вчера на плотине не вступились за тебя. Признайся: дуешься?

— Немного есть...

— Занятная ты девка... А я ведь, знаешь, нарочно не стала вмешиваться. И девчатам своим запретила. Они хотели было на твою защиту встать. Я сказала: не надо.

— Испугалась, что ли?

— Нет. В обиду мы бы тебя все равно не дали. А вот вмешиваться прежде времени было нельзя. Не тот ты человек — ты бы тогда так ничего и не поняла. А теперь поняла. Очень даже хорошо поняла. Верно ведь?

Фроська вздохнула, сразу вспомнив минувшую горькую ночь, блуждания свои в темной тайге, встречу на тропе с трусливыми фраерами в начищенных сапогах. Трудный, тяжкий урок... И все в одну ночь.

Но тут же светлым заревом вставала тревожная радость — негаданная встреча с Николаем в росном пихтаче. Ведь не будь всего того тягостного, мрачного, не

было бы и ее, этой встречи, не было бы зелено-голубых волн, которые, оказывается, баюкают рассветную тайгу.

— Верно...

Через раскрытые окна было видно, как в проходах между топчанами солидно маячили две темные фигуры членов комиссии. Видать, шла проверка. Фроська вдруг забеспокоилась, вспомнив про свою холщовую торбу, второпях брошенную под топчан. А в ней ведь иконка, «святые дары» из шагалихинской часовни, да и рубашка грязная, замызганная вчера на стройке. Постирать-то не успела.

— Они небось по чемоданам да мешкам шарить почнут? — кивнув на окна, настороженно обратилась к бригадирше Фроська.

— Да нет! — рассмеялась Оксана.— Они проверяют порядок в общежитии. А личные вещи их не касаются. Это уж наше дело. По закону.

Однако Фроську это не убедило. Она вспомнила усатого парторга, его твердый прищуренный взгляд. Припомнила, как он настырно посадил-припечатал ее на завалинку.

— Закон законом, а я, пожалуй, побегу. Не дай бог, ежели примутся тормошить мою торбу!

Оксана весело расхохоталась ей вслед. Девчатам в ответ на недоуменные вопросы объяснила:

— Утюг на плите оставила. Ну сильна кержачка, прямо Насреддин в юбке!

А в бараке уже началась суматоха. Визгливо покрикивала комендантша, призывая всех рассаживаться на табуретки у своих топчанов, белым неостановимым шаром катался по проходам прораб Брюквин, бесцеремонно расталкивая всех своим твердым животом, кричал зычно, как на плотине у котлована:

— По местам, девчата! Деловая пятиминутка!

Фроська тоже села, успокоилась: торба ее оказалась на месте, под топчаном, у передних ножек. Собралась послушать: от чужих речей умнее не станешь, а научиться чему-нибудь можно. Чужое слово как чужой кафтан: примеривай да прикидывай, прежде чем для себя приспособить. Брюхатый прораб вряд ли скажет что-нибудь умное, а вот парторга надо послушать, глаза у него хорошие, добрые. Да и цепкость мужичья есть.

Он и начал говорить. Про те самые «бытовые усло-

вия». Дескать, как отдохнешь, так потом и поработаешь. А для отдыха нужны чистота, уют и удобства.

Тут пошел несусветный галдеж: того нет, этого не дают, третьего — не выделяют. Не стеснялись девки, крыли почем зря: и про утюги, про дырявую уборную, про душевую, которую обещали построить еще весной.

«А хорошо! — одобрительно подумала Фроська.— Смелые девчата, деловые. И начальство молчит, пыжится да слушает. Это не то что в Авдотьиной пустыне, там бы игуменья живо рот заткнула, да на недельку на скотный двор, на коровий навоз отрядила.

Верно сказал парторг: «То, что положено рабочему классу,— предоставь, обеспечь». Только зачем же орать, глотку драть попусту? Начальство ведь услышало, пообещало — значит, сделает».

Теперь свара пошла из-за клопов. Особенно громко кричала, возмущалась вчерашняя Фроськина соседка-пигалица, на ее затылке мелко и яростно тряслись бумажные дульки от сделанной на ночь домашней завивки. Видно, нынче ее как следует пожарили клопы на Оксанином топчане — клопы свежего чуют, как звери набрасываются на нового человека.

— Ядом их надо травить! — кричала она, потрясая сухим кулачком.— В заграничных странах, я читала, давно клопов повывели. Ядовитым порошком, называется «дуст». Пущай нам доставят! Ведь житья нет от клопов!

Поднялась комендантша, внушительно сказала:

— Никакой порошок не поможет, девоньки. Сами только потравитесь, упаси господи. Наши клопы — таежные, они из дерева лезут. Стало быть, ежели есть дерево — завсегда будут и клопы. Святая правда.

— Да врешь ты все, Ипатьевна! — не выдержала, крикнула Фроська.— И она про порошки тоже врет. От грязи все паразиты заводятся. И клопы, и блохи, и та же вша заразная. Чистоту блюсти надобно, девки. Вот чего главное!

Фроську многие поддержали, а Оксанины девчата дружно захлопали в ладоши: «Верно! Правильно!» И вот тут выяснилось, что уборщицы штатной, оказывается, нет. Жалованье маленькое, никто работать не идет. Одна старуха было подрядилась, да заболела. Вот грязь и лежит, наслаивается.

— Вы же рабочий класс. Неужто сами не управитесь? — насмешливо сказал парторг.

И, видимо, потому, что сказал он это, обращаясь к Фроське, она ответила:

— А почему не управимся? Управимся сами. Дело женское, привычное.

— Вот тебя и выберем-назначим! — ехидно обернулась пигалица. — Общественной уборщицей.

— Зачем же уборщицей? — сказал парторг.— Мы ее выберем председателем санитарной группы. А уж она организует так, чтобы в уборке барака участвовали все по очереди. Верно, девушки?

— Верно, верно!! — поддержали бетонщицы.

— Нет, не верно! — опять вскочила пигалица.— Это ее-то председателем выбирать? Да я первая — против. Она же верующая. Она же неизвестная личность без паспорта! У нее никаких документов при себе нет!

Пигалица все это выкрикнула с такой злостью, непререкаемой уверенностью, что в бараке сразу нависла напряженная тишина. Слышно стало, как пыхтит-отдувается прораб Брюквин, как скрипит табуретка под его грузным телом.

— Ну это не беда,— глухо, но четко сказал наконец парторг.— Нет документов — значит, будут. Выдадим. Кто у нее бригадир? Пусть скажет о ней слово, о товарище...

— Просековой,— подсказал прораб.

— О товарище Просековой. — Парторг стал было слушать Брюквина — тот продолжал что-то нашептывать ему на ухо, но потом отмахнулся: — Так кто бригадир у Просековой?

Ответа не было. Тогда опять поднялась белобрысая пигалица, успевшая на этот раз упрятать под косынку заготовленный перманент.

— Нет у нее бригадира! И вообще, я вам русским языком объяснила: пришлая она. Неизвестно откуда. Один день проработала и напортачила за десятерых.

Вся эта перепалка происходила в углу, влево от входной двери. Начальство вместе с Ипатьевной сидело как раз перед настенной географической картой, и пигалица сидела тут же, у самого дверного косяка (ее комендантша привела последней, вытурила из умывальника).

Туда по узкому проходу вдоль стены и направилась Оксана Третьяк. Подошла, скрестила руки на груди, сказала с усмешкой:

— Я у нее бригадир! С сегодняшнего дня Просекова в моей бригаде работает. Девка боевая — у меня все такие. А Дуську вы не слушайте! Ей нынче кудри помешали завить, вот она и злится.

— Но-но, не дури, Оксана! — запыхтел, закипятился прораб Брюквин.— Я самоуправства не позволю. Просекова поставлена на растворный узел, пусть там и работает. Приказ вчерашним днем отдан.

— Да не женская там работа, товарищ прораб! — со спокойной веселостью повернулась к нему бригадирша.— Там же мужику и то надорваться можно. А ей еще в семье жить, детей рожать. Ты сам-то соображаешь, куда поставил девушку?

Опять начался гвалт. Шумели в основном девчата из бригады Оксаны — подбадривали ее. На пигалицу-Дуську шикнули, и она, пользуясь общей сумятицей, шмыгнула за косяк, скрылась в умывальнике.

Заканчивая собрание, парторг Денисов сказал:

— Санитарную группу и ее председателя утверждаем. Кто — за? Единогласно, вот и хорошо. А вы, товарищ Брюквин, сделайте выводы. Бригадир Оксана говорит правильно: надо немедленно исправить ошибку. Что касается жалоб и предложений, то завтра ваши бытовые дела ставим на парткоме. Поможем, товарищи! Это я вам твердо обещаю.

Парторг подозвал к себе бригадиршу, потом поманил пальцем Фроську. Вместе с ними вышел во двор. Усмехаясь в прокуренные усы, пробурчал:

— Ну и разыграли вы, плутовки, как по нотам! Ладно, ладно, не оправдывайтесь! Я и сам вижу: не было сговору меж вами. И Просекова — молодец девка, тоже вижу. Вы вот о чем подумайте: производительность кладки бетона надо наращивать. Плохо мы пока гоним бетон, плохо! Самое наше слабое место.

— Подумаем, товарищ Денисов,— пообещала Оксана.

— Вот и хорошо. А за подругой своей приглядывай, уж больно она, красавица, гулянки ночные любит. Дело, конечно, молодое, однако надо и про отдых думать. А то какая получится работа?

Фроська стояла рядом, недоумевала: зачем понадобилось парторгу приглашать ее с собой на проводы? Разговор-то он ведет не с ней, а только с бригадиршей Оксаной.

Потом поняла: это чтобы другие видели. Ведь избрали ее председателем по чистоте, значит, в какое ни есть, а в начальство выдвинули. Вот это парторг и показывает.

13

Ежедневно на рассвете в четыре утра Шилов слушал Берлин — сводку политического обозрения. Здесь было утро, там — ушедшая полночь. Он жил вчерашним днем, однако ничуть не иронизировал по этому поводу. Он считал, что вчерашний день по-настоящему еще не наступил и не сказал своего решающего слова.

Вести из далекой Германии остро интересовали его, были житейски столь же необходимы, как бодрящий утренний кофе и первая папироса. Они давали своеобразную психологическую зарядку на целый день. Жизнь с ее ежечасными хлопотами, рабочей суетой, бесконечными людскими встречами и столкновениями, с общей азартной возбужденностью постепенно, но неуклонно раскачивала, трясла и просеивала его, выветривая многое из того, чем он держался и что определяло когда-то суть данной ему товарищами лестной характеристики «неумолимого и дерзкого». Он был влюблен в эту формулу.

Недавняя речь Гитлера об авторитарной системе нацизма, которую он прослушал, казалось, была очень далека от его эсеровско-троцкистских воззрений. Но это только на первый взгляд. Размышляя, потом Шилов понял, что принципиальные гитлеровские концепции прямо продолжают и развивают то, что давно зрело в его собственной душе,— несмелое, опасливое, припрятанное за кисейные шторы так называемых предрассудков. То был гремящий голос воли, железного действия, рассудочного веления — неодолимого, всесокрушающего, лишенного бренных лохмотьев совести,— тех самых химер, которые потащили на дно не один десяток «спасителей России», оказавшихся не вождями, а лишь заурядными людишками.

«Сила через радость» — это придумано немцами и придумано хорошо (кажется, газетой штурмовиков «Штюрмер»?). Девиз передают ежедневно в связи с подготовкой к Берлинской Всемирной олимпиаде, но относится он не только к спорту и туризму — ко всей сегодняшней Германии.

Слушая предолимпийские известия, Шилов всякий раз с замиранием сердца представлял себе круг Большой звезды в Тиргартене, откуда начинается прямая стрела улицы, ведущей к Олимпийскому стадиону... Да, Берлин стал для него родным городом, городом будущего, городом больших надежд...

Конечно, кое в чем немцы поступают опрометчиво. Вряд ли, например, надо трубить на весь мир о военизации детей, перечислять атрибуты всех этих юнгфольк, юнгмедель, гитлерюгенд, восторженно умиляться ножам и кинжалам на бедрах сопливых «солдат рейха». И уж вовсе напрасно поднимать столько шума вокруг «еврейского вопроса», особенно по поводу «еврейского вето» во всех видах спорта. Это может оттолкнуть многих сторонников Германии, многих преданных борцов.

И вовсе глупость — попытки вернуться к древнегерманской религии. Тут явный прокол по геббельсовскому ведомству: «Пора нам позаботиться, чтобы еврейский ублюдок из Дома Давида не был навязан немецкому народу в качестве бога».

Хлестко сказано, но кто же виноват, что все христианское учение заимствовано у древних иудеев и все библейские персонажи начиная с Иисуса Христа и пророков — чистокровные евреи?

Очень много шероховатостей в нацистской пропаганде. Это — если сказать мягко.

Впрочем, движение растет, а значит, совершенствуется вся его система. Ведь в свое время первое издание «Майн кампф» тоже выглядело аляповато и малограмотно: ее отстукивал на машинке Гесс под диктовку Гитлера в тюремной камере. Зато сейчас, прошедшая сотни редакторских фильтров, книга в золотом переплете стала библией германской нации.

Излишняя шумливость — стиль современной Германии, наследованный от штурмовых отрядов Рема. Но это вовсе не пустой шум, а тактика прикрытия, за которой, как не раз демонстрировали штурмовики, непременно последуют события.

Их надо скоро ждать, они придут сюда, ибо, как со всей определенностью предсказывает «Майн кампф», острие «железного действия» будет направлено на Восток.

Шилов выключил приемник, отхлебнул суррогатного кофе и энергично тряхнул головой, словно отбрасывая

прочь прилипчивую скороговорку берлинского диктора. Поморщился, сказал вслух: «Их глаубе дас нихт»[1].

Рассмеялся, поймав себя на том, что мыслит и говорит все еще по-немецки. А, собственно, чему он не поверил? Ах, да! Этой инсценировке в Лиге Наций, разыгранной представителем Данцига Грейзером. Конечно, это был просто спектакль, заранее отработанный гитлеровской дипломатией. Немцы мастаки на такие дела.

А в Европе жара... Тридцать градусов для Берлина многовато. Значит, большой расход пива, а у немцев, где пиво — там политика. Круг замыкается — все упирается в политику. Жди новостей.

Эта мысль и совсем развеселила Шилова. Подхватив полотенце, он собрался умываться на речку. Помедлив, бойко выпрыгнул в окно (чтобы не идти через двор, не дразнить сторожевого кобеля).

До речки он не дошел, пересекая дорогу, остановился: его заинтересовал конный обоз из нескольких телег, показавшихся из-за поворота. Странный какой-то обоз, необычный на вид. Лошади гладкие, гривастые, и брички с высокими бортами, каких на строительстве нет. На передней подводе большой кумачовый флаг. Может быть, очередное агитационное шествие?

Он уже стал прыгать по прибрежным камням, но тут его окликнули с дороги громко и требовательно:

— Товарищ Шилов! Шилов!

Звали именно его, как ни удивительно. Интересно зачем?

Шилов вернулся на дорогу, на ходу надевая только что снятую рубашку. Бросив на плечо полотенце, пригляделся: кричал, оказывается, не возчик с первой телеги, а председатель местного сельсовета, губастый, осанистый малый в выгоревшей красноармейской гимнастерке. (Шилов виделся с ним на парткоме, даже о чем-то беседовал незначительном.)

— Слушаю вас.

— Извините, товарищ Шилов... Тут такое дело, едем на стройку, в щебеночный карьер. Мужики из Кержацкой пади всем миром решили, стало быть, помощь оказать плотине. Красным обозом направляемся. Как положено.

---

[1] Я этому не верю *(нем.)*.

— Так...— Шилов оценивающе оглядел обоз: десять бричек, очень даже неплохо.— И что же вы хотите?

— Ваше указание получить,— сказал председатель.— Чтобы, значит, у конторы не ждать, не торговаться, а сразу всем возчикам в карьер ехать. Согласно распоряжению начальника строительства. Вашему то есть.

— Да, но дело в том, что возчики нам не нужны, нам нужны только лошади.

— Как так? — насупился, помрачнел председатель.

— По штатному расписанию у нас нет вакантных должностей возчиков. Они заняты. Объясните это вашим товарищам.

Шилов чувствовал, что говорит излишне сухо, даже раздраженно, он никак не мог приглушить вспыхнувшее недовольство: приперлись чуть свет со своим обозом, умыться по-человечески не дадут... В конце концов, все это можно было решить у конторы в положенное время, даже с митинговыми речами, если уж на то пошло.

Большинство возчиков слышали разговор, возмущенно загалдели. А молодой чернобородый с передней телеги поднялся в рост, гаркнул:

— Слышь, чаво деется, братки? Им возчиков, говорит, не надо. А мы лошадей одних не дадим — замордуют их там. Значица, ежели не выходит по-нашему, мы теперя айда до дому! Повертай телеги!

— Погоди, Егорка, погоди! — Председатель дернул за рукав, осадил в бричку бойкого оратора.— Сядь и не гоношись! Сейчас разберемся.

Председатель сделал несколько шагов, и Шилов поежился в предчувствии возможной близкой ссоры: как истинный интеллигент, он не любил хамских разговоров. В качающейся, развязной походке держателя местной власти виделось нечто угрожающее. «Так подходят хулиганы где-нибудь в темном переулке»,— с иронией подумал Шилов.

— Отойдем, поговорим...— буркнул председатель.

— Что?!

— Отойдем, говорю, в сторонку.— Он цепко ухватил Шилова за локоть, потянул к придорожным кустам.— Обменяемся мнениями.

Шилов вдруг вспомнил своего приятеля Эфраима Дрейцера, командира охранного эскадрона и любимца Льва Давыдовича Троцкого. Азартный спорщик и забияка, тот частенько хватал соперника за локоть: «Обменя-

емся мнениями!» А отведя за угол, сразу же, по-одесски, давал в морду. У этого молодчика те же ухватки, даже слова одинаковые.

— Что это значит? Куда вы меня тянете?

— Инженер! — Председатель говорил тихо, прямо-таки шипел.— Ты что такое говоришь людям?! Их советская власть в помощь тебе сагитировала, а ты чего говоришь?

— Но, но! — протестующе сказал Шилов.— Вы мне не тыкайте, товарищ! Не забывайтесь.

Однако сельсоветчик не обратил на это никакого внимания, только крепче сжал шиловский локоть, задышал в самое ухо:

— Ты соображаешь, что делаешь? Народ социализмом воспламененный, а вы загасить хотите? Знаем мы вас: спецов-интеллигентов! Знаем! Давай сейчас же приглашай народ на стройку и не выставляй меня дураком. Не то хуже тебе будет. Приглашай!

Шилов, признаться, несколько опешил, даже забеспокоился: мало ли что можно ожидать от этого увальня с бесноватым, бегающим взглядом. К тому же он то и дело недвусмысленно кладет правую руку на задний брючный карман. Черт знает, что ему еще взбредет в голову...

— Не горячись, товарищ,— примирительно усмехнулся Шилов.— Мы все болеем за общее дело. Не нужно скандалить, потому что потом будете жалеть.

— Мне плевать, что будет потом! Еще раз говорю: зови народ на стройку. Ну!

Шилов сожалеюще развел руками: пожалуйста, он вынужден отступить перед наглостью. Взобравшись на придорожный валун, начальник стройки произнес несколько вежливых, не очень бодрых фраз в том смысле, что помощь местных возчиков-кержаков весьма своевременна и будет оценена по достоинству. Он, пока говорил, все время чувствовал за спиной присутствие сельсоветчика, неприятно холодел затылком, будто стоял под револьверным дулом.

Обоз двинулся по дороге мимо Шилова, а он все стоял на камне, глотая пыль и кисло улыбаясь. Председатель сельсовета на прощание сказал ему, пряча ехидную ухмылку:

— Хорошо высказались, товарищ Шилов! Очень вы понятливый человек. Мы толково поговорили.

— Боюсь, что разговор не закончен,— нахмурился

Шилов,— и его придется продолжить на заседании парткома. Или даже в райкоме партии.

— Не советую! — нахально рассмеялся председатель, и Шилов только теперь разглядел, какие у него дерзкие, зелено-желтые кошачьи глаза.— Вы ведь, как начальник, проявили здесь политическое недомыслие. Вредное недомыслие!

Сельсоветчик внушительно поднял над головой палец, показывая, до какой степени опасно это политическое недомыслие, к тому же если оно будет предъявлено и квалифицировано представителем советской власти. А в свете некоторых известных событий это может прозвучать не очень красиво, и не в пользу товарища технического специалиста.

Шилов глядел на скуластую веселую физиономию председателя и думал, что сегодняшний случай ненароком свел его с настоящим и серьезным врагом, человеком, как бы олицетворяющим собой подлинный образ супостата, стоящего по другую сторону жизненной баррикады. Он современен, молод, обаятелен, полон сил, напорист и дерзок. Он многого лишен, у него нет должной гибкости и проницательности, зато он обладает железной хваткой. О его фанатизм будут безнадежно разбиваться утлые челны самых замысловатых и хитромудрых теорий. Сколько их, таких, и что они могут? Вот вопрос...

Почему-то вспомнились недавние выкрики берлинского диктора, модерновый девиз: «Сила через радость». А ведь этот черемшанский молодец тоже исповедует приоритет силы, только порождается она совсем иной идейной закваской. Там и там — сила. А вот кто, в конце концов, испытает радость? Наверное, тот, кто умеет ждать. Кто окажется терпеливее.

Наблюдая за тем, как председатель сельсовета бегом догнал обоз, как ловко, с ходу вскочил в последнюю бричку, Шилов досадливо поморщился. Каким же глупым и жалким выглядел он сам только что на этом дурацком камне: заспанный писклявый пижон в незаправленной в штаны рубахе...

Умываться на речку он так и не пошел.

14

Как раз напротив окон стройуправления, справа от карьера, в каменной россыпи, жила лиса. Приютилась она

там давно — наверное, еще задолго до начала стройки, жила себе, припеваючи, шныряла между камнями на глазах у сотен людей и начхать хотела на дробот перфораторов, машинный скрежет, на всю эту рабочую колготню. Даже динамитные взрывы ее не пугали, во время отпалки она пряталась поглубже в нору — только и всего.

Она как-то украшала пейзаж: серые унылые скалы и средь этого однообразия, на тебе — ярко-оранжевое пятно. Причем движущееся, живое.

По утрам лиса лежала на камне, валялась на боку, грелась на солнышке. Но только до начала работы — с первым гудком мотовоза вскакивала, энергично, по-собачьи потягивалась и, вильнув хвостом, исчезала в расселине. Надо полагать, у нее тоже начинался трудовой день.

А может, это был лис, потому что лисят никогда не видели у норы.

Парторг Денисов сидел у окна, как обычно окутанный клубами табачного дыма, кивнул вошедшему Вахромееву, поманил его пальцем.

— Иди полюбуйся. Видишь, вон лиса? Да на скале, правее бери. Видишь? Трется об кусты, шубу свою расчесывает — облепиха-то с колючками. Как гребень получается. Ну и смышленая, шалава!

— Линяет,— сказал Вахромеев.— Стрелять ее сейчас нельзя.

— Вахлак! — нахмурился Денисов.— Ну и живодеры вы все, таежники! Только спробуй стрельни эту лису, тебя рабочие живо в отвал сбросят и не поглядят, что ты местная власть. Эта лиса общественная, собственность коллектива, понял?

— Блажите, гегемоны,— ухмыльнулся Вахромеев.— А я удивляюсь, чего, думаю, народ ваш у конторы на скалы пялится: уж не медведя ли узрели? А оно — лиса. Ну-ну. Между прочим, ты не на лису дивуйся, а погляди вот туда, на дорогу. Видишь подводы?

— Вижу...— прищурился парторг.— Кто эти бородачи? Откуда?

— А все оттуда: из Кержацкой пади. Вот тебе пополнение рабочей силы, здоровое и крепкое. Так что задание парткома выполнил, о чем и докладываю.

— Не шутишь, Фомич?

— Какие шутки! Вон в полном естестве — десять кержаков возчиков да десять справных лошадок. Так что

зачисляй в личный состав и определяй им производственное задание. «Добро» начальника на этот счет имеется. Устное — мы с ним только что на дороге встретились. Потолковали, знамо дело, по душам.

— И это уже успел?

— Стараемся, Михайла Иванович...— Вахромеев положил на подоконник аккуратную ведомость: фамилия, имя-отчество, кличка лошади и все такое прочее. Вот, мол, и документ официальный готов.

Парторг поднялся, обрадованно потискал Вахромеева, похлопал по плечу, нахваливая. Дескать, орел черемшанский, самородок таежный, деятель неутомимый. И еще — оратор пламенный, настоящий глашатай революционных идей.

— Слетко сказал, что ли?

— Он. Информировал меня о кержацком собрании в радужных красках. Говорит, гремел ты и грохотал, как Марат.

— Да ничего такого не было! — отмахнулся Вахромеев. — Просто кержаки ожидали митинговые речи, чтобы, дескать, с лозунгом: «Вперед, товарищи, за мной!» А я с ними по-другому — вот и весь секрет. Иной раз другое требуется: думу вескую заложить людям в души, пускай пораскинут умом, а уж потом — решают. Верно говорю?

— Верно, Фомич. Большевистское слово должно быть не только пламенным, а и сердечным. Человеческим должно быть.

Насчет «веской думы» Вахромеев сообразил только сейчас, если уж признаться честно. Но ведь в действительности так оно и было! Не зря же мужики потом судачили весь вечер, до темноты сидели на бревнах (тот же Егорка Савушкин рассказывал).

— И вообще,— сказал Вахромеев,— народ нынче пошел другой — обходительности требует. Потому как Конституция права провозглашает. Подход нужен, Михайла Иванович, вот какое дело...

Тут он явно споткнулся, вспомнив вдруг недавнюю стычку с начальником строительства. В раздумье поскреб затылок:

— Оно, конечно, с кем и как говорить... Это тоже надо учитывать.

Сказать или не сказать Денисову про беседу с инженером Шиловым, не очень «дружелюбную» беседу? А зачем? Он, Вахромеев, не кричал, не оскорблял. Сказал все,

как есть. А ежели ты не выспался и у тебя от этого дурное настроение, так не забывай про классовые интересы, про остроту политического момента. Как же иначе?

Пускай сам говорит и жалуется, коли считает себя обиженным. Тогда разберемся.

— Ты какой-то квелый, Михайла Иванович, — жалеючи сказал Вахромеев, приглядываясь к серому лицу парторга.— Плохо выглядишь, прямо хоть святых выноси. Почему в больницу не ложишься? Ведь партком решение принял. Подлечить.

Денисов слабо усмехнулся, стал ворошить бумаги на столе — бумаг у него была чертова прорва, впору их в копенки укладывать, стожить, как сено. Закопался человек в бумагах, вовсе зачах.

— В санаторий скоро поеду. Через месяц должны путевку прислать,— оправдывался Денисов.— А честно сказать — некогда мне по больницам шастать. Год дали для завершения плотины — и душа винтом. Вон и прикидывай. А тут еще текущих дел уйма. Сегодня, к примеру, митинг по подписке на Государственный заем. Ты тоже бери подписные листы — провернешь на селе. Сколько сам-то даешь?

— На два оклада,— сказал Вахромеев.— Мне меньше нельзя, пример подаю.

— Молодец! Тогда бери и действуй.

Уходя, уже у двери Вахромеев замешкался. Потом спросил:

— Слушай, а возчики на стройке нужны?

— А ты что, за кержаков беспокоишься? Устроим.

— Так у вас ведь штаты.

— А мы заместо безлошадных. Те сами виноваты: не уберегли лошадей, не жалели, пусть теперь грузчиками поработают, на барже щебенку возят. Чего улыбаешься?

— Да так... Я, понимаешь, то же самое товарищу Шилову посоветовал.

— Согласился?

— Ага. Как не согласиться, ежели советская власть советует! — подмигнул Вахромеев. Потом помедлив, уже серьезно сказал: — А знаешь, Михаил Иванович, не нравится мне этот ваш новый начальник. Не по нутру человек. Я ведь с ним только что на встречных сшибся. Ты присмотрись-ка к нему внимательнее. По-партийному присмотрись.

— Да уже, честно сказать, присматриваюсь...

— Вот, вот. А меня чутье редко обманывает. Ну прощай, парторг! Я поскакал.

Хотя «скакать» в это утро ему не придется, Гнедка оставил в конюшне по случаю кержацкого обоза. Да и не спешил он нынче со стройки — имеются кое-какие дела.

Это он так Денисову объяснил. А в действительности, никаких дел, кроме одного: ему непременно хотелось повидать Ефросинью. Всю неделю, прошедшую после той странной утренней встречи, он чувствовал себя не в своей тарелке, испытывая нечто похожее на затянувшееся похмелье. Он будто утерял, оставил впопыхах на том пахучем лапнике под лиственницей свое привычное спокойствие, и теперь его постоянно преследовали неожиданные душевные перемены: то вдруг далалось муторно и грустно, то беспричинно радостно; стыд, горечь ни с того ни с сего сменялись эдакой залихватской радостью. Прямо дьявольские качели какие-то...

Он все время ждал Фроськиного телефонного звонка, обещала ведь звонить. Не дождался. Один вечер проторчал на мосту неподалеку от рабочего общежития, но увидеть ее не удалось даже издали. А идти в барак он не хотел, не мог, просто боялся.

Если уж признаться, он и сейчас трусил. Шутка ли — встреча на виду десятков любопытных глаз... А о чем говорить? Какие теперь нужны слова после всего свершившегося под той вековой лиственницей?..

Вахромеев шел по плотине, по бугристым, залитым цементом плахам и жмурился, тихо вздыхал от необъяснимого удовольствия: зелено-бело-голубая красота расплескалась вокруг, суетная, праздничная, многоголосая! Не было и в помине той приземленной, бесцветной будничности, к которой он уже привык за эти годы, часто бывая на стройке. И он знал, почему именно только сегодня открылась эта удивительная новизна — здесь была она, синеглазая Ефросинья...

Вспомнив ее ясную улыбку, ощутил ладонью тугой узел косы и вдруг застыдился, треклятые качели опять подхватили, понесли его вниз, туда, где жгучее, совестливое. Ноги сделались вялыми, непослушными, впору было поворачивать обратно...

Только поздно — она уже бежала ему навстречу, бросив пустую тачку. Он ожидал неловкости, думал, что она засмущается, потупится или отведет глаза. Ничуть не бы-

вало! Фроська озорно и весело, с размаху шлепнула о его ладонь измазанную руку:

— Здравствуй, Коленька, милый председатель!

Этой загорелой рукой она будто толкнула невидимые качели, и Вахромеев с замиранием почувствовал, как его стремительно понесло вверх, к чистоте, к радости.

— Здравствуй, Ефросинья! Ух ты какая...

На ней была в обтяжечку сиреневая майка-футболка со шнурками у ворота, лихо пузырились новые брезентовые штаны.

— На одежу удивляешься? — смеялась она.— Это девки мне купили в сельпо. Я ведь теперь бетонщица, в бригаде Оксаны Третьяк состою. Девки у нас мировые: оторви-примерзло!

— Значит, поладила с ними. Подружилась?

— Ага. Разобрались друг в дружке, обнюхались. Теперича все по-другому. Слышь, Коля, девки-то, оказывается, приехали с Украины — вон откуда! А я у них спрашиваю, дескать, чего вы здесь: дома, что ли, работы не хватает? А они мне: темнота таежная, мы же помогать явились! Ну золотой народ, ей-богу!

Где-то рядом тарахтел перфоратор — сквозили бетон, и Фроська говорила громко, почти кричала, заглядывая ему в глаза: слышит ли, понимает? Он подумал, что все-таки нехорошо они стоят, на самом гребне плотины, на виду у всех: мало ли что люди подумают? Неуверенно предложил:

— Может, отойдем куда да сядем?

— А чего боишься-то? Я в бригаде сказала, что ты мой земляк. Мы же с тобой оба из Стрижной ямы — разве не так? Я тебя помню, когда ты еще в школу бегал: вихрастый шустрый мальчишечка. А мы с матерью-покойницей побирушками были, с торбами ходили по дворам корочки собирать. И к вам приходили, твоя мать горбушку вынесла. А ты на крыльце стоял, жалостливо смотрел. Поди не помнишь?

— Не помню...

— Где уж меня запомнить. Сопливая я была, да залатанная вся. А ныне вот в ударницы выхожу, одеваюсь ровно городская фифа. У самого председателя сельсовета в любовницах состою. Любишь меня ай нет?

— Да брось пустомелить, Ефросинья! Чего говоришь-то?

— То и говорю: истинную правду. А ты вот про любовь небось не ответил. Боишься или еще почему? Ну да не отвечай, и так знаю: любишь. Иначе бы сюда не пришел да принародно встречаться не стал. Или ты по какому другому делу?

— К тебе, Ефросинья. К тебе...

— Ну и ладно. Тогда отойдем да посидим маленечко. Вот на том камне посидим.

Они сели на тесаную глыбу гранита, приготовленную к укладке, и стали говорить. Впрочем, говорила одна Ефросинья: про житье-бытье рассказывала, подруг своих нахваливала, а Вахромеев молчал и пытливо смотрел на нее. Он будто заново открывал ее, удивлялся: как же раньше не заметил ни этой шалой нежности в глазах и в улыбке, ни этой родинки на виске, ни смешных завитков, нарочно пристроенных над ухом...

Он все старался представить высокое крыльцо отчего дома с резными перилами-балясинами, себя — пацана в кургузом пиджачке, и девочку-побирушку в сермяке с чужого плеча и с холщовой торбой. Кажется, что-то припоминал... Испугался-обрадовался неожиданной догадке: значит, она еще тогда приметила его и помнила, может быть, искала все эти годы?.. Неужели такое возможно?

— Ефросинья, что я тебе скажу... Приходи сегодня вечером на Колючий косогор. Ну который напротив больницы. Придешь?

— Нет,— сказала она, спокойно улыбаясь.— Не приду.

— Почему?

— А я теперь в школу хожу по вечерам-то. В ликбез. Арифметику-грамматику изучаю. Скоро письма тебе писать буду.

— Ну так давай я тебя после школы встречу. Хочешь?

— Не надо,— сказала Фроська.— Ни к чему.

Он обеспокоенно взглянул на насмешливое ее лицо, решительно сжатые губы, пожал плечами — что все это значит? Вспомнил опять росные утренние кусты, ее протянутые руки, губы — ждущие, искренние, горячие... Не приснилось же ему?

— Ты, Коля, не выбуривай глазами-то. Я сказала нет, стало быть, нет. И ни сегодня, ни в другой раз. В любовницах никогда не ходила и не буду. Ну а то, что случилось меж нами,— дьявольское наваждение, сатана попутал, гори он, аспид, в геенне огненной. Согрешили, Ко-

ленька, согрешили мы с тобой! Теперича грех тот позорный я ежевечерне отмаливаю, прощение прошу перед заступницей Казанской богоматерью, перед великомученицей Параскевой. В молитве-то и тебя упоминаю, сокол мой ясноглазый. И на тебя со временем сойдет благовест божий. Я ведь и молитву особую приготовила к тезке твоему, ко святому Николаю угоднику. Тут она на бумажке переписана. Может, возьмешь?

— Чего мелешь-то, Ефросинья? Перестань...

Может, она дурачила его, разыгрывала? Не похоже. Надо быть лицемерным человеком, чтобы пойти на такое. Ефросинья — чистая, нетронутая душа. Вахромеев знал это. Она пришла в мир со своими мерками и не отступит ни капельки, покуда жизнь не опрокинет, не перемелет их и не докажет ей истинность новых.

«На нее и обижаться нельзя»,— грустно усмехнулся Вахромеев, наблюдая за тем, как Ефросинья, уже забыв о резанувшем его по сердцу «нет», с хлопотливой гордостью показывает свою обувку — желтые, на белой резине тапочки-баретки.

— Это мне Оксана-бригадирша насовсем, в подарок, отдала. А девчата, слышь, Коля, что учудили! Бутылы мои взяли и в костре сожгли, чтобы, говорят, опять не убегла. А заместо них купили мне ботинки красные, на высоком подборе — уж так ладно на ноге сидят! Узорные да строченые, я их тебе непременно покажу. А ты пошто хмуришься, Коленька!

— Любовь-то наша как, Ефросинья? — виновато, устало усмехнулся Вахромеев.

— А уж это я сама решу,— вздохнула Ефросинья.— Вот отмолю грехи, тогда и подумаю. Время, Коля, все покажет, чистой водичкой отмоет, деньками ясными приветит. Ты не горюй — оно все к лучшему.

15

Следователь Матюхин мучился бессонницей — ныла, изводила тупой болью старая рана в ноге. Это от верховой езды: добираясь в Черемшу, десять часов проторчал в седле. Дорога — кручи, броды, перевалы, как к дьяволу в преисподнюю, да и седло попалось какое-то дурацкое — плоское, широкое, не то уйгурское, не то алтайцами-туфаларами сработанное. Не седло, а корыто перевернутое, богдыхана возить враскорячку. На конном дворе подсу-

нули в городе, олухи окаянные, чтоб им ни дна ни покрышки...

А тут еще клопы не давали покоя. С полночи набросились, перли из бревенчатых стен кровожадной оравой — тощие, плоские, мелкие, как прошлогодние укропные семена. Свежего человека почуяли — хоть гори все огнём, их не остановишь.

Матюхин трижды выходил покурить на крыльцо Дома приезжих, потом включил свет, вытащил на середину комнаты широкую лавку-скамейку, прилег на нее, попытался уснуть. Не тут-то было: вонючие кровососы теперь сыпались с потолка, причем он заметил: падали не мимо, не на пол, а точно на скамейку. Очевидно, у таежных паразитов имелось какое-то приспособление, может быть, на тепло реагировали, на дух человеческий.

Да и какая голая скамейка — лежка для больной-то ноги?

Окна стали сереть, когда следователь, отчаянно выругавшись, поднялся и стал одеваться. Принял таблетку аспирина и долго курил трубку, прислушиваясь к дергающей, понемногу затихающей боли в бедре. Эко его тогда угораздило в Солоновке попасть под медвежий жокан! И влепили-то почти вплотную из развалин: он, как сейчас помнил оранжевый сноп вспышки и тяжелый удар по ногам, будто оглоблей. Сколько крови потерял... Не мудрено, на выходе жокан вырвал кусок мышцы с чайное блюдце.

Очень уж злобный стрелял человек (кулацкий выродок!) — десять лет прошло, а рана болит. Два винтовочных ранения — под ключицей и в предплечье, полученные еще в гражданскую, давным-давно заросли; только в бане, на парной полке, почесываются иногда. А это не уходит, ноет к непогоде, гложет-болит, ежели ненароком разбередишь. Сволочная штука, свинцовый жокан, медведям не позавидуешь...

Наконец-то развиднелось, и, распахнув окно, Матюхин стал разбирать, чистить наградной браунинг вальтер, подстелив на столе газету,— это занятие всегда доставляло ему удовольствие, приглушало боль в ноге. И всегда вспоминалось приятное — браунинг не один раз выручал его.

Вот хотя бы на Голухе в позапрошлом году. Влип как кур во щи на таежной тропе: не успел и сообразить, очухаться, как сдернули карабин, кобуру с наганом срезали. А обыскали-то поспешно, по-воровски,— про задний

карман забыли. И уж вовсе не ожидали, что он стреляет с левой руки.

Из полевой сумки Матюхин достал армейскую масленку, которую возил с собой еще с лихих чоновских времен. Поболтал, отвинтил обе пробки, проверил: не протекает ли? Потом левую, где была щелочь, опять закрыл наглухо — щелочью он никогда не пользовался. Щелочь — для разгильдяев, для вывода ржавчины, настоящий стрелок никогда такого в своем оружии не допустит.

После чистки следователь стал пить чай, опустив в кружку щедрый кусок «кирпичной» заварки. Отхлебывая, без интереса проглядывал заляпанную маслом газету, жмурился выходящему из-за гор солнцу. Село давно уже гомонило и, несмотря на воскресный день, встречало раннее утро деловой летней суетой: пропылило-пробренчало коровье стадо, протарахтел трактор с громоздким санным волоком (Матюхин обогнал его вчера на ближнем перевале, на Березовом седле), бабьей скороговоркой, куриным кудахтаньем объявился базарчик внизу на площади, как раз напротив окон (не пойти ли купить крынку молока парного — полезно бы после вчерашней дорожной сухомятки).

О предстоящем деле Матюхин пока не думал. Он строго придерживался правила, ставшего служебной привычкой: никогда не торопиться с началом расследования. Начало, он считал, — самое главное в следствии. И если впопыхах сразу возьмешь неверную тональность, дальше обязательно сфальшивишь. Следствие — вроде лабиринта, к которому ведут несколько ходов, из них только один — правильный. Нельзя, не разобравшись, соблазняться первым попавшимся ходом.

Нужно какое-то время, чтобы «врасти» в обстановку, приглядеться, почувствовать тонкости и оттенки общественной атмосферы, уловить, если возможно, симпатии, настроения, пороги и узлы главных противоречий, узнать — чем живут люди? Как раньше делали моряки: ступив на борт корабля, мусолили и поднимали палец — куда дует ветер?

Этому Матюхина научила жизнь. В двадцатых годах, будучи сотрудником губернского уголовного розыска, мотался он по аулам Семиречья: там угнали табун, там украли байских жен, там зарезали комбедовца или застрелили члена аулсовета. По-разному приходилось: едать бараньи мозги на месте почетного гостя, кутаться в дра-

ный зипун или прятать глаза под лисьим малахаем, падать на мерзлые солончаки под пулями, уходить от погони на удалом иноходце...

Однако с ним всюду считались. И не потому, что он был женат на казашке, хорошо знал местные обычаи и часто ездил на задания с женой, состоявшей в штате переводчиком угро. Но потому, что никогда не спешил с делами, умел поговорить и разобраться во всем обстоятельно. Обстоятельность, деловую неторопливость казахи, мудрый народ, особенно ценили.

Что касается Черемши, то она была для Матюхина пока что сплошным белым пятном. Он никогда не приезжал сюда раньше, а о строительстве высокогорной плотины знал только из газет: новостройка пятилетки, важный народнохозяйственный объект, небывало ударные темпы — вот и все в общих чертах. Ну и еще, пожалуй, сложности материально-технического снабжения, кадровые проблемы, недавняя смена начальника.

История с экскаватором, надо полагать, вредительство. Это не в диковинку, хотя в целом после шахтинского дела эпидемия вредительств идет на спад. Здесь до недавнего времени все было спокойно, чем же вызван инцидент? Кроме того, по дополнительным, но непроверенным данным, кое-кто из местного руководства пытался дезавуировать факт вредительства, представить его технической ошибкой, чистой случайностью во время отпалки. С немцем — главным инженером — тут все вроде объяснимо: он оставался за руководителя стройки и, естественно, попытался снять с себя вину. Кстати, почему до сих пор немец, гражданин гитлеровской Германии, исполняет столь ответственную должность? Необходимо выяснить.

Непонятна позиция парторга. Денисов... Уж не тот ли Денисов, с которым Матюхину пришлось служить недолгое время в отряде ЧОН? Вряд ли. Комвзвода Денисов, кажется, погиб под Катон-Карагаем, когда добивали остатки одичавших бывших анненковцев: в атаке напоролся на пулеметную очередь...

«Стоп, следователь! — сказал себе Матюхин.— Опять о предстоящем деле! Не годится... Ведь ты для чего приехал загодя, на воскресенье? Порыбачить, хариуса в подбелочной Выдрихе «пошарить»? Вот и займись-ка лучше снастями, а то леска опять окажется перепутанной-закураженной — в полдня потом не распутаешь. Да и мушки-

наживки рассортировать надо, чтобы не только по сезону, а и по погоде подходили».

Матюхин покряхтел-поворчал, поругал немножко самого себя (любил иногда самокритикой упражняться, в привычку вошло, особенно после того как остался один, без жены). Затем сходил на конюшню, достал там в переметных сумах рыбацкие снасти-припасы, принес и разложил на столе. Лескам его даже бывалые рабаки завидовали: все из добротного конского волоса, по толщине и по цвету подобраны. Которая для вечернего ужения или, скажем, для заводи — серая, а где вода пеной да пузырями бурлит,— белая, тонкая, почти бесцветная. И все на аккуратные фанерки намотаны.

Хариуса поймать это не дурака-пескаря подцепить, уж не говоря про речного бычка или гальяна (зряшная добыча пацанов!). Хариус хитер, умен, изворотлив, быстр, как молния, и предельно осторожен. Тень на воде увидит и можешь сматывать удочки — ни за что не возьмет. А чутье! Пальцами табачными дотронулся до наживки — клева не жди. Хариуса не объегоришь. Трудная рыба, но зато и дорогая, желанная для рыбацкой души.

Не рыбалка, а настоящая дуэль. На выдержку, на быстроту, на осмотрительность. Наживка — мошка, кузнечик — по самому пенному гребню идет — ни-ни упустить в воду! Крутят ее замути, отбрасывают в стороны волны, путают дорогу коряжины — а ты веди по бурунам легко, играючи, смотри в оба, не плошай, хоть мошкара забила тебе нос и глаза, а слепни-кровососы терзают шею (слепень тоже отличная приманка).

В предвкушении рыбалки Матюхин стал было укладывать снасти в берестяной пестерь (не забыть лопушника на околице нарезать — под рыбу). Но провиант положить не успел: ворвалась в это время в окно песня. Удалая, звонкая, залихватская и многоголосая: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» Любимая песня Матюхина, от которой он, даже ночью услыхав, вскакивал, как боевой конь. Кто поет, по какому случаю?

По деревенской улице шел молодежный отряд — человек, пожалуй, за сорок! С флагами шли, с красными плакатами и с баяном тульским впереди — медные пуговки-лады ярились на солнце. Над головой баяниста размашистый призыв: «Даешь ворошиловского стрелка!»

Чтобы с бою взять Приморье —
Белой армии оплот!

Хорошо поют пареньки, дружно, задористо! Интересно, куда это они направляются?

— В Заречье, на стрельбище! — объяснил Матюхину босоногий мальчишка из сопровождающего отряд непременного эскорта.— Всем дадут стрельнуть из малопульки, по пять патронов — бесплатно. Айда с нами!

Матюхин проводил отряд критическим взглядом: строя-то никакого нет, молотят парни вразнобой, кто во что горазд. И отмашки совсем не видно. А поют — ничего, петь, можно сказать, умеют.

«А ведь рыбалку придется отложить,— усмехнулся Матюхин, ясно почувствовав в груди горячие толчки.— Взыграло ретивое!» Да разве он мог упустить стрелковые состязания, пройти мимо гулкой трескотни стрельбища с его пороховой гарью, изрешеченными мишенями, запахом оружия, его боевой, бодрой атмосферой, выстрелами, командами, клацаньем затворов — всем тем, что так живо, до боли остро, сразу воскрешает в памяти недавнее и давнее, забытое и незабытое. Он, имевший когда-то с десяток призов за стрельбу (бельгийский вальтер тоже за это), умевший в свое время стрелять с коня на скаку, в падении, вслепую, на слух, с левой и с правой руки.

«Стыдно, товарищ Матюхин, стыдно! — вслух укорил себя следователь.— Уж не собираешься ли ты состязаться с деревенской ребятней, завоевать все здешние призы? Эка слаб человек, тщеславен и честолюбив! Потом пойдет молва: приехал следователь из города, стрельбой выхвалялся, местным героем заделался. Нельзя себя афишировать, Афанасий Петрович. Неприлично».

А собственно, почему обязательно нужно стрелять, участвовать в соревновании? Просто пройтись и посмотреть. Побывать, как члену райкома, на оборонно-массовом мероприятии. Подсказать, дать практические рекомендации насчет порядка на огневом рубеже и прочее. Ведь в такой праздничной ватаге недалеко и до легкомыслия, благодушия. А обращение со стрелковым оружием требует дисциплины, серьезности, полной собранности.

Кроме того, соревнования — как раз тот самый случай, когда особенно наглядно проявляется общественное настроение, когда и отдельные люди показывают себя рельефно, откровенно, на пределе своих способностей. Каждый — каков есть.

Через полчаса, наскоро позавтракав, Матюхин направился в Заречье. Шел не спеша, прихрамывая, внешне вроде бы спокойный и безразличный, однако, чувствуя у горла сдавленный комок радостного волнения. Шутил про себя: «Понесла Ермилу до овса кобыла».

Нет, у них тут все было организовано довольно неплохо. На огневом рубеже только очередные (пять на пять мишеней). И команды уставные: «Раздать патроны, по-одному — заряжай», «Огонь». Все как положено. Командовал чубатый крепыш в старой красноармейской форме — Матюхину показалось, что он где-то уже встречался с ним. Ну конечно, это пожалуй, был сам председатель сельсовета. Его фамилия, дай бог памяти, кажется... Вахрушев?

— Вахромеев! — представился командир и довольно сухо осведомился: кто таков и по какому случаю пожаловал?

— Да вот как все,— улыбаясь, схитрил Матюхин.— Интересуюсь стрельбой. Будучи сознательным гражданином, решил попробовать осилить нормы «Ворошиловского стрелка».

Руководитель оглядел его сурово, вздернув правую бровь,— этаким проницательным командирским оком.

— Шуткуете, гражданин?

— Нет, я серьезно.

— Ну ежели серьезно, так вертайтесь назад от огневого рубежа. Тут вам не базар. Стреляют только те, кто сдал зачеты по материальной части оружия. А матчасть у нас изучают в кружке Осоавиахима. Вот туда и записывайтесь.

«Деловой! — отметил Матюхин.— И кажется, не очень-то вежливый — для народного избранника-депутата качество негативное. Впрочем, тут ведь стрельбище и ему сейчас не до деликатности. Интересно, кем он служил в армии? По хватке.— младшим командиром, может быть помкомвзвода. И очевидно, бывший кавалерист — нагайка за голенищем».

— Вы извините, товарищ Вахромеев, но я приезжий. Точнее — командировочный. Следователь по особо важным делам Матюхин. Прибыл вчера поздно вечером.

Вахромеев прищурился, молча протянул руку ладонью вверх: дескать, пожалуйте — выкладывайте удостоверение личности. Перелистал его, даже на Матюхи-

на глянул: похож ли на фотокарточке? И только потом, возвращая, официально стукнул каблуками:

— Председатель Черемшанского сельсовета Вахромеев Николай Фомич. Вы, стало быть, меня разыскивали?

— Да нет,— сказал Матюхин, чувствуя неловкость: получился ведь в некотором роде розыгрыш.— Я в самом деле пришел на стрельбище. Ну не пострелять, так посмотреть: как вы тут молодежь готовите?

— Можно и пострелять,— предложил Вахромеев.— Я сам, грешным делом, увлекаюсь этим. По нашим меркам, какой мужик, ежели стрелять не умеет? Поставить вас на огневой рубеж?

— Нет, я пока посмотрю.

Припекало солнце. На поляне царили строгость и праздничность, два контрастных ярких цвета воплощали здесь мир: сочно-зеленый — тайги и травостоя, красный, кумачовый — принесенный людьми. (Плакаты, флажки, скатерть на судейском столе и розовые азартные лица парней.)

А молодцы, оперативно работают, без бюрократии. Как на американском конвейере: отстрелялся, выполнил норму — шагай к судейскому столу — тут тебе сразу и билет вручается и значок. С белой мишенью и золотом по ободу — будто орден горит на пиджаке.

— А почему девчат не видно? — спросил Матюхин.

— У них сдача норм в следующее воскресенье, по плану,— объяснил Вахромеев.— Вы не подумайте, что они хуже стреляют — у нас все таежники пулять приучены с детства. Только парней и девок вместе сюда приводить нельзя — получается нездоровый сабантуй. Есть такое слово. Понимаете?

— Понимаю,— усмехнулся Матюхин.— Несовместимость, значит. Вредное взаимовлияние.

— Вроде этого.

Уже перед концом стрельб Матюхин все-таки не вытерпел: попросился на огневой рубеж. Ему повесили новую мишень, и он сперва вхолостую проверил спуск курка, подогнал у тозовки ремень под свой локоть, потом сделал три пристрелочных: винтовка била почти точно, правда, чуть косило влево. Следовало контрольные выстрелы делать с небольшим упреждением.

Вахромеев на поляне уже строил отстрелявшихся, так что болельщиков, к сожалению, у Матюхина не было, он оказался в одиночестве на огневом рубеже,

Досылая патрон, Матюхин услыхал сзади конский топот и оглянулся: у кустов спрыгнул с лошади какой-то парень живописного, даже залихватского вида. Широкие плисовые штаны, сапоги гармошкой, сатиновая косоворотка и тюбетейка, прихлопнутая на макушке. Белобрысый, вертлявый, остроглазый — ни дать ни взять шпана с городского базара.

Парнишка подбежал к вахромеевскому помощнику, поторговался о чем-то, скаля зубы и пританцовывая, а через минуту плюхнулся с винтовкой — рядом с Матюхиным, справа от него.

Едва лег, длинно, через зубы, сплюнул (в сторону Матюхина), клацнул затвором и — влепил три пули в матюхинскую мишень, единственную, других уже не было.

— Эй, парень! — рассердился Матюхин. — Ты куда палишь? Мишень мне испортил. Соображаешь?

— Не бойся, дядя! — осклабился парень.— Стреляй себе на здоровье, ежели попадешь. Я мишени не порчу, я их таврую: треугольник выбиваю. У меня такое личное клеймо. Понял?

Матюхин даже стрелять передумал, отложил винтовку — уж больно любопытным показался ему этот взлохмаченный, невесть откуда взявшийся белозубый нахал. Не чересчур ли бойкий парнишка? Впрочем, бойких Матюхин любил.

— Ну, ну,— сказал он.— А в десятку ты хоть попадешь?

— Темнота! — подмигнул белобрысый.— Да мне в десятку попасть что палец обмочить. Вон гляди, школьный мелок лежит над твоей мишенью. Видишь? Сейчас ты его не увидишь.

Бойкий сосед прилип к ложу, щелкнул выстрел, и на том месте, где на бруствере мишени лежал кусочек мела, вспух белый шарик пыли — все, что от него осталось.

— Вот как надо стрелять, батя!

Впрочем, триумф не состоялся: подбежал разъяренный Вахромеев и цепко схватил «снайпера» за шиворот так, что затрещала сатиновая рубаха.

— Кто тебе разрешил, охламон паршивый?! Марш с огневой позиции! Чтоб духу твоего не было!

Парень ловко вывернулся, в три прыжка оказался у

кустов, вскочил в седло. Помахал на прощание цветной тюбетейкой: не поминайте лихом!

— Что это у вас за ковбой выискался? — спросил у председателя Матюхин.

— А ну его! Гошка Полторанин, вахлак сопливый. Выпендривается вечно, как вошь на гребешке. Местного удальца из себя строит. Никак я не доберусь до него, паразита.

— У него и лошадь своя?

— Казенная. Он сейчас на заимке табунщиком. За овсом сюда приезжал. Не углядел я его, прохлопал. А патроны у него свои оказались.

— А по-моему, вы зря уж так его честите,— с улыбкой произнес Матюхин.— Парень он боевой, ловкий — хороший боец получится. Вам бы только к рукам его прибрать надо. Постепенно, с педагогическим подходом.

— Оно так...— сумрачно вздохнул Вахромеев.— Только боюсь, как бы вам раньше не пришлось прибрать его к рукам.

— Это почему же?

— Да вот в связи с тем делом, по которому вы приехали. Разговоры ходят разные...

— Интересно...— Следователь положил на землю винтовку, потряс в пригоршне неиспользованные патроны: что-то и стрелять ему расхотелось.— Очень любопытно. Хотя, признаюсь, не очень верится в это.

16

На липатовскую заимку Гошка возвращался не старой дорогой, а другой — обходной — мимо итээровского городка. Надо было заехать к начальнику стройки, к самому инженеру Шилову, да похвалиться: привет, мол, от кавалериста будущего Георгия Полторанина, который утер всем вам нос в принародном масштабе. Лошаденки, дескать, ваши живы-здоровы, того и вам желают. И насчет сапа так вы явственно заврались, а посему завкона Корытина, прощелыгу, гнать надо в три шеи со своего поста. За сим уважительно прощаюсь и кланяюсь на три кисточки.

Вот удивится-то начальник, вот обрадуется! Шутка ли: шестнадцать государственных лошадей он им возвернет на блюдечке-тарелочке. А ведь ухлопать собирались, недотепы-деятели...

Однако заготовленная Гошкина речь не состоялась: начальника не было дома. Отсутствовал. На тесовое крыльцо вышла громадная тетка и, перекрывая собачий лай, зычно гаркнула: «Уехал на пикник!»

Гошка ничего не понял, хотел переспросить, но тетка уже хлопнула дверью. «Пикник»... Что оно за слово такое дурацкое! Гошка отродясь не слыхал. Может, конструкция какая на плотине или на пробивке туннеля? Ну, паразиты, напридумывали слов, сам черт не разберет! Гошка яростно хлестнул Кумека и отправился восвояси.

Проезжая мимо коттеджа немца-инженера, еще больше разозлился: экий домище отгрохали на двух-то! Прямо тебе терем-теремок. Чего они там делают на пару с этой лупоглазой Грунькой — в кошки-мышки небось играют, резвятся по комнатам? И двери литым стеклом заделаны — поди ж ты, выкуси. Надо бы как-нибудь ночью шурануть по этим дверям камнищем, чтоб тарарам и вдребезги. Фашисты недобитые...

Вспомнилась Гошке недавняя Грунькина свадьба, сразу зачесался-заныл подбородок: ну и врезал ему проклятущий немец! Враз оглушило и одуванчики в глазах замелькали. Ничего, авось доведется еще встретиться. А что касается бокса, то надо самому овладеть. Вон Степка-киномеханик обещает дать специальную книжку. А также скакалку веревочную. Говорят, боксеру надо много скакать и прыгать, тогда сила что в ногах — в руки переходит. Дополнительно.

Ехал Гошка нешибко, не торопил коня — Кумек под тяжелыми торбами с овсом и без того кряхтел и екал, особенно на подъемах. Мерин был слаб на ноги, да и кован плохо — месяц назад подковали его кое-как, на живульку, потому что оба кузнеца с перепоя и по гвоздям не попадали.

Цвело все вокруг, буйствовало. Запахи навстречу шли волнами: то дудником сладким, медовым понесет, аж слюна навертывается, то запахнет боярышником с косогора, сараной придорожной, марьиным кореньем, синими «слезками» — будто духи-одеколоны разлиты в воздухе: как в школьной учительской. Пчелы летают медленно, жужжат басовито, перегруженные медосбором, а шмели те вовсе забалдели, умытарились на своих делянках — прут тебе прямо в лоб, не сворачивая, как майские жуки слепошарые.

Обогнув Горелый мыс, Гошка выехал на спуск к ближнему броду через Выдриху, удивленно натянул поводья: на перекате, на самом мелководье, кто-то промышлял гальянов. Приглядевшись, удивился еще сильнее: это была девка, одетая не по-здешнему, с городской яркостью — в желтой кофте и полосатой бело-синей юбке, спереди подоткнутой под коленями. Нагнувшись, она брела вверх по течению, иногда замирала и ловко ширяла в воду вилкой, насаженной на небольшую палку — точь-в-точь как черемшанские пацаны. У нее неплохо получалось: выбросила на берег одну, вторую рыбешку, а когда повернулась с третьей, у Гошки вдруг зашлось, захолодело сердце — до того знакомым показался ему этот жест стриженой городской модницы. Неужели?.. Неужели Грунька? Как она здесь оказалась?

Гошка подъехал к берегу, спрыгнул с седла и стал собирать в траве выброшенную рыбу — десять гальянов отыскал. А куда класть, ни пестеря, ни торбы вроде бы не видится поблизости? Пропадет же рыба, протухнет на жаре, ее надобно сразу в сумку да травой-осокарем переложить. Сильно, в два пальца колечком, Гошка свистнул. А когда она обернулась, помахал рукой: иди, дескать, забирай свою добычу, иначе попортится.

Она нисколько не удивилась, увидав Гошку, ничуть не испугалась и тут же, переложив из руки в руку палку-острогу, направилась к берегу.

Брела, высоко поднимая голые ноги, вода плескалась вокруг, брызги долетали до колен. Солнце искрами вспыхивало в брызгах, купалось в водяной зыби, плавилось-горело по всему перекату, и Грунька иногда меркла-терялась в нестерпимом этом сиянии, пропадала и появлялась вновь. Гошка зажмурился и подумал вдруг, что вот сейчас, сию минуту он что-нибудь такое сделает, такое натворит-отколет, что потом уже все равно на всю жизнь — тюрьма, смерть... Что угодно...

Но когда встретил ее спокойно-равнодушный взгляд, понял, что ничего необыкновенного не совершит, даже сказать не скажет — просто духу у него на это не хватит.

«Теткина беда»... Было когда-то у Груньки Троеглазовой такое школьное прозвище. Они ведь с ней сидели за одной партой, на переменах вместе в «лапту» играли. Когда делились между «матками», у нее была любимая загадка-выбор. Подходила с напарницей к «маткам» и

выкладывала: «Лебеда или теткина беда?» Ее знали и ценили «матки»: бегала резво, увертливо, а при случае здорово «голила», могла лаптой запузырить мячик так, что команда запросто, без особой торопливости и паники добегала до рубежного «сала».

С пацанами она, пожалуй, одна из всех девчонок на равных играла во все мальчишечьи игры, даже футбол гоняла. И держалась по-простецки, без девчоночьего трусливого высокомерия. А вот ее именно Гошка всегда стеснялся, даже побаивался.

— Рыбу куда девать? — спросил Гошка, слегка робея.— Пестерь или котомка есть? Пропадет рыба, дух даст.

Она остановилась у берега, стояла в воде по щиколотку — непривычно взрослая и пугающе-красивая. Тихо журчала вода у ее ног.

— И так сожрут,— усмехнулась она, поправляя проволоку, которой была прикручена вилка.

— Кто сожрет?

— Те, для кого ловила.

Гошке пришла неожиданная мысль: чего он в самом деле робеет? Было раньше — так то другое дело. Теперь перед ним взрослая женщина, как говорят на селе «чужая тетка», модная обитательница терема-теремка, жена того самого немца, который чуть не своротил ему скулу. Зачем пресмыкаться-то, с какой стати?

Закурив цигарку, Гошка картинно пустил дым. Насмешливо сказал:

— Эх-ма, «теткина беда»... Однако скоро сделаю тебя вдовой. Будешь куковать-горевать.

— Что бурмасишь-то, Полторанин? — усмехнулась Грунька.— Небось опять выпимши?

— Тверезый я, Груня. Покуда тверезый. А вот как напьюсь, возьму ружье и твоего фашиста застрелю двумя пулями. Для верности.

— Ну и что ж,— усмехнулась Грунька.— Посадят тебя.

— Не, не посадят. Кто узнает? Я ведь издали стрельну: из кустов, к примеру, или из пихтача. Стреляю я метко, ты знаешь. А потом ищи-свищи.

— Я скажу.

— Не скажешь. Любишь меня, поди.

Гошка пыхтел цигаркой, похохатывал: а чего ему бояться — разговор без свидетелей. Пускай она пужает-

ся за своего лысого супружника. Позарилась на деньги — стало быть, живи в беспокойстве. Деньги счет любят, а также охрану и заботу.

Грунька отвернулась и будто смотрела вдаль куда-то, в речные верховья на скалы. А плечи вздрагивали, тряслись мелкой дрожью — она, никак, плакала? Гошка по-настоящему испугался, оторопел. Потом бросил рыбу и прямо в сапогах прыгнул с берега в воду. Тронул Груньку за руку, пытался заглянуть в лицо — она упрямо отворачивалась.

— Груня, да что ты, ей-право! Я пошутил. Нужен мне твой немец, вались он в медвежью яму. Живите вы, ради бога, мне-то что? Я сам по себе. Скоро вот в армию уйду, все забудется.

Неожиданно Грунька выпрямилась, шагнула и привалилась к его плечу, потом сползла на грудь, обмякла, повисла, сцепив руки на Гошкиной шее. Ревела в голос. Волосы ее пахли тонким, приятным, светлым каким-то запахом, мокрые ресницы щекотали висок. Он стал целовать ее неумело и неуклюже, как когда-то в смородиннике под скалой, потом поднял на руки и вынес на берег...

— Ну и слава богу,— сказала Грунька, когда они полчаса спустя снова вышли на прибрежную поляну.— Все равно я сама бы пришла к тебе. Рано или поздно. Теперь — как камень с души свалился.

— А дальше что? — прижмурился Гошка.

— Не станем загадывать, Гоша, будем ждать друг дружку.

«По задворкам да по кустам? — усмехнулся Гошка.— И как это у нее все получается складно, разумно, будто в расписании. Теперь ей, видите ли, легче. А мне?» Пока ему было радостно, но радость эта выглядела тревожной, в чем-то грустной даже. А что будет потом: завтра, послезавтра?

Впрочем, он тоже не любил загадывать. Да и не смог бы представить себе завтрашний день, по крайней мере сейчас. Он был совершенно сбит с толку, ошарашен случившимся, не мог понять: как все произошло?

— Ты хоть скажи, как оказалась здесь? — спросил он, рассеянно протирая глаза.

Тут-то и разъяснилось замысловатое слово «пикник», звучащее мышиным писком. Грунька, оказывается, уже разбиралась в нем — на то и инженерша. У мужиков

пьянка так и называется пьянкой, а у начальства — «пикник». На лоне природы, желательно у воды, чтобы было чем стопку запить или при случае голову сунуть для протрезвления.

— Чудно! — рассмеялся Гошка.— А я думал, стройучасток или машина какая. Уж лучше называли бы «питьник» — оно понятнее. Где он у вас, этот самый пикник?

— А вон туда дальше по дороге. За поворотом, под кедром. Спервоначалу-то выпивали да разговаривали, потом уснули все. А я острогу сделала и сюда. Ты, Гоша, не сворачивай, проезжай лучше мимо.

— Это почему?

— Там мой Гансик непутевый. Что-то нонче он сердитый, злой — водки много выпил. Как бы опять не набросился.

— Плевал я на него,— сказал Гошка.— А сунется, так плеткой отхлестаю. Прямо по лысине (уж очень он не любил лысин: и как это терпят девки лысых мужиков?).

Он вскочил в седло и направил Кумека через брод. Помахал Груньке с другого берега и подумал, что непременно, назло всем, заедет сейчас на пикник, чтобы посмотреть на пьяное начальство. И поглядеть в лицо этого рыжего Гансика, подмигнуть ему: ну что, спесивый молодожен, выкусил? Да и себя показать, кстати, вот он я, Гошка Полторанин, живой и невредимый, при боевом задоре — так что еще повоюем и посмотрим кто кого.

И еще Гошка подумал, что вся эта канитель с Грунькой, эти слезы, поцелуи, недавняя любовь в кустах — зряшное дело. Всерьез он о Груньке никогда и не помышлял, жениться не собирался. Затеяла-то все она, ну пускай так и будет, ежели ей нравится. А ему что? Поднялся, коленки от травы вытер, и будь здоров — наше вам с кисточкой.

В то же время в чем-то он сомневался, что-то мешало ему вернуться к обычному беспричинному благодушию. Возникшая на берегу опасливая радость не покидала, сидела с ним в седле, и ему самому не хотелось с ней расставаться. Он будто вез сейчас с собой очень приятный и очень хрупкий подарок, боялся растрясти его и потому поминутно оглядывался: далеко ли благополучно отъехал?..

Иногда ему хотелось повернуть коня, опять увидеть слепящий разлив плеса, нагретые солнцем каменные россыпи на том берегу и нарядную Груньку, спросить у нее, серьезно спросить, без подначки: может, не стоило ему вручать этот беспокойный подарок, может, она как следует не подумала?

Нет, сделанное не переделаешь... Да и верно говорит дед Липат: все на этом свете происходит к лучшему.

Солнце набрало полдень. Разомлела тайга, упарилась, сонливо притихла, придавленная густым и сладким духом испарений. Поникли лепестки шиповника, свесились желтые пуговки «жарков». Только по-прежнему бодро таращились на солнце голубые цикорки; гордо пламенели на скалах лозинки чагыр-чая, да торчали в траве ядовитые метелки чемерицы.

За поворотом, на опушке кедрача, Гошка увидел легкую телегу-ходки, подальше пощипывал траву гривастый вороной Казбек — выездной жеребец начальства. Под старым разлапистым кедром висели на сучьях какие-то сумки и охотничья двустволка — надо полагать, это и было место пикника. Неужто и вправду пьют водку в такую жарищу? Обалдеть можно...

Впрочем, людей не видно. Может, спят или по косогору шастают. Правда, сейчас в тайге ничего не найдешь: ни ягод, ни грибов, ни дичи — макушка лета. Да ведь городской народ шебутной, бестолковый — им бы лишь траву топтать, и то радость.

Гошка тронул поводья, решил проехать мимо, но тут заржал Казбек — злобно, с угрожающим вызовом,— почуял на дороге мерина. Тотчас же из кедрового подлеска вышли двое: инженер Шилов в ослепительно белой рубашке и завкон Корытин в майке. Гошка впервые видел его раздетым и присвистнул от удивления — до того волосатый был завкон, казалось, голубую майку нацепили на черного недостриженого барана!

Завкон заметно пошатывался, а Шилов выглядел свежее, но тоже под хорошим «газом». Оба откровенно обрадовались, увидев верхового. «Наверно, обрыдло пить-то на пару. Осточертело»,— подумал Гошка.

Корытин жмурился, крутил лохматой башкой и все таращился на Кумека (на Гошку он и не поглядел).

— Что-то я не узнаю... никак не признаю эту лошадину. Кто такая? Чья?

— Моя,— сказал Гошка.— Законно закрепленная.

— А, это ты, брандахлыст?! — удивился завкон, узнав на коне Гошку.— Ну слезай, выпьем по одной, хоть ты и стервец отпетый.— И пошел в кедрач наливать стаканы.

Этим временем инженер Шилов обошел вокруг Кумека, попытался потрепать его за гриву, однако мерин норовисто дернулся и едва не цапнул начальника за руку.

— Ты кто? Гонец? — спросил Шилов.

— Нет, я проезжий,— сказал Гошка.— Еду на Старое Зимовье.

— Ну все равно слезай,— приказал начальник.— Хочу выпить с русским человеком. Немцы для этого не годятся — слабы. Вон он валяется под кустом. Облевался и дрыхнет. Юберменш задрыганный.

Гошка слез с коня, отвел его в тень под деревья, но разгружать, снимать торбы не стал — он не собирался здесь задерживаться. Опрокинул стакан — и дальше. Да и опасно с начальством якшаться, не то потом придется жалеть. Дело известное.

Подошел Корытин с тремя полными стаканами: один нес в левой руке, два в правой, ухватив за стенки, опустив прямо в водку грязные пальцы. Гошка, однако, не побрезговал, наоборот, одобрительно подумал: начальство, а насчет водки шурует по-простецки, по-мужицкому обиходу.

— Ну как там лошади? — спросил Корытин.— Еще не все подохли?

— Лошади целехоньки, хоть вы их и похоронили,— сказал Гошка и выставил вперед ногу, эдак подрыгал ею солидно.— Живут и здравствуют лошади. На зло врагам революции.

У Корытина аж челюсть отвисла, а рука со стаканом задрожала, стала медленно опускаться вниз. «Врезал я ему! — удовлетворенно ухмыльнулся Гошка.— Даже язык вывалил. Знай наших, хвастун! Вот ты как раз и есть брандахлыст. Самый настоящий».

— Как так?.. Они же больные были. Поголовно.

— А вот так,— сказал Гошка, обращаясь на этот раз к начальнику.— Не было у них никакого сапа, товарищ Шилов. Такие получаются пироги-коврижки.

В отличие от Корытина инженер Шилов спокойно, трезво смотрел на Гошку, и в глазах его виделась одобрительность, может быть, даже сдержанное восхищение.

Вообще, симпатичным мужиком выглядел этот инженер: осанистость, крепкая поджарость в фигуре, красивые седые виски и снежно-белая рубашка на фоне темно-зеленого лапника. «Кто ему так здорово стирает рубашки, уж не та ли толстуха? Шик да блеск, одно слово — начальство».

И еще нравились Гошке красные полосатые подтяжки-помочи с никелированными зацепками: левой рукой инженер постоянно держался за них, поигрывал, пощелкивал большим пальцем.

— Значит, через недельку лошади вернутся в карьер? — приятным тенорком спросил начальник, звучно щелкнув подтяжкой.— Так тебя понимать?

— Ну дней через десять,— сказал Гошка.— Это уж точно.

— Превосходно! — воскликнул Шилов и задумчиво посмотрел на стакан с водкой, который держал в руке. Потом полуобернулся к завкону: — А ты как считаешь, Евсей Исаевич?

— Здорово, черт меня побери! — обрадованно заржал Корытин.— Это ж нам просто повезло. Вот за что надо пить, едрит твои салазки! Чокнемся, товарищи! Вперед, за правое дело!

Выпили. Только по-разному: Гошка хлобыстнул одним махом весь стакан, Корытин — половину, а начальник только пригубил, да и то — сплюнул. Видно, нутро у человека не держит лишнего. Знает меру. Когда закусили копченым окороком и солеными огурцами, инженер Шилов обратился к Гошке, очень уж начальственно, подчеркнуто важно вздернув голову:

— Как твоя фамилия?

— Полторанин,— несколько удивился Гошка,— Георгий Митрофанович.

Начальник опять многозначительно переглянулся с завкомом, поднял брови и вытащил за ремешок часы из брючного кармана-пистона. Подержал их на весу, полюбовался, щурясь от солнечных зайчиков, и, вдруг шагнув, протянул часы Гошке.

— От имени руководства награждаю вас, товарищ Полторанин, именными часами и благодарю за ваш самоотверженный труд. Завтра об этом будет приказ по стройке. Спасибо, дорогой друг!

Наверно, с минуту Гошка не брал часы, обалдело таращился на слепящий серебряный кружок — не мог по-

пять, уразуметь, что это счастье предназначается ему лично. Наконец протянул руку, но не за ремешок взял часы, а осторожно подставил ладонь, как принимают только что снесенное яйцо. Неужели это были его часы — единственные теперь на все село? Настоящие карманные часы!

От выпитой водки, от жары, а пуще всего от сладостного ликования кружилась голова, слепло в глазах, а тут еще начальство принялось целовать Гошку, щекотал-колол своей бородищей завкон Корытин, дышал в лицо тошнотным перегаром... Ух ты, елки каленые, яблоки моченые, мать твою за ногу, дочку за ребро!

Еле отделался от любвеобильных начальников, отмахался, откланялся-отпрощался и поскорее к Кумеку, да в седло. А то как протрезвеют да, не дай бог, передумают насчет часов...

Когда табунщик уехал, Шилов выплеснул в траву водку из стакана, ополоснул его ключевой водой, с жадным удовольствием напился.

— Этого парня надо приобщать к делу,— решительно сказал он.— Это не твой придурок Савоськин. Парень боевой, сообразительный и честолюбивый. Как приобщить — этим займусь я. Начало, по-моему, уже сделано.

— Вам виднее, Викентий Федорович,— вяло возразил Корытин.— Только парень-то хулиган, уголовный тип. На него ни в чем нельзя положиться.

— Между прочим, на вас тоже,— хмуро сказал инженер.— Но я же терплю и работаю с вами.

— Я тоже терплю,— зевнул Корытин и пошел разжигать костер: пора было готовить обед.

17

Бикфордов шнур не давал покоя следователю Матюхину. Он просидел над ним несколько часов, вперив напряженный взгляд, словно старался загипнотизировать обгоревший, задымленный обрывок. Это был обыкновенный кусок шнура, длиной с карандаш, желтый, с черными прожилками, с выгоревшей пороховой мякотью. Словом, отработанный и отброшенный взрывной волной запал.

Дело в том, что кусок шнура являлся единственным, но зато красноречивым, просто кричащим свидетельством того, что в скальном карьере строительства была

совершена диверсия. Именно диверсия, а не случайное происшествие.

Но эта очевидная версия вела расследование в глухой тупик: бикфордов шнур начинал и тут же обрывал путеводную нить.

На площадке карьера в тот воскресный вечер находилось только три человека — бригада взрывников-отпальщиков Ивана Тимофеева. Часовой на плотине пропустил их на участок по специальным пропускам (с ними была тележка с пиропатронами). Потом прошла отпалка, в ходе которой оказался взорванным крайний «Бьюсайрус» — у экскаватора взрывом заклинило поворотный механизм.

Карьер размещался в отвесной скале, за несколько лет в гранитной тверди вырубили внушительную площадку. Попасть туда по совершенно отвесным стенам никто из посторонних не мог. Разве что специалист-скалолаз, но он должен быть в таком случае идиотом или сумасшедшим, чтобы спускаться в самое пекло керьерных взрывов! Значит, диверсию совершил кто-то из троих, из самих отпальщиков, если не считать часового на плотине. А это предположение бессмысленно, так как он находился в трехстах метрах, на гребне плотины.

Никто из посторонних в карьере не появлялся ни до, ни после отпалки — это единодушно показали на допросах все четверо.

Но кто-то же взорвал экскаватор...

Допустим, один из отпальщиков. Рассчитал время и, когда бежал от подожженного взрывного шпурта в скале, сунул по дороге (мимо бежал!) взрывчатку под основание экскаваторной стрелы. Затем — в укрытие. А в итоге готовое оправдание: в одном из двойных шпуртов вырвало взрыв-патрон — преждевременно сработал пакет в соседнем шпурте — и отбросило случайно к экскаватору — там он и взорвался. Такое объяснение пытались давать оба парня-взрывника, за исключением бригадира Тимофеева. Этот краснел, потел и недоуменно разводил руками: «А хрен его знает...»

Допустим, что такое могло случиться,— чего в жизни не бывает. Но тогда почему бикфордов шнур, найденный около экскаватора,— вот этот самый — отличается от других шнуров, примененных в тот день при отпалке? Он, как выяснилось, совсем из другой серии, не просто

желтый, а желтый с черными прожилками (такая серия применялась на строительстве в прошлом году).

Вот здесь и начинался тупик: кому и зачем понадобилось оставлять столь заметный след, ведь проще было воспользоваться типовым шнуром рабочей серии — его полно под рукой.

Между прочим, этот аргумент мог иметь и другое толкование: любой из взрывников, умышленно применив этот нетиповой шнур, рассчитывал на оправдательный эффект: у меня такого шнура не имелось. Ищите другого человека.

А где искать и, собственно, зачем искать, когда все факты налицо? Вот взорванный экскаватор, вот люди, которые при сем присутствовали,— никаких других не было. Все основания для подозрения в преступлении, а отсюда — прямой путь к обвинению. Не признаются? Ничего, подумают, поразмышляют и признаются. Придется дать им время для этого и создать надлежащие условия.

Конечно, неприятный резонанс со всеми вытекающими последствиями. Все-таки стахановская бригада, а бригадир Тимофеев — на Доске почета. Ну что ж, тем хуже для руководителей стройки — притупление бдительности, неумение вовремя распознать замаскировавшегося классового врага, который нынче рядится в любые благообразные личины.

А может, провести дополнительное расследование? Но что это даст? Предположим, он вернется в город, доложит о факте диверсии и распишется в собственной профессиональной беспомощности? Тем более что новое расследование, будь оно в пять раз дотошнее, скрупулезнее, все равно ничего не добавит. А то что враг маскируется, упорно запирается и бешено злобствует — об этом убедительно свидетельствует само время. Взять хотя бы процесс по недавнему шахтинскому делу, да и другие аналогичные события...

«Решительно и безжалостно!» — вслух резко сказал Матюхин, стукнув кулаком по объемистой папке черемшанского дела, которое за эти семь дней перевалило уже за шестьдесят страниц. Положив сверху обрывок бикфордова шнура, устало подумал: «Пора закрывать». Правда, подумал без обычного в таких случаях удовлетворения.

Странно, но все эти дни он так и не почувствовал,

как ни старался, желанной слитности с местным жизненным ритмом, не ощутил подлинного вкуса и запаха черемшанского кержацкого хлеба, так и не смог настроиться на душевную открытость с людьми, с которыми пришлось общаться. И в кино ходил, и на стройке был, беседовал с начальством, с рабочими, провел один вечер в общежитии, даже на стрельбище присутствовал, а вот настоящей сердечной расположенности — ни у себя, ни у встречных не достиг. А ведь умел это делать раньше, куда бы ни приезжал, всюду и всегда умел с ходу, по-комиссарски располагать к себе людей.

Какой-то настороженной, будоражной показалась ему Черемша. И жила она непривычной жизнью, непохожей на все виденное раньше. Не село и не город, что-то от того и от другого: нечто среднее между городской самостоятельностью и деревенской степенностью. К тому же крепко заквашенное кержацкой занозистостью, которая эдаким рогатым чертом проглядывается даже в глазах конопатых пацанов: дескать, знай наших.

Если честно признаться, ему за эти дни так и не удалось ни с кем поговорить. Вежливость, доброжелательность, уважительность, ну может быть, согласный ответный смешок, а дальше — ни шагу, хоть лопни, хоть вверх тормашками становись перед ними. «Чок-чок, зубы на крючок!» — такая считалка у местной ребятни, что играет по вечерам под окнами, на базарной площади. С детства учатся сдержанности, стервецы...

Впрочем, это не так уж и плохо.

Хуже, что с руководством стройки он, кажется, не нашел общего языка. Ну, это как сказать. Например, с начальником строительства Шиловым они вполне достигли взаимопонимания. Разумеется, по деловым вопросам. Что касается «общения душ», то тут Шилов явно не внушал расположения. Уж больно шикарный, подчеркнуто респектабельный вид, прямо с рекламного американского проспекта, не хватает только стандартных усиков. «Столичный гусь, играет под «высококвалифицированного специалиста». А глаза пустые, беспутные, окрашенные поволокой под эдакого «наивняка».

Ну, а немец — главный инженер — есть немец. Что с него возьмешь? Бесспорно, заражен бациллой нацизма, но маскируется под шумливого «красного социалиста». Гнать его надо отсюда незамедлительно, и в три шеи.

Все они тут завзятые артисты, каждый кого-нибудь играет или строит из себя черт знает что. Тот же парторг Денисов, не поймешь, какую линию гнет: не то перехлестывает, не то захлестывает влево. А ведь бывший чоновец, проверенный, казалось бы, человек.

Не получилось у них разговора. Встретились, конечно, узнали друг друга, хоть служили в разных эскадронах, да и полгода всего, похлопали по плечу, перешли на «ты». А потом, как сели за стол, сразу будто заело: оба начали вязнуть в пустяках, лавировать, искоса приглядываться. Накурили, надымили в кабинете, а толку никакого — не нашли взаимности, а может, просто не искали. Как это высказывался Денисов? А, ну да: «Социализм — есть человеческая доброта». Оно-то верно. Только прежде надо еще построить этот самый социализм. На одной доброте не то что социализма, шалаша пихтового не построишь.

Казалось бы, элементарно. А вот поди ж ты, не различает человек, где голубая филантропия, а где — железный закон классовой борьбы.

Матюхин поднялся со стула, прихрамывая, походил по комнате. Раздумывал: пойти или не пойти к Денисову? Нет, не ради продолжения какого-либо спора, а для дела — надо же с кем-то из руководства провести заключительную беседу, информировать о своих выводах. Завтра с утра уезжать.

Подошел к столу, вгляделся в сумеречную вечернюю улицу (молодежь гоняла лапту), вспомнил, что Денисова сегодня не было в управлении — болеет. Стоит ли беспокоить больного, да еще в вечерний час?

Постоял у настенного зеркала, поскреб мизинцем столбик рыжеватых усов, неожиданно усмехнулся: из-за частых гитлеровских карикатур в газетах друзья советуют сбрить усы. Дескать, немодные. Дискредитируют. А почему? Вон у маршала Блюхера такие. Не сбривает же. Нет, сбрить усы — значит потерять лицо.

Рядом с зеркалом телефонный аппарат, изрядно облупленный. Матюхин покрутил ручку и попросил телефонистку соединить его с квартирой парторга Денисова.

— Михаил Иванович? Матюхин говорит. Ты как там, болеешь?

— Болею,— хрипло отозвался Денисов.— Чай пью.

— Меня пригласишь на чай-то?

— Приходи. Заварка свежая.

Денисов жил не в итээровском городке, а в селе, почти в центре, рядом с клубом. Проходя мимо, следователь услыхал из распахнутых клубных окон музыку: задорную, бесшабашно-веселую, которая вряд ли подходила к фильму, обозначенному на белой афише: «Поэт и царь». С иронией подумал, что и сам идет к Денисову не с той музыкой, которая соответствует собственному настроению, а уж больного парторга тем более. Но что делать — жизнь зачастую окрашена совсем не в те тональности, которые бы нам хотелось...

Жил Денисов тесновато и, в общем, по-деревенски: деревянные лавки вдоль стен, громадная, как телега, кровать с пышной горой подушек, укрытых поверху кружевной накидкой, беленые стены увешаны семейными фотографиями — в разнокалиберных рамках под стеклом. Изба надвое разделена громоздкой русской печью, а вместо двери в горницу — ситцевая занавеска. Впрочем, всюду чувствовалась опрятность, чистота, ухоженность, от надраенных кастрюль на кухне до прохладных тряпичных половиц по всему полу.

— Хозяйка у соседки, а ребятня в кино ушлындала,— сказал Денисов.— Может, пол-литра раздавим? У меня имеется НЗ.

Он сидел в углу на лавке, вернее, полулежал на подоткнутых двух подушках и улыбался, делал бодрый вид, хотя получалось это у него плохо: обтянутые скулы, запавшие глаза, вымученная улыбка вызывали откровенную жалость.

— Пить не будем, — отмахнулся Матюхин.— Чайком побалуемся.

Денисов пододвинул на столе фаянсовый цветной чайник, показал на свободную чашку: наливай сам.

— У тебя курево с собой? Угости.

— Трубочный самосад,— сказал Матюхин.

— Сойдет. А то, понимаешь ли, совсем пропадаю без табака. Семейный заговор: попрятали все папиросы.

Матюхин отговаривать не стал, отсыпал пригоршню из кисета, набил трубку, стараясь не замечать, как нетерпеливо и жадно, трясущимися пальцами свертывал Денисов самокрутку. Полистал лежавший на столе журнал «Под знаменем марксизма», обратил внимание на подчеркнутые абзацы статьи «Фашизация науки о личности и воспитании в Германии».

— Страшное дело затевают фашисты,— вздохнул

Матюхин, пробежав несколько строк и вспомнив содержание статьи (он ее читал раньше — номер был апрельский).— Идеологическая подготовка убийц в масштабе государства — такого еще не бывало в истории. Причем на научном уровне.

— Дутая эта ихняя наука,— затянулся и закашлялся Денисов. В груди у него, в горле нехорошо забурлило, заклокотало, и глухие, пугающие звуки эти странно не соответствовали, никак не вязались с выражением блаженства на изможденном лице.— Они от этой жестокости, в конце концов, сами задохнутся. Жестокость как скорпион — рано или поздно убивает себя.

— Это верно,— согласился Матюхин.— Только не следует забывать, что жестокость эта будет обращена против нас. Надо готовиться ответить тем же. Чтобы нашла коса на камень.

— Ерунда, Афанасий Петрович! — Денисов откинулся на подушку, глаза его азартно блеснули. — Война это тебе не сенокос, да и люди у нас не те, уж не говоря о том, что идеология наша — совсем противоположная.

— Ну-ну.— Матюхин удовлетворенно попыхтел трубкой: недавний спор продолжается-таки! Интересно проследить, в чем же у них истинные расхождения.— Чем же, ты считаешь, мы должны ответить? Уж не добротой ли?

— И добротой — тоже. Железной добротой. А вообще — человечностью. Они делают ставку на зверя, а мы — на человека. Улавливаешь разницу? Между прочим, человек всегда был и будет сильнее любого зверя. У зверя — слепая ярость, у человека — осознанная ненависть. Святая, испепеляющая, которая может все.

— Любопытно! — усмехнулся Матюхин.— Значит, что же выходит в итоге?

— Только то, что жестокость — не наш стиль. Антисоциалистический.

— Допустим. А как же классовая борьба? А как же быть с указаниями классиков о том, что классовая борьба должна быть жестокой, особенно при ее обострении? Как понимать?

— А так и понимать: в человеческом смысле. Как вынужденное явление. Но ни в коем случае не культивировать.

У Матюхина от внутреннего возбуждения даже заныла раненая нога. Приподнявшись, он поискал глаза-

ми, куда бы выколотить трубку, да заодно и успокоиться малость. Конечно, он отлично понимал принципиальную разницу высказанных позиций, но понимал и другое: этот спор может увести их и слишком далеко от дела. Да и к чему спорить им, бывшим чоновцам-однополчанам?

— Ладно, не будем заезжать за межу. Давай лучше пить чай.

Про чай они действительно забыли. Он был остывшим, почти холодным, а подогреть некому: хозяин лежачий больной, Матюхин же не разбирался в кухонных премудростях. Да и нужды не было особой — чай только предлог, придумка, предусмотренная, как зонтик на случай плохой погоды. А горячий он или холодный — какая разница? Оба отлично понимали это.

И еще они понимали, что, собственно говоря, идут разными дорогами, а точнее — двумя параллельными колеями, которые сколько ни старайся, не сольются, даже не сблизятся, как не сближаются колесные следы. И все-таки им зачем-то надо было лишний раз удостовериться в этом, особенно напористо — Матюхину, хотя за выяснениями, словесным лавированием все больше открывалось обоюдное отчуждение. Только и всего.

Промолчали несколько минут, прислушиваясь к равнодушно-бойкому перестуку настенных ходиков. Потом Матюхин опять принялся сосредоточенно набивать трубку.

— Значит, забираешь ребят? — глухо спросил Денисов.

Матюхин ответил не сразу: потер подбородок, в раздумье покусал трубочный мундштук.

— Забираю. Завтра утром увожу под конвоем.

— Всех четверых?

— Нет, двоих. Двух отпальщиков. Бригадира оставляю. Только с Доски почета вы его снимите. Немедленно.

— Ты считаешь, что виновность их доказана?

— Докажем. А вот они пусть доказывают свою невиновность.

— Но я слыхал, в юриспруденции все как раз наоборот?

— «Презумпция невиновности»? Это устаревший принцип буржуазного суда. В эпоху классовой борьбы, когда злобствует и огрызается враг, пролетариат в корне меняет методы. На более эффективные, как это показа-

ли парижские коммунары. На то и диктатура пролетариата.

— Но какие же все-таки основания для ареста?

— Вероятность совершения преступления. Иначе говоря, прямые улики, вполне обоснованное подозрение. Ты не усмехайся насчет подозрения, тут все объективно, будь уверен. Я многих допрашивал и многих вычеркнул из круга вероятности. Например, того же парня-табунщика, хотя тут присутствовал веский мотив: личная месть. Но у него стопроцентное алиби.

— Это Полторанин, что ли?

— Да, Полторанин Георгий. Ваш черемшанский ковбой. Между прочим, я кое-что слышал об этой истории с лошадьми. Непонятная история, явно припахивающая уголовщиной. Как это вы умудрились приписать здоровым лошадям инфекционный сап? И ведь едва не пустили их в расход. Кстати, ты был членом выбраковочной комиссии?

— Был. И именно я отменил приговор лошадям. А что касается сапа, то поговори с вашим районным ветфельдшером. Медзаключение давал он.

— Да, я знаю...

Денисов, повернувшись к стене, подтянул гирьку настенных ходиков — цепочка пострекотала коротко, сварливо, будто сорока прокричала на колу. Потом сделал глоток из чашки, вздохнул:

— Если говорить откровенно, ты кое в чем прав... С точки зрения закона. Ну, например, насчет этих ребят-взрывников. Я понимаю тебя: ты приехал сюда и, как следователь, должен уехать с какими-то результатами. А я остаюсь здесь, и смотреть людям в глаза завтра буду я. Что я им скажу? Ведь все отлично понимают, что взрывники невиновны, а настоящий враг остался на свободе и будет, обязательно будет готовить новый удар.

— Ну что ж, разберемся — освободим.

— А время будет работать на врага? А разговоры вокруг этого? А доверие, а вера в людей — как быть с этим? Ведь ты же видишь сам, как народ-то расцветает, будто луг весенний! И ты ему только поверь, доверься, он же сторицей тебе отдаст. А отдавать придется этой самой сторицей — грозная пора приближается. Я понимаю, у тебя тоже свои сроки. Но возьми на себя, доложи: так и так, требуется дополнительное расследование. Скажи, что Денисов, как член райкома, дает поручительство

за этих ребят-взрывников. Оба они, кстати, комсомольцы. Ты же бывший чоновец, Матюхин. Ну!

— А если ты ошибаешься? У меня — документы, факты, у тебя — одни эмоции.

— Нет, не эмоции. Вера! И вот эта самая вера в людей рано или поздно поможет нам найти и разоблачить настоящего врага. Мы его найдем, даю тебе слово.

— Лихо берешь, Денисов! Лихо. Человек ты напористый, знаю и убедился. Но все-таки согласиться я с тобой не могу. Ты уж извини.

— И все-таки подумай. Время еще есть.

— Что тут думать? Закон есть закон.

Возвращаясь, Матюхин долго простоял на мосту, разглядывая темную бурлящую воду. Деревянный мост вздрагивал, скрипел, и от этого рождалось ощущение медленного хода, будто под ногами была баржа, легко скользящая по речным перекатам. Следователь сосал потухшую трубку и все жалел, что так и не смог за эти суматошные дни вырваться на рыбалку. Ну что ж, пусть живут черемшанские хариусы до следующего раза...

Он только сейчас понял, почему так упрямо стремился к разговору с Денисовым: его подталкивало к этому собственное внутреннее беспокойство, глубоко запрятанная неуверенность. Как и всякий человек, которому дано право судить людей, вершить их судьбы, он всегда старался искать подтверждение своим выводам у жизни, у тех, кто был в стороне от существа дела или по крайней мере не имел прямой причастности. Нет, не потому что его мучили угрызения совести, скорее, по профессиональной привычке.

А между тем душевной успокоенности не было. Не было, и все... И в этом крылась загадка. Ему все время казалось, что чего-то он недосказал, что-то важное забыл упомянуть, и вообще, немного, может быть самую малость, не дотянул до истинной стопроцентной своей правоты. Или в чем-то сфальшивил. Было такое ощущение, что впору хоть возвращайся назад. Он забыл при прощании взглянуть в лицо Денисову, в глазах его прочитать итог трудного разговора...

Из-за Станового хребта медленно выкатилась ущербная надкусанная луна, высветила дорожку прямо по середине реки, разделив надвое черную воду. Из клуба повалил народ — кончилась картина, по дощатому на-

стилу застучали каблуки, и на мосту сразу сделалось неуютно, как на приречной пристани.

Матюхин направился к Дому приезжих («Клоповник, будь он проклят!»), с трудом сдерживаясь, чтобы не попросить огонька у встречных парней — забыл спички у Денисова. У сельсоветского палисадника темнела группа людей: как-то странно неподвижно и молча они держались. Матюхин подошел ближе, удивился: оказывается, слушали радио — шипящий блин репродуктора был выставлен на подоконник. Матюхин едва прикоснулся к забору и вздрогнул, словно от удара электрического тока, услыхав первые слова: в Испании военно-фашистский мятеж!

Опустившись на колено, он шарил по земле, разыскивая выпавшую из пальцев трубку, и тревожная мысль многоголосо, хлестко стучала у него в голове: «Неужели это начало?!»

А когда выпрямился и снова вгляделся в аспидный зев репродуктора, вдруг неожиданно ясно понял: Денисов во многом прав...

Придя в гостиницу, Матюхин долго курил у распахнутого окна. Потом все-таки решился: снова позвонил парторгу Денисову.

— Я насчет твоего поручительства звоню... Оно должно быть в письменной форме.

— Понял, сделаю. Утром перед отъездом зайди. Заберешь и чайку попьешь на дорогу.

— Договорились. А насчет этих ребят — смотри в оба. Головой отвечаешь.

— Спасибо, Афанасий Петрович! Все будет в лучшем виде.

18

Ганс Крюгель любил по утрам пить парное молоко, поэтому сразу после женитьбы он отсчитал «фрау Аграфен» четыреста рублей и велел купить «добрую продуктивную корову». Грунька заупрямилась было, но потом мать ей подсказала, надоумила: «Бери, дуреха, коровенку, непременно бери — ребятишки наши при молоке будут!» Оно и вправду так оказалось: немец спозаранку, сдувая пену, выпивал кринку молока и на этом ставил точку. Ни сметаны, ни простокваши, ни творога он и в рот не брал, брезгливо морщился. Так что полтора вед-

ра свежего молока хлебосольная молодуха ежедневно спроваживала своей сопливой разнокалиберной родне.

Крюгель был аккуратным и небеспокойным мужем. Утром, чуть свет, искупавшись в омуте напротив коттеджа, он отправлялся на стройку — обязательно рысцой бежал эти полтора километра,— приходил домой уже затемно, ужинал, читал газеты, слушал радиоприемник, ну и еще иногда, при настроении, копался в палисаднике, в цветочной клумбе, выставив на подоконник электрическую лампу-рефлектор. Хлопот с ним особых не было, вот разве что ежевечерне приходилось мыть ботинки с крагами, всегда до невозможности заляпанные грязью (где он только умудрялся находить эту грязь в самую-то сушь?).

Грунька раздобрела за месяц, округлилась, и целыми днями торчала в промтоварном магазине, накупая себе вальяжные наряды и блестяще-соблазнительную бижутерию. Ходила она теперь при шляпе с пером и с бумазейным зонтиком такой дикой расцветки, что ее побаивался даже сельповский приживал козел Ромка.

Троеглазовский выводок-девишник оказался при деле: старшенькая Дунька с Веркой пасли на пригорке инженерскую корову, сноровистая десятилетняя Анютка ходила в прибиралках-посудомойках, а малолетка Настюшка доглядывала огород, чуть что — при появлении на грядках соседских цыплят — поднимала отчаянный шум. Даже троеглазовский шелудивый Трезор почти переселился в инженерский коттедж — тут ему куда как вольготнее перепадало насчет еды. Правда, на ночь он обязательно убегал домой, в свою подкрылечную конуру.

Ганс Крюгель вряд ли догадывался, что в его отсутствие пустоватый коттедж из трех комнат становится таким густонаселенным. Но он умел считать деньги, и очень скоро Грунька почувствовала это — муж постепенно прижимал ее к черте, за которой начинается голодный паек. Тогда тетка Матрена посоветовала дочери объявить немцу супружеский бойкот, а при случае устроить громкую семейную сцену.

Однако Ганс Крюгель на бойкот никак не реагировал: на стройке были ежедневно неприятности, инженер приходил вконец измочаленный и, едва сбросив на крыльце ботинки, заваливался на диван и храпел до утра. Что касается семейной сцены, то Грунька по не-

опытности просто не знала, с какого тут конца начинать, какими батогами и за что молотить непутевого мужа.

«Хоть бы напился разочек, нехристь окаянный! — горевала тетка Матрена, которая вся извелась от дочкиных переживаний.— Не муж, а прямо мерин какой-то. Только что траву не жует».

Тетка Матрена как в воду глядела...

Инженер Крюгель переживал трудные дни. В пятницу после повторного допроса у следователя он явился домой непривычно рано, еще засветло, и, не сняв на крыльце обувь, протопал прямо в гостиную. Он выглядел мрачным и злым, как сам дьявол из преисподней.

Достав из бара бутылку водки, Крюгель сердито махнул стоявшей на пороге Груньке «вэг!» (уходи), запер дверь на ключ, налил и выпил полный граненый стакан. Затем, развалясь на диване, стал размышлять.

Доннер веттер, его начинают обкладывать флажками, как какого-нибудь серого волка! И делают это открыто, прямо на глазах, отлично понимая, что разноцветные флажки для него пугающе-непреодолимый барьер. А может, к черту флажки? Отбросить, перепрыгнуть и уйти — не убежать, а именно уйти — неторопливо, непринужденно, напоминая о своем достоинстве. Но куда, собственно, уходить и зачем уходить?

Ведь они этого и добиваются: во флажках предусмотрительно оставлен четкий коридор, который в общем-то ведет на простор, на волю. И он, и они — загонщики — прекрасно отдают себе отчет о том, куда именно ведет выход из замкнутого круга.

А может, он преувеличивает, сгущает краски?

Нет. Все так, как есть в действительности. Его совершенно недвусмысленно обвиняют в преступной халатности, в служебной несостоятельности. Почему экскаватор с землечерпальным ковшом оказался в скальном карьере? Почему он там использовался в качестве подъемного крана, намотав за месяц нецелевого применения кругленькую сумму государственного убытка?

Вопросы убийственно правильные с точки зрения технической целесообразности. И ответить на них с этой же позиции просто нельзя, невозможно, потому что налицо явный технический нонсенс. Элементарная чепуха. Это можно только понять, душой понять, учитывая немыслимую абракадабру самой стройки, где лихо игнори-

руются все технические нормы и где экскаватор может сойти не только за подъемный кран, но за бульдозер, за рельсоукладчик, даже за паровой молот, если это будет благословлено лозунгом так называемой «рабочей инициативы».

К тому же в данном случае присутствовала еще и крайняя необходимость: деревянные стрелы кранов-дерриков не выдерживали тяжести гранитных монолитов, рожденных инициативой стахановцев-каменотесов (глыбы в два раза крупнее прежних!).

Да, дорогостоящий «Бьюсайрус» во взрывоопасной зоне карьера — вызов здравому смыслу. Но где он вообще здесь пресловутый здравый смысл, есть ли его следы на этой дурацкой плотине, возведенной чуть не голыми руками на заоблачной высоте?!

Дер тойфель вайс!..

Крюгель налил еще стакан, залпом выпил, со злостью ощущая горячую волну в горле. Проклятая страна: никогда и ни в чем нельзя положиться на постоянство и предвидение! Одна только водка надежно крепка, сногсшибательна и то, если не разбавлена, как в управленческом буфете.

Вспомнился воскресный пикник, угрожающе-вкрадчивый голос начальника строительства Шилова. Поразительно зловещая фигура... Местный административный вождь с лицом хозяина игорного притона. Не он ли организует флажковую облаву?

Его намеки были слишком прозрачны, чтобы не понять, чего он добивается. «Деловое сотрудничество». За этой ширмой крылся обыкновенный торг по решительному принципу: «или — или». Крюгель ушел от ответа, умышленно напился: какой может быть торг с человеком, за спиной которого изувер-штурмовик Хельмут Бергер?

Так или иначе жизнь все равно поставила перед ним эту жестокую дилемму. А если говорить точнее, то и дилеммы уже нет, есть только один исход, один выход, обозначенный флажковым коридором: надо немедленно уезжать. Фарен нах Дойчланд. Бросить все на полпути, бросить без сожаления и, как говорят русские, «бежать без оглядки».

А если все-таки оглянуться, чуть-чуть помешкать, да и сообщить в компетентные органы русских насчет высокопоставленного товарища Шилова? На ухо шепнуть:

приглядитесь, мол, человек этот — с двойным дном, как чемодан контрабандиста...

Нельзя. Безрассудно и гибельно, потому что в Германию в таком случае ехать будет невозможно. Арестуют сразу же на Берлинском перроне, а может быть, уже на границе.

Ну а что он будет делать в Германии, что его ждет там? Нацистов-штурмовиков он не приемлет, партия социал-демократов, в которую он когда-то входил, фактически разогнана и поставлена вне закона.

Но, черт побери, почему обязательно нужно вмешиваться в политику? В конце концов, какое ему дело, кто именно и как правит Германией? Он инженер, квалифицированный строитель, и ему всегда найдется достойное рабочее место в стране, переживающей сейчас бум национального возрождения.

Военизация, угар милитаризма, диктаторские строгости так называемого нового порядка? Во-первых, за всем этим немало домыслов и преувеличений (не случайна же огромная разница в оценочных ситуациях между германской и прочей мировой прессой!). А кроме того, если уж судить объективно, «Дойчланд юбер аллес» — не так уж плохо, даже если это горланят штурмовики.

Да, ему надо уезжать на родину... Но уезжать достойно и солидно.

Основательно захмелев, Крюгель вдруг вспомнил о Груньке: у него же имеется своя собственная жена — маленькая, очаровательная «фрау Аграфен»! И направился на кухню.

— Майн либер пупхен! — пошатываясь, вошел Крюгель.— Я сегодня желайт иметь твоя любовь. Ну-ну, милый жёнка!

— Пошел к черту! — сухо сказала Грунька.— Надрался, так иди дрыхни.

— Почему дрыхни? — обиделся инженер.— Я есть твой муж. Ты мой воробьишка.

— Отвяжись, тебе говорят! — рассердилась Грунька, а когда он попытался обнять, ловко увильнула к двери и, оказавшись в коридоре, выключила свет. В темноте Крюгель налетел на табуретку, грохнулся на пол и тут же захрапел.

Утром Крюгель как ни в чем не бывало выпил кринку парного молока, потом долго рассматривал в зеркало

лиловую шишку на голове, поглаживал и угрюмо морщился. Не оборачиваясь, вздохнул:

— Я уезжаю Германия, Грунька... Ты не поедешь, потому что ты есть плохой фрау. Зер шлехт! Германия не надо плохой женщин.

— А я и не собираюсь,— сказала Грунька.— Что я там фашистов не видела? Скатертью дорожка.

— Дура! — сердито, зло фыркнул Крюгель.— Отшень большой дура!

— От дурака слышу! — Грунька показала ему язык в зеркало и на всякий случай шмыгнула к порогу: а ну как в драку кинется?

Крюгель погрозил кулаком и стал крутить ручку телефона. Он сегодня почему-то не брился и на работу явно не собирался — наверно, решил прикинуться больным с похмелья. Грунька затаилась в коридоре, притихла: интересно послушать, что он будет врать по телефону?

Однако услышанное так поразило Груньку, что она охнула и присела от изумления. Ганс Крюгель торжественным голосом кричал в трубку:

— Я инженер Крюгель больше не работайт! Я объявиль забастовку. Айн штрайк. Да, да я все понимайт. Это есть политическое недоверие ко мне. Поэтому я делай забастовка.— Повесив трубку, Крюгель довольно потер руки и бодро гаркнул в коридор: — Грунька! Давай-давай капуста — я буду опохмеляться. Чтобы лечить голова.— Допив вчерашнюю бутылку, Крюгель взял ведро и самолично принес из речки воды. Ухмыляясь, приказал Груньке: — Мыться пол — твоя профессия, фрау Аграфен. Бистро мыть на коридор. Давай-давай.

— Еще чего! — насупилась Грунька.— Я вчера только мыла полы.

— Мыть, тебе говорят! — Крюгель пощелкал пальцем перед ее носом, подмигнул: — Это есть русский хитрость. Сейчас приедет начальство, который я не желайт принимать собственный дом.

Отказываться или спорить не имеет смысла, Грунька это видела по упрямо выпяченной нижней губе инженера: теперь понесло, закусил удила, паразит, никакая сила его не остановит! Достав под крыльцом тряпку, она отправилась в коридор, а Крюгель стал готовиться к приему гостей: начистил краги, снял галстук и расстегнул чуть не до пупа клетчатую рубаху, приняв таким образом донельзя независимый расхристанный вид. По-

думал и решил нацепить охотничью тирольскую шапочку с петушиным пером. После этого сел в палисаднике на скамейку, довольно посвистывая, взгромоздил на штакетник ноги в кованых ботинках.

В десятом часу к коттеджу подъехала выездная шиловская пролетка, подрессоренная, легкая, вроде извозчичьего шарабана. Вороной жеребец танцевал-хорохорился под дугой, грыз удила и картинно ронял пену. Впрочем, Ганс Крюгель даже не повернул головы, запрокинув бутылку, баловался боржомом.

Приезжие — начальник стройки Шилов и парткомовец Слетко направились было к крыльцу, однако босая Грунька недвусмысленно взмахнула тряпкой: куда, дескать, или не видите, мойка? И показала за угол, в палисадник: там он, туда и идите.

Рукопожатий и приветствий не было. Крюгель допил боржом, швырнул бутылку в кусты малинника и сказал:

— Я вас слушай.

— Нет, это мы вас слушаем,— хмуро произнес Шилов, присаживаясь на противоположный край скамейки. Слетко потоптался, поискал глазами и решил сесть на камень-валун, предварительно положив на него свою замасленную кепку-кожанку.

— Зер гут! — сказал Крюгель и вздернул квадратный небритый подбородок.— Я требую сатисфакции по поводу мой допрос. Как иностранный специалист, я заявляй протест. Вы говорить мне официальных извинений. В противный случай я разрываю контракт — унд фаре нах Дойчланд!

Слетко, изумленно тараща глаза, заерзал на камне, поправляя подложенную под зад кепку — валун здорово холодил, не камень, а глыба льда (не подхватить бы радикулит!). Крюгель его прямо-таки поражал: ото ж, бисова душа, немчура,— це вона така, буржуазная дипломатия!

— Никаких сатисфакций не последует, герр Крюгель,— сухо улыбнулся Шилов.— То, что вы называете допросом, на самом деле было неофициальной беседой. В целях прояснения обстоятельств. Что касается вашего отъезда, то администрация не имеет никаких возражений. Можете спокойно уезжать.— Он притянул пальцами ветку черной смородины, полюбовался щедрым цветением — обильные будут гроздья осенью! — и сказал

как бы между прочим, по-немецки, на берлинском диалекте: — А вы, Крюгель, все-таки не смогли обойтись без этого дешевого фарса. Я имею в виду вашу забастовку.

Крюгеля это почему-то смутило. Причем заметно — даже уши порозовели.

— Я действительно обижен...— произнес он тоже по-немецки.— И переживаю это как незаслуженное унижение.

— Их глаубе дас нихт,— усмехнулся Шилов.— Абер дас ист нихт вихтиг! [1]

— Одну хвилиночку, господа товарищи! — неожиданно вмешался, подскочил с камня Слетко. — Не треба разговаривать по-немецки. Я лично мову Гитлера не терплю и не разумию. Как представитель парткома, протестую.

— Извините, товарищ Слетко,— Шилов сожалеюще развел руками.— Но господину Крюгелю некоторые вещи трудно растолковать по-русски.

— А чего ему толковать? Собрался уезжать — хай едет. Мы не держим.

— Я желаю иметь прощальный митинг! — Крюгель резко поднялся и картинно, как солдатскую каску, надвинул на лоб тирольку.— Я есть социалист-интернационалист и хотел бы делать речь перед советский рабочий класс. За единый Рот Фронт, за мировой социализм!

Шилов пожал плечами, многозначительно переглянулся со Слетко: инженер, дескать, несет чепуху, но коль последовала официальная просьба, надо отвечать. И отвечать тебе, как заместителю парторга.

Слетко в раздумье прошелся по дорожке, приблизился вплотную: глаза его оказались как раз напротив груди Крюгеля, выпяченной барабаном, торжественно напряженной, будто изготовленной к принятию почетной медали.

— Не треба! — махнул рукой коротышка Слетко. Он хотел было напомнить инженеру, что тот недавно ведь отказался выступить на митинге по случаю подписки на Госзаем, да и подписываться отказался. Однако передумал: надо соблюдать дипломатию.— Нэма часу, времени нет, господин Крюгель. Вы сами говорили: конкретные дела лучше всяких слов. От же все мы надеемся на ваши конкретные революционные дела. Рот Фронт!

---

[1] Я этому не верю. Но это неважно! *(нем.)*

Слетко бойко вздернул сжатый кулак. И непонятно было: не то он поприветствовал-попрощался, не то погрозил перед самым носом Крюгелю.

После отъезда официальных гостей Ганс Крюгель, бледный от бешенства, убежал в дом: они выпроваживают его бесцеремонно, по-русски! Что ж, он будет прощаться тоже по-русски. Выставив из бара весь запас спиртного, он стал варганить сумасшедшие коктейли, мешая водку с коньяком, шампанским, плодово-ягодным вином и местным самогоном. После третьего стакана глаза его налились кровью, лысина взялась испариной и блестела, словно пасхальное яйцо, вынутое из лукового отвара.

Сначала ему не понравился радиоприемник, гремевший бравурными песнями, Крюгель схватил его, распахнул окно и трахнул о камень-валун, на котором недавно сидел коротышка Слетко. Дребезг радиоламп вызвал у инженера приступ новой ярости, и он стал искать, что бы еще могло задребезжать? В окно полетели пустые бутылки, потом керамическая ваза, патефон (этот почему-то не разбился).

Когда в гостиной ничего бьющегося не осталось, Крюгель вспомнил про кухонные полки, нашпигованные посудой,— вот где можно развернуться! Через минуту на кухне стоял такой дребезг и хруст, будто туда, сокрушив стену, вперся дорожный бульдозер.

Грунька сидела на крыше сарая, на сеновале, и через щелку в досках наблюдала за беснующимся мужем, с замиранием сердца прислушивалась к звону и грохоту из распахнутых окон. Как ни странно, она и жалела гибнущее, пропадающее добро и в то же время испытывала долгожданное облегчение: осколки битой посуды казались ей отлетающей от нее самой шелухой, которая стискивала, давила весь этот месяц, мешая дышать, не позволяя открыто глядеть в глаза людям. «Бей, ломай, фашист треклятый, все одно горем нажитое — прахом и уйдет».

Впрочем, она всерьез забеспокоилась, заерзала на сене, когда увидала, как немец начал выбрасывать в окна мебель и одежду. Целую кучу набросал в палисадник, прямо на цветочную клумбу, на свои любимые недоноски-тюльпаны. «Здорово работает, Змей Горыныч,— уныло подумала Грунька.— Ровно пожарник мотается, аж

упарился. На кой ляд он это барахло выкидывает, уж не увозить ли собирается?»

Нет, Крюгель отнюдь не собирался увозить в Германию немудрящие тряпки, он задумал совсем другое, что очень скоро стал и осуществлять: появившись на крыльце с бидоном, полил бесформенную груду керосином и поджег.

Грунька с воплями выскочила из сарая, слепая от ярости, кинулась на инженера: «Что же ты творишь, изверг рода человеческого?» Однако немец легко, как хворостинку, отбросил ее в малинник и, пьяно корячась, полез на крыльцо, а оттуда — в кладовку, за топором: на очереди был шкаф, который не лез в окно, и его следовало предварительно порубить, укоротить.

Тут-то Груньку осенило: она кошкой метнулась по крылечным ступеням и мигом задвинула тяжелый кованый засов на двери кладовки (сам же немчура на свою голову приспособил на днях этот засов!). Крюгель рычал и бесновался в темной кладовке, лупил топором в дверь, но Грунька тоже не теряла времени и уже крутила ручку телефона, кричала в трубку ошалело, загнанно: «Сельсовет! Милицию!»

Пьяный Крюгель успел лишь вырубить небольшую дырку в массивной листвяжной двери, когда к коттеджу лихим кавалерийским наметом подскакали представители местной власти: председатель Вахромеев и участковый милиционер Бурнашов. Они спешились и тут же кинулись помогать Груньке тушить горевшее добро.

Дверь уже трещала под ударами топора, и милиционер на всякий случай расстегнул кобуру нагана.

— Не спеши,— предупредил его Вахромеев,— тут, понимаешь ли, международный инцидент.

Снял фуражку, привычно хлопнул донышком о голенище, спросил у измазанной, всхлипывающей Груньки:

— Он что, пьяный?

— В стельку,— сказала Грунька.— Буйствует, паразит. С работы его выгнали.

— Да...— осуждающе протянул Вахромеев.— Вот тебе и Европа. То же бытовое хулиганство. Да еще с политическим уклоном: ишь ты как честит он советскую власть! Непотребными словами.

— Занесем в протокол? — спросил Бурнашов, поднимая на ремешке планшетку.

— Пока не надо. У нас и так напряженные отноше-

ния с гитлеровской Германией. Сам знаешь. Поди-ка урезонь его, приведи в порядок.

— Открыть дверь?

— Ни в коем случае. Скажи пару слов как представитель власти. В эту самую дырку.

Однако надобность в отрезвляющих словах отпала: едва увидав фуражку со звездой, Крюгель сразу же залопотал что-то, а после вовсе затих. Через минуту он уже храпел за дверью.

— Вот и лады,— сказал Вахромеев.— Пусть дрыхнет, пока не проспится. А мы к тому времени подадим ему подводу — для благополучного отъезда.

— А мне где теперя жить? — всхлипнула Грунька.

— Ступай к матери,— сказал председатель.— Здесь тебе не положено: дом ведомственный, целевого назначения, для руководящих итээр. Собери все, что тут осталось, и отчаливай.

Грунька скорбно оглядела груду обгоревшего тряпья, подняла голову и только сейчас заметила за оградой толпу любопытных сельчан, а у самой калитки — знакомые зареванные мордашки своих единоутробных сестер. И тут Груньке впервые сделалось по-настоящему тошно, горько, невыносимо обидно, стало жалко себя, непутевую, глупую, невезучую дуреху-горемычницу. Она завыла, заголосила, запричитала, точь-в-точь как матушка Матрена Селиверстовна на прошлогодних отцовских похоронах.

Председатель Вахромеев мягко, но крепко положил ей руку на плечо:

— Ладно, гражданка, перестань реветь! Обойдется — у тебя вся жизнь впереди. Двигай вперед.

— А как же развод? Оформите? — сквозь слезы осведомилась Грунька.

— Пара пустяков! — рассмеялся Вахромеев.— Дело в том, что твое замужество не оформлено в законном порядке, еще не получено разрешение на брак с иностранцем. Мы его просто не будем регистрировать, и вся недолга.

Через час из итээровского городка вдоль берега Шульбы в село шествовала живописная процессия: впереди тетка Матрена вела на веревке пегую «продуктивную» Буренку, а следом, пятка к носку, семенили все пятеро сестер и у каждой в охапку остатки домашнего скарба: ведра, чайники, вилки, ложки, сковородки, ко-

ромысло — все, что не билось, не ломалось, не горело и надежно обещало устойчивое будущее.

Буренка шагала неспешно, важно, уверенно ставя раздвоенные копыта, и, когда временами задерживалась, чтобы полакомиться придорожными лопухами, вся компания благоговейно останавливалась, замирала, слушая вкусное похрустывание травы.

19

Викентий Федорович Шилов не любил вспоминать свое детство. Необузданная, деспотическая любовь родителей рано сформировала в нем неприязнь ко всему, что давит и закабаляет: уже гимназистом, он наглухо замкнулся в себе, ощетинился на весь мир. Он считался вундеркиндом, а это требовало сдержанности и давало право на жестокость.

Его всегда занимали потемки человеческой психики — вопиющая непоследовательность и дисгармония рядовой натуры. Ему нравилось делать пакости, обставляя их таким образом, что именно ему же потом лизали руки в знак благодарности.

Вероятно, он далеко бы пошел, если бы родился в другое время. Старый мир рушился, и под его обломками хрустели человеческие судьбы, выживали лишь те, кто сумел заранее переориентироваться. Он не испугался и не собирался меняться — верил в свою судьбу. И еще верил в то, что такие, как он — непримиримо-последовательные, навсегда одержимые,— нужны обществу в любые времена.

И не ошибся: примитивно-напыщенные народнические взгляды отца — демократствующего присяжного поверенного, молодой Шилов сумел удобненько трансформировать в прокрустово ложе девизов эсера-боевика (отрубив и отбросив кое-что из явно крикливого архаического). А еще позднее — тоже без труда, приспособив все это к красному сундуку идейного багажа приверженцев Троцкого. Ему особенно нравилось, что безудержную брызжущую энергию собственного самовосхваления Лев Троцкий выдавал за «кипучую революционную страстность».

В конце концов, он видел прямую преемственность в главном: не массы, а выдающиеся одиночки решали судьбы истории. Народные массы лишь создавали фон,

бесконечно варьировали рецепты и компоненты гигантской социальной каши, которую варили опытные, изощренные и прозорливые повара-вожди. Что касается идей и лозунгов, то это были своего рода специи и соусы, придававшие остроту, привкусы так называемой классовой борьбе. И не более того.

— Партийный функционер — это гвоздь в каркасе партийной ладьи,— когда-то красиво говаривал Лев Давыдович.— Он должен надежно торчать и держаться, даже если захлестывает девятый вал.

Торчать и держаться... Ну, а смысл? Именно в этом и смысл. «Рассуждающий становится дряблым»,— утверждают современные немцы. И они, безусловно, правы, потому что рассуждения есть та самая ржавчина, которая постепенно точит, разрушает «функционерский гвоздь», забитый замыслом и велением вождя.

Если и размышлять, то только о том, как успешнее, лучше, рациональнее исполнить свое высокое предназначение. Как надежнее торчать...

Шилов усмехнулся, подумав, что в этом «торчании» есть нечто унизительное, рабски подавляющее и обезличивающее. Может, он и в самом деле похож на эдакий длинный, кованный в специальной кузнице крепежный гвоздь, наподобие тех, которыми сшивают бревна избяных венцов деревенские плотники? Его усердно «забили» в далекой Черемше разворотливые деятели вместе с германскими генштабистами, для порядка поставив крестик на секретной оперативной карте. Забили и... забыли. Забавная игра слов, за которой кроется мрачная тревожность: уже пятую неделю никаких сигналов на условленной волне. Да и он пока совершенно не готов к действию. Надо полагать, в Берлине рассматривают эти недели как его своеобразный «пусковой период», потому не тревожат указаниями (он в них, собственно, и не нуждается).

Его предупредили насчет возможного сокращения сроков задания: приказ может поступить неожиданно — и через год, и через несколько месяцев. А может, и завтра — этого никто не знает.

А у него ничего нет, кроме общего плана. Схематичного и расплывчатого. Собственно говоря, у него пока не было даже общей аналитической картины, содержащей конкретное знание обстановки, на которой следовало базировать план действий.

Шилов уже несколько вечеров допоздна засиживался в своем кабинете — квадратной комнате с широкими окнами. Дом стройуправления именно здесь опасно близко выходил к самому торцу утеса, и директорский кабинет парил над провалом, врезался углом в ветреный упругий простор, как рубка боевого корабля. В кабинете всегда было свежо, чуть-чуть неуютно от гуляющего легкого сквознячка — табачный дым тут не держался, оставался только запах.

Но зато был вид, от которого с непривычки захватывало дыхание: пугающая пустота за подоконником, а чуть выше — безбрежная густая синева воды, вся в живых переливах белесых волн, будто торопливо убегающих к черте далеких хребтов.

В сумерках оживала иная красота: вспыхивал и висел над ущельем ажурный огненный мост, позднее в чернильной темноте он казался нереальным, фантастическим — эдакой цепочкой-украшением, парящей в ночи между небом и землей. Впрочем, если присмотреться, белый гребень плотины все-таки был виден меж рядами огней, и это тоже вызывало смутное волнение: чем не начало его личного «большого огненного пути» в будущее?

Иногда распахнув окно, Шилов курил папиросу и долго глядел на плотину, усмехаясь, не сдерживая затаенного торжества: в эти мгновения он чувствовал себя историческим палачом, призванным свершить исторический приговор... Временами ему даже казалось, что серый бетонный колосс вздрагивает под его прищуренным взглядом.

Однако он понимал и хорошо представлял реальность: от приговора до исполнения — дистанция очень большого размера. Щелчком отбросив в темноту горящую папиросу, он возвращался к столу, чтобы снова и снова преодолевать эту дистанцию, и садился за схемы, чертежи и расчеты.

Его интересовало все — от первого колышка до сегодняшнего дня,— все, чем жила и дышала плотина. От подготовки фундамента, забивки шпунта и цементационной завесы, до укладки в секции бетонных блоков по вчерашней рабочей сводке. Он знал напряжение каменных ряжей по отводьям плотины, знал все места, где «фильтрует» бетон и монолит дает ощутимую течь, математически точно рассчитал водяной напор на решетки

водосбора и приемной камеры гидротуннеля местной ГЭС — он многое уже знал. Но пока не знал, не сумел еще определить наиболее уязвимое место обреченного бетонокаменного монолита. А оно должно быть, потому что своим творениям человек обязательно передает свои достоинства и слабости, в том числе и пресловутую ахиллесову пяту.

В сущности, он в одиночестве решал архисложную задачу, пытаясь разрушить то, что создавалось сотнями людей в течение нескольких лет. Неправда, что разрушать легче, чем создавать: разрушение столь же сложно, как и созидание, только здесь счет идет не на физическую, а интеллектуальную силу.

Неожиданно зазвонил телефон, и Шилов машинально взглянул на часы: без четверти двенадцать. Интересно, кому он понадобился в самую полночь?

— Слушаю.

Как ни странно, на другом конце провода оказался завкон Корытин: нельзя было не узнать его тяжкого медвежьего сопения.

— Я слушаю! — громко повторил Шилов.— Ну говорите.

— Добрый вечер, Викентий Федорович. Мне передали, что вы разыскивали меня. Так я на проводе.

Язык у завкона явно заплетался. «Опять, кажется, напился, мерзавец»,— подумал Шилов.

— Я вас разыскивал вечером. А сейчас уже полночь,— сухо сказал Шилов и отстранил трубку: показалось, что от нее крепко несет водочным перегаром.

— Прошу извинения. Так сказать, нижайше...— бормотал Корытин.— Однако осмелюсь доложить, был при исполнении. Так сказать, при исполнении своего гражданского долга. Весьма прискорбного...— Шилову послышалось, что завкон пьяно всхлипнул в трубку.

— Что вы буровите, Корытин?

— Точно так, Викентий Федорович! Воистину и всенепременно преисполнен скорби. По причине печальных похорон, а также товарищеских поминок. Царствие небесное...— Корытин опять всхлипнул.

— Да объясните толком, черт побери! Кого хоронили?

— Незабвенного товарища Савоськина, нашего конюха. Да будет пухом ему земля! Намедни угорел прямо в своей бане — доглядеть некому было, бобылем жил.

К тому же под хмельком отправился париться — любил выпить покойничек, был за ним такой грех. Ай-ай-ай!.. Такой работник был справный, такой мужик...

— Ладно, не расстраивайтесь,— кашлянул Шилов и подумал, что умирать конюху, может, еще и не время было: следователь-то уехал спокойно, даже не копнув этого дела. Впрочем, кто его знает — ведь интересовался, очень даже многозначительно «удочки закидывал»...

— Жалко,— неожиданно трезво сказал Корытин.— Человек все-таки, не тварь безъязыкая.

— Все мы там будем,— меланхолично заметил Шилов.— Давайте говорить о деле. Прошу завтра к семи подать мне ходки — поеду на рабочий сбросовый туннель.

— Завтра воскресенье, Викентий Федорович.

— Это не ваше дело. Для меня — рабочий день. Кучера не надо, сам управлюсь, пускай отдыхает.

— Слушаюсь.

Шилов походил по кабинету, уложил в сейф бумаги, закурил, поглядывая на часы: ждал двенадцати, ждал последние известия. Затем включил радио.

Уже первые два слова из репродуктора заставили его снова вскочить. Он почувствовал внезапную стесненность в груди, звенящую встревоженную радость: «Ожидается решительное наступление на Мадрид, ожидается вмешательство итало-германских войск...»

Рывком распахнув окно, он безбоязненно сел на подоконник, жадно втягивая холодный сырой воздух ущелья,— пусть эти слова услышит и дремлющий внизу самоуверенный бетонный великан, пусть услышит и поймет, что, может быть, в этих фразах таят надежды на последнюю отсрочку его приговора!

Счастливая догадка молнией сверкнула в возбужденном мозгу: так вот чем объясняется долгое радиомолчание берлинских наставников! Им сейчас просто не до него: наци, кажется, начинают заваривать настоящую бучу-кашу в глобальном масштабе! Но это значит, что в самое ближайшее время стратеги отдернут шторку на оперативной карте и начнут пересчитывать все «забитые гвозди» в отдаленных местах! Вспомнят и о нем. «Воистину и всенепременно», как выражается этот белогвардейский кретин Корытин.

Спешить и действовать! Уже сейчас, немедленно... Шилов метнулся к телефону, но, когда услыхал сонный голос телефонистки, сразу осадил себя: спокойно, без

спешки, без паники! Усталым голосом назвал квартиру Корытина. Тот долго не отвечал, а когда взял трубку, с минуту сердито кхекал, отхаркивался:

— Ну какого дьявола? Чего надо?

«А ведь он совсем не пьян,— сообразил Шилов.— Странно, не успел же выспаться за десять минут? Тоже мне артист с цыганской харей».

— Это я, Шилов. Значит, так: назавтра обстановка изменилась. Вместо тележки подать двух верховых лошадей. Поедете со мной.

— С какой это стати? — недовольно пробурчал Корытин.

— Согласно вашим служебным обязанностям! — тоном приказа произнес Шилов и повесил трубку.

Ночь прошла беспокойно: не спалось. Душно было даже при открытом окне, к тому же за рекой, в ближнем распадке, все время кричал сыч, стонал жалобно и жутковато. «Сыч кричит к ненастью»,— ворочаясь в постели, вспомнил инженер местное кержацкое поверье.

Наверно, так оно и было, потому что берлинское радио послушать не удалось — приемник трещал разрядами, как смолистые поленья в печи. Где-то над Европой, может быть уже в Приуралье, летними грозами накатывался гигантский циклон.

Утром Корытин явился задолго до назначенного срока и принялся дразнить сторожевого Рекса, наверно, кидал в него камнями: от ярости пес временами срывался на утробный вой, а цепь гремела, будто карьерная камнедробилка.

Шилов высунулся в окно, погрозил кулаком завкону: «Уймись!» — и подумал, что из Корытина, в сущности, дерьмовый помощник: злобы в нем больше, чем решительности, уж не говоря об уме. Но что поделаешь — пока просто не на кого рассчитывать...

Они выехали через несколько минут, сразу, не разговаривая, пустили коней легкой рысью. Иноходцы шли ровно, скользяще-картинно, приятно пахло кожаной сбруей, стелилась на поводья, щекотала руки конская грива — к Шилову возвращалась обычная деловая бодрость, тем более что день занимался на славу, никакого ненастья, похоже, пока и не предвиделось.

Он думал о том, что едущий рядом Корытин — «цыганское высокоблагородие» — весьма осложнил обстановку, в которой им обоим уже сегодня предстоит начинать

дело. Чего стоит один только приезд следователя, взбаламутивший местную идиллию! Настороженность, повышенная подозрительность, усиленный контроль — вот хотя бы некоторые из многочисленных волн от камня, брошенного Корытиным в черемшанский омут. Теперь к этому прибавилось еще и «мокрое дело»... Махровая уголовщина, о которой он думал недавно с высокомерным отвращением. Да, ничего не попишешь: высокая политика никогда не делается чистыми руками. «Чистые руки» — демагогия, не более того.

— Насчет Савоськина...— осторожно сказал Шилов.— Как оно было?

— А так и было. Помер человек и нету... Вам-то зачем знать? — неприязненно буркнул Корытин.

«Он прав,— подумал инженер.— Да и какое, собственно, мне до этого дело?» «Надо знать, что именно знать!» — назидательно поучал в детстве отец, стуча пальцем по его целомудренному гимназическому лбу. Он говаривал это, отбирая у сына запрещенные народнические брошюры, в которых юный Шилов в общем-то все равно не смыслил ни бельмеса.

Наверно, все-таки не стоило задавать этот бестактный и глупый вопрос. В конце концов, можно по-человечески понять угрюмость, озлобленность Корытина: не так-то просто участвовать в похоронах собственной жертвы, оплакивать человека, которого «порешил» своими руками.

— Хотите я вам поправлю настроение, Корытин?

— Ну-ну, валяйте. Вы же начальник, вам дозволено изгиляться. — Завкон откашлялся и мрачно харкнул далеко вперед через голову лошади.

— С завтрашнего дня вам предстоит служебное повышение. Моим приказом вы назначаетесь начальником ВОХРа — военизированной охраны строительства. Ну как?

— Тпру-у! — Корытин правой рукой натянул повод, остановил лошадь, а левой сгреб в кулак бороду, резко дернул, словно собирался начисто оторвать.— А вы не боитесь, Викентий Федорович, что я когда-нибудь могу застрелить вас?

— Знаю.— Шилов тоже придержал коня.— Вы умеете это. Только не сделаете — какой вам смысл? Тем более накануне решающих событий. Давайте поговорим спокойно и не будем делать друг другу страшные глаза.

Они остановились на взгорке средь осинника — здесь стояла голубоватая утренняя полутень, и воздух казался осязаемо живым, трепетным, пронизанным мельтешением, отсветами глянцевых листьев. Дрожание это падало на все окружающее, окрашивало тревожным беспокойством. Вороной жеребец Шилова норовисто дергал узду, сучил ногами и пер боком, стараясь укусить корытинского мерина.

— Значит, так, Корытин,— Шилов с трудом удерживал каблуками танцующего жеребца,— нас с вами ждут в Синьцзяне, в штабе генерала Брагина, — надеюсь, вы помните такого? Это во-первых. А во-вторых, в самое ближайшее время нам, очевидно, предстоит выполнить задание, ради которого мы и торчим здесь. Вы чувствуете, чем пахнет международная обстановка?

— Ну-ну! Это уже разговор,— усмехнулся, сразу повеселел Корытин. С размаху огрел по крупу нагайкой шиловского жеребца.— Не балуй, зараза!

— Так вот ваше назначение является первым и очень важным шагом по пути выполнения задания.

— Догадываюсь. Но вы-то соображаете, что последует за этим? Меня же сразу начнут проверять, раскапывать все мое прошлое. И, будьте уверены, докопаются!

— Не беспокойтесь. Пока докопаются, дело окажется в шляпе и мы будем уже далеко — по ту сторону границы, в Урумче. Все предусмотрено и рассчитано.

— Лады. Я человек дела, к риску мне не привыкать. Наконец-то дождались, слава те господи! — Корытин достал из бокового кармана баклажку, прямо из горлышка отхлебнул самогона, все это сноровисто, ловко, как старый наторевший кавалерист.— А вы, Викентий Федорович, тоже, оказывается, из лошадников! Цепко в седле сидите, и по хватке вижу: бывали в рубке, в лаве ходили. А я думал, интеллигент. Может, мы когда-то на встречной сшибались, а?

Корытин захохотал, вскинул над головой руку с нагайкой, покрутил ею, как саблей. Шилов промолчал, сразу вспомнив лихие рейды охранного эскадрона главковерха. Впрочем, на передовой им почти не приходилось бывать, если не считать нескольких опасных ситуаций под Самарой, где прорвались в тыл конные сотни дутовских казаков.

— Значит, по самой плотине вдарим, Викентий Федорович?

— Вы догадливы.

— Так чтобы в пух и прах? В малашкины дребезги?

— Именно!

— Ого-го-го! — вдруг дико заорал Корытин, вмиг сдернул с плеча тулку и бабахнул из обоих стволов. От испуга шиловский жеребец зайцем сиганул в сторону, лошади понеслись ошалелым галопом вниз с перевала. Корытин матерился, радостно скалил зубы, видно ощутив дремавший в нем многие годы безудержный азарт головореза. — С богом вперед! Мать твою перетак!

Остановились только у брода через Выдриху. Корытин спрыгнул на землю, размялся и, подтягивая подпругу, насмешливо спросил:

— Звание хоть какое-нибудь дадите?

— А как же. Нач. ВОХРа. Комсоставская амуниция и четыре треугольника в петлице.

— Неплохо. И лошадку закрепите персональную?

— Как положено.

— По такому случаю выпить следует. Обмыть назначение.— Корытин достал из переметной сумы алюминиевые кружки.— Облагородиться желаете?

— Нет, я потом. Жарко становится.

— Напрасно обижаете, Викентий Федорович. Такой момент: боевое омовение, посвящение в рыцари. А вы пренебрегаете...

— Ладно уж,— нахмурился Шилов,— наливай.

Выпив сивухи, дружно крякнули, и только теперь Корытин счел нужным осведомиться:

— А, собственно, куда мы едем?

— На Старое Зимовье. Лошадей больных проведать.

— И кое-что сварганить еще? Верно?

— Может быть...

— Молодец вы, Викентий Федорович! Тонкий стратег — далеко рассчитываете, как заправский шахматист. Вот за это я вас уважаю. Святой крест, правду говорю. Может, еще по пять капель?

— Хватит! — начальственно гаркнул Шилов.— Впереди дело, для которого нужна трезвая голова. Довольно!

— Слушаюсь! — Корытин сразу вскинулся, быстренько сунул баклажку в карман, удивленно и одобрительно

покачал головой: — А вы и на отцовско-командирском диалекте могете? Похвально.

Через час, миновав еще один перевал, они спустились в ложбину, где у самого верховья Выдрихи приютилась охотничья заимка. Завидев табун, жеребец зафыркал, заливисто заржал, и тут же послышался топот: лошади бежали навстречу, настороженно выгнув шеи. Потом остановились неподалеку, недружелюбно косились, храпели и били копытами землю.

— А лошадки-то справные,— заметил Шилов.— Прямо строевой вид.

— Да, этот белобрысый обормот подкузьмил здорово...— с сожалением протянул Корытин.— Черт дернул его вмешиваться. Пустили бы их в расход, и концы в воду.

— Как сказать. А я убежден, что обязательно состоялось бы расследование. Так что парень сделал доброе дело: уберег вас лично от еще одной глупости. Ладно, ладно, не спорьте! Ни к чему это.

Завидев около избушки человеческую фигуру, инженер обернулся к Корытину, веско поднял палец:

— Предупреждаю, Корытин: все разговоры здесь веду я. Не вмешивайтесь, понятно? А если и вам что-то надо будет сказать, дам об этом знать.

Корытин скривился, презрительно сплюнул, но промолчал.

Хариусовую уху варили прямо на берегу, на обкатанном гранитном галечнике. Дед Липат, стараясь услужить высоким гостям, часто шуровал в ведре деревянным повойником, сошвыркивал обжигающее варево, вкусно чмокал и все подбрасывал «для кондиции» разные травы-корешки. Гошка шуровал костер, попутно похваляясь своими заботами-бдениями: вон их сколько лошадей на ноги поставлено, а ведь за каждой присмотр да ласка требуются! Шилов лениво слушал, нежился на солнышке, удивленно размышлял, наблюдая за Корытиным, храпевшим в тени в обнимку с лохматым и дряхлым хозяйским псом: необъяснимо терпимой оказалась собака! Обычно они не переносят водочного запаха.

Впрочем, как только дед загремел ведром, выливая уху в большую миску-долбленку, Корытин тут же проснулся, достал из-за голенища ложку и, конечно, отполированную до блеска алюминиевую солдатскую флягу.

— Облагородимся по маленькой, граждане товарищи! По случаю знаменитой липатовой ухи.

— Не гоношись,— строго сказал дед,— и зелье свое убери, спрячь. Токмо дураки да христопродавцы водку пьют перед ухой. Это ровно что мед дерьмом запивать.

— Верно, дед,— поддержал Шилов.— В ухе вкус — главная прелесть. А водка, она одуряет: ни вкуса, ни запаха не почувствуешь.

— Ты тоже хорош.— Дед в упор уставился на Шилова единственным глазом.— Юлишь да тары-бары разводишь сладкие. А у самого умысел на душе — по глазам вижу. Говори, с чем приехал, чего замыслил?

Заржал Корытин, нахально подмигнув инженеру: что, дескать, шеф, схлопотал по морде? Это тебе не в директорском кабинете важничать.

Шилову пришлось проглотить пилюлю: не станешь же связываться с полоумным стариком, мнящим себя кержацким пророком-ясновидцем.

— Ты не так меня понял, дедушка,— сдержанно произнес инженер.— А приехали мы действительно по делу. Только дело это не к тебе, а вот к нему, к твоему внуку.

— Никакой он мне не внук, басурман этакий, — отмахнулся дед.

— Не заводись, дед,— подал голос Гошка Полторанин.— Не на ту ногу нынче встал, что ли?

Уху хлебали молча, подолгу дули на деревянные ложки, потели, кряхтели — дед наварганил в ведре нечто острое, дерущее горло. Да и соли, пожалуй, явно переложил. Все деликатничали, стараясь не сталкиваться грубострогаными ложками, только Корытин, не церемонясь, вылавливал хариусов, мигом обсасывал их, а кости и головы совал сидящему рядом псу.

После ухи он все-таки не выдержал, налил себе из баклажки, выпил и, отдуваясь, сказал:

— Мы твоего Гошку, дед, именными часами наградили, а ты кочевряжишься.

— За награды платить надобно,— сказал Липат.

— Ну ты даешь, старик! Он заработал эту награду, понял? Вон сколько лошадей выходил!

Дед задумчиво посмотрел на табун, побурчал себе под нос, и Шилов решил перехватить нитку разговора:

— А теперь есть мнение выдвинуть товарища Полторанина на новую работу. Более ответственную.

— Эко понесло-поехало! — Дед хихикнул, тряхнул седыми космами.— «Ответственную!» Да его пороть еще надобно, срамца непутевого.

— Но-но, дед! — вскочил рассерженный Гошка.— Ты меня перед людями не позорь! Я не какой-нибудь шаромыжник, а рабочий человек. И ежели чего добился, так только своими руками, мозолями личными. И ты, дед, не встревай, коли меня заслуженно выдвигают.— Устав от такой длинной речи, Гошка передохнул, почесал затылок и спросил, переводя взгляд с Корытина на Шилова: — А куда выдвигают-то?

— Да вот хотим предложить тебе должность стрелка военизированной охраны,— сказал Шилов.— Парень ты надежный и стреляешь, говорят, отменно.

— Это уж точно,— солидно подтвердил Корытин и поболтал перед ухом баклажкой: много ли осталось?

— Я лошадей люблю,— вздохнул Гошка.— Такое дело.

— Вот и хорошо. Мы тебя как раз и определим в конный патруль.

— Денег-то сколь положите?

— Оклад двести рублей. Плюс бесплатная форма да еще надбавка за ночное дежурство.

Гошка в раздумье шмыгнул носом, посмотрел на деда: что посоветуешь? Однако дед равнодушно ковырял палкой в угольях, будто и не слышал разговора. Прижмурившись, Гошка представил себя в новенькой темно-серой форме с зелеными петлицами, в фуражечке набекрень, в надраенных хромовых сапожках. И конечно, при часах... Представил, как охнет и обомлеет пышногрудая Грунька, как прижмется к плечу простоволосая, пахнущая духами...

— Ладно,— сдерживая трепет в голосе, сказал он.— Чего уж там... Ежели выдвигают, я согласный.

Перед отъездом Шилов поманил пальцем Гошку и, когда тот подошел, нагнулся с седла, доверительно сказал вполголоса:

— Ты вот что, Полторанин... У тебя лошадей сколько? Шестнадцать? Будешь завтра гнать на стройку пятнадцать — одну оставь здесь. Которую получше. Пусть дед пользуется в хозяйстве — он у тебя хороший, славный дед. А мы эту лошадь спишем. По акту.

— Да ведь как же?..— опешил, ослабел от радости Гошка.— Лошадь-то вроде казенная... Государственная.

— Не беспокойся. Ты государству вон какую пользу принес. Без тебя кони все давно бы околели. Оставляй лошадь по праву.

— Спасибо...

Возвращались в самую жару. Тайга будто скисла, растяжелела и обвисла от палящих солнечных лучей, душным дурманом несло от прожаренных лесных полян, и даже сумрачные ельники не держали прохлады: воздух здесь был тяжелый, густой, напитанный запахами расплавленной смолы.

Корытина совсем разморило, развезло. Грузное тело его колыхалось в седле, как студень, голова телепалась в разные стороны, да так, что уже дважды подвыпивший новоиспеченный нач. ВОХРа терял по дороге свою войлочную шляпу-ермолку.

У брода через Выдриху Шилов заставил его сойти с коня и побултыхать в воде лохматую голову. Потом, освежившись, и сам, будто мимоходом, невзначай, спросил:

— Слушайте, Корытин, я вот все время ломаю себе голову: как это ловко вы управились с экскаватором в карьере? Ведь даже следователь не нашел за что зацепиться. Как вы ухитрились?

— А вы, значит, догадывались? — хохотнул довольный Корытин.— Очень просто сделал: взял в руки динамитную шашку, вставил шнур-запал и бросил со скалы вниз. Как гранату. Такие гранаты когда-то мастерили анненковцы. У меня опыт по этой части. Понимаете?

— Тьфу дьявол! — изумился Шилов.— И впрямь до смешного просто!

— На простоте и живем,— подмигнул Корытин.

«А ведь Евсей Корытин действовал не столько глупо, сколько нагло»,— откровенно подумал Шилов. Да, собственно говоря, и он, Шилов, умевший и любивший лавировать, знающий цену житейским тонкостям, сейчас тоже поступает не лучшим образом. Но иначе нельзя, к сожалению... Приходится рисковать — некогда. Жизнь не дает передышки.

20

Благодатная подходила пора. В мае — июне отхлестали ливневые дожди, а на июльскую макушку — теплынь, как по заказу. Отволглая земля пучилась травами, рожала-выплескивала тугую соковитую зелень, наряжалась бело-розовой пеной цветенья.

Небывалые травостои вымахали в логах — прямо по конскую холку, густые, как сапожная щетка. Без оселка и прокоса не пройдешь: тупится литовка. Покосы делили всюду, даже на косогорах, на галечниках, где раньше лишь чахлая полынка кудрявилась, а нынче в пояс стеной вставало разнотравье.

Мужики спешили то там, то здесь прихватить даровой клок, матерно спорили, хватали друг друга за бороды. Особенно кержаки — народ нахрапистый и цепкий, где взял, там уж не положит. Потому и приходилось Вахромееву целыми днями мотаться по окрестным увалам, логам и распадкам: уговаривать, урезонивать, мирить, а то и употреблять предоставленную власть.

Чудной народ! Мир бурлил и клокотал потрясениями, кипел революционными страстями, в Европе война разгоралась, вся страна жила невиданными рекордами летчиков (на Дальний Восток махнули без посадки!), а Кержацкая падь, знай, мусолила покосные делянки, сучила рукава, размахивала задубелыми кулачищами.

Живут-то поистине в щели! Справа — моховые утесы, слева — Золотуха каменными россыпями навалилась. Солнце четыре часа в день бывает, да и то летом, зимой — того меньше. Правильно доктора говорят: ущельная сырость — источник всякой заразы, то бишь инфекции. И какой только дурак придумал именно там в свое время рубить избы? Как будто где-нибудь можно спрятаться от мира. Нет такого места на земле...

И ведь будут корпеть в этой щели, как сурки, молитвы распевать, лбы поклонами расшибать, покуда не выкуришь их на свет, на волю, не сольешь с трудовым сознательным черемшанским населением.

Теперь настало время браться за это вплотную — третьего дня наконец-то райисполком прислал бумагу о выделении фондов на переселение кержаков в Заречье. Место тут удобное, открытый взгорок, земли тучной вволю; хочешь, огороды разводи, а то и ржаной клин отмеривай — хватит на всех. Перетаскивать избы хлопотно, конечно, но не так уж и трудно — тракторы стройка дает, сани-волокуши тоже. К тому же кержацкие избы, рубленные венцом в лапу, для разборки удобны: вынул несколько скоб-клямор и за полдня весь сруб расчехвостить можно. Ну, а кто желает, руби новую избу — деньги теперь имеются, лесозавод готов отпустить бревна в необходимом количестве.

Как ни крути ни верти, не пригодна Кержацкая падь для жилья — вот что главное! Место опасное, ко всему прочему, потому как по проекту именно в речку Кедровку пойдут сбросовые воды с плотины. В общем-то их должно быть немного, ну а если необычный паводок перехлестнет этот проект! Вода есть вода.

Надо переселять, но как подступиться, с чего начинать? Кержатня поднимет хай, оплюет, камнями закидает — только попробуй сунься к ним на сходку с таким предложением. Не случайно Вахромеев уже год тянул, откладывал это дело под разными предлогами, понимал: приросли кержаки к своей щели, как лишайник к камню. Соскабливать придется, не иначе...

Силой тут не возьмешь, да и какая у него сила! Один участковый Бурнашов. И он наверняка не пойдет, прикинется больным — жена-то у него чистопородная кержачка из клинычевской семьи.

...Над всем этим размышлял Вахромеев, возвращаясь ввечеру с покосов из-под Сорнушки. Разнузданный Гнедко плелся устало, увалисто, то и дело прихватывая губами пыльную придорожную траву — за весь день ему лишь с полчаса удалось похрумкать кошениной.

У предпоследнего поворота к селу, где по откосу ершился молодой пихтач, Гнедко вздрогнул, тревожно дернул поводья, и это тотчас передалось Вахромееву: подняв голову, он увидел двух мужиков — прямо на середине дороги. Они, пожалуй, поджидали его.

Привычно сдвинув под мышкой наганный ремень, он на всякий случай расстегнул пару пуговиц на гимнастерке. Похоже, эти двое ничего не замышляли, иначе зачем бы им понадобилось выходить на дорогу?

Подъехав ближе, узнал обоих: Егор Савушкин и китаец Леонтий-«коробейник» кержацкой артели, скупщик меха из районной заготпушнины. Довольно странная компания... Что им от него надо?

— Слезай с коня, Кольша! — ухмыльнулся в бороду Савушкин.— Разговор к тебе есть.

Спрыгнув на землю, председатель шлепнул мерина по потному крупу, разрешая попастись на косогоре.

— Пришли бы в сельсовет,— сказал он, закуривая.

— Сельсовета ходи плохо,— ласково улыбнулся китаец.— Все люди види-види. Линь Тяо говори шпион. Линь Тяо шкурки не давай.

— Верно «ходя» соображает,— сказал Егор.— К тебе

только явись, назавтра бабье по селу начнет судачить. Нам это ни к чему.

Интересно, какое такое дело объединило этих совсем разных людей? Ну, с Егоршей все более или менее объяснимо: у них с Вахромеевым в последние дни стали вроде бы налаживаться старые приятельские отношения. Как ни говори, а, пообтершись на стройке, Егорка Савушкин кое-что уразумел, и рабочая жизнь понемногу «промыла» ему глаза. А «ходя» тут при чем?

Хитрая бестия, выжига и торгаш. Говорят, раньше, в двадцатых годах, опиумом и кокаином промышлял — это когда мода была. Да и сейчас, народ болтает, у него всегда анаша на закрутку сыщется, будто бы в косичке своей бумажный пакетик прячет.

Вахромеев подозрительно покосился на тощую, перевитую тряпицей косичку китайца, торчавшую над засаленным воротником, и убежденно подумал: «Выгода привела его сюда. Знать, есть расчет».

Егорка Савушкин жевал смородиновый лист. Сорвал, сунул в рот и вот морщится, щурится — ждет, сам разговор первым никогда не начинает.

— Ну как, вернула вам плотина артельных лошадей? — спросил Вахромеев.

— Да вроде,— кивнул Савушкин.— Только не все повертались. Мы вот с Терехой да Васькой, значица, ишо поработаем. Однако до зимы, до первой пороши.

— Глядите, проклянут вас старики. За непослушание анафеме предадут! — усмехнулся Вахромеев.

— Ничаво! — поскреб бороду Егорша.— Мы ведь из артели не выходим. А что работаем, так деньги надобны, ребятишек одеть-обуть. У меня вон их четверо, а у Терентия — пять огольцов по лавкам сидят.

Они прилегли на кюветный пригорок, а китаец расположился по ту сторону дороги на теплом плоском камне, подвернув под себя ноги и выставив подошвы хромовых сапожек-ичигов. «Прямо детская нога! — удивился Вахромеев.— Никак не больше тридцать пятого размера». «Коробейник-ходя» нюхал табак и явно давал понять, что в разговоре не участвует.

— Давай выкладывай, с чем пришли,— сказал Вахромеев Егорше (а то будет сидеть, листья жевать да губы облизывать).

— Неладно в Кержацкой пади складывается. Неладно, Кольша...— Савушкин выплюнул зеленую жвачку,

сорвал новый лист, растер в ладонях и сунул в рот. Вахромеев вспомнил школьное Егоркино прозвище и рассмеялся: отец четверых детей, а так и остался Верблюдом — вечно жует и плюется.

— Чо лыбишься? — нахмурился Савушкин.— Я тебе на полный серьез говорю, а ты хахакаешь. Мужики наши на тебя зуб точат, понимаешь? Говорят, мол, Колька-председатель облапошил артель, как цыган вокруг пальца обвел. Мы, значица, ему лошадей дали — вроде как откупились, а он обратно переселение затевает. За нечестную игру и на вилы невзначай напороться можно — вот как говорят.

— Да что они опупели, варнаки косопузые! — возмутился Вахромеев.— Разве я с ними торговался? Я лошадей просил от имени советской власти. Они же сперва не давали? Ну и не давали бы вовсе.

Он вспомнил ехидные укоры кержацкой уставницы Степаниды, колючие злобные огоньки в бесцветных старушечьих глазах. Непререкаемость и ненависть... А он-то подумал тогда, что дошли до ее материнского сердца искренние слова насчет лиха военного предгрозья...

Выходит, они просто торговались. Наверно, весь тот вечер сидела кержацкая верхушка на Степанидином тесовом крылечке, судили-рядили, прикидывали да выгадывали. Теперь вон как повернули...

Да, но откуда они узнали о переселении? Ведь бумага из райисполкома лежит у него в сейфе, и он об этом еще никому не говорил. Знать, сообщили из города — у них, у кержаков, всюду есть свои люди, свои друзья-заступники.

— Про переселение тогда речи не было,— сказал Вахромеев и неожиданно подумал: «А не явились ли сюда Егорка с китайцем затем, чтобы уламывать его, чтобы упросить или заставить отменить переселение кержацкой артели? Может, их сама Степанида к нему отрядила с поручением? Ведь неспроста китаец ухо навострил — прислушивается к разговору, даже чих старается приглушить, не чихает, а прыскает по-кошачьему».— Переселение будет не потому, что мне так хочется, а потому, что по Кедровке пойдут сбросовые воды. И начинать это дело будем с осени.— Вахромеев настороженно прищурился, ожидая, что сейчас Егорка примется выкладывать, с чем явился, начнет уламывать от «имени обчества», а то и в торги ударится.

Однако Савушкин спокойно обчистил-общипал бороду от зеленых травяных ворсинок и сказал:

— Не кричи — ишь ты, командир зычный какой выискался! Я это и без тебя понимаю: на гнилом месте стоит падь. Лично на переселение согласен. А вот они,— Егорка ткнул пятерней куда-то за спину, в сторону села, — вот они, холщовые дромадеры, рухлядь чуланная, этого понять не желают. Я про наших стариков говорю. Они теперь, значица, чего умудрили? Жалобу на тебя писать самому вождю и учителю товарищу Сталину. Потому как ты есть злостный нарушитель советской Конституции и уничтожитель права свободного народа. Эй, Леонтий, скажи ему как было, а то он мне, кажись, не очень-то доверяет. Фома-неверующий.

Егорка скатал сразу несколько листьев и рассерженно сунул в бороду, в разинутый рот.

— Сыкажу, сыкажу! — Китаец торопливо упрятал за пазуху пузырек с нюхательным табаком, легкой рысцой перебежал дорогу, заглянул Вахромееву в лицо.— Шибко шанго Егорька говорила, шибко правильно. Твоя Колика шибко плохо будет. Скоро. Ай-ай-ай!

Китаец сложил ладони, горестно склонил голову, отчего косичка его торчаще вскинулась вверх, к небу.

— Ладно причитать, «ходя»! Говори толком.

— Линь Тяо не перечитай, Линь Тяо все знай. Твоя худо, моя шибко худо. Люди Савватей письмо пишут, охота «ходи» нету. Шкурки не сдавай — моя деньги нету, моя совсем помирай.

— Чего-чего! — не понял Вахромеев.

— А того, что соображать надо. Человек же все понятно говорит.— Егорка шлепнул по крутой шее, прибив комара.— Старики наши так порешили: послать жалобу, на охоту не ходить, пушнину не сдавать — покуда приказ на переселение не отменят. Забастовка, значица, понял?

— А жить на что будут?

— То уж не твоя забота,— усмехнулся Егорка.— Небось у наших хряков сусеки-то крепкие, без запасов не живут. А вот ты чего запоешь, интересно знать? Шум-то поднимается большой, да гляди, и тяпнут тебя по башке. Дескать, пошто забижаешь народ? Нынче не больно разбираются.

— Ай, ай! Шибко шанго человек! Шибко жалко председатель Колька. Линь Тяо жалко. Ай-ай!

— Да замолчь ты, не кудахтай! — рассердился Вахромеев.

У него даже под лопаткой заныло, закололо: надо же какую хитрую пакость задумали преподнести ему благообразные старцы! И ведь момент выбрали — когда идет всенародное обсуждение проекта Конституции. Тут дело пахнет большой политикой... Верно рассуждает Егорка: шуму не оберешься. А может, все-таки оба они специально подосланы теткой Степанидой, припугнуть его? Чтобы подумал, поразмышлял да сговорчивее сделался. Впрочем, у них есть и веские личные мотивы для того, чтобы сообщить ему все это. Китаец, например, всерьез боится потерять работу, остаться без солидного, надо полагать, «навара», который он ежедневно наскабливает со своих посреднических махинаций.

Ну а Егорка? Ведь не по доброте душевной впутался он в это небезопасное дело. Какая ему корысть? Может, рассчитывает лучшую делянку получить на зареченском взгорке, на переселенческой улице? Кто его знает.

В любом случае — не надо подавать вида. Они сказали, он услышал, ну и лады — разошлись в разные стороны, будто никакого разговора и не было.

Китаец, покачивая головой, все еще страдальчески хныкал, зато Егорка равнодушно чавкал, как бугай на пастбище, иногда хлопал комарье на бронзовых скулах.

— Ты бы хоть серу жевал,— сказал ему Вахромеев.— Листвяжную.

— Я ее зимой жую,— буркнул Егорка.— А летом — зелень. У меня, значица, десны болят. Старуха велит смородину жевать.

— Какая старуха?

— Да Волчиха, знахарка наша. У нее и про любовь травка имеется. Тебе еще не занадобилась? — Савушкин приподнял рыжую бровь, озорно стрельнул ореховым прилипчивым глазом.— Могу спросить.

— Но-но! — насупился Вахромеев.— Что мелешь-то, бормота непутевая?

— Да я к слову,— придурился Егорка.— Это ведь кому чево потребно.

Неужто пронюхал про Фроську! Вполне возможно. В этой Черемше, как в курятнике, не успеет курица снести яйцо, а накудахчут на готовый цыплячий выводок.

— Чего робить-то будешь? — с деланным интересом спросил Савушкин, поднимаясь с земли.

— Что-нибудь буду...— Вахромеев потянулся, втоптал каблуком окурок, краем глаза замечая вытянутое, настороженное лицо китайца: уж больно ему хотелось услышать какое такое решение примет председатель.— Подумаем, обмозгуем. Как говорится, оценим обстановку. А уж потом и дело сделаем. За разговор — спасибо.

— Ну гляди в оба, архистратиг! — Егорка ткнул кулаком в председателево плечо.— Пойду поищу своего Буланку, он тут за пихтовой гривой стреножен. А «ходя» еще чего-то хочет сказать. Я чужие секреты не люблю.

Вахромеев свистом позвал мерина и, пока тот неохотно плелся к дороге, выжидательно обернулся к китайцу.

— Валяй, «ходя». Я слушаю.

Он был почти уверен, что именно сейчас услышит те самые условия, ради которых и состоялась неофициальная встреча на таежной тропе: мы — тебе, а ты — нам. Услышит то, о чем постеснялся или не осмелился сказать трусоватый увалень Савушкин.

Однако, к большому удивлению, он ошибся и на этот раз, потому что китаец, оглянувшись по сторонам, полушепотом сказал:

— Моя только тебе говори. Тсс! На плотине еси шибко плохие люди. Плотине делай чик-чик! Какие люди — моя не знай. Твоя сама види.

— Откуда тебе известно? — насторожился Вахромеев.

— Тайга ветер носил — моя уха попадал,— хихикнул китаец и предупреждающе погрозил пальцем: — Моя тебе нисево не говорил. Моя тебя не видал. Нету.

С неожиданной юркостью китаец шмыгнул в придорожный карагайник, мелькнула его синяя куртка, и он пропал в тайге.

В тот же вечер Вахромеев пришел домой к Денисову. Парторг еще болел, но дело шло на поправку. Он уже вставал, ходил по комнате — уколы, которые ему ежедневно делала фельдшерица, видимо, помогли.

Они вышли на крылечко, сели рядом на теплую, чисто скобленную ступеньку. Вахромеев обстоятельно рассказал о новостях, начиная с «лошадных дел» на стройке и кончая недавней встречей в тайге с Егоркой и китайцем Леонтием.

Денисов слушал молча, попыхивая папиросой. Потом усмехнулся:

— Самое главное — не это, не угрозы кержаков... Они тебе и раньше грозили. Их сама жизнь подхлестывает, к тому же со вчерашнего дня агитбригада Слетко на Кержацкую падь нацелена. А он парень пробивной, сумеет доказать им, где черное, где белое. Да и комсомольцы подключились. Меня другое беспокоит... Ты слыхал, Шилов-то нового начальника ВОХРа назначил?

— Слыхал...

— Как ты думаешь почему?

— Ну чтобы охрану укрепить: это и следователь рекомендовал. Поставил своего человека. Понадежнее.

— Вот, вот! И еще одного «надежного» человека взял в охрану — Гошку Полторанина. Как ты думаешь, зачем все это?

— Черт его знает... Кадровые дела — это по твоей части.

— А ты советская власть. Можно сказать, государственное око. Так что тоже зри и не хлопай ушами. Размышляй и за себя и за других. Надо вот что сделать: провентилировать Гошку Полторанина. Найди-ка его, и пусть он как-нибудь на днях зайдет ко мне. Разговор к нему есть.

— Ладно, сделаю.

— А насчет Кержацкой пади действуй посмелее. Пусть они тебя боятся, а не ты их. Сходи туда еще раз, поговори со стариками. А переселение начинай, хватит тянуть.—По поводу предупреждения китайца Денисов сказал коротко: — Мало вероятно, но примем к сведению.

21

Изболелась душа у Фроськи. Вроде бы сыта, обута, при хорошем деле и при деньгах, товарки веселые окружают — живи себе, радуйся. Ан нет... Нет покоя ни уму ни сердцу.

Сны снятся тягостные, не то чтобы страшные, а тоской повитые: с расставаниями, прощаниями да с конями разномастными, которые все скачут куда-то, скалят желтые зубы, будто ржут, а ржания того вовсе не слышно...

И себя Фроська чуть не каждую ночь видела: виноватую, с поредевшей косой, босую, с пустой холщовой торбой на плече — будто все собиралась опять отправиться на побирушки, как в памятном голодном году.

Она ежедневно жила какой-то странной вселенской болью, слишком настоянной на радости, чтобы чувствовать ее физически. Ей теперь до слез было жалко многое из того, мимо чего она недавно проходила равнодушно: раздавленного на дороге жука, хромого пса бездомного, подслеповатую встречную старуху, и вообще, временами ей почему-то становилось жаль всякого, кто не улыбался, а был просто серьезен. По утрам, слушая в общежитии радио, она утирала глаза, искренне печалясь за участь детей и женщин далекой Испании, гибнущих под бомбами, страдала оттого, что беда настигает людей в городах с такими красивыми названиями, напоминающими диковинные цветы...

Она стала очень уж восприимчивой, чувствительной, оттого что душа ее распахнулась в ожидании счастья и осталась распахнутой, хотя счастье-то не состоялось. Не промелькнуло, его просто не могло быть — теперь Фроська хорошо понимала это.

Нет, она не ругала и не жалела себя, потому что, в конце концов, ничего не потеряла, даже, может быть, наоборот — приобрела: само ожидание счастья сделало ее другой.

Жена Вахромеева, учительница Клавдия Ивановна, стояла у нее на пути-дороге. И стояла так, что вроде глухого тесового забора: ни обойти ни объехать и уж подавно не перепрыгнуть. Добро бы женщина была видная, стоящая из себя, а то ведь замухрышка: костлявая, длинноносая, в очках — ну чистый филин! Да к тому же разноглазая, один глаз карий, а другой явно в синеву отдает. Фроська как увидала ее однажды в школе, так и ахнула, внутренне перекрестилась: мать пресвятая богородица, да за что же наказание такое ясноглазому Коленьке!

Вроде оборвалось что-то у Фроськи, пропала всякая охота к соперничеству: кто ж убогую станет обижать? Если уж соперничать, отбивать залетку, так на равных, по-честному...

Впрочем, Фроська все это для себя придумывала, чтобы голос внутренний приглушить о грехе вопиющем. А на самом-то деле и грусть-тоска ее была светлой, невзаправдашней, беспечальной. Втайне, в глубине души она все равно жила ожиданием счастья, помаленьку привыкала к греховной истине о том, что жизнь нередко выдает его замешанным, как хлеб на опаре, на чужих люд-

ских страданиях. А уж твое дело — примешь ты его или откажешься.

Одна беда: одолевали ухажеры — те два оболтуса с бетономешалки. Ванька-белый и Ванька-черный. Со стройки до самого барака провожали, вечером с ликбеза сторожили у школьного крыльца, а уж по воскресеньям вовсе нельзя было отвязаться: с утра сидели под окнами общежития, бренчали на завалинке балалайками. Маята с ними: Фроська в магазин — они следом, в столовку — тоже тянутся. Хоть бы уж ходили рядом, как все нормальные парни ходят, а то гусаками шкандыбают сзади, на пятки наступают, обормоты. Девки ехидную присказку пустили: «Фроськина «собачья свадьба» шествует!»

В самом конце июля взбудоражилась Черемша — в клубе начали крутить звуковое кино. Судачили теперь об этом в каждом дворе, а которые побывали в клубе, ошарашенно разводили руками, охали, крестились: ну как есть живые люди вылазят на полотно! Говорят-то чисто — шепот и то услышишь! Песни поют, плачут, ругаются (иные сказывали — матюками!) — и все это в натуральном виде, только шибко громко: в ушах потом звон держится.

Одной бы Фроське в кино не пробиться — столпотворение у кассы. Ухажеры-Ваньки привели ее в клуб, плотно стиснули с боков на третьей скамейке у самой стены. Сначала, как пошло мелькать на полотне, Фроська не очень-то разбиралась, обалдело таращила глаза в духотище и грохоте, к тому же ухажеры ерзали, совали ей в потные руки то леденцы, то жареные семечки.

Потом чужая неведомая жизнь, пугающая открытостью и откровенностью, захватила ее в свой пестрый водоворот! Тоскливая музыка, казалось, временами вовсе захлестывала, топила с головой, и тогда Фроська, расталкивая плечами жаркие тела ухажеров, хватала ртом воздух, дышала судорожно, часто, как пескарь, брошенный на траву.

Фильм был бесстыжий — про молодую красивую бабенку, которая металась между мужем и любовником и все уповала, сердечная, на свою собственную совесть. Она все старалась делать честно, но получалось глупо, обидно делалось за нее и хотелось крикнуть, подсказать этой дурехе: что, мол, ты, непутевая, творишь, к кому и зачем лезешь со своими откровенностями?

И уж вовсе зря кинулась эта Катерина, забубенная

головушка, в омут топиться: ни врагам отместки не дала, ни дела своего как следует не сделала... Так в печали и оставила весь киношный зал: бабы и девки дружно ревели под музыку...

Недовольная, злая выбралась Фроська на крыльцо в разгоряченной потной толпе. «Ровно из преисподней повылазили, из смоляных адовых котлов, прости господи!» Пока шли вечерней улицей, с ухажерами своими не разговаривала. Опостылели они ей враз: сидели, сопели попоросячьи да хихикали в самых переживательных местах.

Она впервые, пожалуй, задумалась о горемычной бабьей доле, беззащитной и уязвимой от всяких мелких мирских соблазнов. Им, кобелям, что: ходят, бренчат на балалайках, семечки плюют да хахакают. Под удобный куст подлавливают. А ты потом совестью мучайся, высчитывай да рассчитывай.

За мостом, у дорожного развилка, когда подошли уже к бараку, Фроська сказала им, чтобы отваливали по домам — неохота ей на гулянку. Упрашивать принялись, а Ванька-черный, удерживая, попытался облапить. «Ишь ты, резвый какой: купил билет за двадцать копеек и думает теперь обниматься позволено!» Фроська тут же с отмашки врезала ему по шее, да так, что он зайцем отпрыгнул на обочину. А второй, Ванька-белый, испуганно отскочив, раскорячил ноги — пружинисто, трусливо.

Именно в этот момент у Фроськи мелькнула давняя догадка: а не эти ли хлюсты встретили ее тогда ночью на тропе, на хребтине над Кержацкой падью? Уж больно похожими показались запомнившиеся зловещие силуэты (один — вот так же враскорячку стоял).

Она отошла на несколько шагов и обернулась, снова припоминая, примерилась: а ведь очень похоже. А может, все это время они с умыслом вокруг нее хороводили, подгадывали подходящий случай?

В общежитии было пусто: кто ж будет сидеть в воскресный вечер? В коридоре Фроську перехватила комендантша Ипатьевна, поманила из дверей своей каморки: «Зайди-ка, моя хорошая!»

Старуха выглядела принаряженно: темное штапельное платье, платочек фиолетовый с гороховой каемкой — никак недавние магазинные обновки?

— Госпожинки — августовский пост скоро, моя хорошая,— сказала Ипатьевна.— К спасу великому надо готовиться. Али забыла?

— Знаю,— сухо кивнула Фроська,— не забыла.

— А коли не забыла, так веру блюсти надобно. Писано есть: «Что воздам господеви о всех, яже воздаст нам».

— Воистину так, тетушка.

— Вот и собирайся: пойдем воздадим хвалу всевышнему, глас божий услышим, молитвами обратясь. Чего стоишь-то? Иди платье надень.

— А куда пойдем?

— Закудыкала,— недовольно фыркнула Ипатьевна.— В моленную пойдем к вечерне. К единоверцам-братьям и сестрам твоим, от коих отбилась ты, ровно овца заблудшая. Грехи отмаливать.

Фроська вдруг подумала, что старуха говорит истинную правду и что вся ее теперешняя сумятица и неустроенность идут от того, что она, наверно, сбилась с дороги, а самое главное — не видит цели своего пути. Нерешительно осмотрела себя, приподняла пальцами на груди прилипшую спортивную майку, модную, со шнурочком у ворота. А не с этой ли нескромной одежды начинается постоянное чувство неловкости, которое с утра до вечера преследует и гложет ее?

Может, и в самом деле переодеться и пойти в моленную? Ведь отказавшись от прежней жизни, получив сытость и развлечения, она утратила несравненно важное — душевный покой...

Фроська шагнула к порогу, однако снова остановилась в задумчивости: вспомнила испитые старушечьи лица, выцветшие глаза, в которых не виделось ничего живого, кроме неистребимой змеиной злости. Нет, она не хотела к этому возвращаться...

Ипатьевна поспешно кинулась к Фроське, дважды перекрестила, жарко задышала в лицо:

— Свят, свят! Изыди диавол, исчезни окаянный! Гони, гони его из себя, моя хорошая! Мучит он тебя, корежит, сила нечистая. Я ведь вижу, давно вижу, как ты маешься, по ночам вскакиваешь да в подушку слезы льешь. Ступай переодевайся, сомнения всякие отбрось. Благое дело — возвращение на путь святоотеческий. Христос с тобой, моя хорошая!

Потом Фроська чувствовала себя словно в забытье, в каком-то странном полусне, когда стояла в ожидании на крыльце (Ипатьевна бегала в «женатую» половину договариваться, чтоб подежурили за нее) и когда шли по

темной улице и она держалась за твердую старушечью руку. На душе теплым шаром улеглось спокойное, ясное ожидание, как когда-то несколько лет назад в первые монастырские дни, полные добрых улыбок, ласковых, почти материнских прикосновений.

В моленной стояла дымная духота, остро пахло мокрыми рубахами, и в первое мгновение, ступив за порог в горячий, тесный полумрак, Фроська вдруг вспомнила сельский клуб и подумала, что и здесь ее ожидает лицедейство, только не на сморщенном полотне, а в живых лицах, со свечами и свежерезаными березовыми вениками, взаправдашними словами и песнями. И если там она наблюдала за всем со стороны, то тут участвовала сама, вроде артистки, которой поручена маленькая, плохонькая роль.

Пели стройно, мелодично и негромко, как поют только в моленной, не стараясь выделиться и перекричать других, а тщательно вслушиваясь, подлаживая свой голос в общее звучание. Вдыхали все разом, и от этого плавно кренились, удлинялись огненные языки толстых восковых свечей.

Пели старинную кержацкую «Похвалу пустыни», которую Фроська давно знала наизусть и десятки раз пела в Авдотьином ските. Только черемшанцы исполняли ее на свой лад, на мотив, напоминавший расхожую мирскую песню, в которой были такие слова: «Ты моряк, красивый сам собою».

Глубоко вдохнув, Фроська подключилась сильным грудным голосом:

Прими мя в свою пустыню,
Яко мати свое чадо.

Стоявшая рядом Ипатьевна поощрительно тронула за локоть: «Складно поешь, моя хорошая!» Фроське нравилось хоровое звучание: не то что монастырское казенно-церковное трехголосие. Здесь песня лилась широко, со многими оттенками и подголосками, то самое черемшанское, далеко известное «демественное пение», которое хранилось, соблюдалось тут исстари в качестве достопримечательности, как и многие другие своеобразия из обрядов, молений и служб.

«У них все по-другому»,— дивилась Фроська, внимательно слушая службу. Не по Минее цветной и не по

Минее общей, даже не совсем «по-домашнему», то есть не строго по псалтырю. В ските, бывало, как заведет мать-игуменья, так и тараторит — бубнит без передыху, а слова-то, как щепки из-под топора летят: ни тепла в них, ни смысла живого.

Здесь вон уставница Степанида вроде артистки выступает. И глаза закатит, и жалость на голос накинет, а то вдруг насупится, взбодрит голову да и бросит слова, от которых мураши меж лопатками забегают.

Уставница читала «Хождение богородицы по мукам». Святая благодатная мать скорбно вопрошала архистратига Михаила о всех мучающихся в аду грешниках, о мужчинах и женщинах, совращенных безверием, клятвоотступниках и клеветниках, сводниках и лихоимцах, отравителях, предателях и убийцах. Все они горели в геенне огненной, корчились в расплавленных реках смоляных, извивались на железных крючьях, будучи подвешенными за языки и за иные места.

Трепетно-тревожно бились на стенах рваные тени, пласты ароматного дыма слоились над покорно склоненными головами, и Фроське казалось, что тяжкие слова, повествующие о страшных муках, витают под потолком, плотнеют, наслаиваются в духоте, как этот свечной дым, и давят, наваливаются на плечи людей, все сильнее и неотвратимее прижимая их к земле, к скобленому листвяжному полу. Потому что слова эти были укором для всех присутствующих здесь, и еще для многих и многих людей за бревенчатыми стенами моленной. Они все без исключения были греховны, и все старались утаить свои грехи, обманывая себя и бога — именно поэтому они не могли слушать «Хождение богородицы» с поднятой головой.

Фроська вспомнила, как скитские черницы, проповедуя одно, в жизни делали совсем другое. Взывая к доброте, разглагольствуя о любви к ближнему, они по-осиному жалили друг друга, делали пакости и гадости на каждом шагу.

А может быть, она ошибается и черемшанская община совсем непохожа на Авдотьину пустынь, может, тут и вправду царит «благостный дух любвеобильный»?

Поднявшись после очередного поклона, Фроська вздрогнула, почувствовав на себе многие пристальные взгляды. Это были явно осуждающие, даже презрительные взгляды — или она что-то сделала не так?

У нее подкосились ноги, когда она услыхала голос уставницы Степаниды и поняла, в чем дело...

«И виде другие жены во огни лежаща, и различные змия ядаху их, и рече святая: «Что согрешение их?» И отвеща Михаил: «То суть монастыря черницы, яже телеса своя продаша на блуд, да того ради здесь мучатся...»

Моленная закачалась в глазах, куда-то вбок поплыло бледно-меловое лицо уставницы, а вокруг Фроськи сразу же образовалась пустота, люди, косясь, отшатнулись от нее, как от тронутой дурной болезнью. «Стерва кулацкая...» — шепотом выдохнула Фроська и дернулась, шагнула назад к порогу, но тут же почувствовала на плече цепкую руку Ипатьевны, справа за поясок платья ухватилась чья-то другая рука. «Влипла, дура...» — сказала себе Фроська, обмякла, стыдно опустила голову.

Последующее она помнила смутно, взгляд застилала пелена сдерживаемой ярости, в ушах молоточками стучала кипевшая кровь. Кое-как пришла в себя, успокоилась уже к концу моленья, когда начались «мирские дела» — у печки на дощатом помосте замаячила лысина Савватея Клинычева.

Староста потрясал какой-то бумагой, потом громко читал, и Фроська поняла, что это кержацкое послание в Москву, жалоба на нестерпимые житейские мучения кержаков, притеснения от рабочего люда и местного начальства. Письмо было недлинное, но витиеватое, напыщенно-укоряющее, чем-то похожее по складу на недавно читанные «Хождения богородицы по мукам». Фроська слушала и не удивлялась, презрительно щурилась: она давно знала, что эти благообразные с виду люди, способны не только лицемерно слушать, но и не менее лживо писать.

Под бумагой собирали подписи, крестики, а то и просто пятна от пальцев, замаранных о надегтяренные сапоги. Когда жалобу передали в угол, а оттуда к порогу, в руки Фроське,— у запечной стены сомлела от духоты какая-то старуха и выронила свечу, от которой в один миг зашелся пламенем сухой березняк на стене.

В моленной началась давка — все кинулись к двери. Оттолкнув Ипатьевну, Фроська первой выскочила на крыльцо, сунула бумагу за пазуху и побежала темной улицей в сторону Черемши.

Прибрежной тропой, не останавливаясь, она пробежала мимо рабочего общежития, потом миновала мельницу

и остановилась только перед мостом, перевела дыхание, огляделась: куда же она бежит? Впрочем, она хорошо знала куда — в сельсовет, к Вахромееву. Ну а если его там не окажется, тогда к нему домой: дело-то важное, придется побеспокоить его носатую Клавдию Ивановну.

На мосту, на традиционном «чалдонтопе», где, как обычно, по вечерам прохаживались молодежные пары, Фроська пошла неторопливым шагом, заносчиво вздернув голову, чувствуя затылком тяжелую косу. А свернув за угол, снова побежала, радостно приметив огонек в сельсоветских окнах.

Озадаченно замешкалась у калитки: в окно хорошо было видно, что вахромеевская комната пуста. Свет горит, дверь на крыльцо раскрыта, а его самого нигде нет. Странно, не под стол же он залез?..

Но тут она услыхала сбоку, у сарая, знакомый голос: Вахромеев добродушно бурчал, поругивая своего мерина (видно, засыпал овса на ночь). И так сладко, так тревожно-боязно делалось на душе у Фроськи, пока она на цыпочках, прикусив язык, подкрадывалась к полуоткрытому сараю.

Тихонько гукнула филином, потом уже у порога — еще раз.

— Кто тут бродит? — Вахромеев шагнул во двор и отпрянул испуганно: Фроська с размаху повисла у него на шее, впилась губами в щеку, в нос и только потом нашла его губы. Счастливо и удивленно отстранилась:

— Почему не бреешься? Колется.

— Усы завожу...

— Зачем?!

— Для солидности. И еще — чтобы тебя щекотать.

— Меня?

— А кого же еще? Щекочут тех, кого любят.

Ей было не просто приятно услышать это — она блаженно поежилась, засмеялась тихонько. Он помнит и думает о ней — вот что самое существенное.

Она потянула его в сторону от двери, в темный угол сарая, оттуда пряно несло копной свежего лугового сена. Оба упали, едва почувствовав под ногами мягкий сухой шелест...

Уже потом, в ярко освещенной канцелярии, они стыдливо щурились, разглядывая друг друга, а Вахромеев досадливо и долго поправлял свой командирский ремень — портупея съехала, захлестнулась на плече.

Фроська наполнила стакан из щербатого графина, но напиться никак не могла — попала в рот смешинка. Прямо-таки заливалась от смеха, вспомнила, как он испугался, отдернул руку, обнаружив у нее на груди хрустящую твердую бумагу.

— Ну будет тебе, Ефросинья! — смущенно кашлянул Вахромеев.— Давай сюда эту крамолу.

— А сам взять боишься?

— Да в окно видно с улицы. Народ ходит.

— Эх, Коленька! — вздохнула Фроська.— Беда мне с тобой... За любовь бояться не надо, понял, залетка? Ладно уж бери свою бумагу. Про тебя писана.

Пока он читал, возмущенно хмыкая, Фроська приводила в порядок растрепанную косу, заплетала ленточкой и все поглядывала на Вахромеева, чему-то посмеиваясь.

— Коля, а усы-то какие будут?

— Чего? — Вахромеев оторвался от письма. Рассерженное лицо пятнами — видно, зацепили его кержаки под самое девятое ребро.

— Усы, говорю, куда будут? Кверху или книзу?

— А ну тебя! — отмахнулся он.— Тут, понимаешь, грязные помои льют на меня, а ты с усами заладила. Понимать момент надо.

— Подумаешь, «момент»! — передразнила Фроська.— Порви да в нужник выброси эту бумагу. Они тут на вранье спокон века живут.

— Нельзя ни рвать, ни выбрасывать. Потому как политическая бумага — разъяснительная работа требуется. Надо соображать.

Она подумала, что сегодняшняя ночь, когда окончательно переступлен порог, должна принадлежать им обоим по полному праву. Они могут до свету провести ее в том же сарае, а еще лучше — в тайге, на прохладном пихтовом лапнике. И что он нынче не пойдет ни к какой такой жене, а останется с ней — стоит только ей захотеть. Вот сейчас предложить — и пойдет в тайгу, как миленький...

Однако вместо этого она насмешливо сказала:

— Ну что ж, соображай, Коленька! Думай. — Она подошла к нему сзади, обняла и поцеловала. Потом с удовольствием потянулась: — Эх-ма... Мне теперича все понятно стало: любить не грех, Коленька... Одно это — истина, остальное — враки, суета сует. Пойду-ка я спать,

миленок мой ненаглядный. Да во сне тебя досмотрю, да с тобой договорю.

Вахромеев бросился было провожать, но она спокойно усадила его на место:

— Оставайся здесь, не надо, чтобы нас видели. И бумага пущай остается. А еще вот что: ты уж, пожалуйста, поберегись. Кержаки, они народ угорелый, бесшабашный, на своей дороге никого не потерпят. Я-то их не боюсь, а ты — подумай, пораскинь умом, как лучше с ними сладить. Только учти: слабину перед ними не показывай, сразу сожрут. Ну прощай.

Фроська вышла, спустилась с крыльца и, когда проходила мимо освещенного окна, ухмыльнулась, покрутила пальцем над губой, дескать, валяй заводи усы, только чтоб кверху закручивались! Колечками.

Вахромеев помахал ей и подумал, что Ефросинья в общем-то озорная, отчаянная девка и что он наверняка еще хлебнет с ней неприятностей. Ему показалось странным, что он думает об этом с радостью.

...А Фроську на барачном крыльце поджидала комендантша Ипатьевна. Сидела на верхней ступеньке и гладила на коленях любимого дымчатого кота.

— Ну что, потушили огонь-то в моленной? — спросила Фроська.

— Ефросинья, отдай бумагу! — вместо ответа с тихой угрозой сказала Ипатьевна.

— Еще чего! — Фроська занесла ногу на ступеньку, подбоченилась, как когда-то делала Оксана Третьяк.— Да я в глаза не видела вашу бумагу.

— Врешь! Отдай лучше с миром, по-честному.

— По-честному? — насмешливо переспросила Фроська и вдруг вспомнила стыд, унижение, бессильную ярость, испытанные в кержацкой моленной.— Это с вами, подлецами, да по-честному? Вы же совсем заврались, дерьмом обросли, как хорьки воняете. Теперь это дерьмо в рабочий народ кидать начали? Я вот завтра всей бригаде расскажу про вашу пакостную бумагу.

— Сучка антихристова! — прошипела Ипатьевна и гневно швырнула кота под ноги Фроське.

— А ты крыса старая. Христопродавка.

Фроська хотела хорошенько пнуть кота, но передумала: чем он-то виноват?

22

Ночью прошла гроза, промыла-прополоскала тайгу, и в утреннем солнце Черемша густо дымилась, стояла вся в пару, поблескивая мокрыми крышами. Гошка шел улицей, зорко и весело озираясь по сторонам из-под лакированного козырька форменной фуражки; минуя лужи заглядывал в них, не слишком ли выбился чубчик?

Новыми, умытыми казались деревянные избы с пятнистыми от дождя стенами, да и Гошка чувствовал себя празднично-обновленным в жестковатой хлопчатобумажной гимнастерке, в тугом ремне, который поскрипывал при каждом вздохе.

Напротив сельповского крыльца, где гомонила пестрая бабья очередь, Гошка остановился и, бросив за спину руки, с минуту покрасовался, подрыгал начищенным голенищем. Приподнял фуражку: «Привет женскому полу!» — и пошел дальше.

Притихшая было очередь, загорланила ему вслед, а какая-то молодуха кинула картошкой, однако Гошка не оглянулся, хотя и немного забрызгало сапоги: с бабьем только свяжись...

У дверей пожарного депо сидел на чурбане Спиридон, грелся на солнышке и читал газету, водя по ней пальцем. Гошка вспомнил давнюю ссору с бывшим шорником, но решил быть великодушным — сегодня ему это позволялось. Даже положено было.

Дед сперва увидел сапоги и, оторвавшись от газеты, стал поднимать голову: от изумления очки его сползли на самый конец носа. Нажав кнопку на горле, он просипел:

— Эка вырядился, варпак! Аль в милиционеры пошел?

— В охранники,— снисходительно поправил Гошка.— Конный военизированный дозор. В форме не разбираешься, дед.

Спиридон с ухмылкой постучал кулаком по лбу, потом показал на Гошкину гимнастерку и еще на землю — на большую лужу прямо посередине улицы. Сердито зашелестел газетой.

Гошку позабавила эта жестикуляция. Размахался, старый, руками, ровно пугало огородное на ветру.

— Ты на что намекаешь?

Спиридон плюнул, воткнул свою говорящую машинку.

— Не в коня корм, говорю. Понял? Вечером напьешься да в грязи, как свинья, вывозишься. Вот и вся твоя форма.

Гошка только расхохотался в ответ. Ну народ, от зависти прямо трескаются по швам! С приятным удивлением он подумал, что казенная форма, очевидно, не только украшает его и возвышает над остальными людьми. Она еще служит диковинной броней, от которой отскакивают оскорбления, чужая недоброжелательность.

— Ладно, старик. Сиди и сопи в свою дырку,— махнул рукой Гошка и отправился дальше.

А дальше запланирован был клуб. Конечно, с утра там показаться некому, разве что пацанва соберется на утренний сеанс. Да и не в этом состояла цель: у Гошки имелся разговор к Степке-киномеханику, черемшанскому комсоргу.

У клуба, у длинной афишной доски, Гошка остановился, стал разглядывать плакаты, разные карикатуры на капиталистов, фотографии под стеклом. Правда, поблизости никого не было, зато напротив, чуть наискосок через улицу, стоял дом с тюлевыми занавесками на окнах — там жила учительница Варвара Васильевна, которая когда-то называла его несносным и не однажды выставляла за дверь класса. А вдруг она глядит сейчас в окошко? Пускай полюбуется. Только надо стать вполоборота, чтобы лицо было видно. А то со спины не узнает.

Чудные были картинки на доске, занимательные. Особенно про наших летчиков. Это надо же: целых двое суток держались в воздухе, на самый край земли махнули! Настоящие герои! Не зря им и премии небывалые выдали.

Клубные двери распахнулись, и на крыльцо высыпали девчонки-старшеклассницы — целый выводок и все под медсестер наряжены: в косынках с крестиками и с повязками на руках. Были у них еще брезентовые сумки, тоже с красными крестиками (не у всех, правда), и трое санитарных носилок — зеленых, с крашеными палками. Девчонки загалдели, кинулись врассыпную по улице, а четверо набросились, как очумелые, на Гошку, пытаясь его свалить с ног на подставленные носилки.

— Ну-ка полегче, шмакодявки! — заорал Гошка.— Вы чего ко мне пристали?

— Вы раненый, пострадавший,— запищала спаса-

тельница, и Гошка узнал одну из сопливых Грунькиных сестер.

— Отстань говорю, Дунька! Я нахожусь при исполнении.

— Девочки! — крикнула с крыльца женщина, очевидно врачиха.— Не трогайте товарища. Военные эвакуации не подлежат, я же говорила.

— Ну вот, дурехи, слыхали приказ? — Гошка наконец-то отцепил Дунькину руку, оправил гимнастерку.— Вы лучше вон туда бегите, к пожарному депо. Там сидит старик — его в самом деле спасать надо.

«Санитарки» мигом свернули носилки и рысью помчались к пожарному депо. Гошка крикнул вдогонку:

— Клизму ему поставьте. А то он животом мучается.

Завернув за угол, Гошка постучал в обитую жестью дверь, где была резиденция киномеханика. Открыл ему конопатый парнишка, из тех липучих юнцов, что вечно вертятся у клуба, перематывают ленты, развешивают афиши, а то и торчат в дверях вместо контролеров.

— Где Степка?

— Вы спрашиваете про Степана Игнатьевича? — прищурился конопатый, жадно разглядывая Гошкины зеленые петлицы.— Они в Заречье. Будут трассировать улицу.

— Чего? — скривился Гошка (ну и сопляки заумные пошли: словечками-то какими кидаются!).

— Ну значит, размечать новую улицу. В порядке комсомольского шефства. А вы, товарищ, из Осоавиахима прибыли?

— Из роддома прибежал,— хмыкнул Гошка и с треском захлопнул дверь перед носом уж больно любопытного клубного активиста.

Впрочем, спускаясь с крылечка, он посмеялся: а ведь парень-то не узнал его! Помнится, этот конопатый громче всех орал, когда однажды Гошка через окно переправлял в клуб корешей из своей «стаи». Да, времена меняются и форма, как ни говори, вроде совсем нового обличья.

Надо было идти в Заречье. А между тем становилось жарко и все сильнее трещала голова после вчерашней выпивки (они с Корытиным парились в бане, а потом «хлопнули килограмм» — по бутылке самогону на нос). Может, зайти в рабочую столовую да пивом опохмелиться? Неудобно в форме. К тому же вечером предстоит засту-

пать на дежурство, на сторожевой пост, и запах нежелателен. Корытин так и сказал: «Будет вонять — получишь в морду и вертайся домой».

Переходя по кладкам через Шульбу, Гошка увидел на зареченском взгорке группу ребят и среди них — Степку. Его нельзя было не заметить: черная птичья голова киномеханика возвышалась над остальными, вертелась, как на шарнире, поблескивали-вспыхивали на солнце очки.

Гошка остановился у большого фанерного щита, только что вкопанного на середине будущей улицы. Масляными красками на щите нарисованы были красивые желтые домики с голубыми ставнями, окруженные аккуратным розовым штакетником. В углу от красного солнца на всю улицу растекались стрелы-лучи, в то же время на уличных столбах горели столь же красные, как и солнце, электрические фонари в ореоле ярких лучей. Это было совершенно непонятно.

Подошедшему Степке Гошка указал на вопиющее несоответствие.

— Неважно,— сказал Степан.— Это не пейзаж, а план-проект. Реклама для будущих жителей, для кержаков. Она должна быть как можно привлекательней. Отражать перспективу новой улицы, ее прекрасное будущее.

Киномеханик был голым до пояса и выглядел довольно хило, если не сказать хуже. Все кости на виду, а уж ребра пересчитать можно, как на школьном макете, что стоит в углу биологического кабинета. Гошка усмехнулся, вспомнив, что Степка собирался его учить иноземному боксу. Такой учитель ненароком и рассыпаться может.

— Ну что, Полторанин, ты, говорят, в ВОХР назначен? — спросил Степка, разглядывая темно-серую форму.

— Назначен,— кивнул Гошка,— по линии государственной службы.

— Это хорошо.— Степан попробовал на ощупь суконную петлицу, погладил пальцем.— Форма тебе идет. А сюда зачем пришел?

— К тебе потолковать пришел.— Гошка чего-то замешкался, чувствуя липнувшую к спине гимнастерку: ну и жарит сегодня солнце! — Значит, дело такое, что я теперь при исполнении долга... При народном достоянии приставлен, чтобы бдительно охранять... Чтобы, значит...

— Говори, говори! — подтолкнул Степан запнувшегося охранника, яростно двигая лопатками от досаждавшей мошкары. При этом суставы у него захрустели, защелкали так, как будто шелушили пережаренную в костре кедровую шишку.

— В общем, должность у меня ответственная,— наконец решился Гошка.— Мне, поди, в комсомол надо поступать. Ты, комсорг, как думаешь?

— А сам как думаешь?

— Думаю: надо. Я ж все-таки теперича на виду... И опять же — заслуги некоторые есть. Вот, пожалуйста, именными часами наградили за спасение коней.

Гошка вынул часы из брючного кармана, подержал, чтоб поблестели на солнце, и протянул комсоргу. Тот приложил их к уху, удовлетворенно кивнул: хорошо идут — постукивают.

— Понятно...— серьезно задумался Степка.— Значит, Полторанин, желаешь вступить в комсомол... А как у тебя с диктатурой пролетариата?

— Нормально. Признаю и поддерживаю.

— А помнишь, что ты говорил на Заимке?

— Я осознал и уже перековался. Газеты читаю и радио слушаю. Про испанские события интересуюсь.

Степан наморщил лоб, закусил губы, будто в тяжком раздумье. Потом схлестнул ладони, приложил их к груди и стал крупно вышагивать вдоль красивого щита — туда и обратно. При каждом шаге давил ладони и гулко хрустел пальцами, рассуждая вслух:

— Допустим, со стороны образования у тебя плюс... Со стороны соцпроисхождения тоже плюс: бедняцко-крестьянское. Должность твоя позволяет, даже требует. Но вот твой морально-политический облик... Эх! — Степан с силой сдавил пальцы, и они хрустнули, как деревянная клетушка-мышеловка, на которую случайно сели.— Внушаешь ты мне подозрения в этом, Полторанин! Сильные подозрения!

— Да я вроде ничего...— смутился Гошка.— Раньше верно бывало... По молодости, по глупости...

Комсорг еще немного побегал, потрещал пальцами и вдруг резко замер, словно наткнулся на невидимый барьер. Отчаянно рубанул рукой.

— Ладно, Полторанин! Раздевайся!

Гошка вытаращил глаза:

— Ка... как раздевайся?

— До пояса раздевайся, скидывай гимнастерку. Включаю тебя в бригаду «Комсомольский аврал». В качестве первого общественного поручения.

— А зачем?

— Будешь работать с ребятами, делать разметку. Для каждого дома, двора, для каждого огорода.

Гошка удивленно отступил на шаг, снял фуражку и вытер мокрый лоб: это еще что за новости? Какой такой аврал?

— А я, между прочим, на службе,— сказал Гошка.— Мне в двадцать ноль-ноль заступать в наряд. Днем по инструкции положено отдыхать, выспаться перед ночной вахтой.

— Ты что, отказываешься?

— Не отказываюсь, а не имею возможности. Этим твоим архаровцам делать нечего — они же школьники, на каникулах находятся, вот и пускай вкалывают. А я на службе.

«Да и вообще,— подумал Гошка,— чего это ради стану я, служивый, уважаемый человек, отмеченный наградой, копаться в земле вместе с сопливыми желторотиками? На виду у всей Черемши, да к тому же задаром, за здорово живешь. Видали, нашли дурачка...»

— Вот делают воскресники, так я, может, и подумаю,— сказал Гошка.

— Ты лучше сейчас подумай.

— Нет,— отрезал Гошка.— Сейчас думать не желаю. Больно жарко, голова трещит. («Пойти опохмелиться, что ли?»)

— Ну и валяй отсюда. Не о чем нам говорить! — рассердился Степан.

«Вот так, язви тебя в душу! — без сожаления, даже с иронией подумал Гошка.— Всюду баш на баш, иначе не договоришься. В первую очередь — от тебя требуют, а за так — не найдется простак. Что же такое получается? А ежели ты душу распахнул навстречу революционной жизни, ежели всерьез задумал перековаться?»

Гошка грустно посмотрел на часы, поболтал ими на ремешке: без пяти двенадцать. Надо, пожалуй, пойти в столовку, она сейчас уже открывается. Выпить кружку пива, а уж тогда поразмыслять насчет житья-бытья. Да и народу наконец показаться, а то за полдня никого путевого, кроме нескольких молокососов, не встретил во всей Черемше.

И отчего это люди с пристрастием друг к другу относятся, почему норовят обязательно наступить на мозоль? А ведь пишется везде «братья по классу». Крупными буквами. Эх-ма... Елки-палки, щи с малиной...

Возле столовой, кроме бродячей собаки, лежащей на мураве сбоку крыльца, еще никого не было, однако у пивного ларька, с теневой стороны, слышались голоса. И пожалуй, знакомые. Это гужевались, давили бутылку плодово-ягодного два давних Гошкиных приятеля из приезжих переселенцев — два Ваньки. Когда-то Гошка даже водил с ними компанию.

— Наше вам,— кивнул Гошка.— Сосете? А промфинплан горит.

— Пущай горит,— сказал дылдастый Ванька-черный.— Мы, однако, не пожарники.

Оба парня уже были «под мухой», вино они мешали с пивом, наливая в пивные кружки, и обалдевали прямо на глазах. «Через полчаса брякнутся тут же на этих камнях. Как пить дать»,— прикинул Гошка и заказал кружку пива.

Захмелевшие ребята полезли к Гошке с объяснениями, всякими дурацкими откровенностями, начали было щупать да дергать за штаны: на прочность, дескать, не вывалишься ли из них? Но Гошка быстренько отвадил остряков.

Ванька-белый, поменьше ростом, держался исправно, больше помалкивал, а у Ваньки-черного был явно поганый язык: молол без передыху разную дребедень, в которой похвальба пополам с матерщиной. Потом попросил совета: кержаки, мол, деньги хорошие дают, за то, чтобы девку одну как следует проучить. Прижать где-нибудь и хворостиной отделать. Шибко, говорят, старикам насолила.

— Так за чем дело? — спросил Гошка, потягивая теплое пиво.

— Да понимаешь... Знакомая она наша, вместе работаем... Знает нас как облупленных. Может, ты возьмешься — дело-то стоящее. Мы на подхвате будем. Выгорит — никто внакладе не останется.

— Что за девка?

— Кержачка одна. Бровастая такая, с косой. В сиреневой майке ходит. Вообще-то ничего, тепленькая.

— Уж не с ней ли я вас на мосту видел?

— Точно, с ней. Мы, понимаешь, с Ванькой по рукам

ударили. На бутылку. Кто, значит, первый обкрутит ее. Чего-то не получается.

— Ну и гады же вы...— Гошка с сожалением посмотрел на оставшееся в кружке пиво, помедлил и выплеснул его Ваньке-черному в лицо.— Умойся вот, паскуда, и подумай, о чем ты бормочешь.

Тоскливо и муторно сделалось Гошке. Он вдруг вспомнил солнечный школьный класс, пепельную Грунькину косу, пушистую, отливающую золотыми искорками, вспомнил с горечью дурацкую свою любовь... Он три года не осмеливался ей признаться, а потом пришел лысый дядька и купил Груньку вместе с косой и родинкой на левой щеке. Одни берут за деньги, а другие подлостью— вот как эти два слюнявых недоноска.

— Запомните, оглоеды: если вы хоть пальцем тронете эту девку, я вас обоих порешу. На том свете достану— вы меня знаете.

Парни перестали петушиться, пьяно загалдели, но Гошка не стал их слушать и втолковывать не стал: и так все понятно. К тому же им хорошо известно, что слов на ветер он не бросает.

Пекло опять, как накануне перед ночной грозой. Гимнастерка на плечах прокалилась, под ремнем выступили мокрые полосы. Навстречу Гошке валил в столовку рабочий люд со стройки, иные здоровались, иные останавливались, удивленно глядели вслед: форма и впрямь ему была к лицу.

Однако самого Гошку это уже не интересовало — утреннее празднично-хвастливое настроение окончательно улетучилось. Хотелось пить и еще хотелось как следует выспаться перед нарядом. Он об этом и думал сейчас.

Со вчерашнего дня Гошку перевели в новое общежитие — для молодых специалистов. Находилось оно в итээровском городке. И если утром Гошка думал об этом с гордостью, то сейчас досадливо морщился: предстояло еще километр топать по жаре.

На околице, у коровьего выгона, Гошку догнала Дуняшка Троеглазова, утренняя настырная «санитарка». Еле отдышалась, слизывая с верхней губы капельки пота.

— Вот письмо Груня велела доставить... Я ей сказала, что видела тебя в новой форме. А она письмо написала. Читай и давай ответ.

— Прямо сейчас? — прищурился Гошка.

— Да уж так приказано.

Гошка развернул треугольник, без особого интереса прочитал торопливые строчки: Грунька назначала ему свидание у Коровьего камня в десять часов. Ничего особенного, если не считать капризного приказного тона. Гошка ухмыльнулся, повел плечом: неужели она не понимает, что время, когда ей можно и нужно было приказывать ему, давно прошло?

Он хотел было порвать письмо, однако вспомнил про ответ, пристроив листок на донышке фуражки, написал карандашом косо, вроде резолюции: «Отказать. С брошенными не вожусь». И расписался.

Свернул письмо в прежний треугольник, вручил Дуняшке. Та искренне удивилась:

— Так мало?

— Это не мало, а много,— сказал Гошка.

23

Стояло первое воскресенье августа — канун госпожинок, двухнедельного «сладкого» поста: было время, когда в тайге «переламывалось» лето, отцветала сарана, а по осинникам несмело проглядывала ранняя желтизна. Уже копнили сено, вострили серпы для отяжелевших ржаных клиньев, докашивали травяные мыски меж сумрачных пихтачей.

Событие, которое произошло в это воскресенье, даже старикам не с чем было сравнивать, разве только с «огненным зубом» — пророческим видением в ночном небе летом четырнадцатого года. Как раз накануне мировой войны.

В полдень накатилось из-за Ивановского белка басовитое шмелиное гудение, потом мощно наросло, затарахтело и разверзлись небеса, обрушив на пустынную прокаленную зноем улицу невообразимый грохот, от которого дворовые псы срывались с цепей, а коровье стадо убежало под гору Золотуху, в ужасе задрав хвосты, как от оводинного бзика.

Над Черемшой летела огромная грязно-зеленая двукрылая птица. Выскочив на крылечки, старухи крестились и опрометью бежали в избы ставить свечки у чудотворных икон.

А первым разглядел диковинную птицу Андрюшка Савушкин, как раз, когда они с отцом разгрузили на Заре-

ченском взгорке бричку с бревнами для сруба. Глазастый Андрюха всмотрелся из-под ладони и заорал вдруг благим матом, будто под отцовским ремнем:

— Ироплан!! Ироплан!!

Брюхатая Пелагея — Андрюшкина мать, пришедшая разглядеться на будущее подворье, в страхе прикрыла платком рот, дважды перекрестилась:

— Свят, свят, борони господи! Говорила я тебе, Егор: не к добру первым начинать. Худая примета, спаси нас святая заступница!

Савушкин равнодушно отплевывался и хотел было сдернуть Андрюшку с бревен, но того уже след простыл: сверкал пятками у речных кладок — над селом, над пожарной площадью мельтешили белые бумажки, словно роились бабочки-капустницы у дорожной колдобины.

А птица уже делала круг над плотиной, где обалдело размахивал винтовкой стоявший на часах Гошка Полторанин. Аэроплан примерился, зашел к самой Золотухе и оттуда начал скользить вниз, прямо к гребню плотины. Грохотом, горячим ветром Гошку прямо-таки прижало к бетонным плитам, сорвало фуражку, но он успел все же увидеть, как от аэроплана отделилась темная штуковина с длинной красной лентой, коротко мелькнула в воздухе и бултыхнулась в воду. «Неуж бомба?! — Гошка разинул рот от изумления и сразу присел. — А ну как шарахнет?»

Пока аэроплан делал круг над озером, Гошка осторожно заглянул вниз: что же оно упало? Вроде какой-то бумажный пакет или мешок плавает... Да и не бывают бомбы с ленточками.

Теперь машина пронеслась над самой гладью водохранилища, почти вровень с плотиной, Гошка хорошо разглядел пилота в черном шлеме и в огромных очках, даже видел, как тот махал рукой вниз, показывал: доставай, мол, дуралей, мешок. Чего пялишься?

Мигом сбросив сапоги и одежду, Гошка в трусах сиганул с плотины и через несколько минут выволок бумажный мешок с надписью «Авиапочта». Погрозил кулаком пилоту: «Сам дурак — не смог сбросить на сухое место!»

Промокший мешок надо было спешно просушивать на солнышке, на бетонных плитах.

А аэроплан начал отчего-то чихать, будто просквозило его тут, у золотухинских снегов. Кружится и тарахтит, белым дымом отплевывается. Дважды перекувыр-

нулся, почихал и вовсе вдруг затих. Уж не думает ли садиться в самых скалах да россыпях?

Нет, пошел в сторону Выдрихи. Значит, углядел сверху: там как раз приречный заливной луг. Только ведь нынче на Выдрихе сено копнят, почти вся черемшанская молодежь на воскреснике. Не подавил бы ребят ненароком, ему под крыльями-то, однако, ни хрена не видно.

На Выдрихе, в сенокосном урочище, скрытом поперечным хребтом, аэроплан не видели, хотя грохот утробный сюда все-таки дошел. Приняли за близкую грозу, начали поторапливаться с греблей.

И когда он неожиданно вынырнул из-за листвяжника — черный, громоздкий, окруженный дьявольским свистом,— черемшанцы на лугу обомлели, девки завизжали и попадали на землю, кое-кто из парней деранул по кустам.

Крыластым чудовищем аэроплан промелькнул у всех на глазах, ударился колесами, подпрыгнул, с визгом разметал встречную копенку и в самом конце луга, налетев на пенек, с треском перевернулся. Хвост его оказался задранным в небо, будто зловещий перст указующий.

Это произошло как раз на Фроськиной сенокосной делянке. Услыхав нарастающий свист, Фроська оглянулась, обмерла, да так и рухнула коленками на колючую стерню — даже перекреститься не успела.

Впрочем, тут же сообразила: кажись, аэроплан. Она их на картинках видела, в киножурнале показывали. Сразу после треска запахло смрадно, пугающе-остро, будто молния в дерево ударила.

Отбросив грабли, она побежала в сторону к лесной опушке, однако остановилась, вспомнив, что во время удара из аэроплана вылетело нечто темное, похожее на распластанное человеческое тело.

С опаской обогнула опрокинутую машину, бросилась в приречные заросли таволожника: вроде туда улетело. Услыхала стон и уж тут начала продираться через кусты напролом, не думая о сучьях, не чувствуя колючек босыми ногами.

Летчик лежал ничком, этаким маленьким сирым комочком. «Сердешный, уж не поотрывало ли ему руки-ноги?» Фроська нагнулась, осторожно перевернула тело и, увидав выбившиеся из-под шлема льняные кудри, изумленно разинула рот: «Пресвятая богородица, да ведь это баба?!»

Кумачовой своей косынкой Фроська вытерла кровь с лица, летчица застонала и открыла глаза. «А глаза-то синие, сизарные,— подумала Фроська.— Как есть мои глаза».

— Не горит? — спросила летчица.

— Где не горит? — не поняла Фроська.

— Машина не горит?

— Ироплан-то? Воняет идолище поганое — что ему сделается? А сгорит — туда и дорога: вишь, как тебя-то выплюнул, сатанинская таратайка.

— Дай посмотрю.— Летчица пыталась приподняться, но опять застонала, раздраженно поморщилась: — Да вынеси ты меня отсюда, муравьи жрут — не видишь?

Фроська только теперь сообразила: а ведь верно, попала прямо на муравьиную кучу. Повезло бабенке, а ну как угодила бы в соседние камни, на береговые булыги? Костей бы, поди, не собрать.

Она легко подняла летчицу и даже усмехнулась: не баба, а девчонка-недомерок, никакого женского веса не чувствуется. Наверно, только таких и берут на аэропланы, чтобы было не в тягость по воздуху возить.

У Фроськи в затенку под кустом стоял туесок с ключевой водой, она напоила летчицу, плеснула в лицо, и та сразу взбодрилась, попробовала подняться на ноги. Вдвоем, в обнимку, они поплелись к аэроплану. Летчица отплевывала кровь, ругалась на чем свет стоит, корила себя: зачем согласилась лететь на непроверенной после ремонта машине?

— Да будет тебе! — сказала ей Фроська.— Живая осталась и радуйся. Возблагодари всевышнего во спасении своем. А судьбу не ругай — она у тебя счастливая.

— Ты что, верующая?

— Все мы под богом ходим,— уклонилась Фроська.— И в чего-нибудь верим: не в бога, так в себя.

— Кержачка, наверно?

— Кержачка. Бетонщицей на плотине работаю.

— Интересно...

Они едва успели добраться к поломанной машине, как галдящая толпа сенокосников заполонила Фроськину делянку. Всем надо было непременно прощупать крылья, подержать за колеса, притронуться к горячему мотору. Парни разочарованно кривились: думали железная, а она из деревяшек, смоляными тряпками обтянута. Да и за рулем-то баба оказалась...

Летчица подергала за расщепленный пропеллер, и ей сделалось худо: ойкнула, обвисла на Фроськиных руках. Положили ее в телегу на сено, и Фроська бесцеремонно согнала с передка возчика.

— Сама повезу в больницу. А вдруг по дороге с ней женские надобности приключатся? Нешто сподручно мужику? Слазь!

В больнице Фроська помогала раздевать летчицу и все время удивлялась: под комбинезоном на синей шевиотовой форменной куртке оказались командирские голубые петлицы, золотисто-красный орден, а в кармане — блестящий и маленький, будто игрушечный, пистолет. Пока пострадавшей накладывали гипс на левую руку, делали уколы и мазали синяки всякими мазями, Фроська тихо сидела на табуретке: для женского сочувствия. И летчица благодарно поглядывала на нее, а потом потребовала в свою палату, даже накричала на врачиху, когда та пыталась не разрешить.

— Ты зачем летела-то сюда? — спросила Фроська.

— Агитполет,— сказала летчица.— У нас, понимаешь, такая эскадрилья: пропагандируем достижения авиации. Агитируем население, бросаем листовки: «Молодежь, на самолет!»

— Не больно ты сагитировала! — усмехнулась Фроська.— Сама и брякнулась.

— Мотор подвел,— вздохнула летчица и закатила таким трехэтажным, что Фроська испуганно оглянулась на дверь: а ну как услышит фельдшерица?

— Ну и матерная ты, прямо срам,— укоризненно сказала Фроська.— Но я таких баб люблю, сама такая. Тебя как зовут-то?

— Светлана.

— Ишь ты, красиво! А наши старые дураки все по святцам ширяют: какой день — такое имя тебе нарекут. Мне вот святая Ефросинья попалась.

— Тоже неплохо,— сказала летчица и здоровой рукой достала из-под подушки кожаный портсигар.— Чиркни-ка спичку.

Фроська уже не удивлялась: такой женщине все мужичьи пакости позволены. Наверняка и водку хлещет, да еще небось прямо из горлышка.

Летчица Светлана курила папиросу, задумчиво глядела в окно и, по всему видать, успокаивалась, приходи-

ла понемножку в себя. Оно и понятно: эдакие передряги перенесла, с того света вернулась.

— Так во что ты веришь, Ефросинья? — неожиданно спросила летчица.

— В любовь,— сказала Фроська и радостно вздохнула.

Летчица повернула голову, внимательно посмотрела на Фроську, усмехнулась:

— Втюрилась, что ли?

— Чего, чего?

— Влюбилась, говорю? И пожалуй, по уши?

— Да маленько есть...

— Завидую тебе... И понимаю, любовь — это больше, чем вера. Жаль только: временно.

— Что временно? — насторожилась, подобралась Фроська.

— Любовь. Понимаешь, Фрося, любовь — это чувство, а оно не может быть постоянным. Чувства всегда переменчивы — так уж устроен человек. Верить в любовь можно и нужно, но ставить на нее жизнь — рискованно. Если рухнет — полетишь вверх тормашками. Вот как я сегодня, к примеру.

— Чего-то я не понимаю... Что же тогда главнее любви?

— Сама жизнь. Дело, которое есть у тебя. Хотя ты, мне кажется, еще не нашла его.

— Дело... — неуверенно протянула Фроська. — Вот у тебя свое дело, летчицкое. Так сама же говоришь: чуть шею не свернула.

— Ради дела стоит рисковать. А вот ради любви — вряд ли. Потому что тут все зависит не только от тебя, а еще от другого человека. От того, сможешь ли ты на него полностью положиться.

— Это у разных людей по-разному бывает...

— Конечно. Хочешь я расскажу тебе про свою жизнь.

Наслушалась Фроська, наохалась и наплакалась — вот это была жизнь... Почище, однако, чем житие Параскевы-пятницы или великомученицы святой Варвары. Да и то рассудить: святые девы ради веры муки-страдания принимали, а оно, как ни говори, — дело благостное, возвышающее. А эта Светлана-летчица непонятно из-за чего терпела, сердцем и душой изводилась: и в огне горела, и в воде тонула, и под расстрелом стояла, дочку похоро-

нила и с двумя мужьями развестись успела. Ей бы, кажись, угомониться давно пора, семью завести, тихими бабьими радостями наслаждаться — ведь уже за тридцать перевалило. А она на громыхалке своей над тайгой носится, народ пужает-агитирует, жизнь ни в копейку не ставит. Нешто эта женская доля?

— Бесшабашная ты... — пригорюнилась Фроська, дивясь спокойствию, с которым летчица рассказывала про жизненные свои передряги. — Натерпелась, насмотрелась, горемычная, — а чего ради?

— Так в этом и состоит жизнь! — рассмеялась Светлана. — Надо чтобы было интересно, чтобы всегда была большая цель. Смысл жизни определяющая. Понимаешь? Нужно не просто жить — это и корова умеет, а бороться, побеждать, постоянно идти вперед.

— Ты небось партейная?

— Да. А что?

— То-то и сказываешь, как по радио: «бороться, побеждать». А куда мне бороться, кержачке неумытой, дуре неграмотной? Тебе хорошо говорить: у тебя вон и орден золотой, и ливарверт в кармане. Мне-то с кем и за что бороться?

— Да хоть бы за себя, за свою лучшую долю. К примеру — за свою любовь бороться, — усмехнулась летчица, опять щелкнув портсигаром. — Я ведь вижу, что ты все время киснешь. Нелады у тебя с любовью-то. Угадала?

— Да уж угадала...

Уходила Фроська под вечер, чувствуя легкость и ясность на сердце, какую-то дивную просветленность — вот так же, с такой внутренней успокоенностью, покидала она вечерние моленья в свое первогодье в Авдотьиной пустыне. Ни о чем не думалось, ничто не тяготило, не заботило ее, все трудности житейские словно были теперь отсортированы, упрощены до изначальной своей сути и расставлены по порядку, в полной аккуратности, как горшки и кринки по полкам в хозяйском погребе. Они теперь не тревожили и не мешали: стоят себе, и пускай стоят до поры до времени, до подходящей надобности.

Фроська присела на больничном крылечке, наблюдая, как село постепенно делалось ночным: растворялись в сумерках очертания домов, желтыми пятнами вспыхивали окна, и пятна эти выкладывали ровную дорожку вдоль берега Шульбы. Почему-то не хотелось уходить...

Невдалеке по булыжникам затарахтела телега, свернула в темноте и въехала в больничный двор.

— Эй, фершал! — послышался мальчишеский голос.— Принимай ранетого человека!

В свете надкрылечного фонаря появилась бричка с высокими бортами. Белоголовый парнишка — возчик замотал вожжи, спрыгнул на землю.

— Не слышишь, что ли? Фершала скорее зови.

Очевидно, он узнал Фроську, да и она сразу припомнила: один из кержачат, из бесенят Кержацкой пади, которые обычно по утрам пескарей удят у моста.

— Кого привез-то?

— Кого-кого... Батьку своего привез, вот кого. Да зови, тебе говорят!

В телеге, на холщовом рядне, постеленном на сене, лежал Егор Савушкин, жмурился от света, прикрывая рукой окровавленную бороду. Штаны и рубаха изодраны в клочья, густо заляпаны черными пятнами крови. Он тихо стонал, матерился, когда тетки-санитарки под руки повели его к дверям.

— Кто это его так? — участливо спросила Фроська.

— Степанидины варнаки, — ответил мальчик.— Сучьи выродки... Сперва собак своих натравили, а потом палками били. — Он заплакал, кулаками размазал слезы, с детской яростью погрозил в темноту. — Ну погодите, мироеды! Вот как вырасту, уж я вам отомщу! Уж я вам припомню!

— За что избили-то? — Фроська нагнулась, хотела было приласкать Савушкина-младшего, но тот хмуро отстранил ее руку, насупился.

— Больно любопытная! Вот как саму-то поймают тебя да отхлестают валежиной, тогда узнаешь за что.

24

Не любил Вахромеев торчать в сельсоветской канцелярии, а полдня пришлось отдать: просидел у телефона. Сначала из райисполкома названивали, требовали отчетов за полугодовые сметы и еще велели немедля расходовать средства, выделенные на кержацкое переселение. Строго предупредили: деньги должны быть реализованы до конца текущего года.

Вахромеев прямо скис от такого непотребства: кому

давать ссуды, когда кержачье и не помышляет о новоселье, их трактором не выпихнешь из насиженной щели...

Потом из областного центра начальник какой-то в трубку покрикивал, аэропланом интересовался—как будто черемшанцы виноваты, что воздушная тарахтелка тут у них шлепнулась. Сами небось оконфузились, незачем бабу посылать на серьезное дело.

Приказали держать круглосуточную охрану — пока ремонтники не прибудут. Ну об этом Вахромеев и без них давно догадался: милиционер Бурнашов Василий построил при аэроплане сторожевой шалаш, живет там с личной охотничьей собакой.

А вот о летчице Вахромеев ничего толком не знал: лежит в местной больнице с переломом руки. Состояние вроде бы хорошее. Почему «вроде бы»? Потому что Вахромеев не больничная сиделка, а председатель сельсовета и у него на данный момент есть дело поважнее: например, сенокос, а также коммунальное обеспечение трудящихся.

Областной начальник обозвал такой ответ «политическим недомыслием» и велел переключить телефон на черемшанскую больницу.

Вахромеев пожалел, что погорячился («Так ведь спозаранку трезвонят без передыху! Осточертели!»), вышел во двор, вскочил на Гнедка и поехал в больницу, надо и в самом деле навестить эту бедолагу-летчицу да Егоршу Савушкина проведать. Жалко мужика, хотя, между прочим, пострадал по своей дурости: кто же с кержаками в одиночку связывается?

А сообразил Егорша: самый солнечный, тучный и удобный клин застолбил. Надо будет сегодня же законным порядком закрепить за ним дворовый участок. Только как быть с остальными переселенцами, теперь ведь и вовсе бояться станут?..

С летчицей побеседовать не удалось: принимала лечебные процедуры. А с Егоршей оказалось проще: он сидел на подоконнике, грелся на солнышке и чинил суровой ниткой изорванные штаны. Под левым глазом темнел здоровенный синяк.

— Ну как дела, Аника-воин? — поздоровался Вахромеев.

— Да вот сижу, поджидаю, — ухмыльнулся Егорша, трогая пальцами распухшие губы.

— Это кого же?

— Степанидиных суразов. Думаю, кого-нибудь из троих должны доставить сюды. Я им вчера тоже ребра пересчитал.

— Как было-то?

— Да так и было.— Егорша отложил иголку, поскреб в лохматом затылке, ойкнул, матюкнулся — руку заломило. — Встрели они меня, значица, у Холодного ключа — я там жерди рубил на оградину. Дак боятся сами-то сволочи — спустили на меня свою свору: у них собаки, сам знаешь,— медвежатники. Однако ничего. Споймал я двух-то кобелей за загривки да и шабарнул об лесину. Вышиб, значица, собачий дух. Ну а они, братья то есть, тут как тут. Загоношились, поперли на меня с палками-поленьями. Старшой-то, Гераська, слышь, что мне сказывал: ты, грит, поганец христопродавец, пошто божью тварь жизни лишил? Ты, грит, помнишь, как писано: «Сотвори господь собаку и повеле стрещи Адама». Против бога идешь, Иуда? Да и хрястнул меня поперек спины. А потом, что же, — причастились как полагается. Я ведь должником не люблю оставаться, а кулак у меня потяжельше палки будет. Это без бахвальства сказываю.

— Судить их станут! — зло выдохнул Вахромеев. — За бандитское нападение.

— Да иди ты со своим судом! — отмахнулся Егорша. — Нам, кержакам, мирской суд не указ — сами разберемся.

— Передам дело в суд, — заупрямился Вахромеев. — А ты напишешь заявление, как пострадавший.

— Сдурел ты, никак? — рассердился, нахохлился Егорша. — На позор меня выставлять? Да когда это было слыхано, чтобы Егорша Савушкин в пострадавших ходил? Али не помнишь, как я в школе вас дюжинами лупил? И тебе перепадало, промежду прочим.

— Охламон неотесанный, — в сердцах сказал Вахромеев и, повернувшись, направился к воротам. Нет, не потому что обиделся на упрямого черторожего Егорку — председатель только сейчас понял, что ему надо делать. И немедленно.

Он вернулся в сельсовет, достал из сейфа свою красную с золотым тиснением председательскую папку и, опять вскочив в седло, не спеша поехал в Кержацкую падь.

Судьба подбросила ему очень выигрышный шанс, он

окажется круглым оболтусом, если умело и вовремя не воспользуется им.

Коня Вахромеев стреножил на прибрежной лужайке и еще оттуда, издали, пригляделся к массивному, крепко тесанному дому кержацкой уставницы. Дом стоял на склоне выше других и выглядел вызывающе-нарядным, поблескивал мытыми окошками, рябил резными завитушками ставней. Под стрехой, вдоль каждой стены, — будто деревянные кружева навешаны. Ничего не скажешь — рукодельные сыновья у Степаниды.

Проходя чисто подметенным двором, Вахромеев вспомнил тогдашнюю кержацкую сходку, подивился: груда бревен вроде бы стала больше: для нового сруба готовят, что ли? Неужто расселяться с сыновьями задумала Степанида?

Вот тут стоял колченогий столик, с этого крыльца величественно не спустилась, а явилась с ходу мать Степанида. Неужели она сама натравила сыновей на Савушкина? А собак что-то не видать, и в сарае не слышно, не побил же их всех страхолюдный Егорша...

Председатель постучал в приоткрытую дверь, прошел сенцами, дивясь чистоте и умытости: всюду только янтарно-слюдяной деревянный блеск, дух вереска, мокрого песка и скобленого кедрача. Наверно, невестка — Филькина молодуха, драит да наяривает, говорят, уж больно пристрастна бабенка к порядку и ухоженности.

Уставница сидела в горнице у окошка с геранью, без очков читала пухлую книгу в обтертых кожаных корешках.

Приходу незваного гостя она не удивилась, а может, виду не подала. Вздохнула, поправила под подбородком узел черного платка, на приветствие не ответила — молча ждала, что скажет Вахромеев.

А Вахромеев вдруг почувствовал себя растерянным и понял, что заранее заготовленное начало разговора не годится: он увидел кержацкую уставницу совсем не такой, какой ожидал увидеть. От прежней важности и заносчивости не было и следа — перед ним сидела очень утомленная дряхлая старуха, глаза которой ничего, пожалуй, не выражали, кроме легкой досады из-за прерванного интересного чтения.

Напряженно кашлянув, он сказал:

— Вот ваше письмо. Так сказать, жалоба-коллективка. Оно попало ко мне, как представителю власти. Озна-

комившись, возвращаю. — Вахромеев протянул письмо старухе, но она, кажется, не собиралась его брать. Тогда, помедлив, он положил бумагу на стол. — Между прочим, оно не имеет юридической силы: там одни крестики да пятна. А нужны росписи.

Уставница устало пожевала губами, не моргая, глядела на Вахромеева, дескать, ну-ну, продолжай.

— С фактической стороны полное опровержение получается. Во-первых, насильно вас переселять никто не собирается. А во-вторых, по части снабжения промтоварами все делается законно, по справедливости: стройке — большая часть, а вам — меньшая. Они работают на социализм, а вы пока нет. Вам еще далеко до социализма. Так что ваше письмо-коллективка неправильное по всем статьям. Что ты на это скажешь, Степанида Сергеевна?

— А что мне говорить? — тихо молвила уставница.— Ты пришел, ты и говори. А я тебе ничего сказывать не собираюсь.

«Хитрая карга, — огорченно подумал Вахромеев. — Ей хоть стихами читай, хоть в доклад развертывайся — она будет гляделками хлопать да причмокивать. Мели, мол, Емеля, коль твоя неделя. Нет, такой разговор не годится, не в коня корм выходит. Надо с другого боку подойти».

— Ты, вот я гляжу, грамотная женщина. Вон сколько книг на дому имеется. — Вахромеев указал на полки в углу, тесно заставленные ветхими книгами. — Там небось и старописьменные книги есть...

— Есть, есть, голубчик, — неожиданно оживилась Степанида. — Есть и писанные при первых пяти патриархах, и патерики всяческие есть: иерусалимские, синайские, печорские и даже скитские. Только ведь они все — для умных людей.

— Это как понимать? — демонстративно оскорбился Вахромеев.

— Да так и понимать. По естеству. — Уставница легко встала, прошла к полке, с минуту рылась там, затем вернулась с небольшой книжкой, которую тщательно обтерла передником, перед тем как положить на стол. — Вот книжка-то про социализм писанная — «Город Солнца». Так ведь у нас в общине как раз социализм и есть: люди мы все равные, дела решаем сообща и по справедливости, старост своих избираем, и каждый у нас получает по труду.

У Вахромеева шея сразу взмокла: он-то думал старуха — одуванчик, божья душа немощная, а тут тебе гидра развернулась в полной змеиной красе. Да еще шпарит по-научному.

— Кто писал? — хрипло спросил Вахромеев.

— Ученый монах италийский. По фамилии Кампанелла.

— Ну тогда все ясно — ваш брат! И книжки его — враки религиозные.

— Неуч ты, Колька! — ехидно вздохнула старуха. — Прямо темнота дремучая. А еще в председателях ходишь. Да ведь книжку сию сам Ленин хвалил.

— Ты брось, мать Степанида! Не возводи поклеп на товарища Ленина.

— Вот те крест святой, председатель! Да чего ради я лгать-то буду? Говорю, как есть.

— Ладно, — нахмурился Вахромеев. — Я это дело уточню. Только заранее скажу: социализмом в вашей Кержацкой пади и не пахнет. Это я своим классовым чутьем чую. Кулацкий он у вас социализм. Ширма для закабаления трудящихся. Вы вон даже опричников завели для острастки сознательных граждан. Добро проповедуете, а сами людям морды бьете, ребра ломаете.

— Ладно-ладно! — замахала руками уставница, испуганно оглядываясь на дверь в соседнюю комнату. — Утихомирься, господи ради! Почто кричишь-то? Чай, не в сельсовете.

И вот тут-то Вахромеев кое-что понял! Да и как было не догадаться: ежели старуха пугается насчет двери, значит, за ней кто-то есть? А кто же еще, кроме ее родненьких распрекрасных сыночков, которые небось отлеживаются теперь на тюфяках, чешут на боках синяки от свинцовых Егоркиных кулаков?

То-то квелая нынче мать Степанида, лицом изможденная, будто с креста снята: за «чада возлюбленные» переживает. Еще бы: сама, поди, толкнула их на разбойную дорожку.

— Вот он ваш социализм! — Вахромеев многозначительно кивнул на дверь опочивальни. — Судить будем за бандитизм.

Сникла вся, съежилась Степанида — аж жалость кольнула в председателево сердце. Разве узнать было властную, непререкаемую и суровую уставницу в этой хилой,

дряблой старушонке, скорее похожей на деревенскую побирушку.

— Шибко зашибаешь, Сергеевна! Уж коли детей своих не жалеешь, к тюремной решетке подпихиваешь, то дальше, как говори́тся, ехать некуда.

Она подняла голову резко, энергично, и Вахромеев чуть отпрянул, встретив немигающий стальной взгляд. Старушечье лицо оживало на глазах, разгладились морщины, только у тонких губ глубже залегли колючие складки. Сказала глухо, весомо:

— Опара только тогда станет хлебом насущным, когда в кадке-коломанке держится. Взбродит — удерживай, не то поползет на пол и вместо хлеба — грязь. Понял ты что-нибудь?

— Понял, понял! — махнул рукой Вахромеев. — Все это бредни ваши стариковские, мать Степанида. Опара всегда бродит, иначе какой же хлеб? Одни черствые колотушки. Так что не держите вы опару, все одно не удержите. Да и не вам ведь жить, а им, молодым. Что вы, старики, лезете не в свои сани?

— Глупый ты. Святость и благочестие нужны людям. Перво-наперво.

— Чепуха! Все вверх тормашками поставлено. Жизнь сначала нужна человеку, а к ней все остальное прикладывается. Жизнь! Вот и пускай живут молодые по-своему, как время теперешнее требует. Не надо им мешать, не надо путать.

— Я уже не путаю, — вздохнула, поглядела в окно уставница. — Делиться решили. Только тут мы жили, тут все и помрем на святой земле прадедов.

— А ежели половодье весной захлестнет?

— Так тому и быть. Знамо, господу угодно.

Вахромеев поднялся, потянул носом, фыркнул: фу-ты, язви тебя! А в избе-то больницей пахнет, как он сразу не почувствовал! Может, заглянуть к кержацким «опричникам», побалакать, полюбоваться на Егоркину работу? Не стоит. Старуха и так вон квохчет, крутится, как наседка перед коршуном. Ждет не дождется, чтобы выпроводить нежеланного гостя.

— Так что прощевай, мать Степанида! И ты и присные. Да поберегитесь революционного красного паровоза. Как в песне-то поется: «Наш паровоз, вперед лети!» Не копошитесь на рельсах у истории.

Уставница пригнулась в дверном проеме — желтолицая, высохшая, печальная, похожая на иконную богородицу. Сказала жестко, сквозь зубы:

— Не грозись, Колька! Тебя ведь упреждали... — и с треском захлопнула дверь.

Ну старуха ядовитая, ни дна тебе ни покрышки! И ведь обязательно ужалит или плюнет вдогонку. И чтоб последнее слово — только за ней.

Вахромеев перегнулся с крыльца, заглянул в огород. Там, на деревянных пяльцах, сушились на солнце, обсыпанные золой, две собачьих шкуры, вокруг них роились зеленые мухи. Оборотистые хозяева, ничего у них не пропадет: добрые рукавицы-махнашки на зиму будут! Уму непостижимо, как это они умудрились натаскать охотничьих собак на человека?.. Ведь обычно лайка людей не берет, ну, может быть, цапнет для острастки. Знать, в хозяев собачий выводок пошел, не зря же говорят: «Злые собаки у злых людей». А может, наоборот?

В левое кухонное окошко кто-то наблюдал за ним, оттянув пеструю занавеску. Вахромеев подумал, что ведь разговор в горнице Степанидины сыновья слышали: дверь-то была чуть приоткрыта. Собственно, он и раньше догадывался об этом.

Красная папка в руке напомнила еще об одном запланированном деле, и Вахромеев, не мешкая, свернул к моленной, к срубу Савватея Клинычева. Справа от входной двери председатель кнопками прикрепил на стену объявление, написанное красиво и четко клубным художником по его личному заказу. «Распределение дворовых участков на новой Заречной улице будет произведено только до 10 августа. Сельсовет».

Слово «только» дважды красно подчеркнуто. Это хорошо — сразу настораживает.

Отошел на середину улицы, полюбовался, неожиданно горько усмехнулся: что за люди живут на земле! Ровно слепых котят тыкают их в молоко, а они отворачиваются, да еще отплевываются. И ведь сорвут объявление, непременно сорвут, как стемнеет. Ну да все равно молва-то пойдет.

На берегу, взнуздав коня, Вахромеев обернулся и увидел возле объявления кучку мужиков: галдят, пальцами тыкают. Гляди-ка, разобрали! А говорят — читать не умеют.

25

Викентия Федоровича охватил страх: сразу мелко затряслись пальцы, когда он увидел этот синий конверт, разглядел обратный адрес. Разложенная на столе служебная корреспонденция почти вся оказалась подмоченной (мешок с авиапочтой угодил в воду, и говорят, что охранники просушивали потом его содержимое), но письмо особенно пострадало, даже наполовину расклеилось.

Шилова испугало не это: в конверте был ничего не значащий текст, отпечатанный на бланке нотариальной конторы. Цифры регистрационного номера — три четверки были сигналом тревоги, вестью чрезвычайной важности! Он отлично знал, что письмо «нотариальной конторы» может поступить только в крайнем случае.

Викентий Федорович тупо смотрел на подмоченный, в грязных разводьях листок, внезапно ощутив вокруг пустоту, гнетущую беззвучность и недвижность — будто раз и навсегда остановилось время. Вошла пожилая секретарша, положила папку, что-то сказала — Шилов кивнул, не поднимая головы, потом проводил ее невидящим взглядом.

Сложив и спрятав письмо в карман, Шилов наконец понял, что его оглушило, сбило с толку: сигнал поступил вовсе не из того источника, откуда он ждал. Он просто забыл, что у него два хозяина и что именно «нотариальная контора» откомандировала его сюда во имя долговременной консервации.

Что же произошло и какой смысл затаили в себе эти строки официального письма? Может быть, рекомендация, совет или предупреждение? Нет, скорее всего, приказ — судя по краткости текста. Надо было ехать домой: ключ к шифру находится в одной из книг.

Впрочем, он кое о чем догадывался...

А за окном будничио грохотала, дымилась в серой цементной пыли многоголосая стройка. Шилову на мгновение почудилось, что все это лихорадочно-спешное мчится мимо него стремительным поездом-экспрессом, а он, как на полустанке, равнодушно глядит сквозь стекла своей «капитанской рубки». Нет, он не завидовал этим людям, увлеченным опасной скоростью. И не жалел их. Пожалуй, он впервые так остро почувствовал свою отчужденность от этого орущего суетливого мира, вечную и неистребимую несовместимость с ним.

Да, но неужели его сумели «нащупать»? Все может быть. Судя по газетам, события принимают очень тревожный размах...

Надо немедленно ехать на квартиру.

Уже на пороге Шилов столкнулся с прорабом Брюквиным, временно замещавшим должность главного инженера. Потный, бочкообразный прораб, растопырив руки, пер на Шилова бульдозером, загоняя к столу.

— Одну минуточку, Викентий Федорович! Докладываю конфиденциально: на третьей секции бетон опасно фильтрует. Грунтовая лаборатория взяла керны: небывалая пористость. А все тот самый портландцемент...

Шилов недовольно сел в кресло, нахмурился: опять завел шарманку! Инженер Брюквин был специалистом по бетону и ничего другого как следует не знал. Свою некомпетентность он обычно маскировал «цементно-бетонными проблемами», которые всякий раз варьировал с изощренными подробностями. «Фильтрует бетон...» Ну какое это может иметь значение, тем более сейчас?

Прорабу надо дать выговориться, иначе от него не отделаешься. Шилов уныло глядел на его багровую рыхлую физиономию, заплывшие, плутовато-прищуренные глазки и ждал конца монолога. «Ему бы снабженцем быть, — подумал Шилов. — Да и то какого-нибудь ограниченного сектора. А он вершит техническую политику».

Впрочем, Шилов сам его и выбрал, назначил — чтобы легче было решать свои личные задачи. Вот человек и всплыл на поверхность. Интересно, зачем он таскает повсюду с собой этот громоздкий обшарпанный портфель? Что носит в нем?

— Хорошо, Брюквин, — сказал Шилов. — Ты, как всегда, целеустремлен и последователен.

— Положение обязывает, — польщенно усмехнулся врио и, поставив портфель на пол, стал обтирать платком шею, даже полез куда-то под воротник за спину. «А платок-то у него тоже клетчатый, — отметил Шилов. — Как у геноссе Крюгеля». Он нащупал в кармане московское письмо и с неожиданной веселостью спросил:

— Ну как, Брюквин, начальником стройки потянул бы в случае надобности?

— В каком смысле? — Прораб так и замер с поднятым в руке платком.

— Например, тоже врио.

— А вы что, в командировку собираетесь?

— Да пока нет. На всякий случай спрашиваю.

— Могу, конечно, образование позволяет. Мне — как прикажут, как обстановка потребует.

«А почему бы нет? — подумал всерьез Шилов. — Вдруг этим письмом вызывают меня в центр? И опять же в случае непредвиденных осложнений на этого дурака много можно свалить: в сугубо технических проблемах он ни в зуб ногой».

— Только пока об этом никому не слова!

— Ну что вы, Викентий Федорович! Могила! — Врио клятвенно хлопнул себя по круглой мясистой груди.

В этом тоже был определенный расчет. А если придется внезапно и по-настоящему сматывать удочки? Брюквин же — словоохотливый болтун, и сегодня к вечеру о возможном отъезде Шилова станет известно многим, во всяком случае — инженерно-техническому персоналу. Пусть люди думают, что он в служебной командировке.

В свой коттедж Шилов попал только через час. Отмахнулся от удивленной экономки, прошел в кабинет и тщательно заперся: ключ — на два полных оборота. Достал с полки книгу с шифровальным кодом, сел за стол и вскоре на чистом листе появилось три слова: «Вариант третий неукоснительно».

Вначале Шилов не поверил расшифровке, повторил все по страницам и, когда убедился, вдруг ощутил в мышцах мелкую знобящую дрожь: это было похоже на уже забытые приступы малярии. Озноб и тошнота — тут может помочь только коньяк...

Центр приказывал немедленно уезжать. Бросать все и бежать без оглядки до самой конспиративной явки в Урумчи. Значит, над ним нависла опасность разоблачения, может быть, он уже раскрыт, расшифрован, как эта подмоченная бумага, и дело только во времени, в нескольких днях или даже часах.

Он давно боялся этого, давно ожидал, слушая ночами радио и читая газетные статьи о ходе судебных процессов. Очевидно, где-то и кто-то, связанный с ним единой нитью, уже сидел перед следователем и давал показания, и хорошо, если его фамилия еще не зафиксирована в следственном протоколе...

Он ждал, но все-таки оно пришло неожиданно, до обидного преждевременно. Это рождало страх.

Коньяк понемногу снимал оцепенение, тепло и мягко

разливался по телу — теперь можно было спокойно посидеть па диване, покурить и подумать.

Конечно, надо срочно уезжать, как говорят в таких случаях: «спасаться бегством». Но куда, собственно, бежать? Допустим, в Синьцзян, обусловленный третьим вариантом. А дальше? Бесконечные эмигрантские мытарства, нужда, приспособленчество, вечная озлобленность. Волчья жизнь...

А может, сделать шаг в сторону — «сбой с тропы», выражаясь охотничьим жаргоном? Чтобы потом по-заячьи затаиться в укромном месте и переждать облаву? А может — повинная? Однажды утречком сойти с транссибирского экспресса и прямо на Лубянку: «Так и так, граждане товарищи, перед вами собственной персоной матерый функционер оппозиции, в прошлом известный эсер-боевик...»

Чепуха! Бред собачий!

Он сам вершил когда-то скороспелый суд, сам цинично изрекал: «Жизнь, данная чужой милостью,— уже не жизнь, а тошнотная подачка!» Прозябание ему не нужно — пусть прозябают враги. Только вперед, даже если избранная тропа ведет к гибели.

Шилов налил рюмку, отпил глоток и, подойдя к зеркалу, презрительно повторил вслух: — Даже если избранная тропа ведет к гибели...— Набычился, закипая злобой, рывком выплеснул коньяк на зеркало — в свое отражение.— Демагог и пошляк, мать твою перемать!

Откуда берутся в трудные минуты истасканные слова — рыхлые и вонючие, как дерьмо,— из трусости, что ли? Стоит пошатнуться, заколебаться — и они тут как тут: велеречивые побрякушки...

Вернувшись к столу, сжег бумаги, швырнул на полку шифровальную книгу и распахнул окно. Горело лицо: он испытывал гадливое отвращение к недавней собственной слабости.

Впереди все было предельно ясно. В самом деле: разве не готовился он к этому решающему моменту всю свою жизнь? Разве не таился годами в прокуренных столичных канцеляриях, хитрил, угодничал, чтобы со временем, накопив силы, умудренный опытом, вырваться наконец на оперативный простор?

Он копил и ненависть, между прочим... Вот как этот кобель, привязанный на цепи. Кстати, его тоже надо бу-

дет напоследок спустить: пускай порезвится, и пусть кто-нибудь попробует его удержать.

Итак, предстоит решающий бой — только и всего. Диспозиция и рекогносцировка давно сделаны, динамика — спланирована, детали — продуманы. Главные звенья: караульная служба, взрывчатка, катер, оружие, лошади. Время действия: ноль часов тридцать минут — заход луны, условия полной темноты. Состав участников операции: два основных и третий лишний, устраняемый по ходу дела за дальнейшей непригодностью.

Вот примерно таким образом... Ну, а дальше, если бы пришлось следовать военно-бюрократическим канонам,— подпись, печать и дата. А также кодированное название операции. Например, «Плотина», «Ночной гром» или что-нибудь более эффектное. Над этим стоит подумать, имея в виду последующий подробный отчет.

Шилов отправился на кухню, достал из чулана охотничий рюкзак и стал укладывать туда дорожные припасы: спички, соль, папиросы, консервы. Перелил из бутылки водку в походную баклажку. Теперь надо было разыскать карманный фонарик.

— Что это значит, Вики? Опять собираешься на охоту? — На пороге, заполонив весь проем кухонной двери, стояла Леокардия Леопольдовна.

Шилов досадливо поморщился: нелегкая принесла! Ведь только что развешивала белье на дворе. Опять он недооценил ее поразительную способность быстро и бесшумно шмыгать по комнатам. Вес буйвола, походка — балерины.

— На охоту...

— В будний день? Сегодня?

— Не знаю. Может, завтра.

— Странно...— Экономка мизинцем поскребла черные усики над губой, подозрительно нахмурилась.— Но ты же сам говорил, что охотничий сезон еще не начался? Ты способен на браконьерство?

— А почему бы и нет? — огрызнулся Шилов, запихивая в рюкзак брезентовый плащ-дождевик.

— Я знаю, что это за браконьерство. Я догадываюсь!— Экономка прошла на кухню, грузно плюхнулась на табуретку и неожиданно заревела басом: — Вики! Если ты мне изменишь, я не выдержу! Я покончу с собой...

— Тьфу, черт побери! — выругался Шилов, поднимаясь с коленей. — Да перестань ты, прекрати выть сию ми-

нуту! Боже, как ты мне надоела со своей ревностью и подозрениями!

— Я женщина, Вики,— всхлипнула экономка.— Любящая женщина.

«Дьявол ты, а не женщина,— в сердцах подумал Шилов.— Вот уж поистине крест мученический взвалил на себя! Ведь уговаривали друзья: не бери, зачем тебе эта женоподобная бегемотиха? Сплошной шокинг. Не послушался, рассчитывал на полусемейную маскировку. А она уже третий месяц жилы тянет, живьем сожрать готова ради ненасытной своей ревности.

Ну погоди, завтра среди ночи не так заголосишь, сразу вспомнишь свой купеческий домик на Шаболовке. И поделом: за каким лешим надо было переться на край света?»

Шилов на мгновение представил колоссальный водяной вал, который внезапно обрушится на поселок, сметая и сокрушая все на своем пути... И почувствовал нечто похожее на жалость к этой любвеобильной глупой толстухе. Может быть, утром отправить ее с обозом в город по какому-нибудь делу? Нет, не стоит. Она же первая шум подымет, догадается, что спроваживает ее умышленно. Ну что ж: «Каждому свое»,— говорили древние римляне...

— Иди топи баню,— сухо приказал Шилов.— Вечером буду мыться.

— Как, Вики? — удивилась Леокардия Леопольдовна.— У нас же баня в «чистый четверг»? По традиции.

— К черту традиции! Делай, что тебе говорят!

Он разъяренно топнул ногой и экономка мигом выкатилась из комнаты.

Все должно быть как перед настоящим боем: обязательное мытье, чистое белье и... молитва. Молиться он еще не разучился, тем более что из всех «приворотных» молитв знал только одну, предбоевую: «Даруй нам святой великомученик победоносец — Георгий...»

Может, это была просто блажь, мистическая чепуха, но он не хотел пренебрегать привычкой, которая сложилась в смутные годы гражданской войны и не однажды с удивительным постоянством оправдывала себя.

С рюкзаком, конечно, получилась накладка: напрасно он поторопился... Это и завтра сделать не поздно было. Ну да ничего: от Леокардии ничто никуда не уходит. А все, что случится потом,— решит завтрашняя ночь.

Берлин передавал спортивные репортажи — Германия

жила Олимпийскими играми. В перерывах выступали вожди гитлерюгенда, хвалились рекордами арийской молодежи, склоняли во всех падежах бойкое слово «национал-зоциалисмус» и дерзко кричали «Зиг хайль». Клич этот переламывался на радиоволнах эфира, двоился, троился, уходил куда-то далеко в темные глубины космоса, отдаваясь гулким туннельным эхом.

Слушая, Шилов хорошо представлял себе раскрасневшиеся решительные лица белобрысых юных вождей, посмеиваясь про себя, кивал: да это неплохо, биензуппе! Такие мальчики способны маршировать сколько угодно, способны клацать каблуками до тех пор, пока под ногой будет что-нибудь твердое. Если понадобится, они запросто обмаршируют весь земной шар, по любому меридиану: с песней, под бой барабанов и треск новеньких «шмайсеров».

Потом диктор-пропагандист на всю катушку чехвостил «советише русланд», не особенно стесняясь в выражениях и эпитетах. Приводил «неопровержимые данные» о росте агрессивности Красной Армии, которая уже сегодня имеет под ружьем «двенадцать миллионов солдат и сорок подлодок на Балтике». Над немецкими дипломатами в России нависла серьезная угроза...

От Лиги Наций летели пух и перья, особенно в связи с недавним предложением Максима Литвинова об изменении Устава (усиление коллективной безопасности и действий против агрессора). Ниточки-то, в конце концов, тянулись в Испанию, где вовсю полыхала война и где франкистские фаланги шли в атаку бок о бок с «ребятами Муссолини» и «голубоглазыми бестиями» из СС.

Шилов выключил приемник и подумал, что именно с этого международного обзора надо будет начать деловой инструктаж Евсея Корытина. Пусть болван поймет, что ближайшей ночью они идут не на пустяковую вредительскую диверсию, а на крупное политическое дело, которое эхом отзовется в западных мировых столицах. И что оба они не какие-нибудь отщепенцы-рецидивисты, а бойцы единого огромного фронта — на дальнем фланге, указанном самой историей.

26

Не нравилась Гошке новая работа — чем дальше, тем больше становилась не по душе. Из-за этакой работы дерганая жизнь складывалась: сутки — в карауле, другие —

на отдых, потом — служебный день (хозработы разные — кто куда пошлет). И сызнова — та же шарманка.

Стояние на сторожевом посту сразу опостылело Гошке. А ну как четыре часа проторчи чурбаном безгласым на одном месте, потом еще, да еще по четыре! И солнце тебя палит, и комарье жрет, а ты стой стоймя, хлопай гляделками, разговаривать, курить — не моги! А уж про выпивку вовсе забудь.

Что это за жизнь, разъедрит твою кудрявую морковь?

Уговору такого не было — вот отчего обидно. Гладко стелил товарищ Шилов, нечего сказать: «ответственная должность», «избыток личного времени» и всякие прелестные шуры-муры. А оказалось: через день — на ремень, по вечерам — за швабру. И вместо личного времени каленая корытинская рожа, дубовые его кулачищи, каждый из которых как пивная кружка. Только попробуй пикни, сразу орет: «Пререкание!» — и тычет под нос: понюхай да зажмурься.

Главное, никаких тебе лошадей, никакого «конного дозора» и в помине нет. Кругом сплошная пехтура, прижимистые мужики-охранники. Правда, два дня назад нач. ВОХРа Корытин взял Гошку в так называемый конный разъезд. Объехали по берегу пол-озера, а потом Корытин завернул на пасеку, где и пропьянствовали всю ночь.

Нет, не нравилась ему такая служба...

С тем же почтовым мешком заваруха непонятная получилась. Летчица сослепу его в воду сбросила, а он, который с плотины сигал, жизнью своей можно сказать рисковал,— он же и виноват оказался! Товарищ Шилов, большой начальник, именно на него, на Полторанина, раскричался: почему подмоченное, почему все расклеенное? Ну при чем здесь он?

Теперь вот парторг Денисов на беседу вызывает, тоже, наверно, вздрючку приготовил. А за что? Драк вроде никаких не было, от всяких там оскорблений Гошка воздерживается — форма не позволяет.

Надо, пожалуй, прихватить с собой туесок меду. Когда к людям с подарком — они добрее делаются. К тому же, говорят, Денисов прихворал, а больному мед всегда на пользу.

Жена Денисова поначалу упрямилась, не хотела пускать Гошку: спит, мол, больной. Однако Денисов услыхал разговор из огорода (за избой, в затенке, стояла его

кровать) и велел провести к нему «знакомого товарища». Гошке это очень понравилось. «Ишь ты, помнит! Даже по голосу узнал».

Он прошел в огород, поздоровался с Денисовым, который полулежал на подушках, приглядываться не стал: больной как больной. Они, больные, не любят, ежели их разглядывают. Обратил внимание на ворох газет.

— Политику читаете?

— Ага,— кивнул парторг.— Сводки из Испании просматриваю. Уж больно они беспокоят меня.

— Далеко! — усмехнулся Гошка.— До нас не докатится.

— Как сказать... Земля-то круглая. По ней только покати — само докатится. Ну как дела на плотине?

— Сооружается в ударном темпе согласно пятилетке. Идет на вырост. Ну а мы — охраняем. Как положено.

Остро пахло мокрыми утренними грядками, укропом и мятой, что зелено топорщилась у самой завалинки. Гошка с удовольствием потянул носом и подумал, что Денисову тут, должно быть, неплохо: сиди себе газетки почитывай да поглядывай, как соседские котята шныряют в картофельной ботве. Только скучно, наверно,— болеть всегда скучно.

— Вот медку целебного принес.— Гошка поставил на столик берестяной туесок, вокруг которого сразу же замельтешила разная мухота, обрадованно забасили шмели.— Липатовской марки — с лугового дудника. Дед сказывает, дыхание от него прочищает и еще — в глазах светлеет. Пользуйтесь на здоровье.

Откуда-то сверху, с подызбенки, из чердачной дыры, черной тряпкой свалился взъерошенный грач, принялся елозить клювом по крышке туеска. Потом заорал, закаркал, Гошка отпрянул от неожиданности: это еще что за холера горластая?

Денисов мелко засмеялся, закашлялся:

— Каряха — сына моего Борьки найденыш. Отобрали его весной у кота, с тех пор живет на чердаке. Мед любит, стервец. Кыш отсюда! Ты, Полторанин, отнеси-ка туесок в чулан, а то он нам покоя не даст.

Гошка отнес туесок куда приказано, а когда вернулся, грач уже смирно сидел на спинке кровати, цепко обхватив когтями железный прут. Он дважды каркнул на Гошку, сердито и шумно шелестя крыльями.

— Ругает тебя,— сказал Денисов.— Зачем, дескать, сладкого лишил. Но вообще ты ему понравился, потому он и торчит здесь. Любит на людях всякие блестящие штучки, вот как на твоей форме. Только сам-то ты, я гляжу, не шибко этим довольный. Верно говорю?

— Ага,— признался Гошка.— Не по нутру мне эта служба.

— Да уж я удивился. Лошадей больных выходил, воевал за них, а потом взял да и бросил. В безлошадники подался. На форму, что ли, польстился?

— Так ведь повышение определили... И опять же оклад жалования.

— Напрасно поспешил. Дело свое надо прежде любить, а уж все остальное потом. Теперь, как я понимаю, хочешь задний ход отрабатывать? Ты комсомолец?

— Не принимают...— буркнул Гошка.

— Это почему же?

— Да Степка-киномеханик супротив идет. Сперва, дескать, на общество поработай, потом поглядим. А какое там общество? Зеленая пацанва, сопливые заморыши. Чего это ради я на них должен работать?

Неутихшая обида подступила к сердцу: Гошка вспомнил, как на днях скелетистый Степка принародно пытался оголить его, снять новенькую ненадеванную форму, которую Гошка целое утро утюжил через мокрое полотенце. Ведь с умыслом старался, дескать, и форма твоя — тряпье, и часы наградные — побрякушка. Вот захотим — и землю будешь носом пахать.

— Изгиляться надумали! — Гошка в сердцах стукнул кулаком по деревянному столику, да так, что подпрыгнули, зазвенели лекарственные пузырьки.

Каряха-грач тоже подпрыгнул с испугу, боком засеменил по железной дужке, подальше к избяной стене. Оттуда несколько раз прокаркал, недовольно разевая клюв и показывая Гошке острый красный язык.

— Вишь — не одобряет! — посмеиваясь, покачал головой парторг.— Терпеть не может крикливых да нервных. Эх ты, Полторанин! Шишка пареная, нешелушеная! Коли в комсомол собираешься, так знать должен: там на первом месте — интересы общественные, а свои личные — на втором. Понял?

— Это как же так? — искренне удивился Гошка. Он уважал парторга Денисова, знал, что его уважают многие другие люди. Но ведь то, что он говорил, было сплош-

ным перевертышем, никуда и ни во что не влезавшим! Ежели я делаю все для других, то кто же — для меня?

— А вот они самые — все другие. Ты для них, они — для тебя. И не только Степан со своими комсомольцами, но и вся наша страна — социалистическая. «Социалис» — это слово и означает «общественный». Потому что люди иначе жить не могут, понимаешь!

Кое-что Гошка, конечно, понимал — слава богу, не маленький. Шесть школьных классов осилил, в газетах, книгах как-нибудь разбирался. Слышал об этом много раз, да вот не задумывался, как-то случая такого не подходило. Живут люди — значит, правильно живут. Сообща все делают — а как же иначе? Я тебе, к примеру, беличью шкурку добыл, ты, будь добр, выкладывай ту же самую пачку патронов, тобой изготовленную. Я тебе, ты — мне по двойному интересу. Все здесь понятно. А это, выходит, только на совести держится?

— На сознательности, — уточнил Денисов. — На равноправии людей, на уважении друг друга.

— А куды жуликов деть? — спросил Гошка.— Или там подлецов всяких? Я на него работаю, жизнь ему хорошую создаю, он в ответ красиво улыбается, а сам под полой мне фигу показывает. Как тут быть, товарищ Денисов?

— Очень просто: перевоспитывать, переделывать в хороших людей. А которые не поддаются, выводить их чемерицей, мухомором, как постельных блох. Время наступило такое, время человеческого равенства и справедливости. Законы тайги кончились, Полторанин. А ежели еще в чем-то они держатся в Кержацкой пади, то скоро им тоже придет конец. Все люди должны жить хорошо — вот что главное. А для этого каждый должен в первую очередь работать на общество, жить общественным делом.

— Мудрено...— опять задумался Гошка.— Ну никак не доходит до меня! Может, конечно, умом-то я это домаракую, а вот душой... Вряд ли пойму. Душа у меня все ж таки кержацкая, таежная.

— Напрасно на себя наговариваешь! Ведь именно ты, Полторанин, взялся за больных лошадей — за безнадежное и опасное дело. А вот это как раз и был общественный благородный поступок. Так что душа твоя все правильно понимает. Ну а умом, верно говоришь: надо тебе еще до-

зреть. Жизнь подскажет, а еще лучше, если учиться дальше пойдешь. Вот это я тебе советую.

— В армии на командира выучусь. Дед одобряет,— сказал Гошка.

— А что — вполне может быть. Такие парни, как ты, очень нужны нашей Красной Армии. Лихие времена предстоят.

Каряха-грач, освоившись, перелетел на стол и стал долбить медную пуговицу на обшлаге гимнастерки. Гошка поднялся, осторожно взял и пересадил птицу на кровать.

— Так я, пожалуй, пойду, товарищ Денисов. Мне теперича все понятно...

— Погоди, погоди! — рассмеялся Денисов.— Ишь ты непоседливый какой! У меня к тебе еще один вопрос имеется. Да ты сядь.

Присаживаясь, Гошка с сожалением подумал, что вот сейчас-то парторг, наверно, и примется «снимать с него стружку». Не удалось отвертеться. Сдержанно сказал:

— Я, пожалуйста. С нашим удовольствием...

— Говорят, Полторанин, ты награды получил?

— Получил. Часы серебряные, марки «Омега». Вот они. За спасение лошадей. Согласно приказу.

— Ну?

— Что ну? — Гошка обеспокоенно поежился: что-то уж больно прищуренный, колючий взгляд у парторга. Подумав, с некоторым смущением сказал: — Ну и еще... Вы, что ли, лошадь имеете в виду? Так она на Зимовье у деда осталась. Товарищ Шилов сказал: «В благодарность за старание». Но нам она не нужна, дед не хочет. Вот подкормит ее и вернет. Зачем нам государственная лошадь?

— В благодарность, говоришь? — неопределенно усмехнулся Денисов. Сел на лавке, закурил.— Уж очень, я гляжу, любит тебя товарищ Шилов! Хотя, конечно, ты большое дело сделал, но уж слишком щедрая любовь! А?

— Какой там любит! — Гошка неприязненно поморщился.— Вчера вон крик поднял, куда там! Разгильдяй, и все прочее. А я при чем? Сам есть капиталист, так с жиру и бесится. А я отвечай.

— Какой капиталист? Ты о чем?

— Ну, почту самолет выбросил — тот, который потом шлепнулся. Мешок, значит, в озеро угодил, а я нырнул, вытащил. Потом сушил эту самую корреспонденцию. На

солнышке прямо на посту. Правда, не успел высушить. А начальник меня за мокрую почту в оборот взял. Черт те что получается...

— А капиталист при чем?

— Да это я так...— Полторанин неловко поскреб шею.— У него там в письме про наследство написано... Из Москвы какая-то нотариальная контора пишет. Ну я случайно так... Интерес поимел, знаете... Письмо-то расклеенное было.

— И он за это тебя ругал?

— Еще как! Аж побелел весь. Я ему говорю: ничего, мол, не читал, не видел — оно мне надо. А он — в ругань. Страсть какой нервный человек.

— Интересно... Ну а сам-то ты что об этом думаешь?

— Не знаю... Испугался он, что ли. Все-таки, ежели капитал в наследство,— разговоры пойдут. Да чего там, дело известное: они, инженеры некоторые,— из бывших. Или из немцев. А я человек не болтливый, мне плевать. К тому же на службе. Посторонним рассказывать не положено. Мало ли что бывает.

— Ну, а Корытин как?

— Да хам он, и больше ничего. Они с товарищем Шиловым все дружатся. На эти самые, на пикники ездят. Меня тоже приохочивают. Нет, не буду я там служить, в этой постылой ВОХРе! Пропади они пропадом! Уйду.

— А вот этого делать пока не надо, Полторанин! — Денисов накапал в чашку какого-то лекарства из пузырька, выпил, горько поморщился.— Трудно тебе там? Вот это и хорошо, что трудно. А то ты привык к вольготной жизни. Вот теперь и потрудись, потерпи. Это тебе будет задание, как завтрашнему комсомольцу. Слушай сюда...

Ну и дела, шанежки-ватрушки, сыромятны ремешки! Чертыхаясь в душе, Гошка шел прожаренной улицей, ладонью размазывая пот на висках. Час от часу не легче... Ведь все это, надо понимать, пахнет очень серьезным и опасным делом, почище, пожалуй, чем колготня с сапными конями. Дернула его нелегкая подглядывать это подмокшее письмо! Теперь ходи да оглядывайся.

Было такое ощущение, что он неумышленно, ненароком испортил нечто значительное, важное для всех и даром ему это не пройдет, возмездие неминуемо последует, но не сейчас, а позднее, и случится оно неожиданно и неизвестно от кого. Гошка вдруг поймал себя на том, что не идет, как обычно, серединой дороги, а жмется к пали-

садникам, к тесовым заборам и поминутно оглядывается при этом. Устыдившись, он подумал, что бояться ему, в сущности, некого, к тому же он никогда трусом не был. А внезапный страх пришел к нему просто потому, что он впервые в жизни почувствовал настоящую и большую ответственность. Теперь ему приходилось отвечать, а вот как и за что — этого он пока не знал. Оттого, наверно, и трусил — от грядущей неизвестности.

И еще он подумал, что, кажется, куда-то повернул, вышел на какую-то другую дорогу — так бывает, когда вылезешь наконец на хребтовый перевал, и в лицо враз холодно бьет синий простор, пахнущий талым снегом. Неуютно, сурово-сдержанно вокруг, зато дышится легко и хочется идти вперед. И с высоты этой, обозначающей четкую определенность, мелочным и мелким виделось все оставленное позади, все вчерашнее — мальчишеское, зряшное, малосерьезное: и ребячьи потасовки у клубного крыльца, и любовная игра с пустоватой смазливой Грунькой, и даже наградные часы не восторгали — казались лежащей в кармане увесистой речной галькой.

Напротив сельсовета Гошка остановился, поправил фуражку и застегнул воротничок. Пожалуй, он впервые без прежнего презрительного равнодушия глядел на обшарпанное крыльцо, на доску с разноцветными объявлениями. Он недолюбливал этот дом — тут ему не один раз «прочищали мозги» (безуспешно, правда).

Нет, он не обижался — в жизни все происходит в свое время. Почему бы сейчас ему самому не войти в неприветливый «казенный дом» или хотя бы прочитать эти объявления? Ведь для людей писаны, для черемшанских граждан. Стало быть, и лично для него.

Можно начать с этого, самого красивого и броского: «Объявляется переселение на Новозаречную улицу». Ну это не по его части, хотя, по существу, правильно: давно надо вытурить кержатню из замшелой щели, «за ушко да на солнышко».

— Штрафами интересуемся? — ехидно прозвучал с крыльца женский голос.

Гошка обернулся: у перил подбоченилась паспортистка-учетчица Нюрка Шумакова, завзятая клубная артистка. В местных постановках она всегда играла женщин — ругливых, отчаянных и настырных. Какой и сама была в жизни.

— Вон там справа список нарушителей общественно-

го порядка.— Нюрка выбросила картинно руку и показала пальцем, как какой-нибудь матрос на бронепоезде, идущем в атаку.

— А мы не нарушаем,— с достоинством сказал Гошка.

— Давно ли?

— С самого свержения царизма,— сказал Гошка.— А сельсовет посещаем только по общественным делам.

— Да что вы скажете! — пропела артистка-паспортистка.— И какое у вас зараз дело?

— Вот это самое! — Гошка постучал пальцем по плакату на доске.— «Всенародный сбор средств в пользу испанских детей». Выписывайте квитанцию.

— Дак это же производится на предприятии, через профсоюзы. А у нас только единоличные граждане.

— А я говорю принимайте! — Гошка, набычившись, двинулся на учетчицу, поднялся на крыльцо.— Не имеете права глушить патриотический подъем!

Та сразу сменила тон, вежливо защебетала, препровождая Гошку вперед, в распахнутую дверь. В канцелярии Гошка вынул из кармана часы, торжественно поднял их за ремешок и сказал:

— Вношу! Записывайте в ведомость: часы серебряные карманные на двенадцати камнях. От гражданина СССР Полторанина Георгия Митрофановича.

Нюрка-учетчица разинула рот, обмакнула ручку в чернильницу и... решительно отложила в сторону.

— Да ты опять никак пьяный, Гошка?

— Молчать! — закричал Гошка.— Прекратить оскорбление моего достоинства! Иначе напишу жалобу.

На крик сейчас же заглянул в дверь встревоженный председатель сельсовета Вахромеев. Выслушав объяснения, рассерженно обернулся к Гошке:

— А ну, дыхни!

Гошка набрал полные легкие и дыхнул: председатель изумленно поскреб затылок и внимательно разглядывал парня. Затем приказал Нюрке:

— Прими, зарегистрируй и оприходуй. А ты, Полторанин, зайди на минутку ко мне. Разговор есть.

27

Прилетел еще один аэроплан — такой же трескотной, растопыренно-неуклюжий, лягушачьего, зеленого цвета. Этот появился рано утром и не стал куролесить над селом

да водохранилищем, а, будто зная, что ему надобно, сразу нацелился на Выдриху, с ходу прилип к сенокосному лугу, как пчела к патоке.

«Однако ремонтники прилетели,— сообразила Фроська.— А ну как заберут с собой Светлану-летчицу да улетят — я и проститься с ней не смогу!» Фроська быстренько договорилась с бригадиршей, скинула рабочую робу и босиком побежала прямой тропкой к Выдрихе.

Версты две, пожалуй, отмахала и все зря: справа, из села, по пыльному проселку, в урочище накатилась оголтелая орава черемшанской пацанвы — перед ними на пути к самолетам насмерть встал милиционер Бурнашов, дико орал, выкатив глаза и вскинув над головой руку с наганом: «Назад, стервецы!! Стрелять буду!»

Фроську он тоже не пропустил, упрямо крутил башкой и грозился спустить с поводка собаку — видно, совсем одичал мужик за несколько караульных суток у сломанного аэроплана.

Пришлось ей вертаться несолоно хлебавши. А на участке Оксана-бригадирша накинулась: «Пошто на виду у всех прямо перед директорскими окнами побежала? Соображать надо, телка недоенная. Теперь вот иди, объясняйся: вызывают тебя к главному инженеру».

Фроську это не испугало, хотя и приятного было мало: кому охота выслушивать нудное брюзжание мордатого Брюквина, который теперь наловчился часами бродить по стройке, записывая всяческих нарушителей в засаленный блокнот.

Она вымыла ноги, надела резиновые спортивки и отправилась в управление, на ходу закручивая, пристраивая на затылок косу.

В приемной у пожилой напудренной секретарши спросила:

— Ругать меня вроде вызвали? Дак я пришла.

Секретарша посмотрела на Фроськины тапочки.

— Просекова? Не ругать, а беседовать по кадровому вопросу.— И показала на боковую дверь.— Заходи сюда.

В комнате за столом сидели двое: глыбастый пухлолицый Брюквин в вышитой полотняной косоворотке, а сбоку — залетка Коля Вахромеев собственной персоной. При своем русом чубчике и при реденьких еще, но уже солидно выглядевших соломенных усах. Чужой, вежливо улыбчивый и отчего-то заметно настороженный.

Пахло в кабинете начальственно: дорогими папиросами, одеколоном и хромовой кожей (ну это, возможно, от брюквинского портфеля или от Колиной полевой сумки).

— Вот она.— Брюквин широким жестом указал на Фроську.— Бетонщица Просекова, передовая наша работница, стахановка. Вырастили в собственном коллективе. Жалко отдавать. Но раз требуют интересы культуры... Мы понимаем — нужна рабочая прослойка.— Брюквин налил из графина воды, залпом выпил целый стакан и опять сокрушенно повторил:

— Жалко отдавать...

— Куда это отдавать? — удивилась Фроська.

— Да вот относительно тебя, товарищ Просекова, сельсовет ходатайствует. О переводе на клубную работу: завхозом. Девушка ты боевая, инициативная, к тому же на музинструменте играешь. А вообще, с такой внешностью, конечно, надо занимать более видную должность. Ну это мое личное мнение, и я его когда-то высказал.

Фроська все поняла. Исподлобья взглянула на Вахромеева, укоризненно прищурилась: эх, Коленька-соколик, что же ты учудил-принадумал? Не поговорил загодя, ни совета не спросил. Захотел кружным путем, да на людях петлю арканную накинуть, чтобы потом до себя притянуть поближе? Дескать, принародно отказаться побоится, постесняется.

— А я, дорогие начальники,— с улыбкой сказала Фроська,— не только на гармошке играю — еще и пляшу. Цыганочку, барыню, камаринского — все что хошь.

Она опять посмотрела на председателя: у того багрово наливались щеки, под виском поблескивала струйка пота. Наклонил голову, чешет мизинцем в усах. Ишь ты усы-то небось запустил, а ума, доброты сердечной от этого не набрался.

— Любопытно,— крякнул неопределенно Брюквин.— Ты прямо талант самородок, товарищ Просекова. Так тебе, выходит, самое место в общественном клубе.

— Нет,— серьезно сказала Фроська.— Это вам выходит, а мне не подходит. Вы должность дайте, чтобы я командовать могла. Такими, как вы,— уму-разуму учить.

— Что это значит? — Брюквин тоже покраснел, приподнялся, оперся о стол пальцами-пухляшками. Раздраженно повернул голову к Вахромееву: — Видите, я вас предупреждал? Она же скандалистка, я ее знаю.

— Да ладно,— глухо сказал Вахромеев.— Ну не хочет человек — значит, не хочет. Чего же неволить... Пускай идет.

Брюквин отошел к окну, тяжело посопел, раскрывая настежь прихлопнутую ветром раму, сказал оттуда, не оборачиваясь:

— Иди, Просекова. Да кстати, не убегай впредь с работы по личным делам.

— Винюсь,— вежливо сказала Фроська.— Больше не буду.

Ух и злости у нее было на этих толстолобых мужиков — едва сдерживалась! Ведь вот сидят, табачищем смолят и воображают себя вершителями судеб. В доброте — глупы, в неприязни — матерщинники, а ровной золотой середины, где должна быть спокойная рассудительность, у них и вовсе нет. Пустое место, лебедой поросло.

Ну, Брюквин бывший прораб, от которого они умного слова сроду не слышали,— с этим все понятно, объяснимо. А как же Коленька-светлоглазый на такую ахинею сподобился? Ведь завсегда, кажись, в здравом уме находился, да и умеет каждодневно с людскими делами-заботами управляться — не зря же в председателях ходит.

Что с ним-то случилось?

И вдруг Фроську осенило: от любви затмение — вот от чего! Ей-то самой куда легче: одна-одинешенька, и любовь и свобода всегда при ней. Захотела — думай про любовь, не захотела — ложись спать (а сны в последнее время такие интересные, завлекательные, да все — с красивой мечтой!). А ему? Душа, поди, надвое разрывается, сердце кровью исходит: попробуй-ка определись между двух огней, между любимой Фроськой и нелюбимой женой! Тут уж не до рассуждений, когда внутри все пламенем полыхает, тут без разбору, чем попадя, загасить стараешься. Любовь, она такая...

Фроська вспомнила виноватые, грустные глаза Вахромеева, стыдливо спрятанные под стол руки и почувствовала щемящую жалость к нему, укорила себя: ну зачем она так грубо надсмеялась над его добротой? Глупая доброта беззащитна, грех отталкивать, принижать ее.

— Ну что, Просекова? — вывел Фроську из задумчивости скрипучий голос секретарши.— В бригадиры назначили? Молода ты еще для этого — работаешь без году неделя.

— Не угадали.— Фроська невинно потеребила кудряшки над ухом.— На ваше место предлагали, да я отказалась.

Пока секретарша ошарашенно сдергивала очки, она уже выпорхнула в дверь и через две ступеньки пересчитала парадное крыльцо.

Весь день она ощущала какую-то цепкую, глубоко спрятанную, внутреннюю отрешенность. Бегала с тачкой по облитым раствором доскам, говорила с товарками, ходила обедать в столовую — все, как в полусне, когда звуки и запахи доходят приглушенными, а окружающее делается плоским, отодвинутым в смутную дымку. Ей казалось, что она думает: размышляет, взвешивает, сопоставляет, чтобы принять окончательное важное решение. Но на самом деле решение это у нее давно уже созрело, ясно определилось еще утром, когда она сбежала с крыльца управленческого барака.

Перед концом рабочей смены затихшее было ущелье вдруг наполнилось грохотом, который ширился, наслаивался многоголосым эхом и лавиной растекался внизу по логам между скалистых отрогов,— это из Выдрихи поднялись в воздух аэропланы. Парой, уступом вправо, они прошли над плотиной, покачивая крыльями на прощание.

Сотни рук махали им вслед, а Фроська утерла непрошеную слезу и подумала, что теперь ей и вовсе нельзя откладывать принятое решение: советоваться все равно уже не с кем.

Еще утром она заприметила, как вышел из управления Вахромеев, сел на своего мерина и поехал на покосы к Проходному белку. Ну вот — а ей надо совсем в другую сторону.

В общежитие Фроська зашла только за тем, чтобы наскоро умыться да переодеться. Достала из фанерного, недавно купленного чемоданчика, новую кофту-майку, такую же как сняла, только не оранжевую — темно-голубую, тщательно затянула шнурочки на груди (чтобы крестик нательный не видно). А под тапочки надела носки — тоже новые, белые, с черными колечками. Вот и готова: ни дать ни взять барышня-спортсменка, каких в киножурналах показывают — с мячами, с лопаточками-веслами.

Разглядывая себя в коридорном зеркале, она вдруг словно бы разом проснулась, удивленно, недоверчиво отступила от стены: столько тяжелой злости, нехорошего темного огня увидала она в своих собственных глазах!

Может быть, не ходить? Перенести разговор на другой раз? Но не будет этого другого раза, если не состоится сегодняшний. Все что бывает единожды, случается только в свое единственное время...

В сельпо она купила шоколадку, но завернуть ее было не во что, нести прямо в руке — неудобно. И тогда она перешла в другой отдел и купила маленькую сумочку-ридикюль с блестящими шариками-застежками. Правда, стоила она дороговато (хватило бы на двое фильдеперсовых чулок!), зато уж очень нарядно выглядела. Внутри лежало двустороннее зеркальце, пилочка для ногтей и клеенчатый маленький кошелек, в который она всунула оставшиеся, туго свернутые трешки.

Красный ридикюль гармонировал с бордовой клетчатой юбкой и Фроське показалось, что вместе с этой изящной сумочкой к ней пришло какое-то светлое успокоение, похожее на внезапно испытываемую легкость. Она подумала, что красивые вещи обязательно добавляют в человеке нечто существенное, вроде бы невидимо, но четко обрамляют его, и с этими рамками приходится все время считаться. Например, имея у локтя такой вот ридикюль, не станешь лаяться с бабами в сельповской очереди.

И еще Фроська подумала, что хорошо сделала, купив шоколадку,— иначе никогда бы не насмелилась приобрести сумочку-ридикюль. Да и с деньгами поскаредничала бы.

Она прошла вдоль всей улицы, свернула к берегу Шульбы и остановилась перед нарядным, ладно рубленным домом, который ей часто снился и в котором она никогда не была. Толкнула калитку, зажмурившись, точно ныряя в холодный и глубокий омут.

Ступив на крашеную ступеньку крыльца, внутренне перекрестилась: «Мир дому сему, прости господи!» Сама подумала: «А может — война? Она с чем идет-то, разве с добром? То-то и оно...»

Открыла ей Клавдия Ивановна — вахромеевская жена. Оглядела Фроську равнодушно, без интереса, только мельком задержала взгляд на красном ридикюле.

— Вы к Николаю Фомичу? Его нет дома.

— Извиняйте,— сказала Фроська.— Я по другой надобности.

— Ну что ж, проходите.

Фроська ступала напряженно — боязно по половицам, чутко втягивая носом воздух, озираясь по стенам и дере-

вонея спиной, будто приблудная кошка, которую случайно вбросили в чужой дом.

В горнице села на витой деревянный стул, еще раз осторожно огляделась, удивляясь на себя: изба как изба, ничего особенного по сравнению с другими — ну может, чистоты побольше, да картины про заграничную жизнь имеются, а вот поди ж ты — трепещет она отчего-то, осиновым листочком вся внутри мельтешит... Благостным теплом грудь наливается, как подумаешь, что ко всем этим салфеткам, стульям, книжкам прикасается каждодневно Колина рука. А картины, вестимо, сам навешал и смотри-ка удачно как, увесисто: все три на самом оконном свету и на каждой закатное солнышко играет.

— А я вас где-то видела,— сказала Клавдия Ивановна, остро блеснув стеклами очков.

— В школе, наверно,— кивнула Фроська.— Я в ликбез хожу.

— Так какое дело? Я вас слушаю.

Фроська тяжело вздохнула и вдруг поняла, что, пожалуй, не сможет начать разговор. Не умела она обижать людей, а ведь тут надо было обидеть, нанести удар, да еще какой. Вот если бы ее сперва обидели — она бы не уступила, отвечать, слава богу, может, спуску не даст. Нет злости на душе — в этом вся беда. Да и вряд ли сможет разозлить ее эта тщедушная некрасивая женщина с усталыми и печальными глазами.

«Прямо в лоб лепить нельзя,— подумала Фроська.— Ничего не получится, никакого толкового разговора. Баба, видать, слезливая, примется реветь и тогда говори «до свидания».

— Слыхала я, что няньку ищете,— сказала Фроська.— Может, поговорим, поторгуемся?

Очки учительницы опять подозрительно блеснули. Она сухо поджала тонкие губы.

— Вы ошиблись. Ребенок у нас действительно есть, но... Нянька тут не поможет.

— Ага,— сказала Фроська.— Понятно. Стало быть, сами управляетесь?

— Пока управляемся.

Надо было уходить. Однако уйти Фроська не могла — ноги не поднимали. Да и не за тем она мучилась столькими бессонными ночами, чтобы прийти сюда, промямлить несколько минут с этой очкастой пигалицей, а потом спо-

ва брести в полутьме по жизни, прятаться по-воровски по кустам да задворкам.

— А вы чего в ликбезе не преподаете? Али некогда?

Клавдия Ивановна шагнула было в сторону кухни — что-то у нее там кипело, жарилось, — приостановилась, сняла очки, протирая их передником. Вот тут Фроська по-настоящему удивилась: у учительницы, оказывается, были очень красивые брови. Размашистые, пушистые, настоящие «соболиные». А она, дуреха, прячет их под черной стариковской оправой.

— В ликбезе я не работаю потому, что у меня особая учительская специальность. В старших классах я преподаю «биологию и физиологию человека» — так называется мой предмет.

— Ишь ты! — удивилась Фроська. — Сурьезная наука: все, значит, про человека знаете? А вот хочу спросить в таком разе: любовь — это тоже та самая физиология? Или как?

— А вы что, влюблены? — усмехнулась учительница, снова присаживаясь на стул напротив Фроськи. «Робкая какая, — подумала Фроська. — Дома на свою табуретку и то садиться как следует стесняется. Прилепилась сбоку, ровно курица на насесте».

— Любовь у нас с одним человеком, — с гордостью сказала Фроська. — И очень даже большая любовь. Вот как вы говорите — физиология человека.

Клавдия Ивановна откровенно и весело рассмеялась. «А смеется она хорошо, — опять отметила Фроська. — Будто сразу лицом светлеет».

— Я этого не говорила. Видите ли, любовь — это скорее психология человека. А если уж совсем точно: и то и другое. И физиология, и психология.

— Занятно! — тоже улыбнулась Фроська. — Стало быть, прямо по середке находится? Тогда оно и понятно, отчего эта самая любовь запутанная, вроде чащоба таежная. Шишек да синяков набьешь, покудова разберешься. Вы-то сами когда-нибудь любили?

Фроська напружинилась вся, подобралась — она почувствовала, что именно сейчас начинается ее настоящая атака. Пусть-ка ответит, а после — разговор в открытую: чья любовь и чего стоит, кто кому перешел дорогу и становится «третьим лишним».

— Не знаю... Ведь настоящая любовь — это радость, которая достается далеко не каждому человеку. — Она

приподнялась, обеспокоенно оглянулась на кухню, заторопилась: — Извините, у меня там, кажется, горит! Подождите, я сейчас.

И побежала на кухню, оставив Фроську в совершенном недоумении: как понимать сказанное? Выходит, что она не любит мужа? Тогда все проще, но и опять же — сложнее. Вот уж поистине бабья доля: разговоры про любовь вперемешку с пеленками и борщами...

В этот момент стала медленно, неслышно приоткрываться дверь в соседнюю боковую комнату, и, пока она раскрылась, Фроська постепенно цепенела в тягостном предчувствии — вдруг вспомнила испугавший ее вчерашний сон, в котором видела она точно такую же дверь, а за порогом — черную мрачную пустоту.

Дверь наконец распахнулась, и в комнату на маленькой инвалидной коляске въехала девочка: бросились в глаза ее тонкие высохшие ноги в белых чулках, безжизненно лежавшие на ступеньках коляски.

Фроська жадно вгляделась в недетски серьезное лицо, и нарядная горница с цветными салфетками, книжной этажеркой и витыми стульями закачалась, поплыла куда-то. Она узнавала до боли знакомые родные черты: и этот нос с чуть заметной горбинкой, и смелый разлет бровей, и вздернутую верхнюю губу — вылитый Колин портрет... Девочка виделась ей далекой, отчужденно-нечеткой сквозь пелену слез, как через мокрое, захлестанное дождем окно.

Близоруко щурясь, девочка с минуту разглядывала Фроську, потом, толкая руками резиновые ободья колес, приблизилась, жестко ткнулась коляской в ножку стула.

— Ты кто?

Голос прозвучал недружелюбно, в нем, как и в бесцеремонном толчке, Фроська уловила просьбу, даже требование: немедленно уйти! Детское сердце — безошибочно чуткое, она знала это.

В самом деле: кто она, почему и зачем пришла? Ведь она не смогла бы ответить девочке на эти вопросы. С полной определенностью она сейчас знала только одно: третий лишний назван...

Фроська торопливо положила шоколадку на колени девочке, не сдерживая слез, поцеловала ее несколько раз и выбежала из комнаты.

28

Моторную лодку предстояло в спешке не просто загрузить центнером аммонала, но и надежно, намертво закрепить все четыре ящика — Шилов опасался, что затопленная у бьефа лодка, идя ко дну, может перевернуться в воде, по принципу бутерброда. Она могла перевернуться и по другой причине: под воздействием потока, который с силой всасывается в водоприемник гидротуннеля (а именно там, у самой решетки водосброса, должен произойти взрыв — в наиболее уязвимом месте плотины).

Они с Корытиным накануне просидели полночи, обсуждая схему и план предстоящей диверсии, продумывали, взвешивали каждую деталь. А об этом забыли, точнее, просто упустили из виду, не придали значения. И только вечером, за несколько часов до назначенного срока, Викентий Федорович, прогуливаясь по безлюдному гребню плотины и мысленно рекогносцируя уже близкую операцию, вдруг с ужасом сообразил: лодка вполне может перевернуться, и тогда из могучей торпеды с уже зажженным запалом получится пшик: ящики развалятся в воде в разные стороны...

Надо было срочно увидеть Корытина, хотя они и условились до двадцати трех часов не встречаться, чтобы не привлекать излишнего внимания. А между тем Корытина не было поблизости: он находился на небольшом острове, где в бетонированном погребе располагался склад взрывчатки. Он поехал туда якобы по караульным делам, а на самом деле для того, чтобы засветло в последний раз уточнить ночные действия — на острове планировалось убрать первого часового.

Остров представлял собой вершину затопленного холма, и на нем, кроме груды камней, двух громоотводов да постового грибка, ничего не было. Вохровцы считали его самым неудобным постом, гиблым местом, где в непогоду часовых хлестало дождем и проветривало до костей со всех сторон. Корытин для поднятия собственного авторитета даже вышел с ходатайством о строительстве на острове будки-времянки, и ему на это выделили средства. Ну, теперь, надо полагать, кирпичная сторожка не понадобится...

Погода портилась. С севера, от Золотухи, накатывались взъерошенные ветром тучи, наверху, в провалах между слоями, иногда проскальзывали закатные лучи, и от

этого внутри туч вспухали багровые языки, будто пламя сквозь дым огромного костра. Изредка срывались крупные дождевые капли, звучно шлепались на бетон, оставляя черные маслянистые пятна. «Дождь не помеха, — подумал Шилов, — не было бы сильного ветра: поднимутся волны и тогда придется откладывать операцию».

А откладывать нельзя, потому что приходящие дожди — по сути дела, приход осени, время затяжной «падеры», когда тайга неделями мокнет в серой завесе, а проселки, броды, даже горные тропы становятся непроходимыми.

Интересно, сумеют ли они за трое суток добраться до границы, выдержат ли лошади?

На острове несколько раз мигнул красный огонек, — очевидно, Корытин проверял сигнализацию (телефонной связи туда не было). А что, если напоследок рвануть и этот островок — ведь там несколько тонн аммонала? Для эффекта, в качестве прощального фейерверка. Жаль, они вчера не продумали этот интересный ход, а сейчас, когда все рассчитано по минутам, уже поздно. Успеть бы уладить дело с креплением этих проклятых ящиков.

Шилов ладонью притронулся к правому боку, где под френчем во внутреннем кармане лежал пистолет, — жестом, уже ставшим привычным за эти несколько тревожных суток, и с беспокойством подумал, что его соратник Корытин очень легко взялся за исполнение двух «мокрых дел»: ликвидацию часовых. Слишком легко, даже для такого отпетого головореза. Это значит, что с ним постоянно придется быть настороже: он без малейшего колебания способен пристрелить и самого Шилова, а скорее всего — всадить нож между лопаток. Разумеется, он понимает, что за рубежом без Шилова ему дороги нет и убирать резидента, по меньшей мере, нелогично. Впрочем, для таких людей логика не существует.

Как странно устроен мир... Ему, начальнику строительства, предстоит сегодня собственными руками взорвать это грандиозное сооружение. Именно здесь, на стыке плотины с береговой скалой, притопленная ко дну моторка с аммоналом вырвет огромную брешь, в которую хлынет безудержный поток — он будет девятым валом для всех, кто строил несколько лет эту плотину, наивно воображая, что живет внизу под ее несокрушимой защитой.

Вон там, в тени бетонной стены, он заглушит мотор, зажжет шнур пятиминутного горения и откроет донный

люк. Затем по этой рабочей лестнице поднимутся сюда, на гребень плотины. Здесь уже не будет часового, здесь будет «его благородие ротмистр Корытин», а поодаль, в кедровом стланнике, — пара оседланных лошадей.

До всего этого остается пять с половиной часов, а еще точнее — триста тридцать исторических минут...

Вохровцы-охранники недолюбливали Гошку Полторанина. В большинстве своем это был степенный, пожилой люд, а то и стреляный — некоторые из них понюхали пороху еще в гражданскую. Гошку они всерьез не принимали, считая желторотым выскочкой, начальниковым любимчиком, временно пристроенным по каким-то штатным соображениям. Ему втихую делали всякие мелкие пакости: наливали воды в сапоги, прятали винтовочный затвор или солили чай. На большее не решались — за Гошкиной спиной стоял бородатый Корытин с кулаками-кувалдами.

На поблажки рассчитывать не приходилось. И когда на разводе, зачитывая постовую ведомость, Корытин назначал Полторанина на первый пост, он всерьез удивлялся: это был самый вальяжный, самый удобный пост — с телефоном и фанерной будкой. Да и самый близкий от караулки, сюда обычно назначали только стариков. И смена номер два — не тягостная, не сонливая. Прямо-таки подфартило... Вот хромому Кирьянычу, тому наоборот — не повезло, засобачили старого аж на кудыкину гору, на остров. Ну пущай там поежится, комарье покормит, а то больно прилипчивый, разговорный, не язык — коровье ботало.

Кирьяныч принялся было жаловаться, про суставную ломоту рассказывать, однако Корытин быстренько захлопнул ему рот, постучал по носу постовой ведомостью: «Честь оказана — надо понимать! Ожидается ночная проверка караула со стороны высокого начальства».

Гошка смотрел на Корытина, который вразвалку, осадисто прохаживался перед строем, и почему-то вспоминал вороного жеребца Бартыша — из всей конюшни, из всего конского состава, Гошка не любил только его. Да и как было любить этого аргамака, когда он начинен был рысьей хитростью и звериной злобой: брал из рук сахар и тут же кусал. А то лягал исподтишка, не предупреждая фырканьем, как делали другие жеребцы.

«А ведь этот тоже может лягнуть под самое дыхало,— беспокойно подумал Гошка, косясь на Корытина. — Эвон, глаз-то, как у Бартыша: угольный, с кровяным отливом. Неспроста добренький сегодня. То кулак вечно совал, а то на лучший пост выдвинул...»

Корытин о чем-то говорил со «стариками» на левом фланге, недовольно сопел в бороду, потом резко повернулся к Гошке:

— Ну, а ты, Полторанин, как думаешь? Какие твои будут действия?

Гошка замешкался — вопрос-то прослушал. На всякий случай сказал:

— Я — как положено. Как гласит инструкция.

— А как она гласит?

«А черт ее знает... В ней вон поболе двадцати листиков — затертых, засаленных, захватанных. Поди в ней разберись...»

— Это смотря по обстановке, — твердо сказал Гошка.

— Дурак! — выругался Корытин. — Стоишь на разводе, а сам ворон ловишь. А ну расскажи обязанности часового!

Это Гошка знал: отчеканил, отчитал, как по писаному.

Однако Корытин все не отходил от него, придирчиво приглядывался, буравил прищуренными глазами. Гошка осторожно тянул носом, удивлялся: гляди-ка, совсем трезвый! Знать, и вправду нынче начальство на проверку пожалует. А какое начальство? Ведь выше Шилова в Черемше начальства нет, а Корытин с ним в приятелях ходит: не ему бояться Шилова. К чему же тогда этот шум, вопли-сопли насчет бдительности и марафету? Интересно...

Весь вечер, находясь в составе бодрствующей смены, Гошка ощущал какую-то непонятную встревоженность, словно бы еще днем не успел или забыл сделать очень важное дело. И никак не мог отделаться от этого постоянного беспокойства, озабоченности. Что бы ни делал, все валилось из рук: подметал караулку — мусор не в то ведро высыпал, разлил на полу керосин, заправляя резервные лампы. Карнач Корытин, в конце концов, его отругал и велел ложиться спать перед заступлением на пост. «Опять, наверно, самогону вчера набрался!» — подумал Гошка.

Прикрывшись на нарах брезентовым плащом, Гошка попытался заснуть, но вскоре понял, что ничего из этого

не выйдет. А наблюдая за необычно деятельным Корытиным, неожиданно для себя сообразил: вся его взбудораженность идет от карнача. Корытин был сегодня просто не похожим на самого себя: суетился, то и дело глядел на часы, зачем-то часто выходил на крыльцо. Неужели он с таким нетерпением ожидает проверяющего?

Потом Корытин и вовсе озадачил. Во-первых, под полой его синей стеганой фуфайки, перехваченной ремнем, Гошка заметил чехол охотничьего ножа. Ну это еще можно было как-то объяснить: завзятый охотник всегда при ноже, иной вон и за столом хлеб режет охотничьим тесаком — для собственного удовольствия.

Но вот то, что случилось позднее, заставило Гошку съежиться под плащом: почистив и смазав наган, Корытин отпер железный ящик с резервными боеприпасами, долго рылся там, пересчитал обоймы. Потом, хлопнув крышкой, незаметно сунул за пазуху холщовый мешок с запасными наганными патронами — Гошка хорошо знал этот мешочек, его каждый раз при смене караула фиксировали по описи. Зачем он понадобился Корытину?

Выпрямившись, Корытин внимательно оглядел спящих караульных. Гошке сразу сделалось жарко под накрытым с головой плащом. Приглушенно кашлянул и опять вышел на крыльцо. Гошка прислушался: может, там, во дворе, кто-нибудь ждет его? Нет, вроде бы тихо, никаких посторонних шагов...

Гошка лежал, прислушиваясь к замиранию, заячьей стукотне сердца, и вспоминал разговор с председателем Вахромеевым. «Подозревать не умею. Это как?» — «Под сомнения брать, ежели не натурально». — «А ежели натурально?» — «Еще раз проверь, на глаза не надейся. Вот вода мокрая — а ты пальцем попробуй. Удостоверься». Ишь ты, все ему подавай натуральное, а у самого усы не настоящие, будто в клубной гримировочной приклеены — так и хочется дернуть, попробовать.

Но ведь мешочек-то холщовый перекочевал за пазуху Корытина... Не в тир же он стрелять собрался на ночь глядя? А куда собрался? Может, спросить?

«Любопытной Варваре нос оторвали». Это — Варваре. А другому, глядишь, могут и голову оторвать. Запросто.

Пойти, пожалуй, покурить в коридор — все равно уже десятый час, скоро заступать на пост.

Гошка поднялся, осторожно из-за косяка заглянул в окно: Корытин стоял на освещенном крылечке, крепко

вцепившись в перила, глядел куда-то вверх — на Золотуху, а может быть, на бегущие тучи, гадал: будет ли дождь?

«Будет, — подумал Гошка. — Однако не раньше, чем к рассвету. Ежели с вечера побрызгал и не пошел, значит, жди только утренний дождь. Дедова примета — верная».

Над плотиной уже начинал тянуть полуночный свежак, когда Гошка принял пост. В студеном ветерке начисто отсутствовали запахи, и это потому, что шел он с белков, где даже в середине лета были лишь серые пустынные скалы да редкие оселки подтаявшего снега. И все-таки свежак бодрил, приятно просветлял глаза, вдыхать его было легко — он будто сам вливался в легкие первозданной родниковой чистотой.

Гошка дважды прошелся по плотине, поглядел в сторону караулки — там сменившиеся часовые разряжали на освещенной площадке оружие, — подумал и решительно зашел в будку. Покрутил ручку телефона, попросил соединить с квартирой Вахромеева.

Председатель, видно, не спал еще, голос был бодрый.

— Это говорит Полторанин. Ага, тот самый. Так можно мне завтра прийти к вам по строительному делу?

— Насчет участка?

— Ага. Решил строиться.

Это был условный разговор, который придумал Вахромеев. Для председателя он означал боевую тревогу и, следовательно, бессонную ночь. А что он будет делать, когда и какие предпримет меры — Полторанина это уже не касалось. Ему так и сказано было: «Позвони, а дальше — гляди в оба. Вот и все».

Может, он напрасно всполошил человека? Ведь тот же Вахромеев предупредил: «Попусту панику не подымай». А как тут проверишь: напрасно или по делу? Не полезешь же за пазухой шарить у Корытина, это все равно что медведя на щекотку пробовать...

Ладно, ничего страшного не случится, если председатель ночь недоспит. Вон у самого Гошки, сколько их таких ночей уже набралось.

Прошел час, пошел другой — все было тихо, спокойно. Замедлили бег тучи, уже не клубились, как вечером, а лениво расползались в стороны от Золотухи, освобождая над левым ее гребнем чистое местечко для рогатого заходящего месяца. «Ущербный, — подумал Гошка. — Стало быть,

скоро навалится «падера». Да и время уже — осень подходит».

Запахло тиной из-под бьефа, зашлепали о бетон волны — нагнал-таки ряби свежак. У караульного причала послышался шум шагов, потом взревел мотор: вот это, наверно, и появился проверяющий. Начнут, поди, с дальнего поста.

Однако моторка описала полукруг, явно направляясь сначала к плотине. Гошка включил лампу-фару, повернул головку, направляя луч вниз, на воду. В освещенной лодке сидели двое: Корытин, а за рулем проверяющий — товарищ Шилов. «Чего это он за руль уселся? Обычно управлял сам Корытин».

Карнач помахал рукой, сделал знак: дескать, сейчас идем к острову, а потом сюда. Бодрствуй и будь готов. Гошка молодцевато пристукнул прикладом: «Мы завсегда начеку» — и выключил прожектор.

Дальше все тоже было по-обычному: на острове Кирьяныч осветил проверяющих, затем дважды мигнул красный сигнал: «Идет проверка поста» — и островок опять пропал в темноте.

Гошка начал беспокоиться: что-то долго они там копаются, уже минут двадцать прошло. Не взялись ли экзаменовать старика? А может, моторка не заводится? С ней такое бывает: барахляный мотор. Наконец помигал красный фонарик: «Все в порядке».

И тут Гошку ни с того ни с сего начал колотить озноб. Он вдруг представил себе, как от самой воды, из черной пугающей пустоты поднимается по железной лесенке кряжистый бородатый Корытин, у которого под ватником отточенный медвежий нож.

«Начальник караула ко мне, остальные — на месте!» Вот он и идет к тебе, приближается, нацелив налитый кровью глаз. Да еще ощерится: «Ты меня зовешь — вот он я».

Потом возьмет и скажет: «Опусти ружье, не мандражируй! И стой смирно». Будешь стоять, куда же денешься...

А моторка между тем стрекотала в стороне от острова. Ага, причалила к противоположному концу плотины — зачем бы это? Кажется, кто-то высадился. Вылез на гребень и направился сюда.

Что это за выкрутасы, и почему лодка снова ушла во тьму, в сторону острова?

Уже слышались глухие шаги по бетону, и Гошка мог поклясться, что это идет Корытин: «Ишь ты, хитрюга, задумал из темноты подобраться, проверить!» Вогнал патрон в патронник и приготовился крикнуть: «Стой, кто идет?» Однако — неожиданно шаги затихли и... стали удаляться, причем теперь шаги были другие, явно торопливые, будто Корытин уходил, испугавшись чего-то. Но ведь он даже не успел окликнуть его!

Гошка растерянно оглянулся и вдруг увидел сзади, на прибрежном бугре, рядом с бараком управления, три смутных силуэта: отсюда, снизу, они вырисовывались на фоне неба, чуть оплавленные слабым лунным светом. Значит, вот кого увидел Корытин!

А внизу, у среза плотины, лихо пришвартовывалась моторка. Едва заглох мотор, как сразу же вспыхнула спичка и заискрился, затрещал желтый огонек. Гошка, ничего не понимая, метнулся к фаре, щелкнул выключателем и обомлел: в лодке стоял товарищ Шилов с горящим бикфордовым шнуром в руках!

Увидев Гошку, он обезумело вытаращил глаза и упал на колени, пытаясь сунуть шнур между полосатыми картонными ящиками.

Но в это время откуда-то сбоку гулко хлопнул выстрел.

29

В Черемше третьи сутки шел обложной дождь...

А над Испанией с прежней летней щедростью ярилось солнце, обливая позолотой новенькие крылья «юнкерсов», идущих в пике на кварталы республиканской Барселоны; равнодушно поблескивало на плексигласе горящего советского «чатоса», сквозь который было видно окровавленное мертвое лицо пилота — добровольца из Калуги.

В Берлине подметали афишный мусор вокруг Олимпийского стадиона и подсчитывали валютную выручку, тщательно дезинфицируя отели, где проживали зарубежные спортсмены. Газеты вспухали новым приступом антисоветской злобы, пестрели дешевыми комплиментами в адрес плосколицых «сынов богини Амотерасу», отбросив и забыв предупреждение кайзера «не иметь ничего общего с желтой и черной расами».

Готовился антикоминтерновский пакт, готовился Нюрнбергский фашистский съезд-партайтаг, тот самый,

на котором Адольф Гитлер, имея в виду нападение на Советский Союз, провозгласит, захлебываясь в крике: «Мы готовы в любой момент! Я не потерплю!» А в одной из имперских канцелярий на Вильгельмштрассе готовилось личное дело на новоиспеченного обер-лейтенанта Ганса Крюгеля — инженера военно-строительного ведомства Тодта, специалиста по «русскому Востоку»...

В Москве было облачно, временами шел дождь, температура в пределах нормы — двухмесячная жара завершилась осенним спадом. В Колонном зале заканчивался судебный процесс над троцкистскими лидерами, которые долгое время вредили и пакостили, прикрываясь лживыми раскаяниями и фарисейскими заявлениями.

Начался очередной призыв в ряды РККА граждан 1914—1916 годов рождения, на крупных заводах проводились показные учения дружин МПВО, газета «Правда» ввела постоянную рубрику: «Фашизм — это война».

А в Черемше держалась «падера» — разверзлись хляби небесные. Кержацкая щель дожевывала постные госпожинки и встречала третий спас — нерукотворного образа. Но без обычного подъема: в тяжкой хвори денно и нощно кряхтела уставница Степанида, беспрестанно шепча запекшимися губами молитву-заговор: «Марья Иродовна, приходи ко мне вчера...»

Из тайги вернулся милиционер Бурнашов с пятеркой комсомольцев, изодранные, исцарапанные, измочаленные до нитки, — дым стоял над запаренными крупами коней: Корытина не перехватили — ушел, варнак двужильный. И милицейский Музгарка, наученный следу, не помог: какой там след, когда вся тайга водой взялась, не поймешь, где небо, где земля.

Мокли на кержацкой околице яровые обжинки, заготовленные для молодежных утех на Наталью овсяницу, в рабочей столовке потягивали пиво глазастые загорелые парни в кожаных куртках, приехавшие ночью из города вместе с новым начальником строительства. Его никто еще не видел, но передавали, что он бритоголов, крут, разговаривает басом и не терпит курящих. Пустили даже слух, что он будто бы из кержаков, только не из местных, а из бухтарминских.

А еще поговаривали, что имя бывшего начальника инженера Шилова всплыло на московском процессе и поэтому будет непременно пропечатано в газетах с другими наймитами и врагами народа. Однако проверить это

было трудно, потому что свежие газеты в Черемшу поступали не часто, а в тех, что привезли с собой «кожаные ребята», фамилию Шилова не нашли.

На четвертые сутки со Старого Зимовья приехал дед Липат и привез бочку свежего, только что намаханного меду. Это значило, что ненастье кончается. Дед Липат чуял перемену погоды не хуже таежных муравьев. Медом он торговать не стал, а сдал всю бочку в столовую по коммерческой цене, потом в сельмаге купил белую рубашку, шевиотовый костюм и китайские пляжные туфли-тапочки: дед собирался помирать нынешней осенью.

В Кержацкой пади Липат, как и обычно в прошлые редкие свои визиты, поругался с кержацкими старостами, наведался к больной Степаниде и сказал, что за лечение не берется — поздно. Уже к вечеру на конном дворе он сдал под бумажку казенную лошадь и пешком отправился на свою заимку, так и не пожелав увидеться с Гошкой: он считал, что парень вовсе сдурел, согласившись на пост начальника ВОХРа, пусть хотя бы и временно.

Ночью вызвездило и похолодало, в мокрых логах пухли стылые туманы, а огромная гладь водохранилища сделалась полированно-стеклянной, перерезанной надвое небесной пастушьей дорогой. У самой плотины плавал в воде нечеткий рогулистый месяц, похожий на размазанную в тетради запятую.

Утром, при первом солнце, пошла парить тайга... Голубые, сиреневые, лазоревые столбы поползли вверх, стоймя, торчком подымаясь к небу, высасывая мокроту из набухших пихтачей и осинников. Заискрилась, замельтешила брызгами Черемша, будто выдра, отряхнувшая на берегу влажную шкуру.

В сельсовет пришел Устин-углежог и сказал, что ему осточертело прокисать в этой зачуханной Кержацкой щели — пущай нарезают пай и выделяют участок для дома на Новозаречной улице, он будет сегодня же завозить камень для фундамента.

От углежога пахло свежей гарью, как от головешки, только что залитой водой. Вахромеев ему сказал:

— Один начинать будешь, стало быть...

— Почто один? — насупился Устин. — Егорка Савушкин уже застолбил. Да со мной еще два артельщика-углежога тоже порешили. Однако скоро подойдут. А ты, брат, готовь бумаги на всех, на всю улицу.

— Это зачем же? — не понял Вахромеев.

— А затем, что нонче в день всю улицу застолбят, попомни мое слово. — Ухмыляясь, Устин поковырял пальцем в заросшем ухе. — Кержаки — подражательный народ. Ты ему только протори стежку — враз толпой кинутся. Каждый боится: как бы не обделили, не обошли — вот оно что. Понял, председатель?

— Сомневаюсь... — покачал головой Вахромеев.

— Может, на четверть ударим? — Углежог протянул ладонь, черную и широкую, как печной совок.

Вахромеев отступил, отшутился, дескать, дело не в споре, а в истине, в справедливости. Он ведь не о себе думает, а о людях. Вон зима на носу, и ежели решаться на переселение, то именно сейчас — потом поздно будет. Ну, а насчет того, чтобы поставить четверть, он никогда не против — была бы веская причина.

— Правильно говоришь, — одобрительно прогудел углежог. — Вот мы тебя и уважаем: за людей болеешь. Ты, поди, думаешь мы не понимаем, куда нас, кержаков, советская власть зовет? Все понимаем. Только таких крепких мужиков, как Савватей, с ходу не обойдешь, на мякине не объедешь. А они народ в кулаке держат. Ну да и мы не лыком шиты — тоже кое-чего могем. Так что готовь ордера на переселение — верно говорю.

Дядька Устин непривычно расшевелился от такой длинной речи, хотел было напиться, но, повертев в руках хрупкий стакан, отчего-то не стал в него наливать — поставил обратно на стол.

— Болтают, будто плотину хотели взорвать. Ай брешут?

— Пытались, — сказал Вахромеев. — Да не вышло.

— От варнаки, язви их в душу! Говорят, ты их споймал, та ишо Гошка Полторанин? Верно?

— Было дело.

— Ит-ты! — Углежог изумленно помотал лохматой головой. — А я того Гошку маненько, стало быть, причесал на троицу... Он ведь, Гошка, шебутной. А так ничего парень. Нашенский, кержацкий. Ну дак я побег, давай свою бумажку.

Вахромеев проводил его во двор и там, у крыльца, встретил еще двоих углежогов-кержаков из Устиновой артели. Эти вели себя деловито и собранно, никаких вопросов не задавали, видать, все у них уже было обдумано, определено, да и торопились — их на улице ждала грузовая телега-бричка.

После выданных трех ордеров Вахромеев в приподнятом настроении осанисто расположился за председательским столом и, покуривая, поглядывая через окно во двор, стал ждать: кто там следующий? Однако прошло полчаса, и народ явно валом не валил, похоже, Устиново пророчество было замешено на обыкновенном бахвальстве.

Вдруг, углядев что-то вдали на склоне Березового седла, председатель вскочил, схватил со стола ведомость с ордерами, на ходу бросил бумажки перед носом изумленной паспортистки и выбежал во двор. Отцепив от коновязи повод, махнул в седло, галопом погнал мерина.

Дорога по крутому склону виляла петлями: от одного дальнего лога к другому, будто впопыхах брошенная, нераспрямленная веревка. А тот, кого догонял Вахромеев, шел прямой тропкой, срезая углы-повороты.

Они встретились уже у самого перевала, где в редком низкорослом листвяжнике тропа снова выходила на дорогу, — присаживая каблуками Гнедка, Вахромеев сумел-таки на последней петле опередить и первым выскочить к седловине.

Она была в том же стареньком сером платье, в каком он встретил ее первый раз — еще тогда, в Авдотьиной пустыне. За спиной — дорожная торба, а в руке — модная красная сумочка, которую она зачем-то купила несколько дней назад (может, уже тогда собиралась уходить?). Именно эту сумочку он сразу увидал из окна сельсовета: будто запоздалый цветок марьина коренья вспыхнул на склоне горы.

Монашка с мамзельской сумочкой. Чудна́я девка...

Появлению Вархомеева она не удивилась: видела, как он гнал лошадь по серпантину, как мелькала в пихтачах его выгоревшая гимнастерка.

— Шальной ты, Коля. Гляди-ка — коня запарил.

Вахромеев ничего не сказал, спрыгнул на землю, пошел рядом, тяжело переводя дыхание, словно не на лошади, а пешей рысью сам отмахал эти несколько километров.

Он шел и с каждым шагом ощущал нараставшее холодное жжение в груди — как в детстве, когда однажды наглотался сосулек и полдня стынул, маялся горлом перед тем, как надолго до беспамятства заболеть. Как и тогда, медленно меркнул свет в глазах, утрачивая краски и четкость. Унылым, серым, плоским становилось все окружающее.

Тряхнул головой, взглянул вверх и понял: легкая одинокая тучка задернула солнце. Невесело подумал: может, и у него будет так же — ненадолго, временно?

— Чего молчишь? — усмехнулась Фроська. — Торопился, лошадь было не загнал, а теперь язык отнялся. Ну спрашивай.

— А! — Вахромеев в отчаянии махнул рукой: чего спрашивать-то? И так все ясно. Он слишком хорошо знал ее, чтобы не задавать бесполезных пустых вопросов, не уговаривать, не умолять: то, что она решила, то будет только так и не иначе. А она конечно же решила...

— Рассчиталась на стройке?

— Не. На что мне расчет? Деньги получила — позавчера получка была.

— Где тебя искать-то?

— А нигде. Считай, что меня нет.

— Может, напишешь?

— Нет. Я же сказала: нету меня.

На перевале остановились. Фроська сдернула платок, подставив ветру разгоряченное лицо. Тяжелая тугая коса, упруго вздрагивая, упала на спину.

— В летчики ухожу, Коля. Светлана звала, вот и адресок у меня тут, в сумочке. Учиться буду, в мотористы сперва пойду. А уж потом — в небо махну. Ты, поди, не веришь?

— Верю... — сумрачно вздохнул Вахромеев. Уж он-то знал: задумает — сделает. Не девка — веретено кедровое.

— Ты, Коля, не серчай, и плохо про меня не думай. Для нас обоих так нужно, ты это пойми. Ступай домой, у тебя жена, дочка... А я половинками жить не умею и не хочу. По мне — либо все давай с горкой и присыпкой, либо — не надо ничего. Обойдусь, проживу.

Ни слез не было, ни вздохов — только короткий прощальный поцелуй. Сухим, горьким показался он на каленом ветру...

Ее легкая фигура уже скрылась за поворотом, а Вахромеев все так же изумленно и растерянно оглядывал окрестный листвяжник, кое-где забрызганный первой желтизной, будто старался навсегда запомнить это пустынное место, где так внезапно резко повернула его судьба, начисто оборвав вчерашние радости и надежды...

А слева, внизу, его ждала Черемша — неугомонная, прилипчивая, сварливая и добрая, полная людской суетности и припрятанных подвохов. Ленивая по утрам, буй-

ная по праздникам, песенная и ласковая теплыми летними вечерами. Она даже не звала его, уверенная в том, что он, Кольша Вахромеев, от роду и до самой смерти принадлежит только ей и что дальние дороги для него заказаны навсегда. Она просто ждала.

Он обернулся, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды крыш и вдруг уловил какую-то перемену в давно привычном пейзаже: что-то вроде бы сместилось или добавилось лишнее?

Радостно вздрогнул, сообразив, в чем новизна: пустое раньше Заречье жило муравьиной суетой. От самого моста и до Касьянова луга пестрели бабьи сарафаны и мужские рубахи, несколько телег вытянулось вдоль будущей улицы, а с краю, неподалеку от лесопилки, синими хлопьями дыма поплевывал гусеничный трактор.

Зашевелилась Черемша, тронулась Кержацкая падь!

Вахромеев представил прямую будущую улицу и подумал, что она развернется в строгом створе с самой плотиной, словно рожденное ею продолжение, вечный живительный корень, уходящий в зеленое буйство тайги...

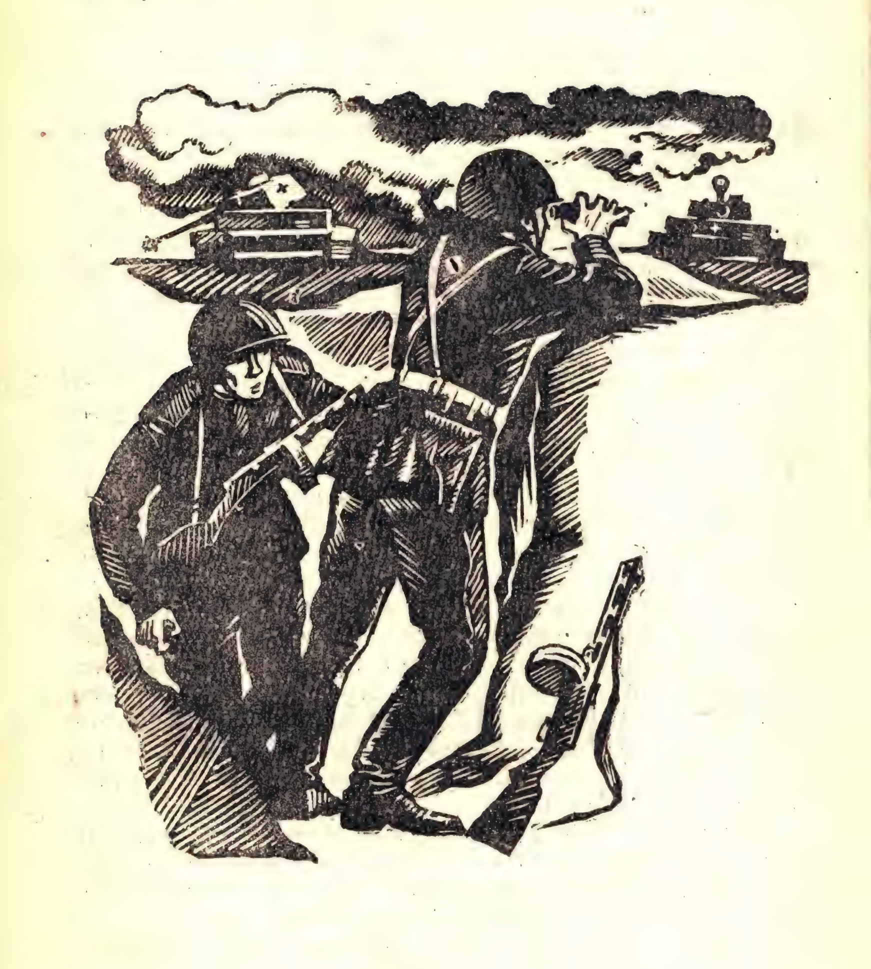
Будут шуметь ветры, падать и таять снега, придут тяжкие дни лихолетья, но люди окажутся сильными, выстоят и выдержат все, потому что загодя копили годами силу, спрессовывая ее в граненых глыбах таежных скал.

Они думали о будущем и оставили этот след в завтрашний день.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОПЕРАЦИЯ „РУМЯНЦЕВ„



«И бысть сеча зла...»

Летопись

Пришел день, когда дрогнула, заколебалась чаша весов Истории.

Это случилось в июле тысяча девятьсот сорок третьего года в самом центре России, на знаменитой Курской дуге, которая гигантским коромыслом полгода держала на весу накапливающуюся боевую мощь противоборствующих сторон: в районе Белгорода — на одном конце, у Орла — на другом.

Здесь были сосредоточены лучшие дивизии во главе с лучшими генералами, самая новейшая боевая техника и самая грозная артиллерия. Советской обороне, местами глубиной до трехсот километров, противостояли немецкие танковые армии, те самые, что стальными лавинами неудержимо рвались на восток летом сорок первого и подошли чуть ли не к стенам самой Москвы. Они и сейчас, нацеленные на Курск, как на Ногинск два года назад, занимали свои традиционные фланги клещей.

Оберкомандовермахт [1], согласно приказу фюрера, начинало решающую битву войны — детально спланированную, всесторонне подготовленную операцию «Цитадель». Она должна была завершиться окружением и разгромом войск наиболее сильных Центрального и Воронежского советских фронтов и в последующем перерасти в операцию «Пантера» — с выходом немецкого танкового клина на оперативный простор.

В бункерах «Вольфшанце» [2] хорошо были осведомлены о мощи советской обороны, о крупных, технически оснащенных группировках Красной Армии, о ее стратегических резервах в ближайшем тылу. Но тем лучше — значит, больше будет перемолото советских дивизий: фюрер жаждал реванша за Сталинград.

Полководцы вермахта стремились получить генеральное сражение, как когда-то Наполеон стремился к Бородино. С той лишь разницей, что они не задумывались

---

[1] Верховное главнокомандование немецко-фашистской армии.

[2] «Волчье логово» — ставка Гитлера в Восточной Пруссии, в районе Растенбурга.

над уроками прошлого, они даже как следует не знали, зачем им, собственно, новое Бородино?

Они уже забыли, что всего лишь полтора года назад было Московское сражение, после которого растеряли свои чины и звания более сотни генералов, в том числе главнокомандующий сухопутными войсками фельдмаршал Браухич, они успели забыть колокольный звон по Сталинграду, «Готтердеммерунг», «Их хатте айн Камераден» [1] и похоронные марши Зигфрида — все это еще недавно транслировало германское радио.

Они рвались в решающую битву, которая должна была переломить затянувшуюся войну, четко, раз и навсегда определить ее исход. «Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира», — велеречиво гласил приказ фюрера, не уточняя, однако, что факелы имеют разное предназначение, в том числе и в похоронных процессиях.

В самый канун битвы, безросной июльской ночью, советские разведчики приволокли в траншею «языка» — немецкого солдата-сапера, который проделывал проходы для танков в минном поле.

— Эс бегинт ум цвай ур Берлинер цайт! [2] — ухмыльнулся немец и выразительно показал на циферблат: оставалось полтора часа.

— Врешь, фриц! — сказал советский комбат. — Оно начнется по московскому времени.

Спустя некоторое время ураганный шквал контрподготовки обрушился на немецкие позиции, на солдат и танковые колонны, изготовившиеся к наступлению.

Багровое зарево «катюш» известило мир: исторический час пробил.

1

Полковник Ганс Крюгель давно не видел ничего подобного: исковерканные, вспаханные снарядами поля источали трупное зловоние; казалось, само чрево земли, зеленовато-черное в рассветных сумерках, разлагалось, вспоротое плугом войны.

Трофейный «додж» медленно полз по проселку, шофер-ефрейтор, высунувшись из-за ветрового стекла, старался не соскользнуть с проторенной колеи — по обочинам еще полно было русских мин.

---

[1] «Гибель богов», «Был у меня товарищ».

[2] Это начнется в два часа по берлинскому времени.

Шел восьмой день «великого наступления». На северном фасе, у Орла, в полосе девятой армии, оно уже захлебнулось — «лев обороны» генерал Модель безуспешно бросил в бой две последние резервные дивизии. Здесь, на обоянском направлении, кажется, намечался долгожданный успех.

Впрочем, обстановка прояснилась только вчера, после прорыва к Прохоровке танкового корпуса СС генерала Хауссера. А до этого несколько суток танковые дивизии Гота и Кемпфа тщетно пытались ликвидировать так называемый Донецкий треугольник в междуречье Липового и Северского Донцов, где упорно вросла в землю русская армия — ею командовал генерал с труднопроизносимой фамилией Крюченкин.

Треугольник острием своей обороны будто расщепил танковый клин и застрял, подобно кости в собачьей пасти, разъединив наступающие колонны четвертой танковой армии и оперативной группы генерала Кемпфа. Но теперь, как сообщают, эсэсовский корпус заходит в тыл русскому треугольнику, отрезая его от фронта. А левее устремился на Обоянь брошенный Готом в прорыв танковый корпус генерала Кнобельсдорфа.

Сегодняшний день должен решить многое — не случайно генерал-полковник Гот, командарм опаленной Сталинградом «четвертой танковой», прибыл в передовые колонны наступающего эсэсовского корпуса. «Готт мит унс» [1] — шутливый пароль ветеранов «четвертой» Крюгель уже слышал час назад на понтонной переправе.

Он с облегчением вспомнил об оставшейся позади переправе, потому что вдали, слева в рассветной дымке, пластались над самой землей черные хищные силуэты советских штурмовиков, шедших на первую бомбежку.

Солнце еще не взошло, но его тягучий, матово-серебристый свет падал отраженным от высотных облаков, и это временами напоминало мертвенную призрачность лунной ночи. Росы не было, над проселком лениво тянулся пыльный хвост.

«Додж» остановился у опушки небольшой дубравы: часовой-танкист потребовал пароль. Затем эсэсовец без особых церемоний велел оберсту выйти из машины и предъявить служебные документы. Просматривал он их долго, нарочито дотошно.

[1] «С нами бог!» — девиз, начертанный на немецких солдатских пряжках. Здесь — игра слов («Готт» — по-немецки «бог»).

Крюгель, разминаясь, оглядывал рощу, напичканную танками, как спелый подсолнух семечками. Дубняк, конечно, маскировал плохо, потому что весь был иссечен осколками, искорежен взрывами — вчера тут шли бои. Лесом и не пахло, несло бензиновой гарью, остывшими снарядными гильзами. И еще чуть слышно доносился запах кофе — танкисты, вероятно, завтракали.

Вспомнив про свой термос, полковник полез было за ним в машину, но удивленно замер: совсем рядом, громко и чисто, по-деревенски задорно прокричал петух. Откуда он здесь?

— Любимец нашего командира полка! — усмехнувшись, пояснил часовой. — Сопровождает нас от самой Франции и ни разу не ранен. Прошел всю кампанию в командирском танке. Кстати, майор Бренар вас пока не может принять.

— Почему?

— Он бреется.

— Но у меня срочное дело! — возмутился Крюгель.

— Ничем не могу помочь, господин оберст. — Часовой лениво тряхнул на груди «шмайсер». — Десять минут ждать, таков приказ.

Спорить с этим белобрысым молодчиком не имело смысла, тем более как часовой — он прав. Крюгель налил себе кофе из термоса, достал бутерброд и расположился на пеньке позавтракать, чтобы не терять попусту время.

В который раз за эти два военных года ему опять пришла мысль о неисповедимости судеб и путей человеческих... Зачем и почему он здесь? Не вообще в России, которой когда-то помогал строить будущее, а, в частности, тут, на лесной меже, средь перепаханного войной, огромного страшного поля, угнетающего взор библейской пустынностью. Зачем здесь эти замызганные танки с налипшей кровью на траках, этот дерзкий юнец с вороненым автоматом и галльский петух с его тоскливым криком, напоминающим «глас вопиющего в пустыне»?

Высоко в небе, освещенный солнцем, шел самолет-разведчик «Дорнье» — в ясной голубизне за ним тянулся едва заметный белесый след. Крюгель поднял голову, равнодушно вгляделся и вздрогнул: совершенно неожиданно, прямо на глазах, самолет вдруг взорвался — очевидно, от прямого попадания зенитного снаряда. Вспух черно-оранжевый шар, беспорядочно кувыркаясь, вниз полетели обломки...

— Капут! — сплюнул часовой. — Еще один минус команде генерала Десслоха[1].

Крюгель с искренним сожалением, даже с горечью подумал, что вот именно такая картина должна была произойти в небе под Смоленском ровно четыре месяца назад. И не произошла... К великому несчастью человечества.

Самолет, которому надлежало так же неожиданно и внешне беспричинно взорваться в воздухе, взлетел в пятнадцать часов с военного аэродрома в Смоленске. На его борту находился Адольф Гитлер в окружении адъютантов — он возвращался в «Вольфшанце» после посещения штаба группы армий «Центр». Это было тринадцатого марта. И именно в этот день, благополучно вернувшись в ставку, Гитлер вечером подписал пресловутую директиву № 5, которая стала истоком операции «Цитадель».

Курской битвы, этого танкового Бородино, могло не быть, если бы вовремя сработала подложенная в самолет специальная химическая мина...

Ганс Крюгель тогда впервые близко видел фюрера, буквально на расстоянии штабного стола. Даже стоял рядом, когда Гитлер вручал ему Большой немецкий крест. Потом был трехминутный разговор о строительстве позиции «Хаген» на орловском выступе — полковник Крюгель назначался ответственным по линии инженерно-саперного управления.

Фюрер выглядел предельно усталым: землисто-черное лицо, отекшие веки, дрожащая правая рука, локоть которой он поминутно поддерживал здоровой левой рукой. Тем не менее он был приятно возбужден, все еще находясь под впечатлением вчерашнего большого совещания в «Вольфшанце»: на нем обсуждались перспективы новой летней кампании на Востоке.

«Какие могут быть перспективы?» — с недоумением думал Крюгель, слушая вместе с другими награжденными офицерами сбивчивые рассуждения фюрера: летом вернуть все, что потеряно зимой, нанести новые сокрушительные удары, подавить новейшей сверхтяжелой техникой... Но особенно удивительной была поговорка, которую фюрер со значительностью повторил дважды: «Русский характер это: рад — до небес, огорчен — до смерти». Пси-

---

[1] Командующий 8-м авиакорпусом, поддерживающим ударную группировку Гота.

хологические крайности! Вот чем надо руководствоваться в вооруженной борьбе с русскими.

«Боже мой, а Сталинград, а недельный траур по нему? — уныло думал Крюгель. — Разве это не явилось смертельным огорчением для немецкого народа?» Трудно было поверить, чтобы этот нахохлившийся, дряблый больной человек, еще несколько лет назад с полной серьезностью заявлял на совещании германского генералитета: «Я — незаменим! Судьба рейха зависит лишь от меня!»

Главное, что запомнилось от этой встречи: сверлящие беспокойные глаза, взгляд которых невозможно было выдержать. В них виделась опустошенная смятенность.

Несмотря на полученную награду, полковник Крюгель имел основание на равнодушие, даже на критический взгляд: он знал, что через несколько часов в самолете главнокомандующего произойдет взрыв. Он шел к этому известию несколько лет, начиная с тридцать девятого года, когда старое социал-демократическое руководство во главе с Герделером взяло его на учет, включив в тайную оппозицию гитлеровскому режиму.

Правда, по-настоящему оппозиция начала действовать только в последнее время, когда уже выяснилось, что фюрер окончательно зарвался и его восточная авантюра стала совершенно бесперспективной. За спиной оппозиции стояли финансово-промышленные круги, ориентирующиеся на Британские острова, на выход из войны при помощи англичан.

Бомба для фюрера была английского производства, ее-то и подложил в портфеле давний приятель Крюгеля полковник фон Тресков — начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр» (он попросил одного из адъютантов фюрера передать несколько бутылок армянского коньяка близкому другу из штаба оберкомандовермахта).

Но бомба не сработала — на высоте замерз взрыватель...

Два лихорадочных часа провел Крюгель в кабинете фон Трескова, ожидая телефонного звонка — вести о гибели «юнкерса» специального назначения. Потом фон Трескову пришлось срочным самолетом посылать в Растенбург одного из своих офицеров, чтобы перехватить злополучный портфель.

Да, все это было, как его и не было... Словно вспых-

нувший на мгновение огненный шар взрыва в утреннем небе: ни от него, ни от самолета не осталось и следа.

— Ви гейт эс, герр оберст! Энтшульдиген зи! — приветствовал Крюгеля и одновременно извинился командир танкового полка. — Кто вы и что привело вас в это пекло?

Майор был молод, приземист, белозуб, с хорошей, даже чуть щегольской спортивной осанкой — всем этим он явно располагал к себе. Рукава комбинезона закатаны до локтей, как и у часового, — своеобразными прямоугольными складками. В этом, видимо, был стильный почерк эсэсовского корпуса, сразу напомнивший Крюгелю бесшабашную удаль пропыленных солдатских колонн сорок первого года.

Крюгель предъявил штабное предписание: ему необходимо лично видеть командующего армией.

— Это нереально! — Майор снял с головы суконную пилотку, шлепнул ею о ладонь. — Сегодня предстоит жаркий день: мы должны захлопнуть мышеловку и превратить в блин проклятый треугольник. Генерал Гот где-то в передовой дивизии, а где именно — никто не знает.

Опять в дубняке пропел петух: вытянув руладу, оборвал ее на высокой ноте и сердито забормотал, будто выругался облегченно после надсадного крика.

— Слышите: «герр Питер» уже зовет нас в бой! — рассмеялся командир полка. — Он чует кровь и всегда безошибочно предсказывает нам победу.

— Вы уверены в успехе? — осторожно спросил Крюгель.

— А почему бы нет, черт побери! — Майор достал из нагрудного кармана трофейный русский «Беломор», зубами прямо из пачки вытянул папиросу, щелкнул зажигалкой. Все это с подчеркнутой легкой небрежностью. — Даже при теперешнем нашем состоянии я не сомневаюсь в успехе. Хотя за эти дни у нас выбита половина танков. Сотня танков осталась на дивизию, представляете?

— Маловато... — посочувствовал Крюгель.

— А все потому, что мы или разучились воевать, или в штабах сидят невежды. Да, да, это я говорю вам, как представителю высшего штаба! Где видано, чтобы танки прорывали оборону? Это дело пехоты, а танки предназначены для ввода в прорыв и развития успеха. Азбучная истина, доннер веттер!

— Возможно... — Крюгеля несколько смутила чрезмерная напористость танкиста. — Но, очевидно, пехотных

частей не хватает. Это, во-первых. А во-вторых, подвергать критике приказы высшего командования...

— А, бросьте валять целомудренника, оберст! — Майор опять с дерзким смехом хлопнул пилоткой о ладонь. — Ведь вы боевой офицер — я вижу по наградам. И наверно, еще помните славное утро «Дортмунда» [1]? Угадал?

— Верно. Я начинал у Белостока.

— Так зачем же кривить душой нам, старым фронтовикам? Я эльзасец и горжусь своей прямолинейностью. Я люблю воевать, как когда-то любил мотоциклетные гонки. Но, черт возьми, давайте же воевать грамотно! Зачем бросать нас, танковую гвардию, на минные поля и противотанковые пушки?

— Война — это сплошной узел неожиданностей.

— Конечно. Но вы для того и сидите в штабах, чтобы предусмотреть их, предвидеть. На то вы и называетесь оперативными работниками.

— Но я, между прочим, не оператор, а инженер-строитель.

— В самом деле? Так какого дьявола мы спорим с вами, оберст? — Танкист удивленно вытаращил черные, навыкате глаза, расхохотался. — В таком случае идемте, я предложу вам завтрак. И постараюсь связаться с командующим по телефону.

Командир полка цепко ухватил Крюгеля под локоть, повел к себе, попутно объясняя, почему именно он недолюбливает, даже не терпит «этих чванливых пройдох-операторов из высших штабов». Они учат тому, чего не умеют делать сами.

У майора-танкиста, как и у его галльского любимца «герра Питера», оказался задиристый, истинный петушиный нрав — в этом Крюгель воочию убедился, как только они спустились в командирский, наспех оборудованный блиндаж. Не успел Крюгель опорожнить солдатский котелок, а Бренар уже переругался с полдюжиной штабных телефонистов и вышел на командующего армией.

Телефонную трубку на длинном выносном шнуре майор не передал Крюгелю, а легко и небрежно бросил — точно в руки, как перебрасывают друг другу кегли опытные партнеры.

— Говорите, оберст! Генерал Гот у аппарата.

---

[1] Пароль в час нападения гитлеровской Германии на СССР.

Слушая полковника Крюгеля, командующий раздраженно пыхтел в трубку (слышимость была отличной). Затем хрипло и резко сказал:

— Чепуха! Если вы приехали инспектировать оборонительные позиции, так меня они вовсе не интересуют. Тем более на харьковском направлении — я не собираюсь туда возвращаться. Совсем не собираюсь, вы слышите, оберст? Я завтра буду в Курске. Вам понятно?

— Яволь, герр генерал!

— В таком случае нам не о чем больше говорить.

— Но господин генерал! У меня пакет от начальника инженерно-саперного управления генерала Якоба. А в нем, как я полагаю, предписание самого фюрера.

Очевидно, это подействовало. Командующий помолчал, гулко кашлянул в трубку.

— Тогда возвращайтесь в Белгород, оберст, и передайте пакет генералу Бернуту, моему начальнику штаба. Да! Что там у вас за му́зыка бордельная слышится? Впрочем, понятно: вы же говорите от этого Бренара...

Крюгель недоуменно положил трубку, только теперь заметив, что майор-танкист, разглядывая карту на походном столе, тихонько наигрывает на губной гармошке веселый мотивчик. Ну да, эльзасский старинный вальс «Три бука росли у дороги...»

— Что, бодается старик? — сочувственно подмигнул майор. — Между прочим, терпеть не может музыку. Признает только одну «симфонию» — лязг танковых гусениц.

Крюгель огорченно вздохнул: надо было возвращаться. Жаль, что неспокойная, тревожная ночь потрачена впустую, а теперь к тому же предстоит дневной обратный путь, еще более трудный и опасный.

На севере уже громыхала артиллерия, утробный гул волнами накатывался оттуда. Всходившее солнце никак не могло пробиться сквозь космы густой пыли: по проселкам, прямо по целине, срезая гусеницами линию горизонта, двигались танковые колонны. Воспаленный солнечный глаз, багровый и тусклый, нырял в черной клубящейся пелене. Это было похоже на разгорающийся пожар.

Майор Бренар сопровождал Крюгеля к машине.

— Я понял, что вам сказал генерал: отступать нам нельзя. Потому что мы сделали ход ва-банк. Или — или. Если проиграем это сражение, значит, проиграем всю войну. Не останется никаких надежд.

Крюгель хотел сказать, что ему лично все это было совершенно ясно еще после Сталинграда, а тем более теперь, когда англо-американские войска два дня назад высадились в Италии, — Германия никогда не выигрывала войну на два фронта. Но он понимал, что говорить этого не следует, хотя бы потому, что перед ним не тот собеседник. Майор-танкист был из когорты кое-где сохранившихся еще с сорок первого года бесшабашных «спортсменов войны», азартных, самоуверенных, не умеющих и не желающих рассуждать. Жизнь только начинает их подталкивать к этому, и полное отрезвление наступит не скоро.

— Зачем же такая категоричность? — скупо усмехнулся Крюгель. — Я полагаю, что для пессимизма нет оснований: наша армия достаточно сильна. Кстати, как показали себя новые тяжелые «тигры»?

— Машина, конечно, хорошая. Но их пока очень мало, к тому же они не вполне оправдали надежды. «Тигр» силен лобовой броней, а борт его не выдерживает даже танковые русские пушки. И потом технические недоработки. Я вчера бросил на дороге свой командирский «тигр» — забарахлил и отказал мотор. Сегодня иду на старом испытанном T-IV.

— Ну что ж, желаю успеха, майор! Как говорит фюрер: «За нами провидение». Хайль Гитлер!

— Зиг хайль! — Танкист выбросил вверх правую руку, а левой ловко открыл дверцу автомобиля. — Скажу откровенно, герр оберст, вы мне понравились, как содержательный человек. Хочу дать добрый совет: перехватите где-нибудь другую машину. Днем опасно: не ровен час, таранят наши. Тут такая неразбериха!

На всякий случай майор предупредил, что опознавательный сигнал «я — свой» — две белых ракеты. Это если на «доджа» вдруг вздумают спикировать «мессершмитты» или «фокке-вульфы».

— А насчет Курска можете не сомневаться: завтра к вечеру будем там. Слово Бренара! Сегодня мы разотрем Ива́нов в порошок своими гусеницами. Вот так!

Улыбаясь, майор стиснутыми ладонями выразительно показал, как именно будут отутюжены и стерты русские оборонительные позиции.

Дубняк уже окутался сизым дымом — оглушающе ревели танковые моторы.

— Готт мит унс! — крикнул на прощание Крюгель и подумал снисходительно: «Блажен, кто верует»... Только потом, отъехав, осознал, что подумал и сказал это про себя — по-русски.

2

Генерал жил цифрами. Они входили в сознание, обступали его с утра каждого дня, едва он просыпался, и сопровождали потом ежеминутно. Шел ли счет на десятки, сотни, тысячи — любая цифра была весома, значительна, непререкаемо решающа, начиная от общего количества боеготовных танков, боезапаса снарядов, горючего и до расчетных километров суточных бросков танковых колонн.

Здесь, в резерве, в тревожном затишье фронтового тыла, все эти цифры выглядели аккуратно-стабильными, четкими, надежными. Однако генерал знал, какую потенциальную опасно-стихийную силу таят они в себе до самой последней минуты перед сигналом атаки, в какие неожиданные драматические уравнения может расфасовать их вдруг огненная динамика боя! Цифры побед, цифры потерь, поражений — и во всех в них счет идет на человеческие жизни. Страшная и горькая арифметика войны...

Старый кавалерист-буденновец, в конце двадцатых годов пересевший с лошади на танк, генерал в общем-то не любил цифры: они отдавали академизмом, школярством. Но боевой опыт уже давно научил относиться к ним уважительно и с почтением, хотя бы потому, что командир в любую минуту должен знать, сколько и чего у него под рукой. Кроме того, как он воочию убедился в тяжкие летние месяцы сорок первого, война моторов внесла существенную коррективу в расхожую солдатскую формулу, наглядно показала, что теперь воюют «и числом, и умением». Тем самым «числом», которое определяет внушительные единицы технической мощи.

Светало. Генерал выпил кружку колодезной воды, которую по утрам ставил на стол адъютант, поглядел в окно, чуть сдвинув горшок с геранью: во дворе было пусто, только в углу, у кустов, смутно проглядывалась фигура часового.

Бойко, с хрипотцой постукивали старые ходики. Над циферблатом — выцветший лубок: семейная компания во главе с розовощеким дедом вытягивает из грядки бока-

стую спелую репку. «Тянут-потянут, вытянуть не могут...» А время-то идет, а ходики стучат...

Зыбкой, страшно непрочной показалась вдруг утренняя тишина, словно сотканная из хрупкой паутины шагов-секунд, отсчитываемых деревенскими ходиками. Случайный снаряд или случайная граната — и оборвется счет, самый простой, самый главный, на который бусами нанизываются все прочие арифметические сложности жизни.

Подтягивая гирю на ржавой цепочке, генерал подумал о своих корпусах и бригадах, которые вот уже сутки ускоренным маршем спешили к передовой и где-то сейчас, в перелесках и балках, останавливаются на утренний привал. Затихают перегретые дизели, чумазые танкисты выпрыгивают из башен на пыльную броню, весело позвякивая солдатскими котелками...

В соседней горнице генерал подошел к столу, склонился над оперативной картой с нанесенными на ней свежими данными. Покачал головой: надо спешить... Уж очень растянулись колонны, а механизированный корпус явно отстает от графика движения. Надо координировать, подтягивать, подгонять.

За ночь положение на переднем крае почти не изменилось — а это самое существенное. Все-таки мудро поступила Ставка, удержавшись от соблазна первыми перейти в наступление. А ведь находились горячие головы, были звонки, увещевания, обоснованные на первый взгляд предупреждения: можно упустить момент!

И вот теперь все встало на свое место. У Орла немцы уже выдохлись, а здесь Манштейн окончательно увяз в нашей глубоко эшелонированной обороне. Его «танковое зубило», заостренное «тиграми» и «пантерами», затупилось за несколько дней и все больше начинает напоминать столярное долото, которым впору лишь выковыривать сучки. Стальная цепь обороны ему явно не по зубам. Почерк Манштейна тот же, что и под Сталинградом, когда он в целях деблокировки котла пытался под Котельниковом танковым клином взломать нашу оборону. Вот уж поистине: «урок не пошел впрок».

Впрочем, как сказать... Под Обоянью и Гостищевом положение критическое, не зря же Ставка спешно бросила в огонь сражения крупные силы из состава Резервного фронта. Генерал Гот (а ведь это он наносил удар в районе Котельникова в середине декабря!) захватил Ши-

пы — плацдарм на восточном берегу реки Псел, его танковый корпус опасно нацелен на Обоянь, а там и до Курска рукой подать. Все может решиться в двое-трое суток.

Тогда, в заснеженных Сальских степях, все тоже решилось в два дня — генерал хорошо помнил. Буранные сумерки, смутные ряды немецких танков, затушеванные поземкой — они двоились, троились, множились, постепенно перечеркивая пологий приречный склон. А потом горели. И было что-то зловеще-обреченное в черных факелах, пылающих на белом снегу, что-то необъяснимо бессмысленное и в то же время созвучное с теми вычурными девизами, под которыми шли в атаку эти танки. «Зимняя гроза», «Удар грома» — так именовали в гитлеровской ставке и в штабе группы армий «Дон» осатанелые попытки атакующих танковых колонн.

Пристрастие немецкого командования к крикливым названиям операций, тактических маневров всегда удивляло генерала, вызывало презрительную усмешку. В них виделось нечто дилетантское, опереточное, балаганно-претенциозное.

Он считал, что кодированное название обязательно должно иметь весомый подтекст, глубоко скрытый истинный смысл. Вот как «операция Румянцев». Тут за кодовым шифром красноречивая история. Не только блистательные победы генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского — выдающегося русского полководца, но и его новаторский творческий стиль, как мастера крупных боевых операций.

«Операция Румянцев» еще впереди — она начнется лишь после того, как враг будет остановлен и отброшен на исходные позиции. К сожалению, его танки, по первоначальному замыслу предназначенные для наступления в оперативной глубине, для нанесения стремительного удара Белгород, Харьков, теперь перенацелены. Они должны с ходу закрыть брешь, явиться чем-то вроде стабилизирующего фронт «танкового пластыря». И еще неизвестно, как это будет выглядеть реально: поспешной ли обороной или наспех подготовленным контрударом. Все определит время, эти вот серые, невзрачные, засиженные мухами, часовые стрелки на ходиках, их неровный, но неумолимый ход.

Многое пока не ясно...

Что представляют собой хваленые немецкие T-VI, пресловутые «тигры»? Какие они в бою, по зубам ли на-

шей тридцатьчетверке?.. Те два экземпляра, что недавно демонстрировали командирам-танкистам на московской трофейной выставке, честно говоря, производили убедительное впечатление. Выгодная приземистость, стомиллиметровая лобовая броня, которую не берет даже наша дивизионная пушка, внушительное башенное орудие — не ствол, а прямо-таки громоздкое бревно! Правда, «тигры» неповоротливы, слишком тяжелы (56 тонн!) — под Ленинградом, у Мги, в мае они оконфузились начисто, увязли в болотах. Но здесь, в этакую сушь, на открытой степной местности, они будут иметь вполне хорошую маневренность.

Уже известно, что дальний танковый бой с «тигром» невыгоден: немецкие «ахт-ахт»[1] пробивают броню Т-34 с дистанции в два километра, а наши могут рассчитывать на эффект, только сблизившись на 300—400 метров. Да и то лишь по бортовой броне.

Цифры, цифры, чтоб им ни дна ни покрышки... С кругляками-нулями, за которыми толщина крупповской стали, с крючковатыми тройками, заносчивыми пятерками, пузатыми самодовольными восьмерками — целый дрессированный хоровод цифр, пляшущий, пестрящий тоннами, литрами, штуками, километрами...

А люди? Где они, за этой бесконечной вязью цифр, за глухим частоколом, прячущим от глаз самую суть, как за деревьями, скрывающими лес?

Чтобы рассчитать и вычислить победу, мало знать глубину солдатского окопа, суточный расход боеприпасов, нормы артиллерийской, авиационной поддержки, даже — научно обоснованную калорийность солдатского котелка. Надо еще знать, а главное — чувствовать, нечто неизмеримо большее. То, что не поддается ни арифметическим подсчетам, ни сложным математическим выкладкам...

— Потанин!

Из-за брезентовой ширмы-шторы в передней мгновенно появился адъютант — богатырского сложения молодой капитан (генерал любил рослых и сильных людей).

— Как погода?

— Полный ажур, товарищ генерал! Правда, ночью прошла гроза, но это там, западнее. У нас только побрызгало.

---

[1] 88-мм пушки «тигров».

— Давай завтрак и звони в авиаполк. Будем там через тридцать минут.

— Есть!

У генерала была привычка, укоренившаяся, пожалуй, еще с гражданской: каждый новый день он начинал с осмотра «хозяйства». Когда-то он просто с подъема обходил казарму, пытливо вглядываясь в молодые лица красноармейцев; потом требовалась уже лошадь, чтобы объехать эскадроны, построенные для утренней разминки, а еще позднее, в предвоенное лето, он объезжал расположение танковой бригады на увертливой штабной эмке.

Правилу этому не изменил и на фронте, хотя тут наведываться в части и подразделения куда сложнее, а иногда опасно — под огнем или бомбежкой. Но иначе он не мог, потому что твердо знал: солдат безоговорочно верит в командира, только если хорошо знает его в лицо, знает его настроение. А еще лучше, если всегда видит его в бою или хотя бы перед боем.

Честно говоря, он и сам не мог жить без этого, не мог уверенно руководить, начинал теряться перед бумагами, напичканными цифрами, а оперативная карта переставала внушать ему доверие. Впрочем, он не раз убеждался, когда аккуратно разрисованные на карте надежные позиции, на местности оказывались клочками обугленной, адски перепаханной, совершенно безлюдной земли...

К аэродрому они подъехали к назначенному времени, хотя ничего специфически авиационного не увидели: полусгоревший остов старой колхозной фермы с парой грузовиков у стены и большое поле впереди, буйно заросшее бурьяном, как многие поля прифронтовой зоны.

Более того, тут вовсю шел сенокос: пятеро косцов, голые по пояс, дружно вскидывая литовки, шли прокосом вдоль опушки. Шли ровно, чисто и споровисто, сразу было видно — мужики дело свое знают. Даже издали сладкий дух кошеного луга щекотал ноздри.

— Эй, артельщики! — крикнул адъютант Потанин, поднимаясь на сиденье открытого генеральского «виллиса».— Вы чьи будете? Не гвардейцы ли Волченкова?

То, что косари — солдаты, не подлежало сомнению: зеленые штаны хб, обмотки, тяжеловесные армейские ботинки — «давы». Один из них, пожилой черноусый дядька, подошел к «виллису», мельком глянул на бронетранспортер с охраной, присмотрелся к генералу (он был в

комбинезоне без погон, в простой офицерской фуражке) и сразу дернул косу, приставил ее к ноге, как винтовку.

— Здравия желаем, товарищ генерал! Ефрейтор Троеглазов из сто восемнадцатого БАО. Производим откос взлетной полосы.

Генерал довольно улыбнулся: любил, когда его узнавали солдаты. К тому же ему явно импонировали солдатские усы, почти такие же, как у него самого,— ну может, чуть с излишней лихостью подкрученные кверху.

— По росе, значит, шуруете, Троеглазов?

— Так точно, товарищ генерал! Она, роса то есть, ровно смазка на литовке. А уж потом при жаре не то. Больно дерет трава.

— Да уж знаю,— сказал генерал.— Сухостой всегда жесткий. Жало тупит.

Ему вдруг страшно захотелось помахать литовкой, ощутить в руках ладный гладко струганный черенок, передающий в мускулы ритмичную упругость срезанной травы. Он легко выпрыгнул из машины, взял косу у солдата. Тот обрадованно выхватил из кармана отшлифованный огрызок-оселок.

— Позвольте навострить, товарищ генерал?

— Обойдется.

Генерал уже не мог отпустить из рук косу, чувствуя, как она прилипла, прикипела к ладоням. Взмахнул раз, другой, третий — пошел по прокосу, с радостью сознавая, что теперь уже не скоро сможет остановиться. Коса сама властно тянула его вперед, звенела, пела, повизгивала. Молодец ефрейтор, ай да наладил-навострил косу — просто играет в руках!

Солдат шел следом по стерне, покрякивая, солидно советовал:

— Пяткой, пяткой больше прижимайте! С навесом да уклоном — вот так, самый раз...

В конце опушки, за стеной жимолостника, взлетела зеленая ракета, генерал остановился, приподняв фуражку, вытер мокрый лоб: а ведь там верно и замаскированы у них самолеты. Ловко летуны свой аэродром сработали!

Пора было возвращаться. Он с сожалением вернул косу, поблагодарил ефрейтора, а когда пожимал руку, удивился: до того твердой, заскорузлой, угольно-черной оказалась его ладонь. И широкой, как печной совок-шабала.

— Ты никак из шахтеров, Троеглазов?

— Углежог я, товарищ генерал. Ну, а еще смолку курил — деготь березовый. Это, как говорят, по совместительству.

— Косу ты здорово подогнал! По-нашему, по-сибирски: сошничек-то с вывертом поставил.

— А я и есть сибиряк. С Алтая.

— Ну спасибо, земляк, удружил! Я-то сам из Новосибирска, Новониколаевска по-старому. Много вас тут, сибиряков-алтайцев?

— Ежели взять наш БАО, так получается я один,— охотно пояснил ефрейтор, с удовольствием прикуривая генеральскую «казбечину». — А в летчицком полку есть еще, как же. Землячка моя служит — отчаянная девка! Вон, глядите, как раз ейный самолет тарахтит: только что запустили мотор.

Генерал шел по голой, выкошенной опушке, издали придирчиво поглядывая на трещавший «кукурузник», с которого уже снимали маскировочные ветки. Хорошее настроение, кажется, начинало угасать: уж не на этом ли самолете предстоит ему лететь в компании с «отчаянной девкой», как выразился старый солдат?

Генерал не то чтобы не уважал женщин, скорее, он не одобрял их присутствия на войне, которая, считал он, из всех плохих и хороших дел на земле, является сугубо мужским, и только мужским делом. Он никогда не мог забыть гибели на его глазах целой роты лыжниц-спортсменок, розовощеких симпатичных девчат. Они должны были нарожать в будущем кучу ребятишек, их ожидали впереди счастье и любовь, светлый семейный очаг, а они остались недвижно лежать на декабрьском подмосковном снегу в новеньких полушубках, простоволосые, в алых подтеках замерзшей крови...

Санинструктор, медсестра, телефонистка, повариха, наконец,— все это куда ни шло. Но боевая летчица... Интересно знать, много ли их таких в авиаполку связи?

— В моей эскадрилье только одна! — доложил майор Волченков, ловко убирая под козырек выбившийся чубчик.

— Хм... Да ты вроде гордишься этим? — хмуро сказал генерал.

— Так точно, товарищ генерал, горжусь. Таких летчиков, как старшина Просекова, надо еще поискать. Истинный талант. Плюс воля, смелость, тактическое мышление.

— Ну, ну. Словом, амазонка.

Комэск пожал плечами, не особенно угадывая смысл генеральской интонации. Опять поправил упавшую на лоб прядь.

— Если вы имеете в виду тех самых легендарных амазонок, которые...

— Тех и имею,— сухо отрезал генерал.— Каких же еще?

— Не могу знать...

— То-то и оно.

Генерал сумрачно размышлял: может, отказаться от полета с этой «амазонкой»? Пусть дают другого летчика, лучшего в полку, как было приказано. Потанин ведь при нем звонил и дважды повторил: «Выделить самый надежный самолет и лучшего летчика». Ну значит, так они и выделили.

Да и нехорошо отказываться, могут подумать черт знает что. Испугался, мол, старик, струсил лететь с бабой. Тот же бугай Потанин станет ухмыляться...

— Ладно,— сказал генерал.— Веди к самолету.

«Кукурузник» оглушительно трещал, пропеллер поднял ураганный вихрь — опробовали мотор, а комэск в это время тщетно напяливал кожаный шлем на массивную генеральскую голову.

Потом, сбавив обороты, «амазонка» выпрыгнула из кабины и стала докладывать, однако генерал ничего не слышал из-за проклятого шлема, плотно сдавившего голову, уши. Недовольно махнул рукой: какие уж тут церемонии...

Летчица была глазастая, с этаким недовольно-неприступным выражением на лице. Кожаная куртка сидела на ней ловко, пожалуй изящно, а вот офицерские бриджи явно не гармонировали, излишне обтягивали женские прелести. «Взяла бы брюки на размер больше, что ли,— недовольно подумал генерал.— А то общелкнулась, как кукла».

— Ты, слышь-ка, дочка, не очень выкаблучивай насчет разного там пилотажа. Я этого не люблю. Поняла?

Она язвительно усмехнулась, повела бровью:

— Да уж как-нибудь не растрясу, товарищ генерал.

— Чего, чего?

— Не растрясу, говорю! Не беспокойтесь.

«Экая неуважительная! — поморщился генерал.— Избаловали ее мужики — одна на эскадрилью. Надо будет

после полета хорошенько прочистить ей мозги, чтобы знала, как разговаривать с начальством».

Потанин подсадил его на крыло и в кабину, потом отойдя от самолета, вытянулся, взял под козырек, непонятно почему восторженно тараща глаза. А помахал на прощание не ему, своему генералу, а, похоже, летчице — со сладенькой прохиндейской улыбочкой. Ну ясное дело: разве этот сердцеед-юбочник пропустит смазливую рожицу? Даже в боевой обстановке умудряется шастать ночами: не случайно же утром доложил о ночной грозе. «А у нас только побрызгало...»

Что поделаешь — жизнь берет свое. Да оно и понятно, правильно, иначе и сама-то война теряет свой смысл, ведь в конечном счете ведется она ради жизни. Хрупкой и прекрасной своей хрупкостью, вот как эти капли на целлулоидном козырьке кабины — дрожащие под ветром, мерцающие голубым светом, словно июльские звезды, готовые исчезнуть в следующее мгновение...

Самолет взлетел, чуть завалился вправо и на бреющем пошел над полем строго на запад. Взошедшее солнце припекало затылок, слепило глаза, отражаясь от стекол приборной доски. Генерал приладил переговорное устройство и сказал в раструб:

— Давай, дочка, выходи на шоссе и вперед. По маршруту.

— Есть!

В зеркальце на стойке центроплана он хорошо видел ее лицо: твердый овал подбородка, разлом бровей под стеклами пилотских очков. Подумал с симпатией: «Мордочка-то смышленая», но, опять вспомнив ее ехидную ухмылку у самолета, поморщился.

— Не туда смотрите, товарищ генерал.

Он ничего не ответил, погрозил ей кулаком в зеркало, дескать, много на себя берешь, сибирячка.

Внизу шла танковая колонна, кое-где командиры машин, стоявшие в открытых башенных люках, приветственно махали «кукурузнику». Догадывались: летит «батя». Самолет шел чуть левее шоссе и генерал узнавал знакомые номера боевых машин, пропыленных, но еще блестевших заводской краской. Что-то их ждет завтра утром, которые из них споткнутся на минных полях или жарко запылают, проломленные бронебойными болванками?.. Но большинство, несомненно, пройдут сквозь огнен-

ное горнило, почернеют от пламени-копоти и, закаленные, рванутся дальше — на Белгород и Харьков.

Танки, танки, танки... Плоская стальная череда, похожая на заводскую транспортерную цепь, тянулась бесконечно на многие десятки километров, падая в ложбины, опоясывая овраги, черно и тяжело разрезая раздольные пшеничные поля.

Это было внушительно. Впечатляла не только огромность танковых колонн, их вздыбленная тяжеловесная броневая мощь, но и решительная, по-хозяйски уверенная открытость боевого марша: корпуса и бригады шли днем по совершенно открытой местности.

Еще несколько дней назад, в тылу, соблюдалась строжайшая маскировка, заметали даже следы гусениц, привязывая к танкам охапки хвороста. Теперь маскироваться было некогда, да и незачем. Танки шли в бой прямо с марша. Правда, в этом имелся риск, но риск оправданный: колонны прикрывались истребительным щитом, к тому же вся немецкая авиация целиком была задействована над Обоянью и Гостищевом.

Он приказал летчице взять вправо, чтобы выйти на второй, параллельный маршрут. Его беспокоил небольшой рывок в сторону, который, как это следовало из утренней сводки, допустили отдельные подразделения мехкорпуса.

Видно, «амазонка» хорошо знала полетную карту — уже через несколько минут она уверенно показала рукой вниз: вот они, ваши мотострелки! Колонна бронетранспортеров и САУ снова выходила на предписанный маршрут; оказывается, отклонение произошло из-за разрушенного моста.

Промелькнули и остались позади головные подразделения. Все в порядке: можно был возвращаться на аэродром, в штабе его ждали срочные дела. Однако генерал неожиданно приказал:

— Вперед, дочка!

Ему хотелось хотя бы в общих чертах увидеть лежащую впереди местность, незапыленные, не раздавленные сотнями гусениц проселки. И еще, честно говоря, взглянуть: далеко ли там немцы?

— Опасно, товарищ генерал,— предупредила летчица.— У нас ведь с вами все бортовое оружие — два пистолета.

— Вперед, тебе говорят!

Самолет слегка взмыл, выскочил над пригорком, и под крыльями замельтешили крыши небольшого хутора.

Генерал велел еще подняться, еще набрать высоты: уж очень ему не терпелось заглянуть за горизонт, увидеть хотя бы отдаленные признаки гигантского сражения.

Даже с трехсот метров ничто внизу и далеко вокруг не напоминало о близости передовой. Пологая холмистая гряда с редкими крестиками ветряков, беленые хатки, меловые косогоры да притихшие кудрявые перелески...

Вдруг самолет вздыбился, встал почти ребром на крыло и резко провалился вниз — ветровым потоком генерала прихлестнуло к борту кабины. Он не успел выругаться, когда «кукурузник» швырнуло в сторону, а в лицо ударила горячая струя. Мимо, буквально в нескольких метрах, промелькнула черная сигара истребителя. Генерал ясно увидел тупорылый нос самолета и пришел в ярость: «Неужто наш Ла-5 хулиганит?!»

— Что он вытворяет, мерзавец?!

— Спокойно, товарищ генерал. Это немецкая новинка — «Фокке-Вульф-190». Сейчас будет игра в кошки-мышки. Держитесь крепче!

Далеко впереди истребитель сделал переворот через крыло и пошел в повторную атаку. Однако «кукурузник» ловко увернулся от пулеметных трасс, падая листом, скользя юзом то в одну, то в другую сторону. Третий заход «фоккер» делал уже почти по наземной цели: зеленый По-2, сливаясь с местностью, шпарил вдоль русла глубокой балки.

У генерала взмокла голова под тесным шлемом: создавалось впечатление, что они удирали на каком-то немыслимом крылатом автомобиле, рядом мелькали кусты, кроны деревьев. Потом пронеслись над деревенькой, буквально перепрыгивая крыши домов. Пестро замелькала придорожная лесопосадка, затем крутой вираж (самолет на дыбы!) и уже обратное направление — опять промах, трассы идут далеко в стороне! Затем совершенно неожиданный толчок, пробег по накатанной полевой дороге, последние выхлопы выключенного мотора...

— Быстро отстегивайте ремни! В укрытие!

«Амазонка» стояла уже на крыле, цепко ухватив воротник генеральского комбинезона. (Между прочим, она добавила еще пару словечек, соленость которых генерал оценил только потом, лежа в придорожном ракитнике.)

«Фокке-вульф» теперь не торопился, заходил в атаку

издалека, блеснув на солнце острым крылом. Спокойно, как на полигоне, готовился прошить неподвижно-обреченный «кукурузник».

А дальше произошло необъяснимое: из-за поворота лесопосадки выскочил бронетранспортер, взвизгнул тормозами и тотчас же застучала скороговорка спаренного крупнокалиберного пулемета — прямо в лоб «фокке-вульфу». Истребитель медленно, на глазах, завалился набок и с грохотом врезался в склон ближайшего оврага, взрывной волной даже подкинуло стоящий на дороге «кукурузник».

Генерал, чертыхаясь, стягивал надоевший шлем, волосы были мокрыми, как после парной бани...

У самолета уже шныряли солдаты с бронетранспортера, а один из них — белоголовый, с пилоткой, засунутой под погон, полез на крыло, заглядывал в кабины.

— Эй, архаровцы! — зычно крикнула летчица.— А ну убирайтесь от машины!

Солдаты дружно гоготали, белоголовый что-то такое сказал насчет ее щегольских штанов. В том смысле, что ежели, дескать, есть надобность поменять их, так они подглядывать не станут.

Рассерженный генерал вышел на дорогу, по-кавалерийски врастяжку начальственно гаркнул:

— Эт-та што здесь происходит?! Кто командир?

Подействовало — сразу отпрянули от самолета, подтянулись, выжидательно примолкли. Зато белоголовый в мятых лейтенантских погонах так и не сошел с крыла. Более того, пренебрежительно подбоченился.

«Ну я тебе сейчас покажу, сукин сын!» — сдерживая гнев, генерал вразвалку направился к самолету. Однако, «амазонка» опередила его, разъяренной кошкой метнулась вперед и за ногу сдернула нахала с трапа крыла.

А потом генерал в недоумении остановился: «амазонка»-летчица и пехотный лейтенант жали друг другу руки, хлопали по плечу, даже принялись обниматься.

— Здорово, черемшанский ковбой!

— Здорово, кержачка!

«Черти полосатые,— благодушно подумал генерал.— Видать, земляки повстречались. Оба настырные: друг друга стоят».

Оказалось, это был разведдозор механизированной бригады под командованием лейтенанта Полторанина (он, «белоголовый», и срезал «фоккера» пулеметной оче-

редью). Конечно, за сбитый самолет его полагалось представить к награде, и генерал твердо обещал это.

Как водится, перекурили. Генералу протянули сразу несколько кисетов, на выбор — с бийской, моршанской и еще какой-то «дальнобойной» махоркой.

— Много вас тут, сибиряков, сейчас,— сказал генерал.— Это хорошо. Скоро в бою покажете свой сибирский норов.

— А там, под Белгородом, уже воюют наши.— Лейтенант приладил пилотку на вихрастую макушку.— Родимцевская сталинградская в обороне стоит, в ней полно сибиряков. Я месяц назад тут на перегоне ихние эшелоны видел.

— И тоже земляков повстречал?

— Полсела, товарищ генерал! И командир роты капитан Вахромеев во главе — тоже наш черемшанец. Его вот товарищ старшина Просекова знает лично.

Генерал с усмешкой посмотрел на своего «шеф-пилота»: уж больно много земляков «лично знакомых» оказывается у синеглазой «амазонки». И поразился внезапной бледности в ее лице, странному, какому-то очень глубинному и печальному отсвету во взгляде. Услышанную фамилию капитана она переспросила — осторожно, с опаской и надеждой, будто очень боялась ошибиться...

Уже перед взлетом, словно бы для проверки переговорного аппарата, генерал деликатно поинтересовался:

— А этот Вахромеев кем тебе доводится, дочка? Не муж ли?

Она ответила не сразу. Прогазовала мотор, поглядывая на солдат, придерживающих крылья:

— Не муж, а как бы вам сказать... Больше чем муж, понимаете?

— Не понимаю,— рассмеялся генерал.— У меня такие дела очень давно были. Забыл!

На обратном пути генерал все время думал о предстоящих боях, о том времени, когда, смяв врага, его танковые колонны в грохоте и пламени вырвутся в глубокий тыл на бескрайние украинские равнины. Он любил загадывать наперед.

К тому времени он должен будет располагать еще более глубокой разведкой: дерзкой, смелой, инициативной.

Этот вихрастый лейтенант-сибиряк вполне может возглавить одну из таких рейдовых разведгрупп. Уже сейчас его следует взять на заметку.

А посылать его будет трудно... Он чем-то неуловимо и точно напоминал сына, несмотря на разницу в возрасте. Может быть, вихром-метелкой на макушке или нарочито-дерзким прищуром, за которым прячется обыкновенная мальчишеская робость...

На аэродроме генерала ожидал встревоженный начальник разведки Беломесяц. Сразу же доложил: оказывается в течение ночи Манштейн перенацелил свой танковый таран. Не добившись успеха вдоль Симферопольского шоссе, где насмерть стояли танкисты-катуковцы и гвардейцы генерала Чистякова, он повернул танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх» и, собственно, весь эсэсовский танковый корпус — на Прохоровку.

Это говорило о многом. Генерал поежился, вспомнив недавнюю лобовую атаку тупорылого «фоккера».

Ну что ж, очевидно, предстоит встречный бой. Схватка по принципу: «лоб в лоб».

3

Сразу возникла звенящая тишина...

Мир съежился, сжался в комок, сбежался в одну точку, на которую, лениво сваливаясь на крыло, тройками, поочередно пикировали «юнкерсы».

Вахромеев навзничь лежал на дне окопа и смотрел на падающие бомбы: отделившись точками от грязного самолетного брюха, они стремительно крупнели, вытягивались в длину, все больше напоминая очертаниями зловещие капли.

Земля грубо и больно подбросила его, кусок глины с бруствера ударил в каску, рассыпался — небо заволокло пылью.

И странно — именно в этот миг он увидел Ефросинью. Увидел ее склоненное лицо, распахнутые, вопрошающие глаза. С ним это случалось не раз: в самые трудные минуты, на зыбкой грани бытия и смерти, из всего прошлого, пережитого он успевал увидеть только ее. И каждый раз понимал: значит, ему опять удалось перешагнуть смерть.

Он перевел дыхание — пронесло... Теперь будет легче: при бомбежке самые страшные — первые бомбы.

Оцепенение ушло, возвращались звуки. Тявкали на косогоре зенитки. Воздух корежился, ввинчивался в

уши: включив сирены, падало очередное звено пикировщиков.

Бомбовые серии стали уходить вниз по склону на «нейтралку». Вахромеев еще по Сталинграду знал, как стелется немецкий «бомбовый ковер»: сначала по траншеям, потом по заграждениям, по минному полю и — жди танки.

Слева, километрах в трех, над осиновой рощицей повисла еще одна девятка «юнкерсов», они остервенело бомбили вчерашние позиции гаубичного дивизиона. Бомбили по пустому месту: «пушкари» сменили позиции накануне в половине десятого, уже в сумерках, когда вахромеевская рота «садилась» в эти искромсанные траншеи, где почти ничего не осталось от обороняющегося батальона.

Вахромеевцы опять «затыкали дыру». Роту автоматчиков Вахромеева еще со Сталинграда называли «ночниками» — они ходили в бой обычно ночью с десантными кинжалами за пазухой, и, если надо было взять дом, они его брали, врукопашную очищая этажи.

Полковник, командир дивизии, берег вахромеевцев, любовно называя их «карманной ротой», и бросал в бой только в крайнем случае, в положении полной безысходности, когда под командирской рукой уже ничего не было и приходилось «выворачивать карманы».

Тогда на обледенелых волжских откосах их высадилось ровно сто — полнокровная кержацкая сотня. А через месяц осталось сорок два. Вахромеев хорошо помнил горькую новогоднюю шутку: «сорок два встречают сорок третий».

Здесь, под Прохоровкой, сибиряков в «карманной роте» и вовсе почти не осталось, а черемшанцев — только шестеро.

Немного стихло. Из блиндажа смененного вчера комбата крикнул телефонист:

— Товарищ капитан! Вас Первый требует!

«Не шестеро, а семеро»,— подумал Вахромеев, имея в виду телефониста Аркашку Денисова, тоже черемшанца, старшего сына парторга Денисова. Правда, он из взвода связи, но в данный момент находится на позициях роты. Стало быть, входит в боевой счет.

Вчера в потемках Вахромеев сначала не узнал его, виделись они до этого редко. Сильно изменился Аркашка: вытянулся, похудел, носатый, в отца, сделался. И по-от

цовски кашлял, кхекал: где-то умудрился простуду схватить в этакую теплынь.

Вахромеев ему отлил из фляги полкружки спирта для растирания на ночь, ну и для внутреннего сугреву. Впрочем, это не помогло: парень и сегодня покашливал, прикрыв телефонную трубку.

— На солнце прогреться надо,— ворчливо сказал Вахромеев.— А то сидишь тут в сырости, как крот.

Он сам не мог терпеть блиндажной затхлости. Какой прок? Ежели долбанет та же авиабомба, так никакие блиндажные накаты не спасут. Окоп или щель куда надежнее.

Полковник интересовался насчет потерь от налета «юнкерсов».

— Да вроде нет,— сказал Вахромеев и вопросительно обернулся к телефонисту: из взводов о потерях не звонили, не сообщали? — Потерь нет, товарищ полковник!

— Ну и хорошо. Тогда держись, Фомич, сейчас попрут — я вон вижу, уже на исходные вытягиваются. Опять по вашему клину ударят.

— Мне бы огоньку для поддержки,— сказал Вахромеев, поглядывая на дверной проем: там появился Егор Савушкин, красноречиво вертел кулаком, дескать, танки пошли, кончай тары-бары.— Я к тому, что пушкари-то снялись вчера. А у меня одни сорокапятки. Плюют, а не стреляют.

— Будет поддержка. Стой, как под Яковлевкой. Помнишь?

— Да уж помню.

Пока шли траншеей, Савушкин грыз сухарь, докладывал. Вахромеев еще до налета посылал его к бронебойщикам выяснить, почему пропала связь, да заодно велеть им растянуть фланги: какого черта они с десятью «оглоблями» — ружьями ПТР — вперлись в один окоп? Вахромеев увидел это утром, когда рассвело.

Покатая спина Савушкина взмокла, пошла черными полосами: отчего бы это? Бегать он никогда не бегает, его и под пулями не заставишь.

Оказывается, он приволок в окоп целый ящик ручных гранат — у бронебойщиков одолжился — и моток алюминиевой проволоки: связывать гранатные связки.

Немцы сегодня что-то не особенно торопились. Хорошо было видно, как далеко, правее хутора, выползают из орешника танки, не спеша выстраиваются в линию. Впе-

реди накапливались бронетранспортеры с пехотой, вяло разворачивались, газовали, окутанные синим дымком. Это все напоминало сборы охотника, для которого охота пуще неволи.

— Не выспались, кажись, фрицы, — меланхолично заметил Савушкин. — А может, вчера перенатужились, сердешные, и порвали жилы в одном месте.

— Да нет, тут что-то другое... — Вахромеев скрутил цигарку, затянулся в раздумье.

Странно, что педантичные немцы допустили такой разрыв между бомбежкой и атакой. Вон саперы, моторные ребята, уже успели полазить на предполье и снова наспех набросали «ямки» [1] по склону, где прошлась бомбовая серия.

Вахромеев вспомнил бои под Яковлевкой. Там однажды немцы выдали сюрприз: так же вот после бомбежки затянули начало атаки и в тот момент, когда пехота прилипла к брустверам, накрыли окопы залпами шестиствольных минометов. «Скрипухи» тогда буквально опустошили наши окопы...

Может, предупредить роту, дать ракету: «Воздух, в укрытия!» Так ведь не поверят архаровцы — в небе ни одного самолета. Да и непохоже, чтобы немцы готовили минометный залп, дистанция далековата.

Всходило солнце, буднично-ярко выкатывалось над дальними холмами. «Туго им придется, — с удовлетворением подумал Вахромеев о немцах. — Солнце-то будет слепить, бить прямо по смотровым щелям. Так им и надо, не за каким хреном лезть воевать, не продравши глаз». Он огорченно вспомнил про котелок с кашей, оставленный в блиндаже: не дали позавтракать, гады.

Спокойно оглядел ротные позиции. Над валиком брустверов тусклые пятна солдатских касок, кое-где видны под касками лица — неестественно белые, настороженно застывшие. Ближний справа окоп-ячейка почему-то пустует, его углубляли ночью вроде бы братья Прокопьевы... Куда они подевались?

— Да там они, на месте! Молятся, варнаки, — пояснил Егор Савушкин, перекусывая зубами конец проволоки на готовой гранатной связке. — Я надысь подглядел: вытягивают, значица, иконку и шуруют лбами по сырой

---

[1] ЯМ-5 — советские противотанковые мины.

земле-матушке. Однако помогает: у обоих до сих пор ни царапины.

— И ты, поди, молишься? — спросил Вахромеев.

— Не, я заговор творю про себя самого. Жёнка моя Авдотья научила. И потом, я, когда на фронт пошел, зуб медвежий под крыльцом зарыл. Вот это уж верное дело.

Вахромеев усмехнулся: не верил он ни в какие заговоры и молитвы. Столького успел насмотреться, смерть, она без разбору, никому и ни на какие квитанции сдачи не дает. Да и чего там стоят эти молитвы-заговоры, когда прет на тебя эдакая вот железная лавина, от одного грохота которой сразу чумеешь.

Чудно получается, едрит твою корень! С одной стороны — страшилища танки, а с другой — каски. Человек против машины, против брони. Его-то самого, можно сказать, шилом проткнуть — не задача, а он сидит в земле вбитым колом, и ведь держится! Не гранатами, не горючими бутылками — духом неуемным человеческим держится.

Оно похвально, конечно, но когда же, черт подери, начнем мы воевать на равных, чтобы танками против танков — на третий год война перевалила? «Старикам» — первому и второму взводу танки не страшны, даже если прорвутся: попа́дают на дно траншеи и чихать им на гусеницы (их загодя учили-утюжили в тыловых окопах наши тридцатьчетверки). Выдюжат ли новобранцы, необстрелянные, восемнадцатилетние? Их особенно много в третьем взводе.

Немцы наконец двинулись, перестраиваясь на ходу и набирая скорость. Уже ясно стал вырисовываться клин: впереди два лобастых «тигра», еще несколько «тигров» по острию; легкие T-IV в задних рядах и самоходки-«фердинанды» на флангах. Эти сразу же стали стрелять, но неприцельно, для острастки — снаряды ложились врассыпную на той стороне ручья.

Недружно ударила наша артиллерия, немецкий клин вошел в зону заградогня. Вахромеев считал танки: семнадцать вместе со штурмовыми орудиями. Опять удивился: явно поскаредничали нынче фрицы! В прошлые дни они тут, этой ложбиной, перли оравой в сорок, а то и семьдесят «панцирей». В чем дело?

Выходит, перенесли, перенацелили удар.

Где-то в другом месте будут долбить, наваливаться скопом, а здесь манкируют для видимости. От этого и

несобранность ихняя, маята: вроде и хочется, и колется, а боязно до смерти. Начальство все равно строго тут не взыщет.

Пошли густые гаубичные фонтаны среди танковых рядов, зачадила подбитая самоходка, с краю остановился «тигр», разматывая гусеницу, — его тут же подцепили на буксир, поволокли в тыл.

Подключились сорокапятки, хлестко, часто начали бить, нащупывая бронетранспортеры, с которых уже прыгала серо-зеленая пехота. У излучины высохшего ручья танки повернули и пошли прямо на позиции вахромеевской роты, быстро вырастая в размерах.

Один из «тигров» вырвался вперед, пересек минное поле и принялся утюжить левофланговую траншею, как раз ту самую, что занимал новый взвод под командованием лейтенанта-ташкентца.

По танку всей батареей били сорокапятки, но снарядные болванки отскакивали от брони, как медяки от кирпичной стены. Вдруг «тигр» сразу весь вспыхнул, облитый бутылочной смесью. Огромным чадящим факелом он все-таки несся вперед, грозно кивая своей пушкой с набалдашником.

Однако «старики» быстро утихомирили его, со всех сторон закидали гранатами, бутылками, и он встал, постепенно затих, как змея, подыхающая на муравейнике.

Танковый клин смешался: по нему прямой наводкой остервенело били гаубицы из кустов по-над оврагом (вот куда, оказывается, перепрятались пушкари!); горело уже семь танков, а две самоходки буксовали перед окопом бронебойщиков, которые сумели им расклепать гусеницы.

Немцы отходили, повернув назад башни, огрызаясь танковым огнем, и только сейчас Вахромеев пришел в себя настолько, чтобы по-человечески трезво оценить ожесточенность скоротечного боя.

Опять испытал гордость за левофланговый взвод, за стриженых пацанов-вологодцев и их чернявого командира-узбека. Вспомнилось виденное: бросились к «тигру» двое, и у второго, что был без каски, лопнула в занесенной руке бутылка (от пули случайной или осколка?). Горящей головешкой он катался потом по траве... Жив ли? Надо узнать фамилии обоих, обязательно представить к награде.

Вспомнился близкий разрыв снаряда в блиндаже, комья земли и бревна наката, летящие вверх, выброшен-

ное на бруствер тело мертвого телефониста Аркашки Денисова, который так и не успел вылечить свой простудный кашель...

И самое страшное: поднявшийся из соседнего окопа Прокопьев-старший с гранатной связкой в руке. Он успел сделать всего несколько шагов — танковым снарядом его разнесло на куски... Что же он, Герасим, опытный солдат, не сдюжил, опростоволосился, поторопился: ведь до танка еще было метров пятьдесят. Нервы, видать, подвели.

Пропадают медвежатники под танками. Среднего Лешку под Яковлевкой «пантера» раздавила, этого «тигр» загубил. Не те звери, получается...

Вахромеев горестно крякнул, наблюдая, как младший — Афоня, всхлипывая, натыкаясь на кусты, ползает перед окопами, собирая в одно место братнины останки.

— Егор! Ступай помоги ему.

Савушкин все еще возился с «дегтярем», выбивая перекошенный патрон. Отбросив пулемет, поднялся и вдруг испуганно вытаращил глаза. Потом сдернул каску, прислонил ладонь к измазанному уху.

— Фомич! Слышишь?

Вахромеев не услышал, а, скорее, почувствовал мелкое дрожание земли, оно тревожным ознобом передавалось через подошвы сапог. Он вспомнил Черемшу: вот так же лихорадило улицу, когда в селе появился первый трактор ХТЗ.

— Танки, Фомич! Гляди-ка, мать честная...

Повернувшись, Вахромеев обомлел: у них в тылу, далеко, по обе стороны железной дороги, во всю ширину поля двигались танки — несметное скопище танков!..

Они двигались неспешно, густо, почти ровными рядами, и за каждым танком воинственно, как петушиный хвост, набухал и закручивался султан пыли. Все это сливалось вверху в огромное, постепенно закрывающее небосвод пылевое облако, а в нем, где-то внизу, сиротливым яичным желтком проглядывало солнце.

Танки шли со стороны Прохоровки, с того самого направления, куда несколько дней подряд безуспешно пытались пробиться немцы, чтобы потом отрезать армию генерала Крюченкина и свернуть левый фланг Воронежского фронта.

Волна светлого торжествующего чувства захлестнула Вахромеева, словно бы подняла его ввысь над этим древ-

ним Русским Полем, и он увидел весь его простор, чуть всхолмленный, в легкой ряби колосящихся хлебов; шершавый и неровный, будто гигантская ладонь матери-земли, с которой направлялась сейчас в бой неостановимая бронированная сила.

Он вздрогнул, увидев отсюда, с высоты птичьего полета, почти зеркальное отражение танковой армады — в противоположной стороне, на западной окраине поля. Зреющая рожь и тут была уже прострочена ровными танковыми рядами; как и напротив, ряды эти были столь же бесконечными и исчислялись не десятками, а сотнями машин. Здесь шли немецкие танки.

Под утренним солнцем в черной пыли российского чернозема две танковые лавины, набирая скорость, неслись друг другу навстречу. На изломанном рубеже их встречи возник чудовищный грохот, от которого закачалась, застонала земля, высоко вздыбились смерчи взрывов, стальной скрежет располосовал небеса...

Начиналась Железная битва, решительная и решающая.

4

Теперь, когда окончательно определился крах операции «Цитадель», штаб армейской группы «Юг» лихорадочно занялся обороной харьковского направления: посыпались приказы, срочные рекомендации, зачастили инспектирующие в войска. Генерал Якоб, начальник инженерно-саперного управления сухопутных войск оказался намного дальновиднее командующего группой армий фельдмаршала фон Манштейна — именно Якоб еще в марте настаивал на строительстве вокруг Харькова шести оборонительных полос.

Впрочем, удивляться не приходилось, учитывая чрезмерную самоуверенность Эриха фон Манштейна — это по его инициативе был снят с белгородского участка и спешно перебрасывался в Донбасс танковый корпус СС (в предвидении особой опасности со стороны советского Юго-Западного фронта). Манштейн лично заверил фюрера, что белгородско-харьковское направление абсолютно стабильно в ближайшей перспективе: после ошеломляющих ударов под Обоянью и Ржавцами и особенно после Прохоровского танкового сражения, русские-де не способны наступать на этом участке.

Сколько развязной самонадеянности в этой войне! Слишком много даже для традиционно прусской чванливости, которая характеризует германский генералитет...

Конечно, война есть как раз та сфера, где дерзость, самоуверенность оправданы, особенно в расчете на впечатлительного противника. Но должно же быть чувство меры, элементарная трезвость ума в оценке ситуации!

С горькой усмешкой Крюгель вспомнил, как сам когда-то был опьянен «идеалами героической солдатской устремленности», прозорливостью «гениальных предвидений». Это его в июле сорок первого генерал-полковник фон Бок на полном серьезе инструктировал в Минске как командира особого инженерного батальона по разрушению Московского Кремля.

Его тогда, признаться, смущал лишь этический аспект секретной акции, уж очень она попахивала обыкновенным варварством. Но ему и в голову не приходила мысль об авантюризме этой затеи, такой же бредовой, как официальная нацистская доктрина «лебенсраум»[1] или геббельсовский лозунг тотальной войны, который недавно обосновал рейхсминистр крикливой статьей в газете «Дас Райх».

Кстати, на фоне пропагандистской трескотни в этой статье явно проглядывались пессимистические ноты, она и называлась недвусмысленно «Сумерки войны». Самое примечательное состояло, пожалуй, в том, что руководство третьего рейха впервые публично признавало недооценку военного потенциала Советского Союза.

Что это — запоздалое прозрение? Нет, просто ловкий логический финт в пользу аргументации тотальной войны. До полного прозрения еще очень далеко, если оно вообще когда-нибудь наступит...

Крюгель в ожидании поезда глядел на вечерний Харьков и думал, что этот угрюмый город всегда почему-то навевает мрачные мысли. Так было в первый приезд сюда, в начале июля, такое ощущение и сейчас, двадцать дней спустя.

Огромный, хаотически разбросанный «город двух холмов» не нравился Крюгелю. Пресловутую славянскую ненависть здесь, казалось, источал каждый камень, каждая оконная глазница многочисленных развалин, не говоря уже о людях, которые так и не научились лояльно-

---

[1] Гитлеровская теория «жизненного пространства».

сти жителей «фронтового города», специально выделенного из украинского гебитскомиссариата.

Харьков не раз упоминался в победных реляциях оберкомандовермахта, в патетических обзорах «радиогенерала» Дитмара: именно из этого города начала свой победный рывок на Сталинград шестая армия, здесь трубили фанфары весной сорок второго (изюм-барвенковский котел), и особенно нынешней весной, когда стремительным танковым контрударом Манштейн разгромил «красных» и вернул временно потерянный «ключ Украины».

Наводненный фельджандармерией, это был город, глядевший исподлобья, и, несомненно,— город роковых начинаний для немецкой армии. Более чем красноречиво это подтвердил трагический конец армии Паулюса, уничтоженной в приволжских степях, а совсем недавно — крах операции «Цитадель», исходный трамплин которой был определен Манштейном именно здесь, в Харькове.

И то, что «восточный бастион» падет в ближайшее время, не составляло секрета даже в штабе группы армий «Юг». Там, в Запорожье, в секретной оперативной директиве уже вынесен приговор городу: тотальное минирование (под соусом решающего средства обороны).

Крюгель равнодушно смотрел на серые лица мужчин и женщин, подгоняемых солдатами к товарным вагонам— их отправляли на строительство оборонительных рубежей,— и думал, что семь лет назад, будучи иностранным инженером-специалистом на далекой алтайской стройке, сделал правильный вывод: этот народ, уходящий национальными корнями в сумбурное азиатское прошлое, не способен к цивилизации. Война не поколебала этого убеждения.

Более того, он считал, что германский восточный поход, а значит, и последующая историческая ассимиляция русских, украинцев есть оправданная, хотя и драматическая неизбежность, веление времени, несущее в конечном счете благо. Только в слиянии с другими народами — с немцами, в первую очередь — славяне приобретут главные социальные качества, которые приобщат их к европейской цивилизации: самодисциплину и волевую устремленность.

Другое дело, что нацистские фюреры извратили и опошлили эту объективную историческую тенденцию,

грубо и открыто толкнули немецкую армию на путь каннибализма и разбоя.

Конечно, именно в этом одна из коренных причин провала восточного похода. Теперь за «сумерками войны» неизбежно последуют «потемки возмездия», а колесо войны после временного колебания уже начинает набирать обороты возвратного вращения. Фронтовая разведка представила данные о скором начале большого русского наступления на Харьков. И оно начнется — вне всякого сомнения.

Перед платформой, по третьему пути, в сторону Полтавы медленно потянулся длинный состав с танками, перестук колес гулко отдавался вокруг. На обшарпанной броне Крюгель разглядел знакомый трафарет: кинжал в кольце — боевой знак эсэсовской дивизии «Тотенкопф» («Мертвая голова»). Щемяще кольнуло сердце: жив ли тот крепыш майор, белозубый оптимист эльзасец? Или обуглился вместе со своим галльским петухом в стальном танковом чреве?..

К Белгороду поезд подошел в полночь — в пути случилось несколько задержек из-за неисправности железнодорожной колеи. Почти сразу же на патрульной дрезине Крюгель выехал в Тамаровку, по рокадному полотну в сторону Сум.

Тамаровка интересовала штаб группы армий по двум причинам: здесь, на второй полосе обороны, находился крупный опорный пункт, хорошо оборудованный в инженерном отношении. Кроме того, тут планировался исходный рубеж для танкового контрудара на случай возможного прорыва русских.

Генерала Бернута особенно беспокоило противотанковое минирование. Крюгель, как специалист минноподрывного дела, должен был от его имени провести строжайшую инспекцию и на месте устранить обнаруженные промахи.

Ну, а у самого Ганса Крюгеля были не менее веские причины побывать именно в Тамаровке.

Он отнюдь не рвался в прифронтовую зону и мог бы в этот вечер вместе с другими штабными полковниками спокойно смаковать белый «го-сотерн» в закрытом офицерском кафе. Однако обстоятельства требовали срочной встречи с Алоизом Кирхгофом, подполковником, командиром танкового полка, давним другом Ганса Крюгеля. Они были связаны с 1939 года, со времени учебы на

офицерских курсах при саперном училище в Дессау-Рослау.

Кирхгоф в свою очередь был другом капитана Клауса Шенка фон Штауфенберга, баварского графа, рослого, аристократически небрежного молодого офицера, который при первом же знакомстве поразил Крюгеля смелостью суждений. Позднее Штауфенберг стал душой «тайной Германии» — узкого круга антинацистски настроенных офицеров. Все они, исповедуя ницшеанство с его культом сильной личности и господством элиты, тем не менее ненавидели «бесноватого ефрейтора»: еще в тридцать восьмом году он самолично назначил себя верховным главнокомандующим и с тех пор с маниакальной одержимостью тащил в пропасть германскую нацию.

Будучи штабным офицером оберкомандохеерса, Клаус Штауфенберг сумел сделать решительные шаги по расширению тайной офицерской оппозиции, особенно во время сталинградской трагедии. К сожалению, в начале сорок третьего Штауфенберг, уже в чине майора, был откомандирован в Африку, в штаб Роммеля, и это, конечно, сказалось на всей организации. Она переживала трудности, друзья и соратники «черного Клауса» тщетно штопали прорехи в своих и без того негустых рядах — война делала свое дело.

Крюгель смутно догадывался, что следующая акция против фюрера будет наверняка осуществлена в центре: в отличие от первых лет войны, Гитлер теперь весьма неохотно покидал свое «волчье логово», вытащить его оттуда (как это было сделано в марте в Смоленске) становилось трудно, почти невозможно. Именно поэтому влиятельные друзья Клауса фон Штауфенберга стягивали верных людей в Берлин. Крюгелю надлежало предупредить подполковника Алоиза Кирхгофа о его скором откомандировании в центральный аппарат.

Крюгель должен был выяснить и еще один вопрос: удалось ли Кирхгофу привлечь на сторону оппозиции командира танковой дивизии генерал-лейтенанта Густава Шмидта?

С генералом Крюгеля познакомил тоже Алоиз Кирхгоф. Это случилось еще до войны в Дрездене, где Шмидт командовал егерской дивизией. Помнится, генерал с ходу пытался сосватать холостяка Крюгеля за одну из своих худосочных дочерей.

Шмидт был страстным поклонником модного поэта

Стефана Георге, воспевавшего незыблемость «Сакрум империум»[1]. Его книгу стихов «Новый рейх» он знал почти наизусть и не упускал случая блеснуть поэтической эрудицией, громогласными стихами, которые декламировал, потрясая волосатым кулаком. Впрочем, почитание Георге было, пожалуй, единственным, что сближало бравого генерала с молодыми офицерами. Он становился замкнутым и молчаливым, едва речь заходила о политических оценках.

Переменился ли он за годы войны, прозрел ли и сделал выводы, особенно после курской встряски, в ходе которой, как следует из оперативных сводок, его дивизию основательно потрепали на Донце под Рындинкой?

Оказалось, что танковая дивизия вместе со штабом базировалась не в самой Тамаровке, а в нескольких километрах восточнее — в совхозе «Березовский». Пришлось добираться туда на машине.

Дежурный офицер штаба на просьбу Крюгеля проводить его к подполковнику Кирхгофу лаконично ответил:

— Вас ждет генерал Шмидт.

Крюгель удивился: так поздно? Шел уже второй час ночи.

В темном коридоре полуразрушенного кирпичного барака пахло плесенью, затхлостью, неструганными сосновыми досками. «Черт возьми, кладбищенский какой-то запах!» — брезгливо поморщился Крюгель.

Генерал сидел в углу обширной пустой комнаты за столом у слабого аккумуляторного светильника (очевидно, это был школьный класс, судя по грифельной доске на противоположной стене). Пил кофе и курил массивную трубку, по комнате плавали волны табачного дыма. Увидев Крюгеля, шагнул навстречу, старомодно, чопорно вздернул подбородок:

— К сожалению, мой дорогой, я должен вас огорчить. Ваш друг подполковник Кирхгоф умер два дня назад — скончался в лазарете от ран.

Генерал говорил резко и громко, словно рапортовал или подавал команды. Затем взял Крюгеля под локоть, властно усадил, подвинул чашку кофе.

У пораженного, подавленного Крюгеля вертелся в уме десяток вопросов: как это случилось? Почему не сооб-

---

[1] Священная империя *(лат.)*.

щили о смерти, наконец, почему не эвакуировали раненого в тыловой госпиталь?.. Впрочем, он сам мог на них ответить, а кроме того, отлично понимал, что в подобных случаях вопросы уже ничего не решают.

Генерал мрачно дымил трубкой и глядел куда-то в пространство, в сторону черной школьной доски. Только сейчас Крюгель стал различать на ней наспех вычерченные боевые порядки, гребенки оборонительных траншей, стрелы танковых ударов и контратак. Похоже, генерал занимался тут дотошным анализом, искал допущенные ошибки, как ищет их незадачливый ученик после проваленной контрольной работы...

— Это все там, под Рындинкой...— Генерал хмуро кивнул в сторону доски.— Я потерял два своих лучших полка. Они — вдребезги. Вместе с командным составом. Теперь о готовности для контрудара. Как и чем? Вы мне можете ответить?

Разумеется, Крюгель ответить не мог. Он уже понял, что приехал напрасно, корил и ругал себя за проявленную нетвердость: надо было все-таки дозвониться, прежде чем ехать сюда!

— А вы тоже, кажется, пострадали, герр генерал?— спросил Крюгель, имея в виду забинтованную генеральскую шею.

Шмидт минуту молча сосал трубку. Весь окутался дымом, как танк, раздавивший дымовую шашку. Раздраженно пробурчал-скомандовал:

— Проклятая ангина! Мой «тигр» застрял в Донце. Не знаю даже в каком. Их оказалось несколько, этих Донцов. У Манштейна тоже было воспаление горла. Еще перед началом боев. Очень жаль, что не воспаление мозга. Например, энцефалит. Или менингит.

— Вы считаете, что это была авантюра? — прямо, без обиняков спросил Крюгель.

— Нет! Я считаю, что это была решающая битва. Еще год назад мы ее несомненно выиграли бы. Война сделала крутой поворот. Победы сорок первого остались в прошлом. Они необратимы.

— Они во многом были обусловлены внезапностью нашего наступления,— сказал Крюгель.— Оперативной и даже тактической внезапностью — так утверждают русские.

Генерал отхлебнул кофе, затем быстро прошел к школьной доске и старой солдатской пилоткой с яростью

стер все нарисованное. Он был крайне рассержен, но старался сдерживаться.

— Вы плохо разбираетесь в стратегии, мой дорогой!— Генерал жестко, на каблуках, повернулся к Крюгелю.— Так называемая внезапность сыграла только на руку русским. Да, да! Именно так! Я был рядом с Гудерианом в июне—июле сорок первого. Он был хмур и разочарован, несмотря на победы, на быстрое продвижение вперед. Если бы русские встретили нас тогда всей своей мощью, они были бы непременно разбиты, война закончилась бы за восемь недель — по плану. У нас была инерция предыдущих побед — вы понимаете, что это такое? —Шмидт прошелся вдоль школьной доски, остыл и уже негромко добавил: — Гудериан считал, что русские умышленно применяют ту же стратегию, как и против Наполеона. Их главные козыри: пространство и время. И они опять весьма успешно сыграли на них.

— Не думаю, чтобы русские сознательно пошли на столь колоссальные жертвы, на потерю огромной территории...

— И я этого не думаю. Я только говорю, что само провидение, сама история поставила нас в крайне невыгодные условия. С первого дня войны.

«Странная логика...— внутренне усмехнулся Крюгель.— Впрочем, чему удивляться? Едва лишь начинаются поражения, на поверхность всплывают десятки оправдательных теорий, концепций, иногда до невероятности наивных или сногсшибательно глупых. Так было после Московского сражения, и особенно после Сталинграда. Интересно, чем объяснит генерал крах операции «Цитадель»? Может быть, что-то новенькое, оригинальное?»

Генерал Шмидт неохотно ответил на этот вопрос.

— Это дело будущих историков... Они разберутся. Как солдат, я могу сказать откровенно: русские были сильнее нас. Как мы были сильнее в сорок первом. Кроме того, теперь русские научились воевать танками. Масштабно, армиями. Они имеют превосходный танк Т-34. Наша «пантера» — машина этого же типа, значительно слабее. Кстати, все сто «пантер» моей дивизии были выбиты. «Тигры» держались лучше. В Тамаровке сейчас на ремонте сорок моих «тигров».

Помедлив, взвесив услышанное, Крюгель сказал:

— Разведотдел штаба группы разослал в войска опе-

ративную информацию, в которой утверждается, что в ближайшие дни русские начнут большое наступление. Причем главный удар ожидается здесь, на Тамаровку, на стыке четвертой танковой армии и оперативной группы генерала Кемпфа. Вы получили этот документ?

— Получил, но я не особенно верю ему: наша разведка давно подмочила свою репутацию. Фельдмаршал Манштейн прав: после такой кровавой бойни ни одна армия в мире не способна наступать. Это надо было видеть своими глазами. И я это видел.

Сквозь брезент занавешенного окна стал пробиваться слабый серый свет, падал косо, от подоконника на пол. Зевая, Крюгель подумал, что предстоит тяжелый день после бессонной ночи на колесах, после выпитого кофе. А уходить не хотелось, да и куда, собственно, уходить? Бедного Алоиза, этого мягкого, всегда забывчивого интеллигента-флегматика, уже нет в живых... «Их хатте айнен Камераден...» Как же теперь его дети, двое славных курносых близнецов? Помнится, жена его собиралась перебраться с ними в Ганновер к старикам родителям... Может, навести справку о семье Кирхгофа?

На генеральском столе он заметил некрупную фотографию: три девицы напряженно и безуспешно пытаются улыбнуться. Крайнюю справа он, кажется, узнавал: та самая, несостоявшаяся невеста. Аннет или Грэтхен? Он не помнил и не пытался вспомнить. Зачем? Вряд ли воспоминания той осени доставят удовольствие генералу.

— Не сплю уже третью ночь...— глухо сказал генерал.— Просто не могу сомкнуть глаз. Вас это удивляет?

Нет, Крюгель не удивлялся. Он и сам давно забыл, что такое крепкий здоровый сон. Нервы... Единственное, что его сейчас удивляло, может быть даже вызывало недоумение, так это крохотная поэтическая книжечка, сиротливо и чуждо выглядевшая на столе среди потрепанных карт и мятых оперативных бумаг. Неужели генерал по-прежнему интересуется поэзией? В это не верилось, а спросить, удостовериться Крюгель не решался.

Очевидно, во взгляде Крюгеля генерал уловил этот вопрос, потому что со вздохом сказал:

— Да, поэзия... Она часто, особенно на войне, выглядит кощунственно и лживо. Этаким фальшивым векселем...— Он взял книжицу, подбросил на ладони, будто пробуя ее невесомость.— Нет, это не Георге, это Эммануэль Гейбель. Подарок дочерей. Вы знаете, что он пишет?

«Вновь через посредство немцев произойдет оздоровление мира». Какое гнусное пророчество!

Допивая кофе, Крюгель неопределенно сказал:

— Как знать, герр генерал... Может быть, это почувствуют наши потомки. Ваши дочери, например.

Книжечка соскользнула с ладони, упала на пол плашмя, хлопнув неожиданно громко. Генерал засопел трубкой, опять окутываясь дымом. Казалось, что невидимый в сизом облаке, он всхлипывает:

— Мои бедные девочки... Их уже нет, дорогой Крюгель... Они погибли под бомбежкой. Эти проклятые «летающие крепости»...

Рассветные часы Крюгель провел в смежной комнатке, где стоял голый деревянный топчан, а вдоль стены — пять кожаных генеральских чемоданов (оказывается, Густав Шмидт при всей поэтичности суровой натуры, вовсе не был бескорыстным альтруистом!).

Не спалось. Крюгель разглядывал облупленный потолок, начинавший медленно розоветь от оконного света, и размышлял. Невеселые были думы, тоскливые... В туманном будущем виделась только одна отдушина, одна светлая полоска: возможный перевод на родину. Это ему обещали месяц назад — через бюрократические каналы министерства вооружений, при котором создан недавно некий секретный «Комитет оружия возмездия». Очевидно, это будет связано с его старой профессией инженера-строителя...

В далекой дымке нереально, как в полусне, привиделся вдруг таежный Алтай, белая прокаленная солнцем плотина, зычные гудки мотовозов, бородатые люди в латаных холщовых рубахах... Он поморщился, опять испытав давнюю неприязнь к этим насмешливым скуластым лицам. Странные люди, они смеялись над собственным невежеством — их смешила его культурность, его вычурная трость и желтые краги. Как это похоже на притчу о деревенском дурачке...

А может, он тогда, семь лет назад, так и не понял чего-то очень важного, глубинного, сокровенного в этом народе, прячущем истинную сущность под маской «взрослого младенчества»?

Кривобокие тесные бараки, клопы, чугунки с распаренной картошкой, его временная жена — крепкотелая злючка «фрау Аграфен»... Может быть, это и было настоящим народным духом, подлинностью жизни, а не

«ловкой большевистской импровизацией», как он считал и как ему казалось?

Впрочем, теперь это не имеет никакого значения...

Крюгель, кажется, слегка задремал, потому что вдруг вздрогнул и быстро сел, привычно нащупывая ногами сапоги,— его испугал мощный утробный гул. Он хорошо знал, что это означает, когда мелко дребезжат оконные стекла, лихорадочно знобит пол, а в глазах возникает рябь, размазывающая предметы вокруг... Неужели прорицатели из разведывательного отдела на этот раз оказались правы?

— Да, как ни странно...— В раскрытой двери дымил трубкой генерал Шмидт.— Русские начали артподготовку. Судя по всему, скоро и здесь появятся штурмовики. Спускайтесь в подвал на мой КП, герр оберст!

— Мне срочно необходимо в Белгород! — «Черт подери! — с ужасом подумал Крюгель.— Не хватало еще влипнуть в передрягу, чтобы потом в окопе встречать русские танки...» Он не трус, но вовсе не намерен совать голову в пекло.— Прошу отправить меня в Белгород.

— Не советую,— сухо сказал генерал.— Все дороги сейчас под обстрелом. Это слишком опасно. Слишком!

— Да, да...— Натягивая сапоги, Крюгель уже стыдился минутной слабости. Да и что за глупости: в Белгород! Там сейчас наверняка ад кромешный...

— Думаю, что это просто демонстрация! — чеканил генерал, резко отмахивая трубкой.— А если даже серьезное наступление, русские быстро увязнут в нашей обороне. Уверяю вас. Да что говорить: вы же сами отлично знаете прочность наших оборонительных рубежей.

Знать-то Крюгель знал. Дважды проезжал всю главную полосу от Белгорода до Краснополья. Траншеи, противотанковые рвы, минные поля, отсечные позиции, доты и дзоты — все по классической схеме. Время для этого было: почти четыре месяца. Но не полетит ли к дьяволу вся эта «классика» за несколько часов? Где гарантии и кто может за них поручиться?

— Никто, абсолютно никто, мой дорогой! — с ласковым ехидством ответил генерал. Его, старого ландскнехта, начинала забавлять чрезмерная обеспокоенность оберста. Ах, эти изнеженные сибариты из крупных штабов...— Война — есть игра, мой дорогой Крюгель. Большая и опасная игра, в которой заранее ничего предска-

зать нельзя. Этим она и примечательна, даже заманчива. Не так ли?

Седоволосый Шмидт деликатно издевался над ним — Крюгель это понимал. Однако у него не было, не находилось ни желания, ни твердости, чтобы отпарировать язвительные уколы. Впрочем, неожиданно его осенило.

— Игра, конечно, игра, герр генерал. Вы правы. И как во всякой игре, в войне тоже существуют свои ставки? — При этом Крюгель откровенно показал на объемистые генеральские чемоданы: они, надо полагать, не пусты? Впрочем, Шмидт ничуть не оскорбился.

— Да, если хотите, это мои скромные ставки с опасного игрища. Между прочим, в них — редкие русские книги. Моя личная контрибуция с каждого крупного русского города. Как видите, я уже побывал в пяти таких городах.

— И в Харькове?

— Разумеется. Мы его брали совсем недавно: в марте этого года. И надеюсь, больше не отдадим.

Крюгель усмехнулся: опять бахвальство, самоуверенность? А может, нет, может, это и требуется первоочередно от солдата — слепая уверенность, неколебимая вера в победу до самого своего смертного часа?..

До полудня события развивались, как и предсказывал генерал Шмидт: русские упорно, но почти безуспешно вгрызались в оборону, несли огромные потери на каждом метре изрезанной траншеями земли. Как сообщили из передовой пехотной дивизии, им удалось вклиниться едва ли на пять километров — на оперативной карте это был уровень второй позиции главной полосы.

Но потом пошли в атаку советские танки, и связь оборвалась, а танковая рация генеральского КП стала ловить на рабочих волнах самые настоящие панические вопли. А еще через полчаса по скользким ступеням в подвал свалился офицер-танкист, встревоженно доложил:

— Руссише панцер, герр генераль! [1]

Крюгеля бил озноб, когда он вместе с генералом из подвального окна наблюдал за советской танковой колонной: танки шли походной скоростью вдоль лесополосы, высокая завеса пыли, как огромная стрела, точно указывала направление их маршрута — прямо на юг.

Может быть, не стоило с ними связываться, все-таки

[1] Русские танки, господин генерал! *(нем.)*

в колонне свыше пятидесяти машин? Идут они мимо, и пусть идут, кто-нибудь да встретит их там в тылу... Однако генерал Шмидт уже отдавал по радио резкие команды танковому полку, укрытому в кустарнике и у стен совхозных сараев.

— Форвертс!

Тотчас же танки рванулись с места, веером рассыпаясь по полю и одновременно выстраиваясь в боевую линию. Это был умный маневр: немецкая распахнутая «фаланга», нацелясь во фланг колонне, сразу цепко брала ее в огневые тиски.

Но тут динамик командного пункта снова разнес радиовопль: «Руссише панцер! Линкс!»[1] Взглянув налево, Крюгель облился холодным по́том: там, прямо по полю, двигалась еще одна русская танковая колонна, тем же параллельным курсом «север—юг». И если начало ее (внушительное: за сорок танков!) видно было уже отчетливо, то конец вообще терялся далеко в черной пыли...

На школьном дворе началась паника. Зеленый штабной автобус, в который солдаты только что погрузили генеральские чемоданы, вдруг газанул, рванулся с места и покатил в направлении Тамаровки. Однако трусливый шофер прогадал — наперерез ему, отделившись от колонны, сразу устремились три советских танка. Они умышленно не открывали огня.

...Остатки дивизии Шмидта уходили на восток, прячась в орешнике, в осиновом мелколесье. Ни танков, ни машин — пеший сброд обезумевших от страха людей. Генерал шел в центре небольшой группы штабных офицеров, нахлобучив на лоб фуражку, зло отбрасывая колючие ветки стволом парабеллума, зажатого в руке.

Они пробирались руслом заросшего глубокого оврага, когда неожиданные автоматные очереди начали сбивать листья над их головами. Затем справа по склону замелькали выгоревшие гимнастерки советских солдат, трижды ударила пушка, и закипела рукопашная схватка.

Нырнув в кусты, Крюгель успел заметить, как к генералу Шмидту метнулись сразу двое. Они не успели его схватить: генерал быстро поднял к виску пистолет.

Крюгель тщательно целился из кустов в одного из них: рыжеусого, в офицерских суконных погонах. Он чет-

[1] Русские танки! Слева! *(нем.)*

ко видел вспотевшее, возбужденное лицо, губастый рот, даже коричневые веснушки на переносице... И вдруг испуганно опустил «шмайсер» — ему показалось, что он знал этого человека! Он встречал его семь лет назад на далекой сибирской стройке, и кажется, встречал не один раз...

Через несколько секунд, подавив волнение, Крюгель понял, что эта невероятная встреча спасла ему жизнь. Выстрелив, он выдал бы себя, и с ним разделались бы, как с другими офицерами, оказавшими сопротивление.

Он еще видел, как солдаты поволокли наверх труп генерала и как сгоняли в одно место пленных, весело покрикивая, сворачивая свои огромные самокрутки. Потом осторожно, с частыми остановками, пополз к недалекому лесу.

5

Это был счастливый день в ее жизни. Может быть, самый счастливый, если, конечно, не считать того памятного осеннего дня, в сороковом году, когда она в школе первоначального обучения самостоятельно подняла самолет в воздух, вихрем пронеслась над плоскими крышами степного Павлодара.

Правда, тот день остался в памяти сплавом радости и горя: вечером центральные газеты сообщили о гибели в рекордном полете летчицы-испытателя Светланы Лазаревой, друга и наставника Фроськи... Светлана ушла навсегда, словно бы передав ей свои дерзкие крылья.

Ефросинья уже полгода находилась в действующей армии. Она принимала войну по-женски сдержанно и строго, может быть даже рассудочно, и хотя успела повидать немало крови, страданий, но слепая ярость никогда не застилала ей глаза. Ни разу еще не испытала она и торжествующего упоения победой, наверно, потому, что, по сути дела, воевала пока на обочине войны: возила офицеров связи, сбрасывала вымпелы со срочными приказами, а иногда — это уже тут под Курском — уточняла линию переднего края.

У нее были трудные предвоенные годы. Работая мотористкой в аэроклубе, она бегала по вечерам в рабочую школу, отказывая себе во всем, одержимо жила только одной мечтой: взлететь в небо. И когда, казалось, заветная цель была достигнута — она стала инструктором Са-

ратовского аэроклуба, получила квартиру, вышла замуж за известного летчика, друга Светланы, война обрушила все... В первые месяцы погиб на фронте муж, а ей долго наотрез отказывали в переводе в военную авиацию.

Она ненавидела войну, одновременно понимая, что нельзя ненавидеть дело, в котором участвуешь и в которое вносишь свой собственный вклад. Как женщине, война внушала ей отвращение и страх, она еще не понимала, что рожденная этим ее ненависть — вовсе не та, которая нужна солдату. Ей предстояло научиться главной науке войны — ненависти к врагу.

В эскадрилье среди летчиков-мужчин она держалась с некоторой отчужденностью. Природная резкость характера, грубоватая прямота, которые выглядели почти естественно в недавней инструкторской работе, здесь воспринимались по-иному. За глаза ее называли колючей бабой и предпочитали не связываться, разве что по сугубо служебным делам.

А в это утро она удивила всех: разулыбалась, сделалась вдруг приветливой, общительной, доброжелательной и добродушной, совсем не похожей на прежнюю «мегеру в бриджах». Впрочем, на это была веская причина.

Ровно в шесть тридцать к летной столовой подкатил штабной «виллис» и генеральский адъютант-гренадер забрал Ефросинью Просекову прямо с завтрака, даже не разрешив допивать чай. А вскоре она вернулась неузнаваемо сияющая, с орденом Славы на груди.

Ее шумно поздравляли и все-таки удивлялись: никто не ожидал такого тщеславия у замкнутой, вечно насупленной сибирячки.

Ефросинья охотно объясняла: ну да, орден ей вручили в штабе — лично вручил усатый солидный генерал, тот самый, с которым они две недели назад так неудачно «подлетнули». Конечно, поздравил, поцеловал, а как же иначе?

Она, разумеется, умолчала о ворчливом генеральском замечании насчет ее будто бы опереточных штанов. Тем более что лично ей самой бриджи нравились.

И уж вовсе она не собиралась никому рассказывать о самом главном: о чаепитии с генералом. Он усадил ее за стол, придвинул чашку, а рядом, будто невзначай, положил газету.

— Слушай-ка, дочка... Вот тут в нашей фронтовой газете, кажется, про твоего приятеля напечатано. Ну ко-

торый тебе «больше, чем муж». Ведь его фамилия Вахромеев?

Забыв про чай и про орден, Ефросинья торопливо читала газетные строчки: «...отважно сражались герои-гвардейцы капитана Вахромеева Н. Ф.» — и слезы вдруг полились из глаз — неостановимые, светлые, давно набрякшие. Она пила с генералом чай, смеялась и плакала вперемешку, и генерал смеялся, хотя глаза у него тоже подозрительно блестели.

Теперь только она по-настоящему поверила, что Коля Вахромеев — ее первая и незабытая любовь, жив и что многолетнее ожидание счастья не обмануло ее... Значит, все эти годы оба они, ничего не зная друг о друге, жили на земле, долго и трудно шли каждый своей дорогой, чтобы здесь, в грохоте сражений, оказаться почти рядом.

Она тогда не очень поверила лейтенанту Полторанину: парень-вертопрах мог сболтнуть, а то и просто обознаться.

Теперь Ефросинья знала твердо: Николай жив.

Она долго искала его в конце тридцатых годов... Дважды приезжала в таежную Черемшу, но никаких следов не нашла. Узнала лишь, что жена его, похоронив дочку, оформила в сельсовете официальный развод и уехала неизвестно куда.

Теперь, с этого августовского утра, жизнь ее делала крутой поворот, и что бы там ни было дальше, как бы ни сложилась фронтовая судьба, она верила: с Николаем они встретятся. Не могут не встретиться, хотя бы потому, что слишком уж горькими были их пути, слишком долгожданной встреча...

Ефросинья шла к самолету, припоминая и заново переживая утреннее чувство неожиданной радости и родившуюся вместе с ним тревогу: отныне она боялась, беспокоилась не только за себя, но и за Николая. За него, может быть,— даже больше.

Оружейники ставили на гаргрот позади второй кабины турельный пулемет — сегодня предстоял необычный ночной полет за линию фронта. И пассажир должен быть необычный, к тому же, надо полагать,— человек опытный, если умеет обращаться с авиационным «шкасом». Полковник из разведотдела с красивой фамилией Беломесяц, инструктируя Ефросинью, потребовал, чтобы на-

счет подготовки матчасти к полету все было на уровне «обсоси гвоздок».

На стоянке сейчас старались вовсю. Инженер эскадрильи сам проверял рулевые тяги, моторист Атыбай Сагнаев копался у кустов на брезенте в снятом карбюраторе. Тут же чадил самокруткой дядька Устин, солидно советовал что-то.

«Вторник сегодня»,— вспомнила Ефросинья. По вторникам выдавали табачное довольствие, и дядька Устин приходил из БАО забирать положенные ей две пачки махорки. Взамен давал читать черемшанские письма. Особенно щедрой на новости была младшая Устинова дочка Нюрка, писавшая разборчиво и чисто, с обязательными поклонами «летчице Ефросинье Спиридоновне» в каждом письме.

Пристроив на колено планшет, Ефросинья черканула для старшины обычные два слова «прошу выдать» и вручила записку Устину Троеглазову. Тот, заметив орден Славы, уважительно прищурился, потрогал его заскорузлыми пальцами.

— Ишь ты, новенький! Поздравляю, Фроська! Нынче же домой отпишу, пущай знают наших. Это как навроде солдатский Егорий — ленточка такая же. У меня в доме в сундуке где-то тоже лежит Георгий победоносец. Еще за ту войну.

Моторист-казах пренебрежительно сплюнул:

— Зачем так говоришь? Это же орден Славы, а у тебя крест.

— А что ты, бала, понимаешь...— отмахнулся дядька Устин, тщательно пряча Фроськину записку в обтрепанный солдатский бумажник.

Ефросинья любила старого углежога: своими еженедельными приходами он напоминал ей о родном селе, с его пестрым цветочным половодьем на косогорах, будто приносил с собой терпкий запах таежного пихтача.

— Нонче опять летишь? — прощаясь, спросил Устин.

— Лечу.

— Ну дак что же... Лети, стало быть, с богом. Да только повертайся. Это я тебе желаю, единого.

Она глядела вслед, с улыбкой вспоминая, как напугал он ее однажды — это еще перед отправкой на фронт. У аэродромной проходной вдруг кинулся навстречу здоровенный пожилой солдат, заграбастал в объятия...

Узнать сразу его было трудно — без кержацкой лохматой бороды, отощавшего на скудных солдатских хлебах. Она всплакнула тогда: уж очень многое разворошила в памяти случайная встреча, напомнила о былом, и особенно о Николае Вахромееве.

Удастся ли его найти теперь?..

Она подумала про газету, лежавшую в планшете, и чуть было не побежала догонять дядьку Устина: пусть почитает и порадуется, земляк. Но остановилась. Нельзя, не время еще делиться этой хрупкой негаданной радостью. Она, как чуткая птичка, которую можно ненароком спугнуть...

И вдруг ее осенило: ведь можно узнать адрес Николая! Через эту самую газету. Тот, кто писал статью, непременно видел его. Стало быть, в редакции знают номер полевой почты!

Она опрометью бросилась к штабу мимо удивленного моториста, однако письмо в редакцию так и не удалось написать: прямо на крыльце ее перехватил полковник Беломесяц, обрадованно воскликнул:

— О! А мы тебя ищем, старшина! Пошли знакомиться с твоим пассажиром.

Он провел ее темным коридором и перед одной из дверей негромко предупредил, зачем-то приложив палец к губам:

— Вы пока с ним поговорите, обнюхайтесь. А через полчаса сварганим вам инструктаж. По всем пунктам. Ну валяй.— И ушел, втолкнув ее в комнату.

Собственно, в знакомстве надобности не было: она сразу же узнала лейтенанта Полторанина. Он стоял у окна, скалил зубы и подрыгивал ухарски выставленной ногой. Вот таким нагловатым Ефросинья не раз видела его у моста в Черемше, где он, поплевывая семечками, задирался ко всем гуляющим по вечерней улице.

— Ну ты и вырядился...— неодобрительно сказала она.— Вроде базарного шкета. А кепчонка просто срам. Или хуже не нашел?

— Не нашел,— ухмыльнулся Полторанин.— А вернее, не искал, такую дали. Немецко-фашистского производства. Видишь — с хлястиком? — Сняв кепку, растопырил ее на пальцах, серьезно вздохнул: — Нельзя, говорят, без головного убора. Уж очень я приметный, белоголовый. А летим на ночь глядя, стало быть, получается демаскировка. Понимаешь?

— Значит, это ты летишь со мной... И надолго туда?

— Кто его знает. Как повезет. Мне покуда везло всю дорогу. Я ведь на войне с июня сорок первого — от самого Южного Буга. До сих пор только сдавал города, а теперь буду брать. Харьков возьму первым.

Она знала, что лететь им предстоит к Харькову, но не прямо к городу, а несколько западнее — на Золочев. Ну, а там еще в двадцати километрах от города, на лесной опушке, их должны ждать. Два костра на линии посадки.

Ефросинья вспоминала их первую встречу под Прохоровкой месяц назад, сравнивала: в лейтенантской форме он выглядел лучше. Хотя и в ней проглядывалось его неуемное бахвальство, нарочитая и показная бравада. Этого она не любила в мужчинах.

— Не боишься?

— Не... Привык.— Полторанин нагнулся, почистил немецкой кепкой пыльные сапоги, потом, помедлив, бросил ее на подоконник. Видно, и ему самому очень не нравилась эта клетчатая кепка.

— А мы тебя недавно вспоминали с одним земляком-черемшанцем. Устин Троеглазов, может быть, помнишь такого?

— Это углежог, что ли? — Гошка припомнил что-то, рассмеялся.— Знаю! Причесал он меня однажды, было дело. Прямо на свадьбе, башкой в дверь. Силен, старый хрыч! Что он тут делает?

— В аэродромной команде служит. Между прочим, не удивился, когда узнал, что ты в лейтенантах ходишь. Знаешь, что сказал? Война, говорит, хулиганов любит.

— А ништо! — не обиделся Гошка.— Я, может, со временем еще в генералы выйду. Воевать научился. Теперь только высшую грамоту освоить. После войны непременно пойду учиться.

— Не женился еще?

— Да пока нет. До войны не успел, а на войне это ни к чему.

— А я Николая ищу...— вздохнула Ефросинья.— Ты тогда правду сказал: он в самом деле где-то здесь воюет. На нашем фронте. Обязательно найду...

— Оно тебе надо? — рассмеялся Полторанин.— Ну и чудные вы, бабы, ей-богу! Кругом люди гибнут, а она залетку своего ищет. Ну какая может быть любовь на войне? Сама подумай.

— Дурак ты, Гошка... Хоть и полвойны прошел, а умнее не стал.

По легкомыслию своему Полторанин даже не понял, не заметил, что задел ее самое больное, самое ранимое.

Он произнес вслух то, о чем она старалась не думать, упорно отгоняла от себя, хотя в глубине души и понимала, что это грубая и трезвая правда. Гошкины слова, будто порыв студеного ветра, захолодили грудь, захлестнули огонек, теплоту которого она почувствовала в это необычное утро.

Ей и верить-то пока не во что — ничего реального нет, кроме этой газеты. А дальше? Допустим, она даже узнает адрес. Для чего? Чтобы с обмирающим сердцем ждать письма и однажды, вдруг узнав о его гибели, изойти в слезах безутешным бабьим криком...

Нет! И все-таки ей жалко было не себя, а Гошку Полторанина. Не потому, что жизнь еще не научила его настоящей доброте и он мимоходом обидел ее. Просто ему будет намного труднее, чем ей: и сегодня, и завтра и потом в будущем, до тех пор, пока он не встретит человека, о котором станет думать прежде, чем о себе самом.

— Ты меня извини,— сказала Ефросинья.— Не обижайся, я вгорячах....

— Да была нужда! — отмахнулся Гошка.— Я знаю вас, летчиков — народ психовый.

...Взлетали ровно в полночь — по слабо мерцающей ниточке аэродромных огней. Затем самолет большими кругами стал набирать высоту, лез на самый «потолок», чтобы оттуда, неслышно планируя с выключенным мотором, перескочить через линию фронта.

Хоть и была глубокая ночь, кромешной темноты не чувствовалось: земля виделась внизу размытой, исчерна-пятнистой, кое-где крапленная странной рябью меловых откосов. Изредка вспухали осветительные ракеты над передним краем, расплывались разноцветными плоскими блинами. В каждом таком блине проглядывалась призрачная мертвенность изрытой фронтом земли.

Ефросинья вспоминала дневной разговор с лейтенантом Полтораниным, удивляясь себе: что-то давненько она не извинялась перед мужчинами... А тут на тебе: учтиво извинилась. Да и в общем-то по пустяковому поводу: подумаешь, обозвала дураком. Так он, Гошка, и есть ду-

рак, если разобраться да припомнить все его довоенные шашни в Черемше.

Знать, плохо ее дело — кажется, опять она кидается в пестрый, теплый и опасный омут тревожных и сладких раздумий, когда стремительной многоцветной каруселью вертится мир и беспричинно замирает сердце... Так оно, помнится, было в то памятное довоенное лето.

Неужели все возвращается опять?

Лихо ей будет, колючей бабе. Она привыкла держать себя в узде еще с полузабытых девических дней, которые начинала сиротой в кержацком ските-монастыре. Всегда была строга к себе и другим, и только однажды позволила разнуздаться — когда встретила Николая.

Тепло делает воду из крепкого льда, так же, как любовь изводит слезами женское сердце... Стоит ли бередить старую, давно зажившую рану? Может, снова узда? Так спокойнее, да и просто разумнее. Ведь Гошка Полторанин, бывалый черемшанский сердцеед, бесшабашный ухарь-разведчик, в конце концов, прав: какая может быть любовь на войне?

А между прочим, он все-таки обиделся. Не зря же молчуном безъязыким летит, за все время ни слова не буркнул. Ничего удивительного: такие бахвалы, как он, любящие покрасоваться, всегда болезненно самолюбивы. А бравада — это внешняя шелуха.

Надо, пожалуй, немножко растормошить его, а то сидит в задней кабине этаким недотрогой-принцем на фарфоровом горшке.

Ефросинья неожиданно и резко толкнула от себя ручку управления — самолет враз провалился в пустоту: сзади, повиснув на ремнях, Полторанин испуганно вцепился в козырек кабины. Крикнул в переговорное устройство:

— Ты что, очумела?!

— Противозенитный маневр,— усмехнулась она.

Странные все-таки эти фронтовые пути-дороги... Вот летят они, земляки, не очень-то довольные друг другом, летят в подзвездной тьме в неизвестность. И думают совсем о разном. Она думает о полузабытой любви, а он, наверное, о том, что ждет его на земле, в настороженных, чернильно-густых потемках. И вовсе не до обиды ему сейчас...

Она опять вспомнила довоенную Черемшу, бригаду Оксаны, своих подруг девушек-бетонщиц. Они дружили и ссорились, хвалили и ругали друг дружку, вместе ве-

селились и вместе плакали, у них всегда и всюду — в бараке, на стройке — царила атмосфера крикливого, крайне неуравновешенного бытия.

Вспомнила географическую карту, висевшую в барачном простенке. Она тогда мало что смыслила в карте, запомнила лишь черную паутину линий, которые стальными нитями стягивали зеленую земную твердь. Уже потом, в летной школе, Ефросинья узнала, что эти обручи-нити называются параллелями и меридианами и что служат для вычисления координат места. Тогда же она поняла, почему один из обручей девчата-украинки подчеркнули широкой красной полосой: на одном конце был Харьков, на другом — сама Черемша. Они соединялись, оказывается, единой параллелью, этой огромной красной дугой, длиною в четыре тысячи километров.

Где они теперь, бедовые черноглазые харьковчанки, надевавшие по праздникам батистовые блузки, вышитые васильками — «волошками»?..

Сквозь светящиеся шкалы приборов Ефросинья словно бы видела сейчас перед собой, уходящую во тьму, ту самую полосу, красную и бесконечную, ведущую к Харькову. Она думала о том, что, наверно, все эти годы судьба безотчетно ориентировала ее на заветную полосу, и, когда случались разные житейские отклонения, прежний курс со временем все равно восстанавливался.

Полет проходил нормально, спокойно и без отклонений: Ефросинья уже дважды точно выходила на контрольные ориентиры. Потом справа, видимый очертаниями улиц, остался Золочев, и, корректируя курс на несколько градусов к югу, Ефросинья на мгновение задумалась: почему именно сюда направляют разведчика Полторанина? Значит, есть такая необходимость.

Дальше опять пошли с выключенным мотором: скоро уже должна быть посадка на условленном месте, на лугу, у леса. А на душе у Ефросиньи было отчего-то неспокойно, будто подкрадывалось дурное предчувствие: уж очень гладко протекал полет... Ни разу не обстреляли, даже прожектором нащупать не пытались. Благодать по всему маршруту. Кстати припомнила поговорку комэска Волченкова: «Если слишком хорошо — это очень плохо».

На посадку заходила настороженно, чувствуя уже явную тревогу. Однако и тут все прошло как по писаному. Она вовремя появилась над точкой, и сразу же внизу,

услыхав самолет, зажгли два костра — в створе посадочной линии.

«Кукурузник» приземлился мягко, правда, немного «скозлил» уже в конце пробега, налетев, вероятно, на кротовый бугор. Ефросинья тут же развернула машину, готовая к немедленному взлету.

Запахло полночным лугом, рядом черно и плоско, будто декорация, причудливо рисовалась густая дубрава, чуть-чуть несло дымом от костра.

К самолету шмыгнули две черные тени, потом был короткий негромкий разговор с прыгнувшим на траву лейтенантом Полтораниным. Быстро разгрузили гаргрот: две коробки с рацией, несколько пакетов и ящик. Все это, пригибаясь под ветром пропеллера, потащили к лесу.

Полторанин вскочил на крыло, крикнул на ухо Ефросинье:

— Полный порядок, Фрося! Можешь шпарить отсюда. Ну будь жива!

Он шагнул было вниз, но вернулся и попытался на прощание облобызать Ефросинью. Однако она увернулась, и лейтенант второпях чмокнул кожаный шлем на ее затылке. Хохотнул, блеснув в темноте зубами:

— Злая ты баба, Фроська! — Спрыгнул и исчез в дубняке.

А она тут же пошла на взлет. Самолет легко оторвался и, с набором высоты, взял направление обратного курса. Прощального захода делать не стала — некогда, оставалось всего тридцать минут до восхода луны.

Ефросинья и не догадывалась, что, отказавшись от прощального круга, ушла от верной смерти: как раз в тот момент, когда «кукурузник» повис в воздухе, к дубраве подкатили немецкие бронетранспортеры с солдатами.

Не видела она и короткого ожесточенного боя на опушке, частых автоматных очередей и упавшего, оглушенного прикладом лейтенанта Полторанина, который успел подумать о ней, теряя сознание: «Вовремя улетела...»

6

Полторанин очнулся от боли, от ощущения тягостного удушья: кто-то тяжелый навалился на него, давил и давил, мешая дышать.

Открыв глаза, он ничего не увидел в кромешной тьме, но сразу понял все. Понял по запаху: он у немцев, в руках врага. Ему знаком был этот тошнотный, угарной дурноты запах еще с осени сорок первого, когда он попал в окружение под Лубнами. Так пахло в немецком штабном автобусе, который они захватили на лесной дороге, а потом сожгли. Это был запах совершенно неизвестного мира, одуряюще враждебный, ни с чем не сравнимый и ни на что не похожий.

Потом ему не один раз пришлось сталкиваться с резким памятным запахом, он узнавал его в каждом пленном немце. Даже их оружие, даже случайное трофейное барахло стойко несли в себе этот запах беды и смерти.

Дышать было трудно, связанными за спиной руками он не мог оттолкнуть того, кто навалился — потный и липкий. Наконец сдвинул его плечом, глубоко вздохнул и огляделся. Оказывается, он лежал в кузове немецкого бронетранспортера, а тот, кто наваливался, был мертвец; разглядев жандармскую бляху-полумесяц, Полторанин сразу вспомнил, что именно этого грузного фельджандарма он уложил финкой на лесной опушке.

Машину стало трясти, забрасывать, и на железном полу задвигались еще несколько безжизненных тел, тоже в немецкой полевой форме. «И то хорошо,— с удовлетворением подумал он.— Значит, не так уж обидно уходить на тот свет. В компании веселее. Интересно, а кто прибил этих?».

Ощупывая языком разбитый рот, он попытался припомнить недавние трагические минуты. Но вспомнил немногое: чадящий, залитый наспех костер, рокот улетающего самолета, чернильной темени стену дубняка и чьито толстые твердые пальцы, внезапно вцепившиеся в горло. Потом удар по голове, желтое пламя в глазах...

Нет, он ни в чем не раскаивался. Он был разведчиком, сам не однажды ходил за «языками» и хорошо знал, что на войне всего не предусмотришь, сам себя не перехитришь — перехитрить можно только противника. Вот как его на этот раз.

Впрочем, о причине провала он догадывался. Двух его напарников выбросили над лесом на парашютах за сутки раньше. Немцы их, наверное, засекли. И выждали, правильно рассчитали: Полторанин сам пришел им в руки вместе с рацией.

Надо было всю группу выбрасывать разом: он предупреждал и просил полковника Беломесяца. Но что-то не получилось с самолетами, да и риск, конечно,— падать всем троим на незнакомое, неразведанное место.

И все-таки немцы локти кусают: самолет-то упустили. Молодец Фроська, сноровистая девка! Есть в ней та таежная осторожность, всегда безошибочно чующая опасность, которая была и у него, Полторанина, и которой он гордился, как разведчик. Правда, на этот раз она его подвела.

Да... Что теперь ни говори, а полковник оказался прав: «Тот, кто побеждает, частенько забывает об осторожности. И наоборот: побеждаемый становится осмотрительным. Так уж устроена война». Слова, конечно, правильные, только ведь и ему самому надо было помнить про них...

Бронетранспортер ехал медленно, видно с потушенными фарами, часто останавливался, поджидая следующий позади грузовик с поднятым верхом. На остановках слышно было, как оживленно горланила там солдатня. «Лес заранее был оцеплен,— подумал Полторанин.— Основательно готовились, гады!»

Впереди у кабины бронетранспортера все время болтали два солдата, посмеивались, и чувствовалось по дыму, курили свои вонючие сигареты. Голоса бодрые, довольные, а уж чему им было радоваться, когда у ног болтаются четыре своих мертвяка? Ну как же, остались сами живы — это ли не радость?!

«А шушукаются втихаря, будто крадучись,— отметил про себя Полторанин.— Не то что в сорок первом горланили, песни орали под аккордеоны. Ну погодите, придет время — шепотом заговорите! Заставим!»

И вдруг хлестнула по сердцу обида: заставят другие — его уже не будет! Избитый, растерзанный, полумертвый среди мертвецов, он только сейчас по-настоящему осознал, что его ждет через несколько часов.

Жить, ему надо обязательно жить! Чтобы снова пружинистым шагом уходить в ночь, ползти под проволокой, неметь у блиндажных дверей, стиснув финку, чтобы снова слепнуть от ярости, уловив звериный запах вот таких, как эти, полупьяных ублюдков, пропахших потом и кровью, оружейной смазкой, порохом и дрянным одеколоном. Жить, чтобы беспощадно убивать их...

Но, повзрослевший на войне, он трезво оценивал сей-

час свое положение: если ему что-нибудь и оставалось, так только одно — по возможности дорого отдать свою жизнь. Он был в захлопнутом капкане, в намертво затянутой петле. Ну что ж, бывает и пойманный заяц, изловчившись, наносит смертельный удар своими сильными задними ногами. Ему, таежнику, это как-нибудь известно.

Небо постепенно светлело, и он теперь определенно знал: везут его на восток. Значит, в Харьков.

Уже почти рассвело, когда под колесами застучал булыжник городской окраины, потом машина пошла быстро и ровно — начался асфальт.

Разгружали бронетранспортер те два немца, что курили и балагурили дорогой. Рацию и захваченный в качестве трофея ящик с гранатами сняли аккуратно, не торопясь, а трупы небрежно сдернули за ноги, как сдернули и его, лейтенанта Полторанина,— он при этом больно грохнулся затылком об асфальт. Пинками, зло ругаясь, откатили его в сторону — видно, убитый Полтораниным толстый фельджандарм был их начальником, а может, приятелем, земляком. Черт их разберет, немцев.

Позднее во двор въехала грузовая машина, из кузова попрыгали солдаты, и сразу к забору — отливать после дальней дороги. Это были сплошь молодые эсэсовцы, горластые, в почти новой нетрепаной форме. Очевидно, недавно прибыли на фронт и наши еще не успели вправить им мозги, поерошить зализанные бриолином тыловые прически.

Он полагал, что в санитарных носилках, которые сняли с грузовика, лежит какой-нибудь раненый немец из этих молодых эсэсовцев. И удивленно вздрогнул, когда услыхал слабый голос сержанта Феклушина: «Помираю... Мы шли в Харьков...»

Носилки пронесли рядом, за ними через весь двор тянулся след, пятна крови казались дегтярно-черными на вытертом, белесом асфальте.

Значит, и Феклушина схватили... Тогда кто же стрелял? Было несколько коротких автоматных очередей, это Полторанин ясно помнил. Сам он не успел, действовал финкой, сержант Феклушин, как теперь вот выяснилось, тяжело ранен. Стало быть, Степан Геворкян, этот увалень-тугодум, упредил-таки немцев, успел дать им бой. И наверняка сам остался на опушке в кустах.

Они не сговаривались, как действовать на случай провала, плена — разведчики никогда об этом не говорят. Но сержант верно сообразил: конечно, если немцам и удастся что-нибудь выбить из них, то только эти слова: «Шли в город».

Не дай бог, если фрицы дознаются, что их выбросили на рубеж планируемого танкового удара... Им-то с Феклушиным все равно не жить, но тогда фашисты сумеют закинуть невод еще для нескольких сотен наших ребят. На ловушки да на пакости они мастаки, это уж как пить дать.

Двор быстро опустел, остался лишь часовой — длинноногий парень-эсэсовец. Повесив на грудь «шмайсер», он подровнял у стенки трупы, приволок из гаража грязный брезент и аккуратно накрыл их. Затем из шланга стал поливать брезент.

«Деловые они все, курвы! — невесело усмехнулся Полторанин.— Охлаждает, чтоб не завоняло: день-то, кажись, начинается жаркий. Наверно, еще отпевать будут или митинговать, у них по этой части строгий порядок».

Эсэсовец присвистнул и, ухмыляясь, направил струю на Полторанина. Вымочил до нитки, начиная с разбитого лица. Показал пленному большой палец:

— Рус! Карашо?

Лейтенанту и впрямь сразу полегчало, а главное, утихла дикая ломота в висках, от которой все это время рябило в глазах, плавало, раздваивалось окружающее. Неудержимо захотелось спать.

Но он все-таки не уснул, понимая, что не имеет права проспать последние часы жизни. Он должен был думать, о многом думать, и в первую очередь о возможных вариантах скорого допроса.

Однако тут же понял: думать-то, собственно, нечего. Все очень просто: его будут пытать, он станет молчать. Все зависит от того, сколько он выдержит. А выдержать надо хотя бы двое-трое суток, до начала нашего наступления. Ну а если не выдержит, раньше выдать как вынужденное признание: «Шли в город...»

Самое предпочтительное — это его собственная смерть. И чем скорее, тем лучше. Вот над этим стоит подумать.

Но не мог он над этим думать, сколько ни старался, ни пытался заставить себя. Он просто не знал, что человек, глядящий в небо, не способен думать о смерти.

А он глядел в небо.

Он лишь сейчас понял, что в небе воплощена вечность. Только оно неизменно в мире. Время меняет все, к чему бы ни прикасалось: старятся и умирают или погибают в бою люди, выгорают таежные леса, высыхают или меняют русла великие реки, чернеют и оседают под дождем избяные стены, становятся тряскими некогда торные дороги, зарастают и пропадают тропинки...

Только та же голубизна остается над головой, те же пуховые облака, то же зовущее марево... Как в далеком детстве, когда он часами лежал в теплых лопухах за сельской поскотиной и дивился вольным игрищам растрепанных тучек; как в сорок втором, когда истекал кровью на речном откосе и, глядя в небо, прислушивался к затихающей боли в бедре. Как и сегодня...

Так будет завтра, послезавтра. И после него. Так будет всегда.

Нет, он сейчас не боялся немцев. Как вообще не боялся все это лето, после того как увидел, как они бегут, панически бросая машины, пушки, повозки с награбленным барахлом, оставляя незахороненных мертвых, а нередко даже раненых своих солдат.

Он боялся их в сорок первом. Наглых, запыленных, безжалостных, появляющихся всюду неожиданно — в грохоте моторов, в тряске автоматных очередей. Он долго не мог забыть (мучился ночными кошмарами) душного первого лета войны, погибших на его глазах сверстников, скуластых сибирских ребят.

Их выгрузили из эшелона в начале июня под Тернополем — в мирное утро, в мирном украинском селе. Говорили, что вся кадровая забайкальская дивизия прибыла сюда на маневры. Но они даже не успели как следует обосноваться в лагерях, даже дивизионная техника не поспела подойти.

У него уже были за плечами годы действительной службы. Однако то, что он увидел вскоре, не имело ничего общего с его собственными представлениями о войне. А он считался лучшим сержантом в полку.

Вот тогда-то он вспомнил грустное пророчество пасечника деда Липата: «Спаси вас и помилуй от этой войны, а от бахвальства — оборони...»

Война научила его воевать, как и других уцелевших в первых боях. Но все-таки немцев он еще долго побаивался, может быть, потому, что никак не мог по-человечески понять их. Многое из того, что они делали на

войне, совершенно не укладывалось в его сознании, выпирало, корежилось, изламывалось, и от этого давило на психику.

Он понимал, что война — это очень большая драка, а в драке по озлобленности можно навытворять черт знает что. Но у немцев не было злобы. Не было! У них была — это он понял со временем, позднее — лютая звериная жестокость. Спокойная, хладнокровная, тонко и деловито рассчитанная. И это приводило в содрогание, рождало не только страх, но и не менее лютую ненависть...

Его повели на допрос утром, когда уже припекало солнце и в нагретом воздухе ощутимо запахло дымом городских пожарищ.

Плечистый, лощеный унтершарфюрер стоял у зарешеченного окна, старательно причесывался — волосы у него были такими же очень светлыми, как и у Полторанина, даже казались серебристо-седыми от косо падавшего солнечного света. Он не обернулся, когда часовой втолкнул пленного в комнату и гулко захлопнул дверь.

Унтершарфюрер продул расческу, постучал ею об оконную решетку, посвистывая,— вел себя так, будто один находился в комнате. Потом резко, как на плацу, повернулся кругом и, по-прежнему не глядя на пленного, обошел по периметру вдоль стен, размеренно ставя кованые каблуки.

«Псих,— подумал Полторанин.— Пытается нагнать мандраж. Сейчас заорет, как укушенный».

Однако немец заговорил тихо, вкрадчиво, чуть ли не ласково — и на чистом русском языке:

— Ты нарядился под партизана. Но нам известно, что ты офицер-разведчик. Не так ли?

Полторанин пожал плечами: ну-ну, ежели известно, давай дальше.

Не дождавшись ответа, унтершарфюрер уселся на угол квадратного, привинченного к полу столика, в раздумье пощелкал пальцами:

— Значит, так... Ты отвечаешь на три вопроса: цель высадки, конкретное задание, радиокод. После этого я тебя немедленно отправляю в лагерь для военнопленных. Под любой фамилией или без фамилии — это нас не интересует. Согласен?

Полторанин хмуро смотрел в окно, разглядывая кирпичные развалины на противоположной стороне улицы, и думал про сержанта Феклушина: полчаса назад его

увезли куда-то на санитарной машине. Выдержит ли он, раненный, не наболтает ли лишнего в бреду? Говорят, немцы применяют специальные уколы и человек в горячке становится болтливым...

«Унтершарфюрер, конечно, не русский, хотя шпарит по-нашему довольно чисто,— подумал Полторанин.— Акцент все-таки чувствуется, слова получаются какие-то колкие, будто морозом прохваченные. Мягкости в словах нет».

— Рассчитываешь отмолчаться? — усмехнулся эсэсовец. Он достал из стола кожаную перчатку и стал не спеша, тщательно разглаживая, натягивать ее на левую руку. («Левша»,— сообразил Полторанин.) — Мы, немцы, гуманные люди. Видит бог, я хотел решить с тобой по-хорошему. Но ты оказался свиньей. Так что жалуйся только на себя.

Задвинув ящик стола, унтершарфюрер встал перед пленным враскорячку, чуть спружинив крепкие, обтянутые в икрах ноги. Положив предусмотрительно в карман наручные часы, сказал:

— Между прочим, я прибалтийский немец. «Прибалт», или, как у нас называют, «фольксдойч». Моих родителей расстреляли вы, большевики, и я это буду помнить до самой смерти. Поэтому с пленными русскими я работаю с огромным удовольствием. Ты представляешь, что я сделаю из тебя через полчаса? Ну! Думай еще минуту.

Полторанин думал, однако, не об этом. Он вдруг ясно понял, что в облике мстительного эсэсовца-фольксдойча судьба посылает ему тот единственный шанс, который он еще надеялся найти. Надо лишь все правильно рассчитать, и немец сделает то, чего хочет Полторанин, то реально возможное, что ему, пленному разведчику, остается в этой ситуации.

Он вспомнил давний прием из мальчишеских уличных драк, ловкий и коварный прием, который не один раз выручал его в схватках даже с более сильным соперником. У него сейчас были связаны руки, зато свободны ноги.

Лейтенант мельком взглянул на свои обшарпанные стоптанные сапоги («Хорошо, что полковник Беломесяц заставил заменить хромовые офицерские — жандармы обязательно бы сдернули, разули!») и внутренне напрягся, сжался до немоты в коленях и суставах. И в тот мо-

мент, когда унтершарфюрер бойцовски уверенно откинул свою левшу, разведчик вдруг резким ударом ноги нанес страшный удар в пах.

Немец молча рухнул на пол, и Полторанин, не мешкая, но и не торопясь, добавлял ему, пока тот дико не завопил. А потом ворвался часовой...

Все-таки он просчитался: унтершарфюрер-фольксдойч не убил его. Это он понял уже поздно ночью, когда к нему, избитому, истоптанному до полусмерти, вновь вернулось сознание.

Он жалел об одном: не хотелось бессильно умирать в этой вонючей дыре, как какой-нибудь крысе, затравленной на помойке.

Но даже такому — жить было хорошо... Едва затихала боль, сразу выпукло и светло вставало в глазах довоенное детство. Он видел сиреневые столбы над таежными логами, слышал морозный скрип полозьев на раскатистых поворотах, бежал на лыжах по синему мартовскому насту — чарыму, пил ключевую воду, студеную до того, что ломило зубы, гнал табун лошадей на росном рассвете...

Это все не спеша наслаивалось, приближалось вплотную или удалялось многоцветной нескончаемой чередой, как бегущие по небу полуденные облака.

И еще он видел лица людей, многих хороших людей, которых знал и которые знали и, может быть, любили его. Хитромудрого деда Липата, председателя сельсовета Вахромеева, у которого детские веснушки на переносице, усатого генерала-командарма и голубоглазую летчицу Ефросинью Просекову, умудрившуюся не забыть на войне про любовь.

У него тоже когда-то была любовь, только не настоящая, обманная. Смешливая Грунька-одноклассница зиму и лето гуляла с ним, а вышла замуж за другого. Но он давно не держал обиды, ведь обманула-то она больше себя.

Он был молод, и прошлое еще не казалось ему далеким. Оно ощущалось свежим, почти сегодняшним, ну, может быть, вчерашним. А в будущее война отучила его заглядывать.

И все-таки город, за который он сражался в последние дни, был его будущим. Так ему казалось, по крайней мере вчера. Теперь получалось, что он воевал за этот город давно, чуть ли не с самого начала войны. Но

так и не сумел увидеть город, не успел как следует разглядеть. Это тоже было обидно...

Утром все началось сначала. Как и предполагал Полторанин, бесноватый фольксдойч собственно допросом и не интересовался. Ему надо было методически добить «русскую свинью, посмевшую оскорбить арийца». Все дело было лишь во времени.

Разведчика трижды отливали водой, и всякий раз, придя в сознание, он упорно вставал, карабкаясь сначала на четвереньках, затем распрямляясь в рост.

Он плохо соображал, когда после очередного сеанса пластом лежал на цементном полу в луже собственной крови. Понял только, что внезапно распахнулась дверь, оглушающе хлопнули два пистолетных выстрела — кажется, кто-то кого-то убил.

Он лишь удивился: стреляли не в него.

7

По ночам Павлу Слетко снилась сытая довоенная жизнь. Каждое утро начиналось с одного и того же вопроса, который он, едва проснувшись, задавал самому себе: где достать еду? Он оказался неважным подпольщиком и уже не один раз жалел, что согласился остаться в Харькове в марте, перед вторым приходом немцев.

Не повезло с продскладом: в развалины дома, где находился подвальный тайник, угодила полутонная бомба. Да и не в этом было дело. Просто следовало тогда в марте запастись каким-нибудь дефицитом, ну хотя бы зажигалками, например. На базаре простейшая зажигалка стоит сейчас пятьсот рублей, а это — три килограмма хлеба...

Просыпаясь, Павло сразу же выбегал во двор и, делая зарядку, поглядывал на соседний сад. Там, над забором, в зелени листвы, соблазнительно розовели яблоки. Их близость и кажущаяся доступность как-то скрашивали голод: ведь стоит только захотеть, протянуть руку...

Сорт был ерундовый — «кармазинка». Яблоки пресные, дряблые, как залежалая картошка. Помнится, во времена мальчишеских ночных набегов Павло обходил стороной «кармазинку». Это не антоновка и не штрефель.

А ведь съел бы сейчас прямо с косточками, зажмурившись от удовольствия...

Видит око, да зуб неймет. Там, за оградой, сидит такой зловредный кнур, что только попробуй сунуться. Каждое утро поштучно по веткам пересчитывает. Говорят, что даже во время бомбежки не уходит со своего сторожевого поста.

Отсюда, с Ивановки, хорошо была видна нагорная часть города — ломаная гребенка полуразрушенных зданий с башнями Госпрома в самом центре. Минувшей ночью, когда советские «кукурузники» бомбили сортировочную «Северный пост», пламя от горящих цистерн зловещим багрянцем отражалось в уцелевших стеклах Госпрома — будто многоглазое чудище распласталось во тьме над городским холмом.

Госпром вошел в жизнь Слетко стеклянно-бетонным, сказочно-прекрасным Домом будущего. Он хорошо помнил, как в конце двадцатых годов вместе с ватагой сверстников-пацанов почти ежедневно прибегал с Лысой горы к строящейся громадине. Здесь всегда было празднично и шумно, средь кумачовых плакатов, в перекрестиях деревянных лесов, уходивших на головокружительную высоту, мелькали загорелые спины, скрипели блоки, стучали о настил колеса тачек, одуряюще свежо пахло бетоном и дымом асфальтовых котлов.

Эта гигантская стройка заронила в его мальчишеское сердце вечную тревогу и беспокойство, неутомимую жажду ветра, простора, полуденного солнца. Наверно, отсюда начался его путь на далекий Алтай в середине тридцатых годов.

Вспомнился вьюжный февраль 1943 года, когда он с группой кадровых рабочих ХТЗ прибыл сюда из Рубцовска на срочные восстановительные работы. Поезда ходили только до Купянска — за полтора года немцы успели перешить железнодорожную колею.

Они шли узкой тропкой вдоль заваленной снегом Сумской улицы и в морозной мгле искали глазами силуэт Госпрома: уцелел ли?

Среди бесформенных развалин, окаймлявших площадь Дзержинского, Госпром стоял хмурой и гордой громадой, иссеченный осколками, испятнанный гарью пожаров, продуваемый сквозняками, но целый и по-прежнему несокрушимо-бетонный, как символ непокоренного города...

Уже давно вместо завтрака Павло наловчился пить заварку из малинового листа. Листья он не сушил зара-

нее, а шел в дальний угол двора и в закутке за сараем, в буйном колючем малиннике, набирал в кепку жухлых листьев — их всегда было вдоволь. Ходил с неохотой: там, за проволочным забором, располагался сторожевой пост соседа — профессора Несвитенко, въедливого и прилипчивого старика. Он обязательно приставал со своими слезливыми разговорами, которые называл «душевным общением». Впрочем, нынче его стоило послушать, потому что вчера он, кажется, весь день проторчал на городском базаре.

Профессора Павло знал давно: когда-то, еще в тридцать четвертом году, в дни пуска Турбогенераторного завода, он выступал перед рабочими с лекцией, как «научное светило» Харьковского госуниверситета (щеголял эрудицией и холеной раздвоенной бородой, как у ресторанного швейцара). А потом, по странной прихоти судьбы, Павло Слетко четыре месяца назад оказался его соседом: поселился рядом в полуразрушенном, оставленном хозяевами доме.

У профессора были какие-то серьезные нелады по части «жизненной позиции». В первую оккупацию он вроде бы подвизался в националистической организации и даже сотрудничал в местной газете. Однако немцы заигрываний националистов не поняли и не приняли, а некоторых наиболее крикливых «самостийников» они просто-напросто расстреляли и приказали выбросить с газетного заголовка петлюровский трезубец.

Профессор после этого страшно невзлюбил «коварных германцев» и все часы своих сторожевых бдений в саду проводил в размышлениях, в которых обосновывал все новые и новые «научные тождества» между варварами «священного» первого рейха и «тысячелетнего» третьего. По его твердому убеждению, гитлеровский рейх был «абортальным выкидышем цивилизации».

В последние дни старик явно заискивал перед Павлом, не стесняясь, почем зря ругал нацистов. Может, в предвидении перемен чутьем понимал, кто такой Слетко на самом деле, а скорее, хитрый скряга пытался забронировать себе «свидетеля из народа», чтобы потом, при надобности, сослаться: «Вот какие смелые суждения имел я в период оккупации».

Профессор никогда не здоровался, только кивал бородой в знак приветствия.

— Ты знаешь, хлопче, я обнаружил нынче порази-

тельную вещь! Оказывается, есть прямая связь между Кантом и нацистской программой. Да, да, самая непосредственная! Кантовский «категорический императив» — это и есть главный пункт программы НСДАП: «ответственность только перед самим собой». Понимаешь?

Слетко, морщась, пожевал недозрелую ягоду, найденную в малиннике (и то удача: тут целыми днями пасутся соседские ребятишки!). Равнодушно буркнул:

— Чхать мне на вашего Канта...

Вот так было каждое утро: прежде чем перейти к базарным новостям, профессор плел всякую философскую дребедень. Приходилось выслушивать.

— Жебрак ты, хлопец! Дремучая деревня. Да ведь во всем этом и кроется философское оправдание фашистского бесчинства! Он, немец, ни перед кем не отвечает, он, мерзавец, творит зверства, измывается над бедным украинским народом. Тебя тогда не было в Харькове, а я видел собственными глазами: осенью сорок первого года в первый день оккупации немцы повесили на балконах свыше ста харьковчан! Вся Сумская была в этих страшных гирляндах...

Слетко уже не один раз слыхал об этом: старик возвращался к кровавому факту с исступленной настойчивостью, словно подстегиваемый неспокойной совестью.

— Их свои выдали, пан профессор. Вы же знаете.

Профессор сразу насупился, рассерженно вздернул бороду:

— Не знаю! Ничего не знаю! И никто этого не знает — одна досужая болтовня. И потом не об этом идет речь: я говорю о жестокости немцев. Жестокости, которая базируется на теории «кенигсбергского затворника». Кстати, на его же «принципе высшего долга» Адольф Гитлер соорудил свою догму фюрерства. Отвратительная, гнусная демагогия!

Павло осуждающе кашлянул, оглядываясь по сторонам:

— Вы насчет фюрера полегче, пан профессор. А то ведь недолго загреметь в гестапо...

— Я борец! — Профессор вскинул толстую сучковатую палку.— Я сын своего народа, и мне не страшны репрессии. Если понадобится, я, не задумываясь, отдам свою жизнь за святое дело.

Старик картинно ткнул палкой в свою грудь, в распахнутый ворот засаленной рубашки.

«Да уж ты отдашь... Как же,— ехидно подумал Павло.— Небось весной, когда пришли наши, сидел тихо, как крот, в своем буржуйском доме. Даже сад вылазил вскапывать по ночам».

— Была бы жизнь, а отдавать ее — это не задача,— меланхолично заметил Павло.— Какая тут жизнь — жрать совсем нечего...

— Да, необходимость... — печально вздохнул профессор.— Это тоже железная философская категория. Простой народ вынужден в силу необходимости даже работать на немцев, вот как ты. Ради того, чтобы выжить.

«Черт его знает, старого трепача...— размышлял Павло, хмуро поглядывая на профессорские яблоки.— Вроде бы все говорит правильно, складно и красиво. А вот ужился ведь «борец» при немцах, крепко угнездился в своем добротном четырехкомнатном доме. Не тронули ни его, ни старуху. И наши весной тоже не побеспокоили, наверно учитывая научные заслуги. Вот так и переживет все передряги в своем саду под «кармазинками» и штрефелями.

— Мы что, мы — работяги,— сказал Павло, потирая заскорузлые ладони.— Пока сила есть в руках, на обеденную похлебку заработаем. А вот вы как держитесь, пан профессор? Небось вовсе трудно?

Павло подталкивал его поскорее к базарной теме — надоело слушать белиберду, да и пора было собираться на работу в железнодорожные мастерские (после ночной бомбежки сегодня наверняка будет авральный день). К тому же стоило лишний раз подковырнуть старого барыгу. Слетко было известно, как иногда темными ночами шныряли в профессорскую калитку подозрительно-мордатые субъекты, спецы по антикварным штучкам.

— Трудно, мой друг, ох как трудно...— пожаловался профессор.— Опостылела базарная жизнь. Вчера вынужден был продать свой любимый настольный прибор. Чистосортный уральский малахит. Но надо мужаться — скоро придет день освобождения.

— Неужели это правда?

— Правда, хлопче, истинная правда: сам лично читал листовку, сброшенную с советского самолета. Это три дня назад, когда бомбили Основу. Помнишь, тогда еще сбили два бомбардировщика? Так вот говорят, что трех пилотов, прыгнувших у Циркунов с парашютами, немцы

взяли в плен ранеными. Они сейчас в госпитале, который на улице Карла Маркса.

«Надо учесть,— подумал Слетко.— И выйти кому-нибудь на медперсонал. Возможно, удастся устроить летчикам побег, как уже сделали с одним раненым офицером-истребителем».

— Да, всякое болтают... Вон говорят, что будто бы немцы собираются минировать город?

— Не знаю, про город не слыхал, врать не буду. А вот заводские окраины минируют — это точно.

Ну об этом и у Слетко были абсолютно достоверные сведения. Самое убедительное подтверждение тому, что немцы в ближайшем будущем собираются оборонять город. Да и прибывающие ежедневно новые воинские части тоже посылают сюда не для прогулки.

Прощаясь, профессор несказанно удивил Павла, подарив ему сорванное собственной рукой яблоко.

— Мы все сыны одной матери — Украины,— высокопарно сказал профессор, вручая яблоко.— И в трудную минуту должны держаться вместе, помогать друг другу.

Слова насчет «трудной минуты» развеселили Слетко — значит, и впрямь дело идет к развязке, если начинает скулить такая ушлая скряга, как «пан профессор Несвитенко».

Яблоко Павло помыл и тщательно вырезал подгнивший бок («пан профессор» все-таки остался верным себе!) и потом всю дорогу до самых мастерских смаковал и сосал яблочные дольки.

В проходной его привычно — с головы до ног — обшарил дежурный полицай, легонько толкнул в спину: «Валяй вкалывай, ивановская шпана!» По двору метались взмокшие бригадиры — немецкие специалисты-железнодорожники из фашистского трудового фронта, накалывали на спины приходящим рабочим ежедневные регистрационные номера — по этим номерам в обед выдавали и свекольную похлебку. «Шнеллер! Шнеллер!» — гнали, торопили на погрузку.

День начинался безоблачный, душный, накрытый колпаком белесого августовского неба. Над городом слоилось утреннее марево, в котором расплывались, переламывались, причудливо кривились и без того уродливые очертания развалин. В пыльных лопухах вдоль железнодорожного полотна копошились воробьи, взъерошенные, измазанные в мазуте.

Слетко толкнул в бок Миколу Зайченко, своего связного по подпольной группе, угрюмого, вечно заспанного парня. Микола понял, повернувшись, протянул «сороковку» — недокуренный махорочный бычок. Несмотря на табачный голод в городе, Зайченко всегда был при махре — у него даже полицаи стреляли на закрутку.

— Ну как там ваша Москалевка? — затягиваясь, спросил Павло.

— Помаленьку дрыгает,— буркнул Микола, потом помедлив, вполголоса добавил: — Позавчера под Золочевом немцы захватили советскую разведгруппу. Двое живых. Доставлены в гестаповскую фельдкомендатуру.

— А почему не в зондеркоманду СД?

— Черт их знает. Филипп тоже не в курсе дела.

Филипп — словацкий офицер, майор из особого батальона «культурного обслуживания фронтовиков». На него существовал сложный многоступенчатый выход, поэтому от всяких уточнений приходилось воздерживаться.

— Ладно. Что еще?

— Вчера из Киева прибыли два специальных инженерных батальона. Размещены в казармах на Холодной горе. Среди них есть рота электротехнического минирования. Ты понимаешь, в чем дело?

— Да уж не дурак, понимаю...

Слетко с трудом перевел дыхание, чувствуя, как рубашка прилипла к спине. Это было то самое известие, которое все они напряженно ожидали последние дни. Известие, означавшее начало опасного, очень важного дела, ради которого Павло Слетко и его товарищи остались в оккупированном Харькове, каждодневно в течение четырех месяцев рискуя жизнью. Поставленное перед ними задание приобретало наконец реальный смысл.

Немцы собирались минировать Харьков.

8

В полдень 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов прорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону северо-западнее Белгорода — на стыке четвертой танковой армии Гота и оперативной группы генерала Кемпфа. Как и в недавнем неудавшемся наступлении, обе фашистские группировки снова были разъединены, лишены взаимодействия, потому что советское командование немедленно бросило в прорыв две танковые армии:

полторы тысячи танков и САУ стальной лавиной устремились на Степное, а затем на Золочев и Богодухов. Многополосная немецкая оборона трещала и свертывалась, как жесть, разрезаемая острыми кузнечными ножницами.

Содрогалась земля, гудело небо: сквозь пылевую завесу поблескивали на жарком солнце краснозвездные крылья сотен штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей.

Это было зрелище невиданной устрашающей силы.

Танки шли низменным междуречьем, двумя колоннами, образуя пятикилометровый коридор, и сверху казалось, будто гигантский плуг вспарывает тучную августовскую землю — сзади, за медленно оседающими клубами пыли, ложилась сплошная черная полоса.

Стоя в открытом люке, генерал с легким сердцем слушал перебранку танкистов в шлемофоне, изредка слизывал с усов серую пыль — она казалась ему сладкой и ароматной, как пыльца цветущего вокруг подсолнечника.

Он думал о том долгом и трудном, противоречивом пути, который прошли советские танковые войска от первых пограничных боев до сегодняшнего решающего экзамена, когда созданные танковые армии впервые вырывались на оперативный простор.

Вспоминалось многое: удивившее танковых командиров решение, принятое накануне войны специальной правительственной комиссией о расформировании танковых корпусов (оно основывалось якобы на опыте боев в Испании и финской войны); геройские действия в тылу врага многих танковых бригад в первые дни войны; мастерство и бесстрашие танкистов-катуковцев, которые, имея лишь несколько десятков машин, остановили под Мценском танковую армаду Гудериана; наконец, Сталинградская битва, где стремительные удары советских танковых бригад отбросили группировку Манштейна и поставили последнюю победную точку.

И еще вспоминалась встреча со Сталиным — вскоре после завершения Сталинградского сражения... Да, жизнь убедительно показала, что выиграть войну без крупных танковых объединений невозможно, тем более, имея в виду предстоящие масштабные наступательные операции. Объединений чисто танковых, мобильных и маневренных, не отягощенных различными довесками стрелковых частей и тыловых служб.

Верховный слушал молча, задумчиво вышагивая по ковру с потухшей трубкой в кулаке. Затем задал несколько вопросов, кратких, точных, предельно компетентных. А в заключение беседы поручил ему формирование одной из первых танковых армий, вот этой самой, которая, пройдя огненную закалку под Прохоровкой, двигалась сейчас просторами украинских полей к Харькову.

Прохоровка... Сколько тяжких дум передумал он в тот вечер, глядя на поле, усеянное танковыми кострами... Это было в полном смысле «танковое Бородино». Потеряв в исступленной многочасовой схватке сотни танков и тысячи людей, обе стороны с приходом ночи отошли на исходные рубежи. Его танковой армии так уж было написано на роду: вступив в свой первый бой, она фактически вступила в самое крупное в истории танковое сражение, выстояла в нем и, как оказалось, сломала хребет хваленой немецкой «танковой гвардии» — дивизиям СС (назавтра, 13 июля, Гитлер отдал приказ о прекращении операции «Цитадель»).

Один из комбригов сказал после Прохоровки: «Да, мы потеряли половину танков, зато выковали непобедимых солдат. Один экипаж, уцелевший под Прохоровкой, сто́ит целой танковой роты».

А ведь действительно сто́ит...

Вот только что, несколько минут назад, всего лишь один танковый взвод лихо парировал контратаку дивизиона немецких самоходок. Умно, смело, решительно нанес им удар во фланг, по бортовой броне. Справа, у безымянного хутора, и сейчас еще клубятся белые дымы подожженных штурмовых орудий врага.

Этот дым опять напомнил Прохоровку: адъютант Потанин пытался тогда по цвету дыма определить, сосчитать, сколько горит немецких машин, сколько наших? Дым от подбитых гитлеровских танков, работавших на бензине, был более светлым, иногда почти белым.)

Враг усиливает сопротивление с каждым часом. Это и понятно: ошеломленное неожиданным прорывом советских танков, немецкое командование начинает приходить в себя и пытается как-нибудь залатать брешь.

Интересно, где, когда и какими силами последует немецкий танковый контрудар?

Штабу фронта и ему, генералу, было известно, что около двух недель назад Манштейн перебросил в Донбасс истрепанный в боях танковый корпус СС (после

Прохоровки его командир обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер по приказу Гитлера был снят с должности). Зачем туда переброшен корпус? Для ремонта и пополнения. А еще?

Это не трудно предугадать. Фельдмаршал Манштейн, как опытный игрок, «придержал карту при себе»: танковый корпус СС — ударный кулак группы армий «Юг» занял позицию маневренной готовности. Он мог быть оперативно брошен для парирования ударов в двух направлениях, двух советских фронтов: Юго-Западного и Воронежского. Он был разящей ладьей, оседлавшей игровую горизонталь.

Где и когда снова сшибутся уцелевшие участники прохоровской железной битвы? Кто не устоит на этот раз?

К сожалению, он пока не располагал свежими исчерпывающими разведданными, были лишь отдельные фрагменты из необходимой мозаики, из того, что ждет его танковые колонны завтра и послезавтра.

Особенно досадным было загадочное молчание выброшенной под Золочев разведгруппы Белого (Полторанина) — прямо на линии предстоящего маршрута...

Отступая, немцы рвали мосты, минировали дороги, жгли дотла все населенные пункты. К вечеру далеко впереди, над поймой реки Уды, занялось зарево: пылали соломенные крыши украинских хат...

За этим зловещим заревом генерал пытался представить далекие очертания города, который хорошо знал еще до войны, помнил его покатые мощеные улицы, сбегавшие с холмов к центру, к площади у слияния двух речек. «Щадить многострадальный город» — таков был замысел операции. Танковый клин играл в ней роль рассекающего меча, а в последующем — надежного заслона с запада.

Именно танковые армии резким поворотом от Богодухова на Валки должны будут отрезать всю харьковскую группировку противника, постепенно сжимаемую общевойсковыми армиями Степного фронта.

«Выдавить немцев из города, не допуская уличных боев!» — так образно выразился командующий фронтом, напомнив о руинах Воронежа.

Меч, заслон... Это все красиво и правильно по существу. Но как будет выглядеть реальная картина? Скорее всего они, танкисты, станут своеобразной наковальней,

по которой будут бить яростно, безостановочно и со всех сторон. И можно лишь вообразить, каково им придется, оторванным от баз снабжения, лишенным поддержки артиллерии и пехоты...

Что ж, такова неумолимая логика: щадить город — значит принимать удары на себя.

В сумерках штабная колонна сделала привал. Дозаправлялись танки авангарда, выстроив у пологого холма стальной защитный забор; там же перекуривали автоматчики десанта, балагурили, выхлопывая о кусты насквозь пропыленные гимнастерки. В овраге, в зарослях ольхи, приткнулись броневики и мотоциклы связи, рядом на траве наскоро ужинали экипажи.

Саперы принялись было отрывать щель для импровизированного КП — убежища под танком, однако генерал не разрешил, отмахнулся: незачем, через полчаса — вперед.

В дегтярно-черных заводях реки тихо покачивались первые звезды, на ближнем плесе сквозь камыш пробивались блики — отраженные в воде всполохи пожара: на противоположном речном откосе догорала колхозная кошара. Оттуда, прямо по кустам, катил бронетранспортер, не останавливаясь и не замедляя движения, с ревом, с ходу форсировал речку.

Генерал узнал машину члена Военного совета, который час назад отправился в правофланговую бригаду, отражавшую контратаку. Бронетранспортер остановился неподалеку, и рослые автоматчики сдернули на землю пленного, поволокли без особых церемоний, подталкивая прикладами.

Адъютант Потанин бросился им навстречу, расставив руки-клешни: куда прёте? Переговорив о чем-то, отстранил солдат, взял пленного за шиворот, приподнял и, держа на весу, словно щенка, представил перед генералом.

— Вот докладывают: член Военного совета самолично вам прислал. Велел передать, что этот вшивый ариец, дескать, уникум. Рекомендует посмотреть и поговорить.— Солдаты сзади что-то подсказывали, Потанин обернулся, уточнил и сплюнул: — Одним словом, выродок, каких не видывал свет.

Генерал поставил на борт танка недопитую кружку с чаем, ладонью пригладил усы. Подал знак механику-водителю, чтобы на минуту включил фары.

Яркий свет выхватил тощую фигуру пленного, белое, искаженное страхом лицо: типичный бюргер-тотальник, недавно напяливший солдатский мундир. Такие встречались сотнями, если не тысячами. Ну, у этого, может быть, слишком уж неряшливый вид, да и запах идет странный какой-то, смердящий — на расстоянии чувствуется. Будто смешали карболку с керосином.

— Факельщик он. Поджигатель,— опять сказал Потанин и выразительно подул на свой увесистый кулак, дескать, нечего церемониться.

Генерал ругнул про себя члена Военного совета: вечно он выдумывает разные эксперименты и сюрпризы! Надо вызывать переводчика, да и прав Потанин: некогда церемониться с этим смердящим солдатом рейха.

Однако пленный неожиданно заговорил:

— Я знаю русский язык, господин генераль. И готов отвечать на ваши вопросы.

Генерал поморщился: эка обрадовал! Что полезного может сообщить ему рядовой какой-то бандитской факельной команды? Номер противостоящей немецкой части или фамилию командира? Так это уже известно разведотделу из более компетентных источников.

— Поджигателей мы квалифицируем как диверсантов,— хмуро сказал генерал.— А диверсанты подлежат расстрелу на месте. Это согласно международной конвенции.

— Ошибаетесь, господин генераль! Я хорошо знаю Гаагскую конвенцию, как бывший гелертер — доцент кафедры международного права. В конвенции такого определения нет, по-русски это называется «подтасовка». Как ученый-правовед, я заявляю протест!

У Потанина от изумления отвисла челюсть, а механик-водитель высунулся по пояс из люка, с презрением крикнул:

— Сука ты, а не ученый!

Немец спокойно вынул грязный платок, вытер измазанное сажей лицо, и в движении руки, в жесте, впрямь проскользнуло нечто напыщенное, кафедрально-профессорское, оттопырил нижнюю губу:

— Прошу оградить меня от оскорблений, господин генераль!

«Ну и фрукт! А ведь член Военного совета в самом деле подкинул выдающуюся гниду. Жжет жилье, уничтожает последнее, что осталось у голодных, истерзанных

войной людей, и еще рассуждает о международном праве! Есть ли больший предел человеческому лицемерию!»

В свете фар возбужденные глаза бывшего доцента-гелертера казались стеклянно-желтыми, змеиными. Нет, он вовсе не был похож на обреченную жертву, скорее, напоминал именно ядовитую змею, притиснутую охотничьей рогаткой, но готовую жалить даже в предсмертный миг.

Генералу всегда казалось, что война начисто нивелирует все человеческие призвания, профессии, оставляя на первом плане только одно — умение драться. Оказывается, нет... Оказывается, война незримыми, но очень прочными нитями связана со всем прошлым каждого человека, которое нередко в самые трудные военные минуты становится его дополнительным оружием, подспорьем и поддержкой, чаще всего — моральной, вот как у этого факельщика.

«А ведь он, этот гелертер, убежденный милитарист,— мелькнула неожиданная догадка.— Он жил войной и в мирное время, только под этим углом изучая свое так называемое международное право».

Один из солдат-автоматчиков принес из бронетранспортера и положил на траву, позади пленного, ранцевый огнемет — «вещественное доказательство». Сразу сильно ударил в нос уже знакомый керосино-больничный дух. Вот чем провонял факельщик, бегая по пустым улицам и поливая огнем соломенные крыши!

— Вы жгли дома мирных жителей. Следовательно, вы бандит. Неужели вы этого не понимаете?

— Не согласен,— мотнул головой немец.— В принципе солдат есть квалифицированный убийца. Но приказ освобождает его от ответственности. Я тоже выполнял приказ. Следовательно...

— А совесть человеческая у вас есть?

Пленный обернулся на притихших сзади солдат и негромко, этаким доверительным тоном (каков мерзавец!) сказал:

— Герр генераль, вы сами хорошо знаете, чего стоит совестливый солдат. Это тряпка и трус. В своем мартовском приказе «О поведении при отступлении» фюрер велит беспощадно вешать таких солдат. Нам вчера вновь зачитали этот приказ и троих повесили — с табличками на ногах, для иллюстрации.

— Вот и тебя надо повесить! — не выдержал багро-

вый от гнева капитан Потанин.— Вон на той осине. Как изверга рода человеческого.

— Нет, вы меня не повесите! — огрызнулся пленный.— Тот генераль, ваш политический комиссар, сказал, что я нужен для пропаганды. Чтобы возбуждать у ваших солдат ненависть. Битте, я готов возбуждать. Я готов повторять везде свои слова как убежденный национал-социалист.

Ну вот теперь стала понятной подлая уловка ученого-поджигателя. Он старательно играл роль, которая, как рассчитывал, от него требовалась, чтобы сохранить свою жалкую бандитскую жизнь. Только не выдержал до конца — ненароком сболтнул, проговорился. Пора было, пожалуй, кончать эту дешевую интермедию.

— Вы уже сделали все, что могли для воспитания ненависти.— Генерал кивнул в сторону зарева.— Так что считайте свою миссию оконченной. Уведите его!

Так и не притронувшись к кружке с чаем, генерал долго глядел на юг, на оплавленный пожарами горизонт: что будет с городом, если они жгут дотла даже хутора-однодворки?

Надо спешить, спешить!

Уже после того как прозвучала команда «Приготовиться к маршу», из темноты неслышно шагнул начальник разведотдела Беломесяц, по своему обыкновению, вздохнул, выжидательно поглаживая планшет.

— Ну что нового? Докладывайте,— сухо сказал генерал.

— Под Белгородом трудно. Противник оказывает упорное сопротивление, особенно вдоль шоссе. Пехота продвигается медленно...

— Это мне известно. Можно бы без предисловия.

— Получена оперативная ориентировка из штаба фронта. Манштейн бросает под Харьков два танковых корпуса: эсэсовский и второй, линейный. Их штабы уже прибыли в Харьков. Таким образом...

— Таким образом, нам и Катукову придется противостоять одним. Особенно Катукову — он идет на Богодухов. Этого следовало ожидать... Ну что ж, танки против танков — так и должно быть.

Он, конечно, понимал, насколько неравноценным будет противостояние: у немцев свой тыл, свои опорные пункты, напичканные пехотой, артиллерией, минометами. А они — в ста километрах от линии фронта, от своих баз.

Хорошо если хоть будет обеспечена авиационная поддержка.

Генерал был недоволен разведотделом: из нескольких разведгрупп, заблаговременно заброшенных в тыл врага на предполагаемые рубежи боевых действий, рабочими оказались лишь две, другие пока молчат. Разумеется, в таком деле всегда имеется риск, учитываются скидки на случайность, но перевес-то всегда должен быть за планированным предвидением.

— Как только выйдем к Золочеву, приказываю вам тщательно расследовать обстоятельства, связанные с исчезновением группы Белого.— Генерал помолчал, опять вспомнив, с какой неохотой, обуреваемый дурным предчувствием, подписывал приказ о назначении в поиск того улыбчивого скуластого лейтенанта, что напомнил ему родного сына.

Он и сейчас не мог понять, в чем крылось это непостижимое разительное сходство?..

Подошел командир авангарда, комбриг, бросил руку к ребристому шлему, ожидая приказ на марш. Показывая на огненные ориентиры пожаров, уходящие руслом реки, генерал сказал:

— Они ждут нас там. Но мы там не пойдем. Берите сразу левее, прямо по целине — на Казачью Лопань. Остальное по-прежнему: опорные пункты обходить, в бои не ввязываться. Только вперед!

В полночь после грозы хлынул ливень, беспросветный, небывало обильный: танки шли сквозь сплошную стену воды.

Утро началось яростными контратаками врага.

9

Однажды по весне, в самое половодье, случился на Шульбе затор: где-то в верховьях на одной из лесосек подмыло штабеля бревен, приготовленных для мулевого сплава, и поперло скопом по шалой воде — у моста в центре села вскоре выросла гора пихтовых лесин, будто огромный еж подкатил к шатким перилам. Мужики пытались протаранить завал, эхая и матерясь враз раскачивали и били длинным толстым бревном. Однако затор не шевелился, отбрасывая их вместе с бревном-тараном...

Вот так же полки дивизии третий день безуспешно долбили немецкую оборону, ее вторую полосу. Переката-

ми, меняя друг друга, шли в десятую, пятнадцатую атаку, и снова отводили назад поредевшие подразделения.

Немцы сумели быстро и основательно заштопать прореху, вырванную в обороне нашим танковым клином. К тому же здесь, левее прорыва, щетинились опорные пункты, нанизанные густо на магистральное шоссе, как осиные гнезда на чердачной стрехе.

Прямо на покатом холме были Выселки. Сколько их, этих Выселок, уже встречалось на Курщине! Домов не видно — сгорели, торчат одни фундаменты, а между ними — вкопанные в землю танки и самоходки. Еще вчера различались рваные полосы траншей вдоль склона, сегодня — все черно, все перепахано снарядами, бомбами, минами, ни кустика, ни травинки живой не осталось. Как только атакующие приближались к проклятому черному рубежу, земля вставала на дыбы перед ними, будто из самых своих глубин извергая огненные всполохи.

Полковник-комдив нервничал, ругал приданную артиллерию, поддерживающую авиацию, материл саперов — всех подряд, кроме своей пехоты: она и без того гибла на его глазах. К вечеру бросил в бой последний резерв — учебный батальон бывалых курсантов-фронтовиков, завтрашних младших командиров.

Комбат учебного майор Баканидзе, обернувшись, сверкнул золотым зубом, помахал Вахромееву: «Будь жив, кацо!» Неделю назад, еще под Белгородом, Вахромеев был гостем Отара Баканидзе: пили в блиндаже спирт по случаю дня рождения майорского сына. («Десять лет — первый юбилей!»)

Баканидзе пошел правее — лощиной, но и там приметные свежезеленые гимнастерки его солдат сразу, вместе с шеренгой идущих впереди танков, канули в зловещей завесе дыма, огня и пыли.

Вахромеев курил, сумрачно сплевывал: не нравилась ему такая война. Это все равно что бросать поленья в жаркую печь — пойдет прахом... Конечно, он понимал, что там впереди, далеко под Харьковом, уже несколько суток дерутся танкисты, и каждая выигранная минута обходится для них большой кровью. Они, как занесенная над пропастью нога, которой нужна сила, поддержка, чтобы сделать решающий шаг или, не дождавшись, непоправимо отступиться.

Как и чем измерить соотношение тех и этих потерь? Ведь в конечном счете все они складываются в одно общее,

трагическое... А может быть, война вообще не терпит счета, потому что все теряемое ради жизни измеряется только самой жизнью и необъяснимо с точки зрения бесстрастной арифметики? Может быть, в войне не бывает напрасных жертв? Это ведь не промысловая охота в тайге, где всегда трезвый расчет и рассудочный счет, где охотник почти не рискует и ничего не теряет, кроме стреляных гильз.

Здесь все держится на случайности, все зависит от какой-нибудь шальной пули или негаданного снаряда, свиста которого так и не успеешь услышать...

Нет, должен быть счет! Обязательно должен быть. И такой, чтоб безжалостно строгий, беспощадно точный. Иначе может получиться так, что нечего станет считать.

— Оголтело воевать нельзя! — резко вслух буркнул Вахромеев, вдавив каблуком окурок.— Нельзя!

— Да уж конечно! — поддакнул Егор Савушкин, прильнувший к окулярам трофейной стереотрубы. Он с этой трубой таскался уже полмесяца, ежедневно, чуть свет, устанавливая ее в командирском окопе, а то и просто в поле, на временном привале: «Чтобы имелся свой НП!».— Мать честная, как прут курсанты-то! Кажись, в первую траншею свалились. А майор Баканидзе фуражку утерял. Во герой, во мужик зажигательный!

— Егор, я что тебе приказал? — недовольно повернулся Вахромеев.— Кончай пялиться! Живо беги к вологодцам, пускай готовят штурмовые средства.

Вологодский взвод ребят-комсомольцев, правда поредевший уже, зарекомендовал себя за минувшие дни цепкой фитиль-командой: парни увертливые, настырные, ловкие, им ни яры, ни кручи не преграда.

Вахромеев уже прикинул: майор Баканидзе наверняка застрянет на второй траншее. Тогда наступит черед «карманной роты» комдива. А это значит, автоматчикам-вахромеевцам придется брать крайних два дома, вернее, кирпичных фундамента. И не в лоб, а справа, со стороны крутого овражного склона. Там первыми пройдут вологодцы, а уж «старики» за ними.

Сзади полевым проселком пылила небольшая автоколонна — из тыла к дивизионному НП (уж не броневики ли на подмогу?). Юркнула к ближнему ставку под белесые ветлы. Через несколько минут на пригорок к остову разрушенного ветряка быстрым шагом поднялась группа офицеров. Шедший впереди — плечистый, крепкошеий,

в мягкой кожаной куртке,— не дослушав выскочившего навстречу комдива, взял его за локоть, повел в сторону.

Они одновременно спрыгнули в окоп Вахромеева.

— Вот тут другое дело! — сказал приезжий, снял фуражку и вытер платком массивную, чисто бритую голову.— А то придумал НП на мельнице. Она же десять раз пристреляна!

Мельком кивнув Вахромееву, бритоголовый генерал уже глядел в стереотрубу, регулируя окуляры. Вахромеев все никак не мог сообразить: где он видел этого скуластого меднолицего человека с таким жестким пронизывающим взглядом?

— Хороша штука! «Цейс»! — Генерал наблюдал в стереотрубу, поглаживая шершавые рожки.— А вот показывает она дерьмовую картину. Эх, братцы сталинградцы, не научились вы пока наступать! Обороне научились, а вот наступлению... Это же навал!

— Тараним, товарищ командующий! — сказал командир дивизии.— Оборона у них сами видите какая. Ее долбить надо, прогрызать. А у меня ни танков нет, ни крупнокалиберной артиллерии.

— А танковая бригада?

— Осталось шесть танков и те — в атаке.

Над головами с хрюкающим шелестом пошли мины — откуда-то из-за Выселок ударил залп шестиствольной «скрипухи». Мины накрыли ставок, подняв в воздух стену воды: отсюда, с пригорка, вода казалась белой, будто рванули молочную цистерну. Генерал даже не повернулся в сторону взрывов.

— Вы что, собираетесь под Харьковом закончить войну, полковник? — На литых скулах генерала недобро двигались желваки.— До Берлина еще очень далеко — надо беречь людей! Стыдно вам будет, гвардейцам, если придется перенацеливать вас в прорыв на участок соседа.

Комдив деликатно промолчал, хотя и знал, что перенацеливать не придется: у соседа дела тоже шли худо. Уверенно, решительно отмахнул рукой:

— Возьмем Выселки, товарищ командующий! Возьмем!

— Возьмем...— Генерал хмуро помассировал перевязанную кисть руки.— Это я и без вас знаю. Меня интересует вопрос: когда? — Он вдруг повернулся к Вахромееву, чуть прищурился, оглядывая его гимнастерку, но-

вецкий офицерский ремень: — Что думаешь, капитан, по этому поводу?

Вахромеев наконец вспомнил: это же командующий фронтом! Нет, они не встречались раньше — лицо генерала знакомо ему по газетным портретам.

— Можно сегодня ночью взять, товарищ командующий.

— Вот как? Интересно...

— Надо бросить мою роту через передовую. Ударим немцам с тыла. А отсюда — поддержат. Я так думаю.

Командующий поднял голову, прислушиваясь к новому залпу шестиствольного миномета. Сжав губы, медленно перевел взгляд опять на блестящую пряжку ремня.

— Как фамилия?

— Капитан Вахромеев.

— Вахромеев... Что-то знакомое... Где-то я на днях встречал вашу фамилию! Кажется, в одном из донесений. Ну да, связанном с разгромом девятнадцатой немецкой танковой дивизии. Верно?

— Это его рота пленила штаб дивизии,— подсказал полковник.— Ну а он лично немного обмишурился. Прошляпил генерала Шмидта.

— Вот теперь вспомнил! — скупо усмехнулся командующий. — Только не прошляпил, а решил «проблему генералов Шмидтов». Их у немцев было два, и оба танкисты. Один командовал второй танковой армией — Рудольф Шмидт, другой — девятнадцатой танковой дивизией, Густав Шмидт. Мы их все время путали. Теперь путаницы не будет, к тому же за поражение под Орлом генерал Рудольф Шмидт снят Гитлером с должности и разжалован.— Собираясь уходить, командующий подал руку Вахромееву, еще раз оглядел отглаженную гимнастерку, белый кантик подворотничка: — Уважаю аккуратных людей... Ну что ж, капитан, действуй! Возьмете Выселки — лично вручу орден. Прощай!

Все оставшееся светлое время Вахромеев провел у стереотрубы, изучая каждый метр немецкого переднего края. И чем больше смотрел, тем сильнее нарастала тревога. Временами корил себя: зря раскудахтался перед командующим, напрасно вгорячах наобещал, заверил. Соваться ночью к немцам было все равно что биться башкой о бетонную стенку—ни одной мало-мальски подходящей лазейки он не нашел. Да и как ее найти, если оборона была не какая-нибудь поспешная, а долговре-

менная, готовленная два месяца день за днем, к тому же детально проверенная на прочность в минувшие сутки.

Вот разве только заболоченное русло реки в трех километрах западнее... Но там можно попасть в такую смертельную ловушку, что от роты не останется и следа за несколько минут. От кинжального огня с обоих берегов...

Опять вспомнил холодный блеск прищуренных генеральских глаз, его шаг вразвалку, обветренные скулы и всю его фигуру, плотно обхваченную кожанкой. Он чем-то напоминал отчаянного и недовольного мотогонщика, только что бросившего на трассе свой поломанный мотоцикл. «Лично вручу орден»... Да разве в ордене дело? Еще день вот таких оголтелых атак и от полков останутся одни номера...

И все-таки правильно он сделал, сказав свое мнение командующему: надо рисковать, надо бросать роту в тыл, пусть даже потом от нее ничего не останется. Да и тяжко сидеть в резерве, наблюдая гибель товарищей в эту паршивую стереотрубу.

...Глубокой ночью рота гуськом двинулась в тыл прямо по реке, по камышовому коридору. Шли налегке, брели теплой водой, по-сталинградски с десантными ножами за пазухами. Впереди «охотничья команда» из сибиряков и сержант-москвич, свободно говоривший по-немецки, ряженный под фельдфебеля полевой жандармерии. Несколько раз снимали часовых, убрали два пулеметных поста, расчистили минированный проволочный забор-перемычку, и все — без единого вскрика или всплеска, даже без лишнего шепота. Час спустя все выбрались на берег уже в тылу, изрезанные осокой, мокрые до нитки, продрогшие.

На обратных скатах за Выселками, со стороны Харькова, тянулся огромный фруктовый сад, изрытый воронками, покореженный артобстрелом и заваленный сучьями. Вахромеевцы с ходу прочесали его, без выстрелов «задавили» спящую батарею «скрипух» и, только вырвавшись на деревенскую околицу, пошли на ура — с треском автоматов, с частыми гранатными взрывами. И тотчас же, на встречных, ударил батальон Отара Баканидзе.

В центре села Вахромеев завернул левый фланг роты фронтом на восток, и вовремя: оттуда, четко видимые на светлеющем небосводе, шли в контратаку немецкие танки. Очевидно, они попали на минное поле — три тан-

ка остановились на взрывах, случилась заминка. И тут ударила наша артиллерия, сразу все закипело, загудело, утонуло в грохоте и дыму.

Разливалась заря, густо и размашисто выплескивая багровые краски. Всюду полыхал красный свет во многих тревожных переливах и оттенках: от малинового небосвода, пурпурных бликов на танковых башнях до огненно-кровавых огнеметных струй. Красные всполохи ложились на лица, на раскаленные стволы пушек, на каски живых и убитых — это был рассветный бой, окрашенный самой яростью.

Всходило, несмело выглядывало солнце. И рассеивалась краснота, всюду возвращался изначальный естественный цвет: улицей прошли серые от пыли танки, зеленые ЗИСы протащили на прицепе зеленые пушки, пестрели-торопились разрозненные ряды, а потом и колонны пехотинцев. Над селом вместо недавнего зарева курился ленивый дым затухающего костра.

Вахромеев перевязывал Егора Савушкина: тут, в немецком блиндаже, получил он пулю в предплечье час назад во время рукопашной. А радист был убит — тоже здесь, в этом блиндаже, и теперь рация, с которой мучались всю ночь, берегли в бою, бесполезна, повреждена — работает только на прием. Вот уже полчаса назойливо верещит: «Астра», «Астра»! Сообщите ваше место». А зачем, собственно, сообщать? Выселки взяты, два полка ушли вперед. Какая теперь разница, где находится рота Вахромеева?

Перевязывать трудно: рана рваная, в упор из пистолета. Два пакета ушло, пока удалось остановить кровь. Савушкин кряхтит, сокрушается: без медсанбата не обойтись. Как минимум, неделя. Ну да ничего, не мешает отлежаться. Там и кормят, говорят, неплохо.

Егора все время отвлекала от болезненной процедуры приколотая на стенке, к блиндажным бревнам, картинка из какого-то немецкого иллюстрированного журнала: разухабистая девица с улыбкой до ушей — зубов полон рот.

— Игривая бабец! — с похвалой сказал он.— Гады-фрицы понимают в них толк. Знаешь, на кого она похожа?

— Ну, ну.

— На твою Фроську-кержачку. Во была девка, оторви-примерзло! Повезло тебе тогда.

— Замолчи...— с тихим раздражением сквозь зубы сказал Вахромеев.— Сиди спокойно, не вертись!

— Что, заело? — морщась от боли, хохотнул Савушкин.— А я считаю, зря ты ее не нашел, когда вернулся в Черемшу. К тому же холостяком остался — надо было искать.

— Заткнись! — уже зло гаркнул Вахромеев.

Ну что в самом деле буровит, за каким чертом бередит душу, вахлак сиволапый? Лезет со своими дурацкими упреками, а того и не подумает, что искать человека на белом свете еще потруднее, чем кресало, утерянное в тайге. Ни следов, ни слуху ни духу...

— Чтоб больше об этом — ни слова! На полном серьезе говорю.

— Да ладно, не буду...

Рация, лежащая на полу, попискивала, сыпала сухим треском, разноязыкими командами. Потом опять отчетливо-пискляво стали звать «Астру». Теперь их уже интересовало не только место, но и потери, а также количество пленных.

— Дуреха! — ухмыльнулся Савушкин, явно расположенный поболтать.— Какие могут быть пленные в ночном бою? Слава богу, сами уцелели, и то хорошо. Слышька, Фомич, а я за ночь-то троих фрицев уложил, и всех — финкой. Ну, а тех, которых из автомата, не считал. Темно было, не видно.

Потрогал-пощупал перебинтованную руку, вздохнул и покачал головой:

— Оно, конечно, грешно считать убиенных, так ведь приходится... Не мы их, так они нас считать будут.

«Вот именно»,— согласно подумал Вахромеев, вспомнив свои вчерашние раздумья. И еще прав Егорша в том, что совестливость чувствует, даже уничтожая лютого врага. Истинно человеческая ненависть не на злобе — на совести держится.

Сквозь вырванную блиндажную дверь легла тень: кто-то наверху прошел и остановился напротив. Савушкин правой, здоровой рукой цепко притянул автомат.

— Комбат Вахромеев здесь?

Они недоуменно переглянулись: голос незнакомый, каркающий, с гортанным акцентом. Вахромеев осторожно выглянул: на бруствере, расставив ноги, стоял приземистый квадратный человек. Только что взошедшее

солнце, казалось, было зажато между голенищами офицерских хромовых сапог.

— Ну я Вахромеев. Только не комбат, а командир роты.

Незнакомец спрыгнул в окоп, сразу перегородив его широченными плечами — от стенки до стенки. Был он крючконосый, бровастый, улыбался открыто и непринужденно, по-приятельски.

— Нет, дорогой! Если я, капитан Гарун Тагиев,— замполит комбата, значит, ты — комбат. Приказ час назад поступил. Разве не знаешь?

— Не знаю...— опешил Вахромеев.— Какой комбат? Какого батальона?

— Погиб майор Баканидзе...— Тагиев сдернул с головы пилотку.— У меня на руках скончался... Ай какой был офицер! Орел, богатырь.

— Знаю...— сразу помрачнел Вахромеев, прикрыл глаза, вспоминая золотозубого майора и недавнее по-грузински шумное фронтовое застолье.— Сын у него остался... Славный парнишка — видел я фото.

— И сын остался без отца, и батальон осиротел.— Капитан Тагиев размял в ладонях сухой комок брустверной глины.— Теперь ты — отец батальону. Вот и будь, как Баканидзе, добрым к друзьям и беспощадным к врагам и трусам. Трусов, как и изменников, надо расстреливать на месте. Прямо на поле боя.

— Что-то я не совсем понял...— смутился Вахромеев.— Про каких трусов ты говоришь? Или намекаешь?

— В твоей бывшей роте, а, значит, теперь в нашем батальоне есть трусы. Один прятался в щели, как таракан, а другой его защищал, оправдывал — значит, тоже трус. По закону их надо в трибунал.

— И оба из моей роты? — не поверил Вахромеев.

— Оба из твоей.

— Не может быть! Где они?

Тагиев приподнялся, помахал кому-то пилоткой, потом с отвращением сплюнул:

— У нас в Дагестане таких мужчин обливают коровьим навозом. Тьфу!

Подошли трое, и Вахромеев с огорчением убедился, что норовистый кавказец не ошибся: под дулом конвойного плелся грязный, расхристанный Афонька Прокопьев, левее шел старшина Бурнашов.

— Верно, мои гаврики,— сказал Вахромеев и строго

обратился к комвзвода Бурнашову: — Что вы там натворили?

У Бурнашова лицо горело от стыда и злости, даже конопатины исчезли со щек. Весь он — рыжий, остроглазый, хищно настороженный, напоминал пойманного лесного ястреба-кобчика.

— Да вот эта сопля зеленая... Мать его вдоль и поперек! Спрятался, в штаны наклал — танки как раз пошли. А товарищ капитан, понятное дело, зафиксировали. Ну, а я дал справку как положено. Солдат-то мой, из моего взвода. Так и так, говорю, перевоспитаем слабака.

— Понятно...— Вахромеев вспомнил, как после ночного маневра в центре села бурнашовский взвод первым выходил на восточную околицу, первым встретил огнеметные танки.— У тебя потери большие?

— Да не очень,— сказал Бурнашов.— В строю осталось шестнадцать. Вместе с этим суразом.

— Ладно, ты иди. Без тебя разберемся.

Он смотрел на белое, измазанное землей Афонькино лицо, на пробгвающиеся усики над губой и думал, что, пожалуй, проморгал, упустил с глаз этого хлипкого пацана. Из трех братьев Прокопьевых он был самым нетаежным, некержацким: узкогрудый пухлогубый молчальник. Единственное, что он умел в жизни, так это, наверно, только краснеть. Ему бы девкой следовало родиться, видно, к этому и шло в материнском чреве. А потом получилась накладка: «ни богу свечка ни черту кочерга». «Инок» — каким его прозвали в Черемше, таким он и остался. Монашек в солдатской форме.

— Значит, струсил? — угрюмо спросил Вахромеев.— Чего молчишь?

«Черт побери! — вдруг сообразил он.— А ведь я никогда даже не слышал его голоса. В Черемше как-то не доводилось с ним говорить, на фронте обычно братья за него говорили».

И еще он подумал, как, очевидно, много значило для непрактичного, слабодушного Афоньки соседство крепышей братьев, их постоянное уверенное присутствие.

— Ну отвечай, Афоня! Говори по совести.

— Не жить мне без брательников...— тихо, но твердо сказал Афоня.— Смерти я своей ищу. А смерти боюсь — в этом грех мой. Пущай расстреляют меня.

— Слушайте, чего он мелет? — возмущенно развел

руками замполит.— Я не понял. Он что, малость ненормальный?

— Да верующий он,— пояснил Вахромеев.— Кержак, старообрядец.

— Правду говоришь? — Капитан в искреннем изумлении вытаращил глаза.— И ты с ним воевал?

— Как видишь.

Вахромеев вспомнил, как под Прохоровкой лазал на четвереньках обезумевший от горя Афонька, собирая средь кустов останки своего старшего брата. А ведь бой еще не кончился, и его ни одна пуля не царапнула. Тогда он не трусил.

Из блиндажа вышел Егор Савушкин, придерживая забинтованную руку. Смерил Афоньку презрительным взглядом:

— Или совестью, поди, мучаешься, что, дескать, фашистов убивал? Так это святой грех.

— Не кощунствуй! — нахмурился, отвернулся Афонька.— Не бывает святого греха. Всякий грех — сатаны наущение, сказано в писании.

— Ну тогда ты последняя паскуда. Иуда Искариотский, ежели не токмо за других, за братьев своих мстить не желаешь.

— Замолчи!! — завизжал Афонька.

Капитан Тагиев обеспокоенно наблюдал эту сцену: вышел какой-то неопрятный раненый ефрейтор, никого не спросясь, беспардонно встревает в разговор, оскорбляет арестованного. А комбат ведет себя со странным равнодушием...

Приподнявшись на цыпочках, спросил на ухо Вахромеева:

— Кто такой? Родственник, что ли?

— Дядя...— отмахнулся, соврал Вахромеев. Он и сам понимал, что Егорша ведет себя не по-уставному, да еще в присутствии нового человека — замполита. Избаловался, совсем обнаглел, шельмец. Да ведь с другой стороны — Савушкин имел достаточно веских оснований, чтобы так говорить с младшим Прокопьевым. К тому же еще со Сталинграда Егорша пользовался среди черемшанцев непререкаемым авторитетом. И авторитет этот он завоевал в боях.

Вахромеев ответил замполиту тихо, почти шепотом, однако недаром Савушкин обладал поистине кошачьим слухом — услыхал, сердито побагровел:

— Какой там дядя? Волк ему дядя на таежной тропе. Я поди не забыл, как они, братья Прокопьевы, ухайдакали меня в тридцать шестом.

— Врешь! — всхлипнул Афонька.— Я не бил.

— Ну да, ты не бил,— сказал Егорша.— Ты собак спускал.

— Хватит! — зычно гаркнул Вахромеев.— Постыдились бы старые распри вспоминать. Нашли тоже место! А ты, Савушкин, марш немедленно в медсанбат.

Егорша вернулся в блиндаж, закинул здоровой рукой за спину автомат, приподнял вещмешок. Подумал и вытащил оттуда сложенные вместе рожки стереотрубы (треногу вчера пришлось бросить). Обиженно спросил:

— А эту штуку оставить, товарищ капитан?

Вахромеев усмехнулся: он-то знал, насколько дорога стереотруба для жадного к хозяйским вещам Савушкина (мечтал после войны охотиться с ней на горных козлов).

— Да как хочешь... Хочешь — забери. А то — оставь.

— Боязно с собой брать,— вздохнул Егорша. — В медсанбате — какие порядки? Ералаш. Однако украдут, и поминай как звали. Уж лучше оставлю вам, товарищ капитан. А?

— Ладно, оставляй.

Савушкин неловко козырнул и направился было тропинкой вдоль склона, однако замешкался. Потом решительно вернулся назад.

— Можно еще пару слов?

Вахромеев переглянулся с капитаном Тагиевым, как, мол, комиссар, не возражаешь? Тот равнодушно буркнул:

— Пускай говорит.

— Я насчет этого сопливого хлюста...— Егорша кивнул в сторону поникшего Афоньки.— Конечно, по закону его надобно ставить к стенке. А вот ежели по совести, то — нельзя. Больно он зеленый еще, насквозь дурной. Война ему еще проветрит башку, это как пить дать. А уж коли вправду смерти своей ищет, то пусть, гад, помирает в передней цепи, а не в сортирной яме. Эх, жалко, я выбыл из строя, а то бы поставил рядом в первую же атаку!

...С вершины холма далеко открывались задымленные дали. Выгоревшая деревня казалась пустой, безжизненной, безлюдной, а кругом шла война, плясавшая огнен-

ными смерчами, война, в которой ежеминутно решались сотни и тысячи людских судеб. И тут, на искромсанном снарядами косогоре, где мирно и сладко пахло вспаханным полем, тоже решалась человеческая судьба — с той же суровой справедливостью, как и в беспощадном бою.

Капитан Тагиев отослал автоматчика-конвойного, потом не спеша развязал Афоньке руки, стянутые сзади брючным брезентовым ремнем. И, толкнув в спину, направил в сторону дымившей в овраге солдатской кухни: «Иди, питайся авансом, хоть и не заслужил!»

Щурясь, сказал Вахромееву:

— Я знаю, что ты решил, командир! Правильно, пускай побудет у тебя вестовым, пускай поучится солдатскому бесстрашию. А струсит — у тебя рука не дрогнет. Ну а религией займусь я, буду выколачивать из него труху. Правильно все сказал?

Вахромеев только рассмеялся в ответ: ну и хитрец! И еще подумал, что у Отара Баканидзе толковый был замполит.

10

Полковник Крюгель был несколько обеспокоен, получив распоряжение лично явиться к особоуполномоченному СД и гестапо по Харькову. Правда, указание поступило по телефону из штаба Манштейна, а это означало сугубо служебную причину визита. Но дьявол их знает, этих чернофуражечников!.. Тем более что речь шла об эмиссаре самого Кальтенбруннера штандартенфюрере Хельмуте Бергере.

После проверки документов молодой эсэсовец в штатском провел Крюгеля в просторный полутемный кабинет. Старинные черного дерева часы пробили десять раз в тот момент, когда он садился в кожаное кресло.

Осмотрелся — хозяин задерживался, а может, запаздывал умышленно. Никакого особого впечатления комната не производила, обычный профессорский кабинет-библиотека, специалиста-почвоведа, судя по книжным стеллажам. Заметными деталями были, пожалуй, пехотный пулемет с заправленной лентой, стоящий на полу у зашторенного окна, и еще натуральный человеческий скелет в углу под стеклянным колпаком (почвовед занимался анатомией?).

Интересно, почему задерживается Бергер? Говорят, что шеф гестапо Мюллер любит подобные «психологи-

ческие штучки» — сначала хорошенько осознай, где ты и с кем будешь говорить! Но нет, на Хельмута Бергера это не похоже, скорее всего застрял на каком-нибудь важном заседании, а то и на допросе. Время сейчас суматошное, смутное — в городе стрельба каждую ночь.

Когда же они виделись в последний раз? Да, это было в Умани в августе сорок первого, ровно два года назад. Там состоялась тогда секретная встреча Гитлера и Муссолини, а штурмбанфюрер Бергер возглавлял один из охранных отрядов СС. Что ж, он неплохо продвинулся за это время: от майорского к полковничьему званию. Не говоря уже о том, что он имеет сейчас здесь, в Харькове, неограниченные полномочия.

Где-то на одной из соседних улиц проходили танки, пол дрожал, хотя шум моторов не проникал за толстые стены особняка. Отчетливо слышалось странное пощелкивание, словно перетряхивали в мешке деревянные фишки лото. Крюгель почувствовал озноб, когда обнаружил источник: оказывается, дребезжали кости скелета... Мелькнула паническая мысль: а не связан ли этот вызов с деятельностью тайной офицерской организации?

Нет, это абсурдно! Уж хотя бы потому, что подобными делами занимаются не местные органы, а центральный аппарат СД, само управление имперской безопасности.

А вдруг просто случайная ниточка, за которую захотелось потянуть Хельмуту Бергеру? Из чисто дружеского любопытства, учитывая их давнее знакомство...

Крюгель обеспокоенно завозился в кресле, рука сама безотчетно потянулась к сифону, стоявшему на столе. Впрочем, он вовремя отдернул руку: в отсутствие хозяина это было бы, по меньшей мере, неэтично.

— Рад видеть тебя, старина Ганс! — Из-за стеллажа неожиданно и неслышно появился штандартенфюрер Бергер, рослый, подтянутый и элегантный.— Я вижу, тебя мучает жажда?

— Жара...— поднимаясь навстречу, посетовал Крюгель.— Целый день под этим проклятым палящим солнцем.

Штандартенфюрер левой рукой нажал на спуск сифона, наполняя подставленный Крюгелем стакан, а правой осторожно положил на стол бумагу, которую принес — предусмотрительно текстом вниз. Крюгель успел

лишь заметить косую красную полосу через весь лист: «Совершенно секретно».

— Любопытствуешь? — дружески усмехнулся Бергер.— Могу сказать, что этот документ касается тебя лично. Ну-ну, не волнуйся — это сюрприз из приятных. Уверяю тебя. Но об этом потом, в конце разговора.

Наблюдая за тем, как торопливо, переживая явную сумятицу, Крюгель утирает лысину платком, штандартенфюрер понимающе вздохнул:

— Издергала нас эта долгая война... Приходится признавать: нервы сдают. Даже у меня. А ведь я, ты знаешь, много лет занимаюсь гимнастикой индусов. Каждый вечер на сон делаю подреберный массаж сердца, селезенки, массирую через живот позвоночник. Но все равно сдаю. Не выдерживаю среди этих болванов, наших солдат. Представляешь, час назад я застрелил унтершарфюрера из следственного отдела, в общем неплохого немца.

— Дезертир? — поинтересовался Крюгель.

— Нет, совершенно не то! — раздраженно махнул Бергер.— Он пытался обмануть меня. Понимаешь, доложил, что пленный русский разведчик умер, а сам просто забил его до полусмерти. И при этом не получил от него ни слова. Между тем этот русский, заброшенный на самолете...

Штандартенфюрер вдруг остановился и, замерев, не мигая, стал смотреть на противоположную стену. Крюгель вспомнил этот давний прием молодого еще Хельмута Бергера — «стрессовый тормоз» (он применял его в минуты крайнего возбуждения).

— К черту всякие разговоры о деле! — уже с легкой веселостью через минуту сказал Бергер. — Да и какой тебе интерес слушать басни про русского разведчика?

— Вот именно,— согласился Крюгель, впрочем, подумав, что история русского разведчика наверняка не лишена интереса, как и таинственная секретная бумага, лежащая на середине стола.

Бергер достал из шкафа бутылку изысканного «камю», наполнил хрустальные рюмки.

— В такую жару коньяк не очень идет, но... Ради нашей встречи надо, пожалуй, выпить. Сколько мы не виделись, два года? Ну да, после Умани. Что ж, за нашу встречу, дружище Ганс! Прозит!

— Прозит!

Это хлесткое, как выстрел, слово, напомнило Крюгелю родной Магдебург двадцатых годов, воинственные факельные шествия штурмовиков по ночным улицам. Они пели «Призыв раздался, подобный грому», заканчивая бурными пирушками в пивных, где под стук глиняных кружек дружно и хрипло кричали «прозит!». Светловолосый, атлетически сложенный Хельмут шел обычно впереди марширующей колонны.

Еще раньше они некоторое время учились в одной школе, состояли в католическом союзе молодежи. Но ничего общего между ними не было. Разве только то, что оба были «ровесниками века» — родились в одном и том же 1900 году...

Держа на весу недопитую рюмку, Бергер покачивался на стуле, задумчиво разглядывая скелет.

— Ты знаешь, Ганс, чей это скелет? Одного очень крупного русского ученого, он разрешил после смерти анатомировать и препарировать себя. Так сказать, отдал свой труп в жертву науке. Смелый шаг, должен я сказать! Но старик не прогадал. Видел бы ты, в какой трепет приводит этот скелет моих посетителей и допрашиваемых. Вот что значит реалия смерти! Нет, я определенно заберу его с собой. В конце концов, я имею право на сувенир, как хозяин этого города. Пусть хотя бы и временный.

— Временный хозяин? — деланно удивился Крюгель.

— Да, мой друг! Именно временный,— тоже с поддельной грустью вздохнул штандартенфюрер.— Теперь это совершенно ясно. Как ясно и то, что мы проиграли войну. Да, да, ты не ослышался! Я сказал: мы уже проиграли войну.

Крюгель смущенно промолчал: не хватало еще поддакивать матерому эсэсовцу в таком скользком, явно провокационном утверждении. Его давно уже, с самого начала разговора, почему-то интересовала одна броская деталь в облике Хельмута Бергера, которую он определенно не знал или не замечал раньше: стоячий, странно-неподвижный взгляд. Бергер словно бы переносил его бережно с предмета на предмет, медленно поворачивая голову. Может, у него случилось что-нибудь с глазами, например на почве контузии?

Вряд ли. Скорее это приобретенная тренировкой привычка, соответствующая незыблемой осанке полковника-

эсэсовца. Да, но где раньше видел Крюгель этот пустой, стеклянно-отсутствующий взгляд?

— Я читал статью доктора Геббельса «Сумерки войны»,— осторожно сказал Крюгель.— Там есть довольно трезвые положения...

— Да, но слишком запоздалые! Мы предупреждали еще до войны: обратите внимание на русский тыл, там растут новые промышленные бастионы. Впрочем, ты сам это знаешь лучше других. Кстати, тот пресловутый Алтайский регион, который ты помогал строить, дает, по официальным данным, две трети военного свинца. Почти каждая пуля, выпущенная русскими, налита этим алтайским свинцом. Интересно знать, как ты чувствуешь себя под русскими пулями? Тебя не мучают угрызения совести?

— Насчет совести у меня все в порядке,— сказал слегка задетый Крюгель.— Я писал обо всем этом в своем докладе в генеральный штаб, приводил таблицы и предупреждал. Это еще в тридцать седьмом году.

— Ну да, конечно.— Штандартенфюрер глотнул коньяка, посмаковал на языке. — Все мы писали, все предупреждали — теперь об этом так модно говорить! А если честно, тот объект мы проморгали. Нет, ты лично был не виноват и правильно сделал, что вовремя уехал. Наш агент там — начальник строительства, к сожалению, был троцкистом и на этом погорел — его разоблачили. И ты умно поступил, не пойдя с ним на деловой контакт. Впрочем, все это уже стало очень далекой историей. Поучительной историей...

— Вспомнил! Фамилия начальника строительства была Шилов! — обрадованно сказал Крюгель, радуясь, однако, вовсе другому: вот, оказывается, чей взгляд напоминала ему манера штандартенфюрера Бергера! Взгляд Шилова — взгляд совы, которая поводит головой, направляя неподвижные, как фары, глаза.

— Возможно,— кивнул Бергер.— Я не помню. Точнее, даже не знаю, он числился у нас под кодовым номером. Кстати, он был убит при попытке диверсии. Это была скороспелая акция, чистейшая авантюра — так, по крайней мере, доложил его напарник.

— Разве Шилов действовал не один? — удивился Крюгель.— Вот этого я не знал.

— Да, с ним работал один бывший белогвардейский офицер. Между прочим, он сейчас здесь, в Харькове,

фельдфебель зондеркоманды. Как говорят русские, «пришелся нам ко двору». Могу вас свести, как старых знакомых.

Бергер вежливо улыбнулся, поворачиваясь всем корпусом и останавливая на Крюгеле свои бесцветные немигающие глаза.

— Нет уж, увольте,— сухо сказал Крюгель.— Думаю, эта встреча не доставит мне удовольствия.

— Я тоже так думаю,— сладко прижмурился штандартенфюрер.— Честно скажу: не люблю предателей.

У Крюгеля опять испуганно обмерло сердце: неужели это намек? А если нет, то что означает пустопорожняя болтовня? Ведь прошло уже полчаса, а они фактически еще не касались дела. Да и есть ли оно, это дело?

Он демонстративно посмотрел на часы: в конце концов, ему надоели иезуитские следовательские замашки юнггеноссе Бергера — пускай раскрывает свои карты. А там, в открытую, будет видно, что к чему.

Хельмут Бергер, конечно, заметил, недовольно поморщился и встал. Прошелся по мягкому ковру, сказал с укором:

— Я вижу, ты слишком нервничаешь и торопишься. А жаль... Я понимаю твои заботы, но, черт побери, так приятно вспомнить старое! Оно всегда вспоминается, когда нет будущего. Да, да! Я опять возвращаюсь к этому: мы проиграли войну. И вот какой вывод отсюда: мы обязаны теперь быть особенно жестокими! Где логика? Она есть. Нет, это не предсмертный оскал, это дальновидная политика, если хочешь — программа будущих десятилетий. Наша жестокость породит ответную жестокость русских, а она, именно она, посеет так нужные нам семена ненависти в грядущих поколениях немцев. Только тогда дело, начатое, но проигранное нами, вновь воскреснет и будет жить. Будет!!

Штандартенфюрер резко ударил кулаком по тумбочке, на которой стоял скелет: зашелестели, застрекотали кости, у черепа изумленно отвисла челюсть. Крюгеля охватил ужас, когда он увидел все это, увидел рядом со скелетом замершего Бергера, опять включившего свой «стрессовый тормоз» — живого человека с остекленевшим полубезумным взглядом...

— Майн гот! Что я слышу... Ведь это же...

— Это приказ фюрера! Спокойно, оберст. Выпей воды и слушай внимательно. Я все это говорю к тому, что

Харьков должен быть уничтожен при отступлении, стерт с лица земли как крупный населенный пункт. Средство — сплошное минирование. Время — одна неделя. Общее руководство и контроль — штандартенфюрер Бергер, непосредственное исполнение — полковник Крюгель. В случае провала акции виновные подлежат расстрелу. Надеюсь, все ясно?

Крюгель растерянно пожал плечами: вообще-то, он предполагал все это, но такая категоричность, такие масштабы и сроки... Ну, а самое главное состоит в том, что акция по своей истинной сути не что иное, как военное преступление чистейшей воды. Может быть, следует сказать или хотя бы намекнуть несущему всю тяжесть ответственности штандартенфюреру Бергеру?..

— Я вижу, ты не во всем разобрался.— Бергер криво усмехнулся.— Ну что ж, придется сделать некоторые пояснения. Прошу подойти к плану города.

Очевидно, для начала военному инженеру Крюгелю следует напомнить операцию «Альберих», сказал штандартенфюрер, которая содержала сплошное минирование на территории в несколько тысяч квадратных километров. Именно она позволила провести успешный отход немецкой армии за линию Зигфрида в марте 1917 года. Конечно, это уже история, но история поучительная. Здесь, от Белгорода до Харькова, фактически делается то же самое, даже покрупнее масштабы. А сроки? Они реальные, если учесть, что предстоит уже финал операции — минирование самого города. Ну а кроме того, сейчас и условия другие, техника другая. Ведь в распоряжение Крюгеля выделены три отлично оснащенных инженерно-саперных батальона. И отдельная бригада полевой жандармерии.

— Я уже думал над этим, и у меня есть предварительные наметки,— устало сказал Крюгель.— Но вы же сами знаете, что город дважды переходил из рук в руки и каждый раз отступающая сторона старалась его минировать. Здесь, собственно, мало осталось что взрывать: весь промышленный район по проспекту Сталина давно в руинах...

— Тем лучше,— сказал Бергер,— меньше работы для тебя. Но ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что в Харькове нечего взрывать. Сейчас действует девять мостов — не должно остаться ни одного. Далее — сохранившиеся заводские корпуса, крупные административные

и жилые здания в центре. И прочее, и прочее. Словом, завтра должен быть подробный план минирования, исполненный в одном экземпляре. Подчеркиваю: только в одном. И таблица раскладки технических средств, количества взрывчатки. Минирование должно производиться преимущественно ночью — в последнюю очередь минируются пути отхода. И еще одна деталь: всякие посторонние лица из числа местных жителей, даже случайно попавшие в зоны минирования, должны быть расстреляны на месте. Ну это функция не твоя, а комиссара полиции Мерица. Ему будут даны указания.

— Яволь! — вскочив, стукнул каблуками Крюгель и горько подумал, что логика многолетней военной жизни привела его в конце концов к неумолимому и закономерному финалу: он, военный инженер, оказался в одной компании с эсэсовцами и гестаповцами. И то, что ему предстоит совершить, по сути, ничем не отличается от тайного блюттауфе — кровавого посвящения в рыцари СС посредством личного участия в массовых убийствах, расстрелах и казнях. Хельмут Бергер прошел свое «кровавое крещение» еще в рядах штурмовиков, Крюгелю оно предстоит сейчас — в этом вся разница. А он-то наивно полагал, что между ними нет ничего общего...

— Не вешай носа, старина Ганс! — хлопнул его по плечу штандартенфюрер.— Задача, конечно, трудная, но выполнимая. И потом, имей в виду, что за твоей спиной я — верный школьный товарищ. Не стесняйся: в любое время дня и ночи обращайся ко мне. Не полагайся на армейское начальство, этих безвольных хлюпиков. А если кто обидит, я сумею за тебя постоять: у меня дружеские связи с обергруппенфюрером Прюцманом — начальником СС и полиции на Украине. Договорились?

— В общем да! — несколько приободрился Крюгель, наблюдая, как наконец-то Бергер берет со стола интригующий секретный документ. Эта проклятая бумага, честно говоря, весь вечер держала Крюгеля в напряжении. Он и сейчас не мог предположить, что в ней содержалось.

— А это — будущая благодарность тебе, Ганс, за успех планируемой операции! — Бергер торжественно потряс над столом бумагой. — Так сказать, достойное возмещение затрат и убытков. Да, да! Это секретное предписание Эрнста Кальтенбруннера направить тебя в распоряжение Вернера фон Брауна, того самого, который

по указанию фюрера работает над созданием оружия возмездия. Черт возьми, я откровенно тебе завидую, дружище — это очень высокая честь!

Крюгель облегченно, счастливо перевел дыхание: слава богу, наконец-то... Он мало верил в прошлогоднюю конфиденциальную беседу с генерал-полковником Фроммом — начальником управления вооружений и главкомом армии резерва, хотя близкие друзья, в частности фон Тресков, вполне прозрачно намекали ему, что генерал связан с офицерской оппозицией. «Хозяйство Брауна — Дорнбергера» — ракетный центр Пенемюнде — было святая святых имперской службы безопасности, и Крюгель мог лишь предполагать, сколько фильтров он прошел, прежде чем эта бумага с предупреждающей полосой легла на стол шефа РСХА «железного Кальтена»...

Неужели скоро наступит конец его фронтовым мытарствам, бесконечным душевным терзаниям в бессонные ночи, связанным с этой грязной и гнусной, насквозь авантюрной и бессмысленной войной. Да, но какой страшной ценой достанется ему долгожданная перемена! Вечным позорным клеймом военного преступника, несмываемой черной «печатью Герострата...».

— Между прочим, Ганс, должен сказать тебе: ты поедешь к фон Брауну не с пустыми руками,— многозначительно подмигнул штандартенфюрер.— Он непременно оценит и приблизит тебя. Ты не понимаешь, в чем дело? Охотно объясню. Смотри сюда.— Бергер снова отдернул занавеску над городским планом и указкой очертил место где-то в Центральном нагорном районе. — Это улица Дзержинского. Здесь, в бывшем доме номер семнадцать, при взрыве русской замедленной мины в ноябре сорок первого года погиб начальник Харьковского гарнизона генерал-лейтенант Курт фон Браун — родной брат твоего будущего шефа. Ты явишься к нему как мститель, как человек возмездия, разрушивший зловредный вражеский город. Ты будешь выглядеть в его глазах как символ восстановленной справедливости, незапятнанной чести баронского рода Браунов.

Кажется, высокая патетика плохо подействовала на штандартенфюрера: голос его визгливо нарастал, глаза возбужденно стекленели и он опять вынужден был нажать на «психологическую педаль». После чего залпом выпил рюмку коньяка, хмуро бросил:

— Никому об этом ни слова! А теперь идем!

Крюгель пожал плечами: куда, собственно, и зачем? Спрашивать не имело смысла, хотя бы потому, что Хельмут Бергер был не только хозяином города, но и хозяином положения. Впрочем, Крюгель догадывался, что странное приглашение означало, пожалуй, некий особый доверительный жест, признак истинно дружеского отношения к нему, будущему сотруднику всемогущего, обласканного фюрером фон Брауна.

Оказалось, что Крюгель почти угадал. В соседней комнате штандартенфюрер остановился, взял Крюгеля за ремень и пояснил:

— Я хочу показать тебе того самого русского разведчика. Хочу знать твое мнение об этом типе — ты же долго жил среди русских. Понимаешь ли, я перевел его сюда и сам буду допрашивать. Оперативный разведчик-агент — это слишком крупный шанс, чтобы его упустить. А я как-нибудь умею развязывать языки. Ты не против на него взглянуть?

— Было бы любопытно...

— Ну так идем. Это здесь, в подвале.

Спускаясь по ступеням и оглядывая обшарпанные своды коридора, Крюгель с удивлением ощущал нарастающий интерес к этой дикой экскурсии, затеянной полупьяным штандартенфюрером. Его в самом деле захватило непонятное любопытство, ему просто хотелось взглянуть на этого русского агента-разведчика.

Зачем, почему? Разве он не насмотрелся вдоволь на советских пленных еще в первые дни войны, на их изможденные, окровавленные, но в большинстве своем непримиримые, горящие ненавистью лица? Правда, тогда он, глядя на них, испытывал и тайное и явное удовлетворение: ведь это они, русские, по сути дела, бесцеремонно выгнали в тридцать шестом его, специалиста-инженера, добросовестно исполнявшего свои обязанности.

Но еще тогда он устыдился мелочности своего чувства... А что влекло его теперь, кроме любопытства, обычного обывательского интереса?

Он пока не мог понять этого...

Подвальные сараи-кладовки были наспех переоборудованы под одиночные камеры. Пахло гнилой картошкой, старым трухлявым тряпьем и, конечно, тюремной вонью. Охранник-эсэсовец распахнул первую дверь, пнул сапогом скорчившегося на полу человека:

— Ауф!

Пленный не шевельнулся, только прикрыл ладонью глаза от яркого света фонарей. Очевидно, покойный унтершарфюрер основательно над ним поработал: лицо — сплошной кровоподтек, даже босые ноги в синяках и коростах.

— А волосы, как видишь, светлые, — сказал штандартенфюрер Крюгелю. — Оказывается, среди этих азиатов тоже бывают нордические блондины. Но, я полагаю, это случайная аномалия. Спроси его, Ганс, что ему надо? Воды, пищи, папирос? Может быть, даже пива? Я дал указание поддержать его — через день начну допрашивать.

Откровенно говоря, Крюгель не рассчитывал на успех: если пленный молчал при таких диких побоях... Но произошло неожиданное. Услыхав русскую речь, узник дернулся, со стоном сел, широко и удивленно распахнул глаза. Так он и сидел, не проронив, однако, ни слова, хотя Крюгель трижды повторил вопрос.

11

Весть о взятии Богодухова советскими танковыми войсками взбудоражила город, освежающим ветром пронеслась над задымленными улицами. Светлели изможденные лица харьковчан, появлялись робкие улыбки изумления: понадобилось всего четыре дня советским танкам, чтобы нанести удар глубиною более ста километров! Люди понимали, что война начала новый счет и его будут определять теперь не фашистские, а наши темпы наступления, нами взятые города, нами разгромленные вражеские дивизии, нами захваченные пленные.

Сталинград стал прикидкой этого нового счета, битва за него, начавшись в сорок втором, завершилась, возвратив исходные рубежи немецкого броска к Волге. И только сейчас начиналась «обратная раскрутка» трагического сорок первого, кровопролитное, долгожданное, но неминуемое «возвращение на круги своя».

Богодухов — это было настолько серьезно и неожиданно, что весь немецкий гарнизон словно хватил шок. Самый последний солдат прекрасно понимал, что советский танковый клин фактически отрезал с запада харьковскую группировку фашистов.

Срочно появился угрожающий, небывалый по свирепости приказ Гитлера: город ни в коем случае не сдавать! Харьков велеречиво именовался восточным бастионом,

стальным замком, воротами на Украину, однако самое главное состояло в том, что фюрер панически боялся потерять Донбасс с его богатыми ресурсами. Именно поэтому он дал согласие Манштейну отвести туда из-под Белгорода танковый корпус СС — в самом конце кризисного июля, буквально накануне советского контрнаступления.

Теперь эти дивизии спешно разворачивались обратно, с ходу бросались под Харьков и на богодуховское направление.

Раскаленный август звенел над полями и перелесками, горячей пылью ложился в садах на спелые плоды, дышал гарью и трупным смрадом над пепелищами сожженных хуторов и сел...

Приказ Гитлера адресовался солдатам, а в самом городе уже хозяйничали паразитические службы оккупационного тыла от военно-хозяйственных команд до отрядов имперской трудовой повинности. Хватали, тащили все, что можно было сдвинуть с места. Срывали и скатывали в бухты медные троллейбусные провода, выворачивали трамвайные рельсы и грузили на мощные «майбахи», «христофорусы», грабили уцелевшие стеллажи Короленковской библиотеки, даже очищали от поленниц дровяной склад на Ивановке. Все учитывалось в аккуратных ведомостях — поштучно и покилограммно.

Открыто, не стесняясь, минировали город. Среди бела дня саперы уложили взрывчатку под опоры харьковского, свердловского мостов, точно так же заминировали филипповские мосты через реку Уду. Тут все было ясно: мосты взорвут электродетонаторами в последний момент при отступлении. А пока, надежно охраняемые, мосты пропускали танки, пехоту, автомобильные колонны — все это интенсивно вливалось в город с юго-запада, улицами растекаясь потом в сторону фронта, в северном направлении.

Куда сложнее выглядело скрытое специальное минирование. Инженерно-саперные группы, оснащенные буровыми установками, даже малогабаритными экскаваторами, круглосуточно шпиговали минами, зарядами заводские районы, оцепленные плотным полицейско-эсэсовским кордоном. Всех, кто случайно оказывался в местах минирования, расстреливали без предупреждения.

Хлопцам из группы Слетко удалось пока установить немногое: несколько десятков вероятных точек минирования, и еще — широкое применение немцами сюрпризов. Нередко саперы делали многослойное минирование: свер-

ху обычная мина, а еще ниже, на метровой глубине, крупный заряд с дистанционными, многосуточными по времени взрывателями, с установкой на неизвлекаемость.

Город все больше напоминал осажденную крепость. Улицы перекрыли патрули фельджандармерии, разогнали и закрыли толкучку на Благовещенском базаре, перестали работать и без того редкие водоколонки — люди пили зловонную зеленую воду из Лопани.

По ночам весь северный обвод — от Залютина до Журавлевки, полыхал орудийными зарницами, а с рассвета, с первыми лучами солнца, закипало небо. Советские бомбардировщики волнами накатывались на городские окраины, бомбили железнодорожные станции на Алексеевке, Основе, Леваде, Новой Баварии. Среди зенитных разрывов вертелись, вспыхивая плоскостями крыльев, юркие истребители, то и дело стелился к земле длинный дымный шлейф, наискось перечеркивая небо: самолеты обычно падали за чертой города, унося с собой приглушенный отзвук взрыва.

А иногда, прорвавшись через зенитно-артиллерийский заслон у Пятихаток, выскакивали на бреющем зеленые остроносые штурмовики. Мелькнув над головами разбегающихся фельджандармов, они накрывали кварталы душераздирающим свистом, страшным грохотом, от которого сыпались уцелевшие стекла в развалинах, а в захламленных аллеях Профсоюзного парка начинал ходить жаркий удушливый ветер.

Говорили, что в городе уже действуют несколько советских армейских разведывательных групп, но ни на одну из них Слетко пока не удавалось выйти. Те, кто оставляли его в марте, очевидно, давно списали группу со счета: ведь радиопередатчика Слетко лишился тогда же весной (он находился в тайнике с продуктами).

Павлу почему-то казалось, что те два советских разведчика, которых немцы недавно схватили под Золочевом, шли на связь именно с ним. Но след их уже был безнадежно утерян, вернее, он уводил, как достоверно сообщил Филипп, в апартаменты штандартенфюрера Бергера. А это означало фатальный конец.

На Филиппа тоже больше не приходилось рассчитывать — на днях он эвакуирует в Полтаву свои «богоугодные заведения», где обретали покой и ласку ветераны-фронтовики тысячелетнего рейха. Насчет минирования города «шеф борделей» тоже, к сожалению, ничего не мог

сообщить. То, что в руках СД и СС, выходило за рамки его возможностей.

Надо было что-то предпринимать, надо было искать выход из замкнутого круга...

Собственно, существовал только один разумный вариант: установить контакт с группой Миши Родионова и действовать сообща.

Родионовская боевая группа состояла из «беглых» — бывших красноармейцев, узников Холодногорского концлагеря, которые по ранению или болезни переведены были в больницу для военнопленных (она помещалась в 9-й городской поликлинике) и бежали оттуда при помощи местного медперсонала. Многих из них переправляли через линию фронта, однако лейтенант Родионов, бывший летчик-штурмовик, остался в городе — у него, как он говорил, «имелись особые счеты с немцами». Родионовцы специализировались на «охоте за крупной дичью», особенно из числа эсэсовского и гестаповского начальства, действовали редко, но дерзко и беспощадно.

Миша Родионов (Жареный) жил где-то на Журавлевке, а это значило, что Слетко предстояло пересечь самую опасную — Нагорную часть города, чтобы попасть к нему.

С большим трудом Слетко миновал Клочковскую улицу и дворами, осыпями развалин выбрался наконец на городской холм к театру оперы и балета. Здесь у кирпичной стены отдышался, прислушиваясь к марширующей по Рымарской колонне пехоты. Припомнил: вот отсюда, из театрального подъезда, в панике разбегались люди с торжественного заседания восьмого марта — «юнкерсы» девятками шли со стороны Шатиловки, опорожняя бомболюки над центром города...

Вспомнил, как позднее, неделю спустя, уже перед нашим отступлением из города, шел этой же улицей, потом свернул в проходной двор, чтобы спуститься в подвалы «Саламандры» — многоэтажного жилого дома на Сумской. В подвале размещался тогда обком партии, именно там получил свое задание Павло Слетко.

Наблюдая в щель однообразно-зеленые проходящие мимо шеренги, с ненавистью подумал, что, наверно, именно это и есть самое страшное, самое омерзительное в войне: страх побежденного, ощущение постыдного бессилия, когда ты вынужден таиться и прятаться в собственном доме, в своем родном городе... А они вот идут — наглые, уверенные, вооруженные до зубов, пропахшие пылью,

потом и порохом. Она кажется неостановимой, эта загорелая орава, тяжко ухающая коваными каблуками.

Но что это? У поворота на Сумскую колонна вдруг мгновенно рассыпалась, солдаты, сваливая и давя друг друга, кинулись в подворотни — улица опустела. Слетко поднял голову и все понял: высоко в голубом поднебесье летели советские самолеты: тремя плотными колоннами неторопливо, с истинно хозяйской солидностью пересекали воздушное пространство над городом. Они, вероятно, шли в тыл на Богодухов или Полтаву и их не интересовала какая-то жалкая колонна трусливых «завоевателей», разбежавшихся от одного гула моторов.

Неподалеку пожилой немецкий солдат тщетно старался протиснуться в узкое подвальное окошко, ему помогали, тянули внутрь, но толстый обтянутый штанами зад немца был явно не тех габаритов. Слетко пожалел, что не захватил с собой парабеллума — вот это была бы цель! Потом рассмеялся, плюнул и решительно вышел из-за укрытия: в конце концов, кто-то должен держаться смело в этом городе.

Он прошел по тротуару мимо строящейся колонны и, когда регулировщик-фельджандарм погрозил ему кулаком, тряхнул инструментальной сумкой: дескать, иду по срочному вызову (аусвайс дежурного слесаря-сантехника у него имелся!).

Так, не хоронясь, в открытую, он пересек весь район, и его ни разу не остановили. Только спустившись на Журавлевку и разыскав нужный адрес, Павло облегченно вздохнул, поежился: безрассудное мальчишество могло дорого ему обойтись! Он ставил под удар не только себя, но и всю группу...

Ко всему прочему, риск оказался напрасным. Родионова не было дома. Хозяйка — сердитая полуглухая старуха, отмолчалась: «Ничого не чула, никого не бачила». Слетко ушел, оставив на всякий случай записку.

Миша — Жареный сам явился к Павлу под вечер. Точнее сказать, не явился, а ворвался, когда они с Миколой Зайченко пили опостылевший малиновый чай, обсуждая безрадостные перспективы. Родионов, не морщась и не кашляя, залпом выпил слетковскую кружку горячего чая, перевернул ее и постучал по донышку дулом пистолета:

— Чаи гоняете, народные мстители? А у вас прямо

под боком угнездилось гестаповское кодло! Эх вы, братья славяне, архаровцы рогатые...

— Ну-ну! — спокойно усмехнулся Павло. — Выдавай дальше, а мы послушаем.

Он уже дважды встречался с Родионовым и хорошо усвоил, что удивить, ошарашить — рабочий стиль Миши — Жареного. Он и эсэсовцев так брал: «на шарашку», то есть на испуг.

— Кролики лопоухие! — Миша зло дернул левой — багровой, сплошь обожженной щекой. — Я вам на полном серьезе. Слушайте, только что, идя сюда, я встретил гада, одного из тех, кто поджигал госпиталь в марте, когда немцы ворвались в город. Помнишь, Павло? Они жгли первый этаж из огнеметов по окнам, второй решетили пулеметами... Четыреста ребят погибло. Эх! — Родионов налил в кружку чая и, опять не остужая, хлебанул залпом. На этот раз закашлялся. — Я тогда вывалился в окно... Лежал под кустом уже с двумя пулями. Подошли двое, достреливали таких, как я... Один из них выстрелил в меня, вот сюда. Я его харю буду помнить и на том свете. Это он, слышите, он зашел сейчас в соседний дом! Я его узнал, хоть и переодетого. Кто живет в этом доме?

— Профессор один, — поднимаясь и тоже подходя к окну, ответил Слетко. — Гнида из националистов. Барыга.

— Значит, все правильно. — Миша закурил немецкую сигарету, привалился к косяку, пристально, не мигая вглядываясь в темные окна профессорского дома. — Заметем обоих, братцы! Как только стемнеет. А ежели он выйдет раньше, догоню и уложу на улице. Или — не жить мне больше.

— Нельзя, — негромко, сухо произнес Слетко.

— Что ты сказал? — Родионов повернулся, в ярости стиснул зубы. — Что?

— Нельзя, говорю, Миша. Ты не горячись, но убивать его ни в этом доме, ни на нашей улице нельзя. Ты нас подставишь под удар. А у нас задание поважнее этого вшивого эсэсовца. Немцы готовятся взорвать город — мы должны помешать. Я к тебе шел за помощью сегодня.

Родионов, успокаиваясь, жадно докурил сигарету, чуть приоткрыл окно: что-то в профессорском саду привлекло его внимание. Жестко усмехнулся, не поворачивая головы от окна:

— Я сам думал об этом... То, что делаете сейчас вы, — чепуха, детская забава. Ну зафиксируете десять — три-

дцать мин. А их тысячи! Нужен план, понимаешь, Слетко, нужно достать план!

— Какой такой план?

— Как человек военный, я знаю и уверен: у немцев должен быть план минирования. На нем обозначена каждая мина. Надо во что бы то ни стало достать этот план. Конечно, не попросить, а просто взять. Вот в такой игре я с вами играю.

Разумеется, Слетко и сам знал все это. Более того, на прощальном инструктаже в марте ему прямо говорилось о таком плане-схеме, как о возможной задаче-максимум. Но уж слишком переменились обстоятельства, чтобы можно было сейчас всерьез думать об этом.

— Легко сказать... А попробуй только подступиться.

— А почему не попробовать? — Родионов опять приник к окну, побарабанил пальцами по стеклу. — Слушайте, славяне, у меня есть дельная идея. Давайте поговорим с этим эсэсовцем, он наверняка что-нибудь да знает о плане. Да вы соглашайтесь, все равно другого выхода у вас нет. И мне будет интересно побалакать с этой падлой. Хочу спросить: как это он, опытный живодер, промахнулся в меня, на два вершка взял выше сердца? Ведь стрелял-то в упор.

— Я пойду с тобой! — неожиданно поднялся с лавки молчун Микола.

Зайченко прямо давал понять, что осторожность и нерешительность Слетко не одобряет. В последнее время он явно начинал срываться: упрямничал, затевал беспричинные споры. Видно, у парня сдавали нервы.

— Вы оба коммунисты, — тихо сказал Слетко. — И должны поступать с моего согласия. Потому что я здесь оставлен обкомом партии — вы знаете.

— Так ты что, против? — насупился Родионов.

— Нет, не против. Но я за то, чтобы сначала все хорошенько обдумать и взвесить. И уж, во всяком случае, действовать без злости, а спокойно. Это я тебе говорю, Миша.

— Я этой злостью живу! — отпарировал Родионов. — Неужели ты этого не понимаешь?

Миша возбужденно, резкими шагами заходил по комнате. Поджарый, мускулистый, он чем-то напоминал старинных удальцов, которые с разбойным криком: «Сарынь на кичку!» — очертя голову бросались на купеческие бар-

жи. О его дерзости, безрассудстве и удивительном везении в городе ходили легенды.

Слетко подумал, что хорошо, благоразумно делал, стараясь раньше не связываться с бесшабашным Мишей Жареным и его «флибустьерами». Ну а сейчас просто не было иного выхода.

— Давай говори, Миша, что предлагаешь?

— Бросаем в окно гранату, вот эту, без запала. Прямо на стол.— Родионов подкинул на ладони пехотную немецкую гранату с деревянной ручкой.— Они наделают в штаны, повалятся на пол, поползут по углам — тут мы врываемся и берем их тепленькими. Ну так согласны?

— Окна на ночь изнутри закрываются ставнями,— сказал Слетко.— А на двери два амбарных засова, кувалдой не собьешь.

— Ты что, бывал у него?

— Приходилось...

Вот теперь Миша сразу остыл, перестал метаться по темной комнате. И Микола Зайченко уже не сопел обиженно — дошло до них до обоих наконец-то.

Тут нужна была хитрость. Следовало придумать такой предлог, чтобы трусливый пан профессор сам открыл дверь и чтобы его гость, переодетый эсэсовец, ничего не заподозрил, не почувствовал беспокойства.

...Полчаса спустя собрались в малиннике за сараем, как раз напротив соседского сторожевого поста. Здесь, в укромном углу, удобно было проделывать дыру в трехслойном проволочном заборе.

Накрапывал дождь. Ночь давила духотой, горячей и липкой, настоянной на вони близкой застоялой и загаженной реки. В саду за забором негромко, предупреждающе-злобно ворчал сторожевой кобель — уже почуял неладное. Начинать надо было с него.

Родионов замотал тряпкой левую руку по локоть, зажал зубами клейменый эсэсовский кинжал, полез в дыру первым. Слышно было, как с яростным утробным рычанием кинулся кобель — тут же неподалеку, в кустах крыжовника. Короткий собачий визг — и все стихло.

Потом они короткими прыжками, по одному, затаиваясь в садовой темноте, приблизились к дому, обошли и оказались на крыльце. Микола и Родионов прижались к дверным косякам, Павлу предстояло теперь главное — выманить за дверь старого барыгу.

Слетко уже поднял кулак, чтобы постучать, и засомневался: а вдруг не получится?.. Да нет, вроде все продумано логично: в дверной глазок сейчас ничего не видно, так или иначе ему придется открывать дверь. А открыть должен обязательно, тут расчет верный, без промаха — на жадность.

Послышались шаркающие шаги, через замочную скважину пробился слабый свет.

— Кто там?

— Это я, пан профессор. Ваш сосед Павло. Пришел по важному делу — вас касается.

Загремел один, второй засов, со скрипом провернулся ключ. Дверь приоткрылась на ширину железной цепочки.

— Что случилось, хлопче?

— Беда у вас, пан профессор! Там в углу какие-то парни ваши яблоки трясут. Прямо в мешки гребут. Я крикнул, так куда там... Плюнули, да и все.

— А Трезор?

— Не слышно его, чуете? Мабуть, прибили.

Старик наставил ухо в дверь, помедлил, с подозрением спросил:

— Не брешешь, хлопче?

— Да что вы, пан профессор! Ну если не верите, я пошел. Мое дело сообщить, как соседу...

Павло и сообразить не успел, как старик с неожиданным проворством, сняв цепочку, мигом втащил его в прихожую, сразу захлопнул дверь. Поняв, что Родионов и Зайченко так и остались на крыльце, Павло обмер, чуть не плюнул с досады — ну ротозеи...

Слетко уже нащупывал в кармане теплую рукоятку пистолета, но, к счастью, пан профессор в комнату его не повел, а, вручив керосиновую лампу, сказал:

— Стой тут. Я пойду схожу за ружьем да и гостя приглашу на подмогу. Гость у меня нынче.

Едва старик скрылся в комнате, Слетко быстро метнулся к дверным засовам.

Все остальное произошло так, как они и планировали.

12

Наступило 11 августа.

Утром этого дня майор Бренар вдруг подумал, что ему слишком долго везет...

Самым значительным в этом везении была Прохоровка — танковое побоище, в котором сгорели почти все танки его полка, погибла бо́льшая часть личного состава.

Он почему-то уцелел. Хотя по логике вещей должен был погибнуть, ибо уже горел в танке, где заклинило люк. Как сгорели остальные члены экипажа с черно-золотистым «герром Питером».

Его выбросило взрывом вместе с оторванной башней.

Прохоровка стала новым отсчетом жизни, может быть даже его новым символическим днем рождения, который он поклялся отмечать ежемесячно.

Сегодня канун первого месяца. Все в порядке, он жив — благодарение господу.

Этот минувший месяц спрессовал всю предшествующую жизнь в единый драгоценный слиток, Бренар стал по-настоящему дорожить жизнью, потому что после Прохоровки панически боялся смерти.

Собственно, впервые он испугался смерти еще год назад, когда в сентябре его полк, спешно переброшенный из Франции, участвовал в операции по уничтожению советских войск в районе Бекетовки под Сталинградом. Однажды в вечерних сумерках он увидел горы трупов, перемешанных с землей, и вначале принял их за причудливые очертания брустверных насыпей перед траншеями. А когда пригляделся к торчавшим ботинкам, судорожно вздетым рукам, испытал ужас... Но без внутреннего содрогания: все это было похоже на фотографию или полотно, которые рождали сильные впечатления без какой-либо реальной физической близости, а тем более личной причастности.

Понадобился почти целый фронтовой год, чтобы понять наконец эту личную причастность к чужим смертям. Теперь он уже не испытывал былого азарта и удовольствия, когда его «тигр» давил гусеницами пушки с прислугой или санитарные русские повозки. Все чаще ему приходила в голову мысль о том, что однажды могут вот так же захрустеть и его собственные кости...

Это была не трусость, а, скорее, усталость. Он понимал, что, как и всякое трудное дело, война тоже со временем вызывает усталость.

В слитке прошлого искорками были вкраплены наиболее памятные события. Он видел отца — бывшего ветфельдшера кайзеровской армии, травленного ипритом под Марной. Коренной эльзасец, дальний отпрыск фран-

цузских переселенцев, отец не любил «меднолобых бошей», этих воинственных болванов — пруссаков. «Не случайно вся немецкая литература началась с «Разбойников» Шиллера»,— язвительно ворчал он.

Очень явственно припоминались мотогонки, первые завоеванные призы и кубки. Короткая и странная дружба с Манфредом фон Браухичем, знаменитым гонщиком, племянником фельдмаршала фон Браухича. В свое время Манфред тоже окончил офицерское училище, однако офицером не стал и к военщине относился с откровенным презрением.

Да, именно на этой почве они вскоре разошлись...

Предвоенные годы — как плохая старая кинолента... Обрывки, нечто смутное, смазанное, вперемешку с яркими эпизодами на фоне факелов, разноцветных флагов, фанфар и барабанов, от которых закладывало уши.

Гора Кифхойзер... Бесконечная гранитная лестница, уходящая под облака,— «лестница в небо». На вершине каменный Фридрих Барбаросса, угрюмый, непреклонный, могучий: само олицетворение вечности германского духа. Его длинная борода стелется по земле.

Здесь на холодном осеннем ветру, в багровом мерцании факелов, давали священную клятву молодые штурмовики. Клятву на верность заветам великого Барбароссы...

Потом еще одна клятва. Нюрнбергский стадион. Рев многотысячной толпы, приветствующей фюрера клятвой-лозунгом: «Айн фольк! Айн райх! Айн фюрер!» На веки вечные, на тысячелетние времена — «один народ, одна империя, один фюрер!»

И третья клятва. В солдатском строю, осененном боевыми знаменами, на виду у распростершего крылья имперского орла: «Клянусь перед господом богом сей священной присягой безоговорочно повиноваться фюреру германской империи и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами, и, как храбрый солдат быть готовым, выполняя эту присягу, отдать свою жизнь!»

«Отдать свою жизнь» — все очень просто.

А за что?

Он с усмешкой вспомнил статью «За что?» доктора Геббельса в газете «Дас Райх», опубликованную в мае прошлого года — как раз тогда шли разговоры о переброске танкового полка Бренара на восточный фронт. Интригующим заголовком статья привлекла внимание офицеров.

Рейхсминистр популярно объяснял, что война в России это война не за трон и не за алтари. Это война за хлеб и зерно, за обильные завтраки, обеды, ужины и прочие сугубо житейские удовольствия вплоть до строительства новых квартир и благоустройства улиц.

А стоило ли за все это воевать и умирать?

Да еще здесь, на клочке земного рая, на облитом росой поле подсолнечника, где каждый желтый лепесток — твердый, резной, выпуклый — был словно кован из пластин церковного сусального золота...

Бренар с горечью вздохнул: оказывается, Прохоровка, ко всему прочему, еще научила его и сомневаться. А это особенно плохо. Потому что сомневающийся солдат — уже наполовину побежденный солдат.

Что ж, логично: поражение — всегда отрезвление. И наоборот: победа рождает инерцию. Именно она вынесла русские танки далеко за линию фронта, сюда под Богодухов, в этот янтарный разлив цветущего подсолнечника. Русские познали вкус победы, и потому остановить их будет очень нелегко.

Вчера их танковые бригады из Богодухова нанесли удар на юг, вышли к железнодорожной магистрали и взорвали ее, отрезав таким образом Харьков от Полтавы. Это уже напоминало оперативный мешок.

Три танковые дивизии СС: «Мертвая голова», «Викинг» и «Райх» после ускоренного ночного марша вышли на исходные рубежи для контрудара.

Бренар знал, что наступает переломный момент в сражении за Харьков — по странному совпадению тоже одиннадцатого числа, как и месяц назад под Курском. Бренар помнил, что бригаденфюрер СС Макс Симон обещал представить его к дубовым листьям. Он будет первым в дивизии кавалером Рыцарского креста с дубовыми листьями, если возьмет Александровку.

И если останется живым.

«Айн фольк, айн райх, айн фюрер!» Черт возьми, это и сегодня звучит неплохо! Очень даже неплохо.

Майор Бренар смотрел на выстроенные вдоль опушки танки, экипажи-четверки подле каждого из них, чувствуя, как привычное предбоевое волнение теплым ознобом охватывает тело, пульсирует по мышцам. В зыбком рассвете и танки, и экипажи — каждый, как обойма, готовая снарядить бронированные машины смелостью, неудержимым движением, — выглядели угрюмо, смутно, будто

рожденные и второпях забытые здесь уже ушедшей тревожной ночью...

Бренар читал приказ фюрера: «...уверен, что каждый из вас, мои солдаты, будет драться до последнего дыхания, потому что Харьков — основной опорный пункт на востоке Украины!»

— Хайль фюрер!

— Хайль! Зиг хайль!

Майор с сожалением подумал, что лежащее за его спиной солнцелюбивое поле в последний раз повернет к восходу свои черно-золотые упругие шляпки — через полчаса танки измесят и раздавят его до неузнаваемости.

Уже стоя в открытом люке, Бренар включил рацию, поднял губную гармошку: несколько тактов любимой песни «Три бука». Пусть знают его «окольцованные кинжалы» — командир впереди!

Бренар оказался прав: подсолнечник был уничтожен за несколько минут, так и не успев повернуться к восходящему солнцу. И не только танковыми траками: неожиданно через все поле, наискось разрезая его, встала бурая стена снарядных разрывов — это был заранее и хорошо организованный рубеж русского заградогня. Не снижая скорости, танки нырнули в огненную завесу, но миновали, «прошили» ее не всю, сзади осталось несколько густо чадящих факелов.

Майор был в ярости: ведь только вчера бригаденфюрер Симон утверждал, что они застанут русских врасплох, что его дивизия нацелена на тылы ударной группировки противника. Какие же, к дьяволу, это тылы, когда прицельно бьют пушки и гаубицы, а с левого фланга, прямо в открытую, из кустов тявкают советские сорокапятки — назойливые и далеко не безвредные «пистолеты на колесах»?

Только сейчас он понял, каким тяжелым будет его путь к заветной Александровке, до которой еще целых пятнадцать километров...

Неожиданной была русская артиллерия на направлении атаки, неожиданностью стала многочисленная пехота, правда поспешно занимающая высоты впереди, и уж полной ошеломляющей неожиданностью явилась контратака советских танков, внезапная, как засада, — сразу с дистанции бронебойного огня.

Слишком много неожиданностей в бою — явный признак грамотного, умного и решительного противника... Да,

приходилось признавать: русские научились воевать. Они принесли сюда из-под Курска то необъяснимое упорство, которое бригаденфюрер Макс Симон презрительно называл азиатским фанатизмом. В выгоревших, почти белых гимнастерках солдаты вставали на пути танков с хрупкими бутылками в руках. Погибали, но жгли танки.

Здесь повторялось то же, что было под Обоянью, Гостищевом, Рындинкой...

Честно говоря, Бренар любил своего командира Макса Симона, сорокалетнего эсэсовского генерала, с подчеркнутой лихостью носившего черную танкистскую пилотку. В нем сочетались воля и недюжинный ум. Но сейчас, видя, как один за другим пылают танки полка, Бренар впервые неприязненно подумал о командире дивизии: «Самонадеянный позер!» И все его напыщенные многозначительные спичи во время командирских застолий — чистейший вздор, замешанный на мистике, приправленный философским коктейлем из Розенберга, Ницше, Шопенгауэра. Никакого фатализма войны не существует!

Нет и не может быть так называемого закона войны— победа любит смелых и только смелым дарует жизнь.

Разве не был смелым командир танкового батальона Отто Бухвальд, сгоревший под Яковлевкой, или весь старый экипаж его, Бренара, командирского танка?

Разве не отличался отчаянной смелостью ветеран полка гауптман Бруно Гашке, танк которого только что подбит слева и мгновенно забросан бутылками с горючей жидкостью?

Только в одном прав бригаденфюрер Симон: «Побежденный принимает смерть от более сильного врага». В противном случае сама война теряла бы всякий смысл...

Танк Бренара с ревом выскочил на шоссе, тараном смял несколько грузовиков и устремился на запад. Там, в сиреневой дымке, была Александровка. Майор вспомнил утренний строй полка: приземистые громады танков, черно-стальные шеренги экипажей—олицетворение неостановимой всесокрушающей силы. Воодушевленно крикнул в микрофон:

— Форвертс! Айн фольк, айн райх, айн фюрер!!

Откинул броневой люк, жадно захлебнулся воздухом зреющих полей. Впереди было безлюдное шоссе, чистый и зеленый, уже нагретый солнцем простор. Впереди была победа!

А когда оглянулся назад, похолодел: по шоссе, в кильватер командиру двигалось только семь танков. Да и седьмой горел, маневрировал, пытаясь на ходу сбить пламя.

— О, доннер веттер!..

Вцепившись в поручни, он пристально, не мигая глядел на оставшиеся танки, пытаясь определить, чьи они, кто теперь следует за ним? Боевые номера ускользали из глаз, смазывались пылью, дорожной тряской.

Заряжающий внутри танка беспокойно подергал майора за сапог: «Руссише панцер!»

Да, впереди снова появились русские танки. Много танков — они не только заняли шоссе, но и двигались полем, справа и слева, четко видимые средь желтеющих хлебов. Бренар увидел не только это: в двух километрах от шоссе, сзади, со стороны безымянного хутора, разворачивались в атаку основные силы дивизии «Тотенкопф». Увидел и понял: теоретик-фаталист бригаденфюрер Симон принес его в жертву вместе с полком, бросив в качестве тарана на подготовленную оборону противника...

Ну что ж, война не покер и не бридж, в ней, сделав заход, не бросают карт и играют до конца.

— Форвертс!

Развернувшись на ходу, шестерка «тигров» Бренара пошла навстречу русским танкам.

Командирский танк так и не свернул с шоссе: три прямых попадания, убитый заряжающий, раненый пулеметчик-радист, не особенно удачный танковый таран — и все-таки Бренар прорвался сквозь заслон. Хрипло, почти истерически крикнул в микрофон:

— Айн фольк, айн райх, айн фюрер!

Впрочем, этого уже никто не слышал из его полка — танк был один. Остался в полном одиночестве среди бескрайних украинских полей и перелесков, плавающих в знойном мареве. Один гремел гусеницами по шоссе, один свернул на пыльный проселок.

— На Александровку!

Бренар хотел увидеть это село. А уж тогда одно из двух: или победа обласкает и полюбит его, или он встретит сильного рокового врага. Пусть в любом случае окажется прав бригаденфюрер Макс Симон, пусть придется ему заполнять реляцию насчет дубовых листьев.

И тут Бренар вдруг увидел русские тылы, те самые тылы, о которых вчера столь благодушно-пренебрежительно говорил бригаденфюрер: беспорядочное скопление

грузовых машин, конных повозок, множество людей, безоружных и разношерстно одетых. Здесь, очевидно, располагались какая-то база снабжения и, пожалуй, полевой госпиталь: у самого леса виднелась большая брезентовая палатка с красным крестом.

Спустя три минуты на безмятежном пригорке началась настоящая вакханалия: «тигр» Бренара метался, гремел пулеметом, давил и крушил все, что попадало под его тяжелые гусеницы, напоминая лису, попавшую в курятник.

Танк ревущим смерчем промчался вдоль лесной опушки, выскочил на луг и тут неожиданно остановился, будто удивленно замер. В каких-нибудь двухстах метрах стоял зеленый двукрылый русский самолет «русфанер», из тех самых, что заслужили недобрую славу среди солдат вермахта за свои адски-беспощадные ночные бомбежки.

«Русфанер» готовился к взлету: в его заднюю кабину грузили раненого (очевидно, важную персону, судя по стоящему рядом штабному автомобилю).

— Форвертс! — рявкнул Бренар, не опускаясь внутрь башни. Ему хотелось видеть самому, как затрещит под танком этот смертоносный хрупкий «ночной дьявол».

Танк заметили, засуетились, засверкал на солнце пропеллер. Уже вблизи от самолета майор Бренар изумленно прищурился: в переднюю кабину вскочила женщина-пилот. В спешке она не надела шлема и ветер от винта разметал веером ее длинные светлые волосы.

Бренар соскользнул вниз, ударил по плечу водителя-механика: скорость, скорость!

«Ночной дьявол» и «русская фурия» — это был стоящий приз за все мытарства кровопролитного безумного утра.

13

Летать с каждым днем становилось труднее, подчас невозможно было понять, где наши, где немцы. Все тут под Харьковом переплелось-перепуталось. Улетая утром на задание, разыскивая растянутые и разбросанные танковые бригады, Ефросинья уже не один раз на обратном маршруте попадала под огонь немецких пулеметов.

Линия фронта на штабной карте напоминала очертание огромной ладони, прихлопнувшей поля Харьковщины. Указательный палец ее был вытянут к Богодухову, а оттопыренный большой — к Волчанску, он с каждым днем

все ближе придвигался к окраинам Харькова: армии Степного фронта стальной хваткой постепенно стискивали горло вражеской обороны.

Стояли ясные дни, и передний край хорошо просматривался с высоты полета. Дымами, снарядными разрывами, густыми султанами пыли он змеился по полям и ложбинам, переползал скаты пологих высот. Будто гигантский огненный пал неудержимо полз по земле, оставляя после себя изрытую черноту, серый пепел да обугленные, искореженные стволы деревьев.

Гарь чувствовалась даже на высоте. Она была не похожа на ту, которая синими пластами ложилась в лога во время памятных Ефросинье таежных пожаров. Эта пахла кисло и тошно, от нее до рези слезились глаза, тоскливо заходилось сердце.

Накануне вечером, возвращаясь от Валок, Ефросинья напоролась на зенитную батарею: немцы прорвались на наши тыловые коммуникации. Снаряд протаранил обе плоскости, и моторист Сагнаев до полночи латал дыры полотном-перкалем, а нынче с рассвета закрашивал их эмалитом.

Атыбай пел казахскую песню, негромкую, однообразно-унылую, каждое коленце заканчивая тяжким вздохом, будто ехал на арбе с надломленным колесом — через пару-другую метров арбу основательно встряхивало.

Ефросинья грелась неподалеку на солнышке, слушала. Сквозь полуприкрытые ресницы виделась ей раздольная степь под Павлодаром, стоянки учебного аэродрома, пропахшего бензином и полынью, метелки ковылей в мареве размытого горизонта... Она не раз слышала эти песни, удивительно созвучные ветреному простору, во все стороны распластанной голубой бесконечности. Там, в степи, песня улетала, не возвращалась, здесь ей тесно, оттого кажется она скупой и тоскливой.

— О чем поешь, Атыбай?

Он спустился со стремянки, поставил на траву ведерко с краской, хмуро посмотрел на Ефросинью:

— Про любовь пою, командир. Зачем спрашиваешь, разве не понимаешь?

Ефросинья смущенно улыбнулась, вспомнив, как неделю назад случайно нашла в инструментальном ящике альбом Атыбая. Он неплохо рисовал и числился в эскадрилье вроде нештатного художника: писал штабные объявления, обновлял номера на машинах, иногда давал ри-

сунки в боевой листок. В альбоме она обнаружила несколько женских портретов и в каждом, вообще говоря, узнала себя... Немножко непохожую и почему-то с едва заметным, но явным монгольским разрезом глаз. Посмеялась: экая скуластая дочь степей!

Конечно, она догадывалась, в чем дело. Да и нельзя было не замечать затаенных, горящих ревностью глаз моториста всякий раз, как только она заговаривала с кем-нибудь из посторонних. Даже с дядькой Устином.

— Любовь — это радость, Атыбай, — поднимаясь, сказала Ефросинья. — А ты поешь грустно.

Подошла, заглянула ему в глаза: чудак парнишка... На семь лет моложе — ну какая может быть любовь? И смех, и слезы...

— Нет, — сказал моторист. — Неправильно, командир! Любовь бывает хорошо, бывает — плохо.

Она опять вспомнила альбомные рисунки: а ведь он ее придумал. Нарисовал, создал для себя такой, какой она не была на самом деле. И ничего удивительного в этом нет, любовь вся на думах, на воображении — это ее крылья.

Она сама-то тоже так поступала в памятном тридцать шестом: чуть ли не с крылышками воображала себе залетку Коленьку.

А теперь?

Может, и теперь все только в мыслях, в думах, в сладком, больно-тревожном наитии? У нее же нет ничего реального, кроме этой случайной фронтовой газеты...

Может, костер потух давным-давно, а она оживить неживое пытается, раздуть пламя из несуществующей искры?

Может, вообще не стоит ворошить прошлое?

Лейтенант Полторанин по-своему был прав, потому что и в самом деле: любовь на войне, что тополиная пушинка над огнем. Вспыхнет и сгинет. Любовь любит заглядывать в будущее, в завтрашний день, а здесь все зыбко, недолговечно.

Сомнения, одни только сомнения... А останавливаться, отрекаться ей, пожалуй, поздно. И просто — невозможно.

Что ж, любовь и живет сомнениями. Хорошо известно: кончаются сомнения — кончается любовь.

— Не горюй, Атыбай! У тебя еще будет любовь... Своя, истинная, настоящая.

Моторист ее понял. Молча поднял ведерко, молча по-

шел к скрытой в кустах технической землянке. У порога обернулся, долго и пристально глядел на Ефросинью. Взгляд был укоряющий, строгий, жалеющий. Но без обиды.

«Вот и объяснились...» — невесело подумала она. И странным, до невероятности неподходящим по месту и времени показался ей вдруг этот непредвиденный разговор на будничном фронтовом аэродроме, у самолета, остро пахнущего эмалитом.

У нее когда-то было не так... Пришла к нему в сельсовет, села на лавку и сказала, что любит. И баста — все остальное не имело значения.

Правда, потом проплакала в подушку всю ночь. От стыда и от радости...

На дальнем конце стоянки появился майор Волченков, шел тропинкой мимо замаскированных в орешнике самолетов. Помахивая планшетом, зычно давал указания, поругивал мотористов, покрикивал на заправщиков — деловой непреклонный мужик.

Направлялся он к просековской «семерке» и, как видно, спешил. Рапорта недослушал, шагнул к самолету, на ощупь ладонью попробовал свежие латки, залитые эмалитом.

— Порядок в авиации! Дырки были — дырок нет. Ну, а ежели будут, так на новом месте. Как настроение, Просекова?

— Норма, — по-инструкторски ответила она. — Бензин — по пробку, пропеллер крутится, расчалки звенят. Жду «добро» на вылет.

Когда-то на первых порах, еще в запасном полку, Ефросинья побаивалась ретивого комэска. Странное чувство испытывала к нему: уж очень он напоминал Костю, погибшего мужа. Такой же бровастый, осанистый, с решительной отмашкой на ходу, он был и по-Костиному грубоват, пер всегда напролом, деликатность с женщинами считал делом зряшным. Он, помнится, сразу развернул амурную атаку, и уж как Ефросинья выстояла, одному богу известно. Честно говоря, нашла ключик: на грубость — грубостью. Он сначала дивился, потом привык. Это, пожалуй, даже импонировало ему.

Комэск придирчиво оглядел Ефросинью с головы до ног, чем-то остался недоволен.

— Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий... Квелый какой-то. Вроде бы не выспалась или влюбилась?

— Так точно! — сказала она. — Влюбилась. И уж конечно, не в вас.

— Брось дурить, Просекова! Я почему спрашиваю: предстоит ответственный вылет. И мне важно, чтобы ты была в полной боеспособности. А может, это после вчерашнего, когда зенитки тебя потрепали? Это бывает, по себе знаю. Так ты скажи откровенно.

— Со мной полный ажур, — сухо сказала Ефросинья.— А ежели кто-то накануне «горючего» переложил, так надо крепкого чая выпить. Зрение просветляет.

Она откровенно намекала на пристрастие комэска к боевым ста граммам, которые он частенько удваивал-утраивал. Пусть знает и не хамит с утра пораньше.

— Но-но, понесла-поехала! — Майор сердито потрепал чубчик под козырьком. — Сколько раз тебе говорил: не умеешь с командиром разговаривать. Ну гляди, Просекова, когда-нибудь ты у меня попляшешь! И моториста вон тоже к разгильдяйству-панибратству приучила. Какого черта, он там за фюзеляжем прячется, подслушивает? Эй, рядовой Сагнаев, ты что там делаешь?

— Лючки проверяем! Как по инструкции. — Моторист вышел из-за самолета, вытянулся, затаив ехидную усмешку («Точно подслушивал!»). — Не надо? Тогда не будем...

— А ну вас всех! — Комэск в сердцах махнул рукой, потом отвел Просекову в сторону на кошенину, откуда уже начиналась взлетная полоса. Снял фуражку, отер платком лицо, промакнул лысеющую макушку. Недовольно проворчал: «Кадры-работяги, чтоб вас порастрясло... Вот поставят на отдых, на гауптвахту буду сажать. Ладно, ладно, не оправдывайся, хватит языком чесать! Будем говорить о деле».

Через двадцать минут предстоял вылет: им вдвоем, в паре. Маршрут старый, проторенный — на Золочев и оттуда к Богодухову. Не долетая, над Забродами, поворот на девяносто градусов, прямо на юг, курсом Валки. Посадка в районе Александровки, чуть западнее, у полевого госпиталя. Почему госпиталь? Потому что такое задание: срочно вывезти двух тяжелораненых старших командиров. Почему не санитарная авиация? Приказано нам, штаб знает, что делает. И вообще излишние вопросы — свидетельство плохой сообразительности. А это не украшает боевого летчика.

Высота полета прежняя, строй — пара, углом вперед,

дистанция двести метров, противозенитный маневр выполнять самостоятельно, при атаке истребителей уходить на бреющем. Дополнительная развединформация: на второй половине маршрута активно действуют одиночные истребители-охотники из специальной авиаэскадры асов «Удет» с опознавательным знаком на фюзеляже — кобра в боевой стойке.

...Майор летел первым, Ефросиньина «семерка» — сзади, чуть ниже, чтобы лучше видеть ведущего на фоне неба (иначе защитная окраска майорского «кукурузника» сливалась с пестрой зеленью земли).

Шли на «кисельной высоте» — триста-четыреста метров. Это гарантировало от прицельного пулеметно-автоматного огня снизу, а главное, давало возможность при встрече истребителей противника быстро нырнуть к спасительным перелескам.

Ефросинья вспомнила грустное лицо моториста и укорила себя: напрасно, пожалуй, обидела парня... Можно было деликатно отмолчаться, пусть думает как ему хочется, пусть живет своими надеждами — это ведь ей не мешает. Да и надежды сейчас у каждого как осенние паутинки: один лишь шаг — и ничего нет. Война...

Нет, не может быть других мерок у любви даже на войне. А обнадеживать попусту — значит обманывать. А может, в обманных грезах ничего плохого нет? Ведь уже хорошо одно то, что они есть, что они рождаются и держат, окрыляют человека в трудные минуты.

Она тоже жила обманом, сладким, трепетным обманом в то незабываемое довоенное лето... И теперь словно бы возвращалась к прошлому, совершив огромный круг в семь лет, снова видела-пересматривала былое до самых незначительных деталей. Только теперь смотрела на него с иронией и доброй грустинкой, будто со стороны и даже с высоты — вот как из кабины летящего самолета.

Там много было незрелого, опрометчивого, легковесного, до смешного нелепого... Но она не хотела ничего переделывать, сглаживать или приукрашивать — прошлое было дорого таким, каким было, каким вернулось нежданно-негаданно.

Вернулось... Да, пожалуй, вернулось. Не все, а лишь немногое, самое памятное и значительное. Опять, как и тогда, отчетливо и постепенно, день за днем, раздваивался мир, как расслаивается-лопается переспелый степной арбуз. Была она сама с этой газетой и вчерашним письмом-

ответом из редакции, и было все остальное — в другой половинке, и эта другая половина мира виделась ей чужой, не своей. Близким могло стать лишь то, что проходило через призму ее проснувшегося чувства, что было связано с поиском, ожиданиями, надеждами.

Да и саму войну она воспринимала теперь через свою любовь и хорошо знала, что, если останется живой, навсегда запомнит эти дни именно такими: в сочетании трагического и радостного.

Запомнит предполетную беседу с комэском, у которого на лбу несолидная мальчишеская челка, запомнит раскосые печальные глаза казаха-моториста и этот полет над утренней землей, где в полусгоревших яблоневых садах мертво белеют сморщенные плоды. Вспомнит не раз, как пристально, с затаенной надеждой, вглядывалась через борт кабины в темно-зеленые сосняки внизу... Где-то там должна быть Колина дивизия, его окопы, его земля. Все это был и ее кровный мир: израненный, окровавленный, но радостный и неповторимый.

Вчера, получив письмо из редакции газеты («сообщаем, номер полевой почты...»), она впервые пошла на вечерние фронтовые танцульки. Под жеманные звуки аккордеона в полусгоревшем сарае она вдруг снова почувствовала себя юной, уверенной, красивой. Партнеры-летчики расшаркивались наперебой...

А ведь, очевидно, вот отчего встревожился нынче поутру моторист Сагнаев, вот откуда взялась его заунывная песня про золотоволосую алтын-кыз! Он же был на танцах, жался в дальнем углу, оглядывая оттуда танцующие пары.

И майор Волченков был. Правда, он не танцевал, а весь вечер простоял рядом с сержантом-аккордеонистом, осанисто запрокинув голову и прижав к правому боку фуражку «крабом» вперед. Может, не умел танцевать, а скорее всего (Ефросинья подозревала) просто считал неудобным для своего командирского положения расшаркиваться-приглашать на танцы подчиненных девушек-оружейниц и ее, старшину Просекову.

Он и в воздухе был резковатым, занозистым, в плотной паре с ним ходить нелегко, маневры делал неожиданные и рисковые, ставя ведомого в положение разини. Потом, оглядываясь, грозил кулаком.

Сейчас его машина шла впереди спокойно, лишь из-

редка «плавала» по горизонту в потоках нагретого, восходящего от земли, воздуха.

Ефросинья вздрогнула, задохнулась от испуга, когда увидела вдруг тонкую, дымчато-желтую трассу, перечеркнувшую наискось самолет Волченкова. Пулеметная трасса упала сверху — атакует истребитель!

Сваливая «семерку» в пике со скольжением, оглянулась, вжалась в сиденье: над головой промелькнула распластанная тень «мессера», ударил в лицо упругий воздушный поток.

Приближаясь к земле, она успела увидеть падающего листом ведущего, который переворотом ушел от повторной очереди. Потом она неслась над руслом реки, над камышами, а приметив справа овраг, резким креном направила туда машину. Через несколько минут взглянула на компас: надо было корректировать курс.

Набрала высоту, огляделась. Ни «мессера», ни самолета Волченкова не было видно. Пристыженно подумала: ох уж эта горемычная тактика «кукурузников» — спасайся как можешь... Где он сейчас, занозистый комэск Волченков? Может, сел вынужденно в поле или на проселке, может, горящим факелом врезался в лес, а скорее всего, как и она, «разбежался во все стороны» — майор летчик бывалый, опытный.

Ну что ж, в предполетной подготовке этот вариант тоже учитывался: дальше идти самостоятельно. Только теперь она вспомнила о бомбах. Майор Волченков настоял на сотенной нагрузке — на ее «семерке», как и на самолете комэска, оружейники подвесили под плоскости по две пятидесятикилограммовые авиабомбы. Бывший бомбардировщик Волченков любил подбросить фрицам горяченьких гостинцев. Как он вышел из опасной передряги? Ведь не говоря уже о затрудненном маневрировании, вынужденная, случайная посадка с бомбами под крылом — дело крайне рискованное. Наверное, сбросил их куда попало. Ей тоже следовало сбросить бомбы во время атаки «мессера», но она просто забыла о них.

Да, очевидно, и к лучшему. Еще пригодятся.

Всю остальную часть маршрута Ефросинья поминутно оглядывалась, по-курсантски вертела головой, чему когда-то учила в аэроклубе учлетов. И не потому, что боялась новой атаки вражеских истребителей — все еще надеялась увидеть заплутавший самолет майора Волченкова.

Внизу чувствовалось приближение передовой: клуби-

лась пыль за танковыми колоннами, которые спешили к Богодухову, в район нараставшего немецкого контрудара. В стороне черными торпедами пронеслись три девятки остроносых штурмовиков-«илов».

На днях она уже летала на Богодухов, возила штабного полковника, который рассказал ей потом об огромных трофеях, захваченных танкистами-катуковцами в городе. Полет проходил вечером, в сумерки, и многое на земле она просто не разглядела. А сейчас удивлялась: столько было внизу разлито сочной солнечной желтизны, неожиданной после изрытых войной черных полей от Белгорода до Харькова!

Здесь раздольно цвели подсолнечники, и желтизна их была мерцающей, переливчатой, очень похожей на то живое янтарное пламя, которое встает по утрам в таежных распадках над зарослями огнеголовых «жарков».

Ей захотелось снизиться совсем, прильнуть крыльями к этой радостно-переменчивой желтизне, чтобы от пропеллерного ветра заколыхались, закачались черные упругие диски цветов, роняя, как дождь, ночную росу...

Она опять забыла про подвешенные авиабомбы, вспомнила о них, когда уже надо было заходить на посадку. Недобрым словом помянула Волченкова: вообразил из себя лихого бомбера и ей навязал этот опасный груз... Она имела полное право избавиться от бомб, бросить их прямо в поле. Но уж слишком дорогостоящими были бы эти пустые взрывы.

Решила садиться с бомбами — все-таки она бывший инструктор.

Предварительно, из предосторожности, прошла низко вдоль опушки, осмотрела место посадки и убедилась: место ровное, можно притереть машину без сучка, без задоринки — легонько «на три точки». Ну, а к риску не привыкать.

Хорошо села, легко — «кукурузник» даже не вздрогнул. Зарулила поближе к лесу и, выпрыгнув на крыло, первым делом из-под ладони еще раз оглядела небо: не видно ли Волченкова? К самолету прямо по целине, по косогору уже спешил штабной «виллис» — везли раненых командиров.

Ефросинья сняла шлем, бросила его на сиденье в кабину, с удовольствием вдохнула луговой воздух, пахнущий ромашкой. И тут увидела танк... Он медленно выполз из-за кустов на противоположном конце лесной опушки —

приземистый, серый от пыли, плоский, как жук-рогач. Недобро, ощупывающе-грозно повел из стороны в сторону орудийным стволом.

Еще не понимая происходящего, Ефросинья вздрогнула, чутьем предугадывая беду: танк был каким-то странно-непохожим, явно чужим — она таких не видела никогда. А потом прямо на ее глазах началось страшное...

Многотонное серое чудище с нарастающей скоростью устремилось на госпитальные палатки, на санитарные двуколки, с которых снимали только что доставленных раненых... Цепенея от ужаса, Ефросинья видела все это, видела рухнувший брезентовый тент с опознавательным красным крестом, летящие в стороны обломки, обрывки, обезумевших бегущих санитаров. Она лишь в начале услыхала звериный рык танкового мотора, потом в ушах ее рев этот превратился в непрерывный людской вопль, от которого холодело, останавливалось сердце...

Она успела взлететь буквально из-под танковых гусениц и сейчас же над лесом, над верхушками деревьев, заложила машину в глубокий вираж, поворачивая обратно. Теперь сверху она отчетливо видела бронированного зверя с черным крестом. Он уже не был для нее грозным и страшным, скорее, беспомощным перед скоростью и высотой. И еще — перед двумя «полусотками», которые висели в замках бомбодержателей.

Она не могла промахнуться, не имела права. Она обязана была не просто сбросить эти бомбы, а положить их — со всем своим летным инструкторским мастерством, буквально положить на головы людоедов, сидящих в танке. Даже если ей суждено будет перевернуться и погибнуть от своей же взрывной волны.

...Самолет, изрешеченный осколками, легко, как пушинку, бросило вверх силой взрывов, наклонило резко, поставило на ребро — заваливаясь, он пошел вниз. И все-таки Ефросинья справилась с управлением, выровняла машину и снова направила ее в небо.

Потом сделала победный круг.

Внизу чадящей головешкой на боку лежал «тигр» с перекошенной взрывом башней.

14

Медленно и кровопролитно шло наступление.

Немцы дрались упорно, цеплялись за каждую балку и высоту, уходили в осатанелые контратаки всякий раз, ес-

ли их выбивали из какого-нибудь села; лезли настырно, десятками теряя танки, самоходки, бросая под палящим небом тысячи незахороненных трупов. Теперь им было не до похоронных церемоний, не до белых крестов с нахлобученными солдатскими касками — вступил в действие безжалостный приказ Гитлера: за отступление расстрел.

Дивизии Степного фронта намертво вцепились в загорбок отступающего врага, теснили, давили яростно, наседали, не давая ни минуты передышки. Немцы пошли было на хитрость: с наступлением ночи открывали беспорядочный огонь, имитируя контратаки, и за этой ширмой отрывались, спешно отводили потрепанные части на новые рубежи обороны.

Однако маневр быстро разгадали, и теперь, вот уже целую неделю, наступление советских дивизий шло круглосуточно: с приходом ночи в атаку вводились вторые и третьи эшелоны.

Батальон Вахромеева редел с каждым днем, пополнялся и снова редел — учебным его давно называли только по привычке. Какая уж там учеба, когда сутками продолжались изматывающие бои...

Бессонница вконец измочалила, опустошила солдат. Даже под Сталинградом не было такой страшной, отупляющей души усталости. Люди засыпали на ходу, в атаке иные падали не от пуль, а сморенные зноем и сном. Поистине «падали, как убитые», рискуя быть раздавленными своими же танками или колесами пушек, которые шли прямо в атакующих пехотных подразделениях.

Медленное наступление со вчерашнего дня и вовсе застопорилось, натолкнувшись на плотную стену лесных массивов, охватывающих Харьков с запада. Все дороги, опушки, даже лесные тропинки немцы густо минировали, наделали многочисленные заслоны и засеки. Используя дубравы и сосняки, скрытно передвигали войска, наносили чувствительные фланговые удары. Тут все готовилось заранее: и позиции, и связь, и тыловые коммуникации.

Очень скоро выяснилось, что наступать на открытой местности и наступать в лесу — далеко не одно и то же. Полки и батальоны теряли локтевую связь, сбивались с боевых направлений, плутали в ночном лесу, иногда с боем обрушивались на тылы и фланги своих же частей.

Первая ночь боевых действий в лесу стала кошмарным уроком: батальон Вахромеева атаковал на рассвете село,

которое, как потом выяснилось, должно было быть освобождено полком соседней дивизии.

На минных полях и в огне лесных засад батальон потерял почти половину людей, всю приданную артиллерию. Оставшиеся — изодранные, исцарапанные, подавленные неудачей — просто не держались на ногах.

Они уже перешагнули предел человеческих возможностей, и потому, выйдя на опушку, тут же все попадали на мокрую росистую траву. Как по команде. Ни брань, ни выстрелы, ни сигнальные ракеты не помогли — батальон спал мертвым сном.

Надо было оценить обстановку.

Опушка являлась несомненно господствующей высотой. Уже по одному этому не стоило продолжать попытки разбудить солдат: на случай боя лучшей позиции в окрестностях не придумаешь. К тому же внизу, у подножия, перекресток двух полевых дорог — высотка явно контролирует положение.

Главное — не уснуть самому.

«Нужно бы выставить боевое охранение... Лучше из тех отставших, что продолжают поодиночке появляться из леса... Приказать им, пока они не уснули... И еще надо срочно послать связного с донесением в штаб, сообщить свое место... Вот хотя бы Афоньку Прокопьева... Разбудить, растолкать и послать немедленно...»

Чувствуя, как утро начинает меркнуть, растворяться в теплом голубом тумане, Вахромеев тряхнул головой, сделал несколько шагов и сунул лицо в листья дудника, облитые холодной росой. Сразу взбодрился, свернул цигарку — вроде бы просветлело в глазах.

Ощутимо начинало припекать солнце: эка, черти, разлеглись прямо на солнцепеке! Ничего, вот прижарит, расползутся в тень по кустам. А куда деться ему самому и сколько он вообще может выдержать?

Пятеро солдат выкатили из лесу сорокапятку, у них еще хватило сил дотащиться с ней прямо к стоявшему столбом Вахромееву. Тоже повалились на землю, обнимая колеса и лафет. А шедший сзади лейтенант-артиллерист даже доложил Вахромееву, правда далеко не по уставному:

— Прибыли, мать ее перетак! Остальное оставили там — на минах.

Честь он отдавал левой рукой — правая была в гряз-

ном бинте и покоилась в петле из командирского ремня, который лейтенант приспособил на шею.

— А снаряды есть? — спросил Вахромеев.

— Сейчас подвезут. Там еще четверо волокут снарядный передок.

Тишина стояла оглушительная. Луговая, раздольная, растушеванная тягучим стрекотом кузнечиков. Звук этот не нарушал тишину, а вплетался в нее, жил в ней баюкающим шуршанием, от которого неудержимо клонило в сон, как от шороха хозяйского веника в уютной вечерней избе...

— Я в бодрости, — сказал лейтенант. — А вам бы часок придавить, товарищ капитан. Надо бы...

Вахромеев судорожно зевнул, отмахнулся: «Тоже нашелся бодряк — у самого глаза слипаются, хоть пальцами раздирай».

— Тут должны быть окопы, — сказал артиллерист. — Мы с пушкой вышли как раз на вырубку. Свежие пеньки — значит, немцы недавно рубили, чтобы стенки окопов крепить. Аккуратисты.

Окопы они в самом деле вскоре обнаружили: по северному склону высоты. Свежие, добротные, с брустверами, хорошо заделанными дерном — трава еще не успела пожелтеть. Видимо, немцы оставили окопы без боя, отошли по какой-то причине: стреляных гильз нигде не видно. И вообще окопы эти внушали смутное подозрение: вроде заготовленные впрок в ожидании хозяина.

Лейтенант обнаружил у кустов терновника командирский блиндаж с легким, пустяковым накатом. Спустился туда, да так и не вылез: слышно было — сразу захрапел в холодке.

Вахромеев размышлял: что же делать?

В любом случае надо дать людям поспать хотя бы час-полтора — война от этого не остановится. Все остальное потом: связь с полком, доклад обстановки, новое задание. И «фитиль», который наверняка уже приготовлен для него в штабе полка, а может, и у самого комдива.

Ничего, подождут с «фитилем»...

Никак не мог вспомнить фамилию лейтенанта-артиллериста, командира приданной вчера, а сегодня уже не существующей артбатареи. А звали его Боря — это точно. Ночью в бою на просеке артиллеристы все орали, таскаясь со своими пушчонками: «Боря приказал сюда, Боря — велел туда!» Дрыхнет Боря, тоже умотался вдрызг...

Слева, между сосняком и лесополосой, золотился ржаной клин — налитые колосья узрели под серп. Рожь чуть-чуть шевелилась на ветру, будто плескалась речная гладь, а за лесным мысом сразу разливалась вширь мерцающим половодьем.

Вахромеев присел под ракиту, положив на колени автомат, прищурился, зачарованный переливчатой игрой спелых колосьев, и вдруг остро, освежающе приятно ощутил речную прохладу, с удивлением увидел, как ржаная полоса меняла окраску: светлела, голубела, набирала прозрачность и вот уже сделалась сизой полуденной заводью.

Он увидел родную Шульбу такой, какой виделась она ему из окошка сельсовета: с огромным водопойным плесом, с малинниками на противоположном косогоре, с гранитными крутолобыми камнями, облитыми волной, и стрекозами, которые неподвижно подолгу торчат в воздухе, будто разглядывая галечное дно своими глазищами, похожими на глянцевые зерна марьина коренья.

У берега был заветный камень — буровато-серый, с искристыми прожилками, наполовину ушедший в воду и четко разделенный по этой половине зеленоватой чертой. Тот самый камень, на котором сидела Фроська в памятное июньское утро...

Сейчас он увидел ее на другом берегу, все в том же домотканом простеньком платье, с туеском на ремне, перекинутом через плечо, — она собирала малину. «Ну какая там может быть ягода? — усмехнулся он, удивляясь ее простодушию. — Пацаны давным-давно весь крутояр обшарили».

На его крик она обернулась и долго глядела из-под ладони, не узнавая. Потом радостно всплеснула руками, отбросила за спину косу и кинулась к берегу. Ей бы перебрести: снять бутылы и перейти речку — тут же мелко, едва ли по колено! Но она почему-то панически боялась воды, все бегала, суетилась, прыгала по прибрежным камням.

Хорошо, что чуть ниже, над перекатом, оказались деревянные кладки: длинная огородная жердь, кем-то переброшенная над водой. Фроська шла по этой непрочной кладке, опасно балансируя, приседая, размахивая туеском, просто досадно делалось за ее бабью неловкость. А пойти навстречу он не решался: не выдержит жердина двоих, лопнет...

Все-таки она перебралась, бросилась к нему, вытянув руки. Он гладил ее теплую ладонь, испытывая что-то необъяснимо-странное — тоскливое и горькое... А она смеялась, потом фамильярно похлопывала его по щеке:

— Ну, хватит же, хватит! Вишь разгладился, варнак!

Вахромеев открыл глаза, испуганно отпрянул: перед ним на корточках сидел Егор Савушкин. В новенькой амуниции, непривычно свежий, чисто выбритый — от него, кажется, даже попахивало одеколоном. Это его руку сдуру, со сна гладил Вахромеев.

— Егор?! Ты откуда?

— От верблюда, — хохотнул Савушкин. — Да не бойся, не с того света: из медсанбата явился. Живой, невредимый, даже отштукатуренный. Вставай, комбат, всю войну проспишь.

Савушкин явился не один: внизу, на дороге, стояли два «студебеккера» с пушками на прицепе, а чуть дальше, справа по склону, газовала полуторка, направляясь, очевидно, к зарослям орешника. Она тащила за собой пузатую армейскую кухню.

— А это откуда? — обрадованно удивился Вахромеев.

— А все оттуда — от комдива. Я ведь теперича, Фомич, командир. Во как! Комдив лично беседовал. «Давай, — говорит, — кержак, забирай эту выздоравливающую ораву, сажай на «студеров» и вали на высоту 207 — вот на эту самую». Есть догадка: немцы сюда попрут вскорости.

— А насчет меня комдив говорил? — осторожно поинтересовался Вахромеев.

— Тебя считают в окружении. Я ведь к нему обратился зачем? Прошу направить в родной батальон. Ну, а эти ребята со мной были, в команде. Значица, слава богу, комбата нашел, а батальон будет.

— А он и есть, — хмуро сказал Вахромеев. — Вон народ кругом, отсыпается.

— Ит ты! — удивился Егорша. — А мы сослепу-то подумали: побили вас тут, порешили всех до единого. Мы даже пилотки поснимали, как увидали побоище: честь и слава убиенным, в храбрости погибшим. А вы одно слово дрыхнете. Ну молодцы, коли так. Тут теперя до сотни наберется. Силища.

— Болтун ты, Егорша, — сплюнул Вахромеев, поднимаясь с земли. Вразмашку, с хрустом, с удовольствием

потянулся, чувствуя силу и радость в каждой жилке. — Эх ты, обормот, сон-то какой мне перебил!..

— Небось про Черемшу?

— Точно, про нее самую.

— А я в медсанбате отоспался, слава те господи! Теперича аж до самого Берлина попру без передыху. Кухня имеется в наличии, командира свого отыскал — чего мне еще надобно? Как говорится, дуй до горы.

«Эх, Егор, Егор... — с нежностью подумал Вахромеев. — Вот уж кого мне не хватало в эти тяжкие дни, пропитанные пылью, кровью, едким солдатским потом. Не хватало присутствия его, мудрого крестьянского совета, веского кержацкого слова...» Вахромеев это понял на другой день после взятия Выселок, после ухода раненого Савушкина. Он вдруг сразу ощутил войну такой, какой она есть, — очень страшной. Егоршина хозяйская будничность, невозмутимая дотошная деловитость, которые до этого окрашивали каждый окопный день в Сталинграде, каждый рукопашный бой, каждую изничтожающую бомбежку под Белгородом. Это все — хлопотливо-обыкновенное, как сама жизнь, неожиданно исчезло, отошло в сторону отдернутой быстро шторой, и тогда обнажилась суть фронтового бытия: ежеминутное балансирование между жизнью и смертью...

Егорша не просто воевал — он жил войной. Как раньше жил таежной охотой, пашней, бортничеством, всеми своими повседневными мужицкими делами. Боялся ли он смерти? Наверно. Но он просто не думал о ней и заставлял не думать других. Он был силен именно этим.

Вспомнив что-то, Савушкин хлопнул себя по лбу, рысцой сбежал вниз, покричал солдатам, и «студебеккеры» заурчали, двинулись к ближнему мыску. Там, в мелком сосняке, отцепили пушки, а тяжелые машины с треском полезли в глубь леса, где и сразу затихли, будто притаились.

Егорша вернулся с туго набитым вещмешком — сидором, тут же у ракиты принялся споровисто его потрошить, ворчливо приговаривая:

— Эти архаровцы, ну прямо без соображения! Какого, говорю, хрена уши-то развесили, растележились, мать вашу так, на голом месте? А ну как немец углядит, да той же миной шарахнет. Живо, говорю, занимайте боевую позицию! — Крупно накрошив на газету американскую колбасу (второй фронт!), Егорша хитро подмигнул: —

Это я им от твоего имени указания дал. Ты супротив ничего не имеешь?

— Да вроде все правильно, — прищурился Вахромеев.— Пушки поставлены на место.

— На место! — хмыкнул Савушкин. Да тут лучше позиции не сыскать. Обе дороги — и та и эта, как на боговой ладошке. В случае чего шуруй прямой наводкой. А эту вашу пушчонку-сорокапятку вон в те кусты поставим. Она ж в лоб и быка не возьмет, а по борту ей оттуда сподручней.

— Архистратиг! — шутливо ухмыльнулся Вахромеев.— Быть тебе, Егорша, генералом, ежели немцы башку не оторвут.

— А ты не смейся. Война — та же самая охота, а я охотник первостатейный. Сам знаешь. Тут што надобно? Соображай, шевели шариками — и вся загвоздка. — Наблюдая, с какой торопливой голодной жадностью заглатывает Вахромеев куски «второго фронта», Егорша жалеючи покачал головой: — Исхудал ты, Фомич... Жилы да кости остались. Видать, плохо за тобой Афонька доглядывал. Ну какой из него ординарец: сопля соплей, да и только. Где он, живой остался?

— Вон лежит, отсыпается.

— Ну не паразит ли! — возмутился Егорша. — Командир бодрствует, а ординарец дрыхнет, как шалава последняя. Ну я его сейчас живо из штанов вытряхну!

— Ладно, не ерепенься! — осадил Вахромеев. — И нас с ним не равняй. Мы с тобой кто? Мужики, жизнью крученные, огнем верченные. А он пацан. За девкину юбку, поди, не успел подержаться.

— И то верно, — вздохнул Егорша. — Только не жалко мне его, Степанидиного сураза. Верно тогда капитан замполит говорил: трус и смердяк. Он-то где, этот капитан? Тоже спит?

— Погиб, наверно... — тихо ответил Вахромеев. — Тут, в этом лесу. Ночью повел роту в контратаку...

Савушкин сразу помрачнел, медленно дожевывая колбасу, незаметно перекрестил пряжку ремня. Потом вскочил, взбеленился, начал зло тормошить испуганно мычавшего Афоньку: какие люди погибают, а этот слизняк храпит живехонек, ровно святой праведник! Мать твою перетак, где же она та божья справедливость?..

Вахромеев с трудом оттащил разъяренного Егоршу, и сам разозлился: не слишком ли много берет на себя?

К тому же Афоня Прокопьев ничем плохим не выделялся за эти дни: все делал так же, как делали другие. Да и не будил его Вахромеев умышленно: собирался через полчаса послать в штаб с боевым донесением. Там ведь до сих пор толком не знают о судьбе батальона.

Савушкин утихомирился, молча отошел от заснувшего опять Афоньки, так же молча, сосредоточенно собрал с газеты остатки завтрака, упрятал в вещмешок.

— Ладно... — раздумчиво произнес Егор. — Пущай остается при тебе, ежели такое дело... А меня куды прикажешь?

Вот она в чем причина неожиданной ярости Егорши... Ревнует, от этого и ненавидит.

— Ты не сердись, Егорша. — Вахромеев подошел вплотную, положил руку на новенький Егоршин сержантский погон.— Мы с тобой старые друзья. Чего нам делить? И честно скажу: из ординарцев ты давно вырос. Командиром тебе быть надобно. Вот и будешь пока командиром взвода.

— Да уж буду, — вздохнул Савушкин. Перевел взгляд опять на Афоньку, по-детски разметавшего руки. — А в штаб посылать его не надо. У меня на «студере» рация имеется. Американская.

— Что же ты молчал, черт сиволапый?!

— Дак ты же не спрашиваешь...

Они вдвоем быстро спустились с пригорка, направляясь к «студебеккеру», и как раз на том месте, где под углом пересекались полевые дороги, их застал пулеметный треск и грохот, внезапно упавший с неба. Вдалеке, над серединой ржаного поля, падал сверху «кукурузник», шел к земле юзом, поставленным на ребро зеленым крестиком. А еще выше сверкнул крылом «мессершмитт», словно жук-дровосек издали ощупывая «кукурузник» огненными усами пулеметных трасс.

«Кукурузник» выровнялся, сделал переворот и стал вилять из стороны в сторону, направляясь сюда, к лесному массиву. «Мессер» коршуном клевал его сверху, заходя в новые атаки, делая размашистые, вполнеба, развороты.

Жутко было это наблюдать, обидно делалось за наш фанерный беззащитный самолетик: какого черта летчик не садится? Плюхнулся бы прямо в поле, да и сиганул из машины в рожь... Ведь собьет немец, обязательно собьет!

Нет, летчик упрямо тянул к лесу, наверно, рассчитывал нырнуть в какую-нибудь просеку, а может, знал, чувствовал, что тут находятся свои.

Неожиданно во ржи вспухли два черных взрыва — упали авиабомбы. Кто их бросил: «мессер» или «кукурузник»?

Рожь заходила волнами — «кукурузник» теперь прямо прилип к земле, неся к лесу дребезжащей растопыренной этажеркой. И тут его настиг-таки фашист: хлестнул по спине, как бичом, свинцовой очередью.

Немец с победным ревом свечой ушел ввысь, а наш ткнулся носом, опрокинулся — во ржи торчали лишь колеса, будто у перевернутой телеги.

— Едрит твою салазки! — Егорша плюнул с досады и бегом кинулся в рожь: надо хоть вытащить из-под обломков бедолагу-пилота.

Побежал и Вахромеев, побежали солдаты — почти все, кто прибыл недавно на «студебеккерах». Перепотели-перемучились они за эти минуты; хуже нет беспомощно наблюдать, как у тебя на глазах бьют, изничтожают твоего же товарища...

Самолет приподняли за крылья (не такой уж маленький он оказался!), а Егорша с Вахромеевым вытянули из кабины окровавленного, бесчувственного пилота. Оттащили в сторону, облили водой из фляги разбитое лицо. Застонал, пришел в себя.

Уже на носилках летчик вдруг приподнялся, громко, встревоженно спросил:

— А где Просекова?

— Какая там Просекова, — отмахнулся Савушкин. — Ты, майор, был один в самолете.

— Второй наш самолет! — Летчик сел, раздраженно оглядел небо. — Самолет старшины Ефросиньи Просековой. Вы разве не видели его?

Егорша растерянно таращил глаза, еще не понимая, в чем дело, но чувствуя неладное, нечто нежданно пугающее, несущее с собой пустую тишину, как мина, которая упала под ноги и не разорвалась. Он глядел на посеревшее вдруг лицо Вахромеева и мучительно соображал, не понимая и не веря тому, о чем начинал догадываться. Медленно выпустил из рук носилки, которые начал поднимать, и летчик, морщась от боли, сполз по ним на землю.

— Ефросинья Просекова?! — К носилкам кинулся Вахромеев.

— Ну да, — недовольно сказал летчик. — А в чем дело? Почему вы меня трясете?

— Спиридоновна?

— Спиридоновна.

— Она с Алтая?

— Вроде оттуда. Сибирячка.

— Жива она? Жива?

— Была жива. А теперь — не знаю.

Вахромеев долго стоял на коленях, пытливо, с каким-то острым и жадным любопытством вглядываясь в изуродованное лицо летчика, будто старался запомнить его навсегда, на всю жизнь. Потом нагнулся, поцеловал в окровавленный лоб и, круто повернувшись, пошел через рожь к остаткам своего батальона.

Тыльной стороной ладони майор осторожно потрогал лоб (видно, вахромеевский поцелуй причинил ему боль) и спросил Савушкина:

— Он кто ей? Родственник?

— Муж, — сказал Егорша.

— Не заливай, — хмуро буркнул майор. — Ее муж погиб в сорок первом. Он был летчиком.

— То второй муж. А это — первый.

— По личному делу не значится.

— Ну так теперь будет значиться! — подмигнул Егорша, легко подхватывая носилки...

...Через несколько минут Вахромеев вышел на связь со штабом дивизии и получил приказ удерживать высоту 207 — возможна крупная контратака немцев.

Провожая в медсанбат раненого летчика, лежащего в кузове полуторки на ворохе надерганной солдатами ржи, они еще не знали, что спустя полчаса, неподалеку отсюда, за ближайшим поворотом, в ложбине, полуторка будет сожжена и раздавлена гусеницами «фердинанда».

Не знали они и о том, что всем им предстоит кромешный ад в этот день.

15

Эсэсовский взводный цугфюрер Кортиц — так на немецкий манер звучала фамилия Евсея Корытина — чувствовал удушье: тугой воротник мундира липким хомутом сдавливал шею, а расстегнуть его не было возможности — на запястьях стальные наручники.

Он бессмысленно глядел на белый круг стола, медленно трезвел, соображая только одно: в эти мгновения вся его прошлая жизнь вдруг начинает проноситься вспять, мелькает в бешеной обратной раскрутке.

Остроскулое, сухощавое лицо человека с обожженной щекой, сидящего напротив, удивительно ясно напомнило ему события далекого двадцатого года. Этот человек был похож на атамана Анненкова. Тот же дерзкий прищуренный взгляд, острый нос и безжалостная ухмылка, не оставляющая никаких надежд.

Атаман называл его, есаула, командира сотни «черных гусар», по-приятельски «Ешкой». Они были старыми знакомыми, судьба свела их еще в Омске в 1918 году в белогвардейской тайной организации «Тринадцать».

Ешка, как и атаман, безумно любил лошадей, умел пить самогон по-лошадиному из ведра, был хлестким отчаянным рубакой: одним взмахом сабли он разваливал пленных пополам, наискось — от плеча до поясницы. Атаман называл это экстра-классом.

Они расстались у китайской границы, у озера Ала-Куль. На песчаном берегу лежали сотни анненковских вчерашних драгун, пожелавших остаться в Советской России. Их, безоружных, только что изрубили Ешкины каратели-гусары. На окрестные сопки слеталось воронье, тошно пахло кровью и нарождающимся смрадом — стояла июльская жара. Обнимая на прощание закадычного Ешку, атаман прослезился...

— Ты будешь говорить или нет? — сидящий напротив еще раз перелистал зольдбух, брезгливо отодвинул от себя: — Тут написано, что ты русский. Ты действительно русский?

Отвечать не то чтобы не хотелось, он не видел в этом смысла. Он знал, что его все равно прикончат. Этим вот эсэсовским кинжалом, демонстративно лежащим на столе, которым, как сказал остроносый, они только что прирезали сторожевую собаку. «А ты похуже собаки», — сказал остроносый.

Он ощущал странное равнодушие. Злобы и отчаяния не было: в последние дни он предвидел свой конец и почти наверняка знал, что из Харькова ему вряд ли удастся уйти. Так уж неловко складывались обстоятельства.

Все-таки удивительно: такие заморенные дохлые хлюсты сумели взять в мертвый капкан его, десятки раз ухо-

дившего от верной смерти. Выходит, пришел конец пути, оборвалась долгая веревочка...

А профессоришка тут ни при чем. Старая вонючая крыса, подыхающая от собственной жадности. Впрочем, в злобе он опасен, и они правильно сделали, что связали руки ему, сомлевшему от страха. Ну а врежет дуба — туда и дорога.

— Да я русский, — глухо сказал Кортиц и неожиданно попросил: — Расстегните воротник... Душно.

Те, что сидели напротив, переглянулись: человек с обожженной щекой и другой помоложе — смуглый, с выбитыми передними зубами. Этот второй все время нервно пощелкивал предохранителем парабеллума, лежащего перед ним на столе. В ответ на просьбу Кортица он сплюнул на пол, дескать, противно даже прикасаться к тебе.

«Интересно... — вяло размышлял Кортиц. — Кто они? Переодетые русские разведчики, недавно заброшенные в город? Нет, судя по тощему виду, они из местных, из подпольщиков. Не зря же ему показалось, что он уже встречал где-то того третьего — круглоголового коротышку, который ушел, наверно, сторожить на крыльцо».

— Гауптшарфюрер», — медленно прочитал остроносый в солдатской книжке. — Это что значит?

— Мое воинское звание.

— Не воинское, а эсэсовское. Я тебя спрашиваю, что оно означает, какой чин?

— Ну вроде вашего старшины. В армейских частях у немцев это фельдфебель.

— Что-то мало тебе, собаке, дали... — неопределенно, без особой злобы, сказал подпольщик. Поднялся, подошел к окну, осторожно прислушался, прижав ухо к ставне. Потом сделал знак молодому, и тот вышел, сунув за пазуху пистолет.

«Что они затевают? — обеспокоенно подумал Кортиц. — И вообще, почему тянут, будто ожидают кого-то?» Он уже понял, что подпольщики интересуются им всерьез и что внезапный его захват — не случайная акция партизан-мстителей. За ним, очевидно, долго следили и небезуспешно, несмотря на его маскировку, на цивильный плащ и шляпу. Теперь постараются вытянуть из него сведения, ради которых все это было затеяно. Но какие сведения?

Решив так, Кортиц приободрился. Значит, еще не конец, значит, на какое-то время ему сохранят жизнь.

А это значит, самые неожиданные новые варианты, которые могут окончиться непредвиденным, в том числе и его побегом, избавлением. Черт возьми, так бывало уже не один раз!

Надо подтолкнуть их к этому, надо бросить им «конец», как говорят матросы, бросая бухту каната на спасительный причал.

— Я вам могу пригодиться.

Эта фраза была заветной палочкой-выручалочкой Корытина-Кортица, к помощи которой он прибегал в самые критические моменты жизни и которая всегда неизменно выручала его.

Именно с этих слов он начал свое знакомство в 1938 году с бывшим врангелевским полковником Семеном Красновым, племянником известного белогвардейского генерала Краснова. Семен Краснов ведал тогда в Париже гитлеровским «Комитетом по делам русской эмиграции».

А с началом войны пришлось применять палочку-выручалочку довольно часто. И в разговоре с генералом Шкуро, который формировал для гитлеровцев так называемый русский охранный корпус, а позднее — в полевом штабе генерал-полковника Шоберта, командующего одиннадцатой немецкой армией. Генералу, любившему экзотику, весьма импонировала идея личного конного конвоя во главе с лихим белогвардейцем-фельдфебелем. Правда, Шоберту почему-то не понравилось, когда, желая доказать безграничную преданность, начальник конвоя на его глазах зарубил шашкой трех пленных партизан, да еще в азарте прихватил стоявшую на обочине старуху. Впрочем, вскоре и сам генерал благополучно отбыл на тот свет, напоровшись на русскую мину.

— Я могу вам пригодиться...

Подпольщик, который теперь оставался один, неопределенно усмехнулся, потом быстро взял со стола кинжал и приставил к горлу Кортица остро заточенный конец. Эсэсовец сдавленно замычал, закатывая глаза.

— Но-но, гнида! Уймись! Ты же сам просил. — Ловким тычком подпольщик вспорол крючки на тугом воротнике мундира. — Подыши и поговори напоследок.

Теперь стало легче, но появилась жажда, неодолимая, испепеляющая все внутри. Она была хорошо знакома Кортицу по многим похмельным рассветам, когда, просыпаясь, он бросался к ведру или водопроводному крану.

Он боялся просить воды, боялся отказа, который превратился бы для него в пытку.

В это время на полу завозился связанный хозяин дома. Видимо, пришел в себя и жалобным старческим голосом попросил пить.

— Вишь ты, от самогона угорел, фашистский прихвостень! — желчно усмехнулся подпольщик. — Люди кругом с голодухи мрут, а эти паскуды выпивку устроили.

«Ну вот... — уныло подумал цугфюрер. — А уж мне-то он ответит похлеще. Надо торговаться с ними даже за глоток воды».

— Между прочим, — сказал он нарочито равнодушно, — у этого старика в подвале целый склад ценного барахла. Золотишко есть. Можете проверить.

— Вре-ет!! — оживился, завопил пан профессор, катаясь по полу. — Кому верите? Душегубу — эсэсовцу!

В комнату быстро вошел третий из подпольщиков, тот самый коротышка, что ловко прикинулся дурачком в начале всей этой истории, а потом сумел захлопнуть западню. Это он оглушил Кортица рукояткой пистолета.

— Что за крик? Что тут происходит?

— Да вот «друзья» не поладили, — с усмешкой пояснил остроносый. — Почем зря продают друг друга. Слушай, а может, хрыча выбросить в сад, да это самое... Мешает он тут.

— Нет, нельзя. Его судить будут наши. Вытащи его в соседнюю комнату и запри. А будет орать, мы его успокоим быстро.

Коротышка, оказывается, был за начальника. Когда он сел к столу, придвинул ближе керосиновую лампу, Кортица бросило в жар, потом начало знобить: так вот откуда ему показалось знакомым это круглое, грубо-простоватое лицо...

Алтай, Черемша... Вот где он встречал малорослого, крепко сбитого парня, зычно, уверенно выступавшего там на праздничных митингах...

Он опять, млея от страха, стал будто проваливаться в бесконечную яму прошлого: замелькали перед глазами таежные кручи, рыхлая пена горных речек, разбухших от осенних дождей... Увиделась китайская погранзастава, где его долго и старательно били, обобрав буквально до кальсон, а потом извинялись, показывая желтые лошадиные зубы. Он помнил эту зловещую Черемшу, слишком хорошо помнил...

— Водички бы... Стаканчик.

К немалому удивлению, командир-подпольщик сразу же налил ему воды и поднес напиться, не обращая внимания на гневные протесты остроскулого. Кортиц старательно прятал лицо от лампы в тень: он панически боялся быть узнанным.

— А теперь к делу! — резко и властно произнес коротышка. — Вот я отыскал и принес план города. Хорошо видно? Ты должен показать на нем все главные объекты минирования. И дать пояснения.

У Кортица сразу отлегло от сердца: он понял, что будет жить. Правда, неизвестно сколько, но это пока не имело значения. Он мог сейчас затеять примитивную торговлю, прикидываться, волынить, тянуть время — они пойдут на все. У них на него слишком высокая ставка, и он постарается не разочаровать их в этом, даже более того, накинет себе цену. Они обязательно клюнут.

Они просто не знают, с кем имеют дело. Неопытные новички в таких вещах, они будут идти на ощупь, а он уже теперь видит финиш. И пойдет к нему не настырно и прямо, как они к своей цели, а станет петлять, делать заячьи откидки по сторонам, мазать им нос совсем другим салом.

— А какие гарантии? — Кортиц настолько освоился с обстановкой, что даже выложил на стол руки в никелированных наручниках с клеймом фельджандармерии. А почему бы нет: пусть это лишний раз подчеркивает неравенство «партнеров по переговорам».

Человек с обожженной щекой многозначительно, с явной угрозой поиграл лежащим на столе кинжалом. Однако командир спокойно выдерживал свою роль. Скептически улыбнулся:

— Гарантии насчет твоей жизни? Это дело сложное... В лучшем случае можем гарантировать плен, а потом суд. Как положено по закону.

«Врет, конечно, — мысленно усмехнулся цугфюрер. — И при этом думает, что я поверю в эту дешевую игру. Ладно, пусть думает. Главное — натолкнуть их на план действий, нужный мне самому».

— Ну а если я вам ничего не скажу? — медленно произнес Кортиц, делая задумчивый вид. — Если я не знаю эти самые объекты, если я их не видел?

Квадратные часы на стене долго и хрипло стали отбивать время: одиннадцать... Этот бой сразу будто подстег-

пул всех, заставил вдруг с особой беспощадной ясностью осознать зыбкость происходящего. Тут все держалось на минутах, даже на секундах, все балансировало на невидимой хрупкой грани. Время решало все, с той только разницей, что для него оно тянулось слишком медленно, а для них — слишком быстро.

— Ты думаешь, мы будем церемониться, чтобы развязать тебе язык? — резко, со злостью сказал командир.— Будь уверен, мы пойдем на все. Я знаю, такие гады, как ты, не выносят и вида собственной крови. Хотя чужая для них — вода.

— Вы не так меня поняли! — обеспокоенно завозился цугфюрер. — Я готов отвечать! Пожалуйста, я даже покажу на карте несколько минированных объектов. Но я же не знаю их все. Ей-богу, не знаю.

— Давай показывай.

Сложенными вместе руками Кортиц показал четыре-пять объектов на плане, одну улицу сплошного минирования: командир-подпольщик обводил их в кружки, с ученической старательностью прикусив губу. Гауптшарфюрер едва сдерживался, чтобы не ударить по этой стриженой ненавистной голове. Поднять скованные руки и, гэкнув, врезать, как колуном, в древесную чурку... Но это было бы безрассудством — он понимал.

Терпение и еще раз терпение... Пускай убедятся, пускай поймут, что эти его сведения сущий пустяк, капля в море, мало чего стоящие баранки на огромном пространстве осажденного города. И вот тогда он сделает решительный ход: по диагонали в дамки.

Поняли... Переглянулись, и задумались оба. И он наверняка знал, о чем они сейчас думают. Этот долговязый с пошкрябанной щекой — как его, Кортица, теперь ликвидировать? Прямо в доме или сначала вывести в сад? И еще прикидывает: надо ли читать скороспелый приговор или без всякого приговора?

Командир-коротышка тот умнее. Его беспокоит другое: что еще можно вытянуть из эсэсовского цугфюрера?

И конечно, оба они обеспокоены одним и тем же: время позднее, пора кончать дело. Не ровен час, его, Кортица, хватятся в штабе айнзацкоманды и пошлют на розыски. Не будет же он говорить им, что в журнале оперативных действий числится ушедшим на всю ночь на самостоятельное спецзадание. И уж тем более не раскроет истинную цель спецзадания; ликвидировать бары-

гу-профессора, чтобы основательно почистить его антикварный подвал...

— Вы можете мне верить или не верить... — тихо, вкрадчиво начал Корытин-Кортиц.— Но скажу вам по совести: я готов помочь вам. Да, я был вашим врагом еще с гражданской войны, я много пролил русской крови... Но поверьте...

— Заткнись, падло! — Остроносый схватил кинжал и разъяренной кошкой метнулся через стол на цугфюрера. И все-таки не достал, не успел: коротышка с непостижимой быстротой перехватил занесенную руку. Тяжело дыша, сказал сквозь зубы:

— Сядь, Миша... Я тебя предупреждаю. Последний раз предупреждаю.

Чувствуя холод на висках, Кортиц с трудом перевел дыхание: пронесло... И подумал, что, пожалуй, ошибся, приняв командира-подпольщика за бывшего алтайского строителя. Нет, то был обычный деревенский вахлак, этот — из отборных большевистских кадров, не случайно оставленный в городском подполье. Железная хватка...

— Я по совести... от души и от сердца... — бормотал Кортиц, и в голосе его слышалась теперь неподдельная дрожь. — Рано или поздно раскаяние... Жизнь становится маятой... Рвет душу...

— Ладно, не канючь! — Командир прищурился, встал со стула: — Говори толком, что ты хочешь?

Кортиц напрягся, сделал необходимую, очень нужную сейчас паузу. Отчетливо произнес:

— Я знаю, где расположен штаб минирования города и бывал в нем. Я помогу вам организовать налет на него. Вы возьмете важные документы. Вы спасете город. А я... я хоть сколько-нибудь искуплю свою вину...

Цугфюрер Кортиц действительно знал месторасположение штаба минирования, хотя и никогда не бывал в нем (тут он приврал для значительности). Но знал он и другое: особняк, где находился штаб, был сущей западней для любой, даже самой изощренной диверсионной акции.

Ход был сделан, и эсэсовец, прикрыв глаза, чутко, настороженно ждал: клюнут или не клюнут? Он знал, что у них нет иного выхода, но все-таки опасался, особенно этого необузданного бешеного Миши...

Время опять прессовало в секунды минувшие годы. Только теперь память вдруг сделала странный скачок.

Кортиц увидел обрюзгшую физиономию «генерала» атамана Шкуро, его бритую шишкастую голову на фоне черного знамени с эмблемой волчьей пасти. Увидел угрюмые, насупленные лица «господ офицеров»: они судили судом чести его, Корытина-Кортица, за кражу полмиллиона марок из сейфа охранного корпуса.

У него впервые в жизни текли слезы: он ждал расстрела, ждал неминуемой смерти. Как и сейчас. Как и сейчас, тогда тоже размашисто-тяжело стучал на стене маятник, отсчитывая, казалось, последние минуты его верченой грешной жизни.

А теперь?

— Не верю я этому гаду. Ни единому слову не верю! — Рослый подпольщик Миша со звоном вогнал кинжал в металлические ножны. Потом подошел к двери комнаты, куда полчаса назад упрятал связанного пана профессора. Прислушался. — Но попробовать надо... Цугфюрера я беру на себя. От меня живым еще никто не уходил.

— Горазд! — поднялся командир. — Вставай, эсэсман! Пойдем отмывать твои грехи.

Для бодрости Кортицу дали еще стакан воды. Шефствующий над ним Миша бесцеремонно ткнул под ребро дулом пистолета: «Ауф!»

Но гауптшарфюрер боялся не его: резкого, дерзкого и безжалостного. Он лишь опасался его. А по-настоящему боялся, испытывая леденящий душу страх, круглоголового, мальчишески некрупного командира.

Он возвращал его в грязное гнусное прошлое. Он олицетворял его будущее, в котором было только одно — неминуемое возмездие.

16

Шли огнеметные танки — дьявольская новинка немцев. Огнеметы они и раньше ставили на танках, но применять их массированно, в качестве особого тактического средства стали лишь недавно, начиная с Белгорода. Вот как сейчас: приплюснутыми утюгами поперек поля ползли «тигры», а между ними, чаще — чуть позади, прячась за тяжелой броней, таились «огнеметки» — старые немецкие T-IV. Вдруг выскакивали вперед и длинно плевались огненно-желтыми струями. Горела рожь, горела сама земля...

Вахромеев покусывал ус, удивлялся: зачем они свои огненные жала пускают? Ведь далеко. Или запугивают?

— Больше сами пугаются, жлобы! — сплюнул на бруствер Боря-артиллерист. — Думают, их тут целый артполк ждет на прямой наводке. А у нас всего три зашаренных пушчонки. Дать сигнал — вдарим?

— Погоди. Подпустим ближе.

Он начинал догадываться: танки издали плюют огнем вовсе не с перепугу, не впопыхах, а по строгому расчету, как и положено немцам. Огнеметные залпы не только для острастки. Пуще для того, чтобы впереди горела рожь. А горящая рожь дает дым — аспидно-черная косма висит над полем. Танки укрывает от прицельной стрельбы, вот в чем загвоздка. Видимо, немцы и впрямь полагают, что здесь их встречает по меньшей мере ИПТАП. Осторожные стали.

Шли они широко, густо, по-настырному всерьез — сразу вспомнилась Прохоровка. Значит, не зря беспокоится комдив, высотка и в самом деле поперек горла фрицам встала. Вот только удастся ли ее удержать, ведь какая сила прет?

Вахромеев приподнялся, оценивающе оглядел изрытый окопами склон. Усмехнулся: успели выспаться славяне... Кто знает, может, многие и поспали-то в последний раз.

Тихо... Вязкая, муторная тишина здесь. А там — гремит, ломается в дыму поле, ворочается в пламени, в утробном танковом рокоте, то самое ржаное поле, которое еще недавно, три часа назад, привиделось ему разливным черемшанским плесом; а потом, когда он уже засыпал, из дышащих под ветром колосьев, как из водной ряби, отчетливо возникла фигура Ефросиньи, ее лицо — печальное и строгое...

Он подумал и загадал, что если останется живым, то когда-нибудь после войны непременно вернется сюда и найдет этот бегущий от леса межгорок, чуть выпуклый, сверкающий бронзовой чешуей переспелой ржи — место, где он впервые за долгие годы вдруг снова обрел надежду, услыхал долгожданную весть, пришедшую неожиданно и странно: из поднебесья.

И еще он подумал, что именно на этом месте ему предстоит сейчас выдержать самый тяжелый из всех боев, через которые прошла его фронтовая судьба. И он был уверен, он просто заранее знал, что выстоит и вы-

живет, иначе бессмысленным было бы получать такую весть перед смертью.

Но все-таки чувствовал страх: а вдруг Ефросинья никогда не узнает, что спустя целых семь лет, на знойном августовском переломе войны, он однажды отыскал ее след?

Эта мысль испугала его еще раньше, когда отправляли с полуторкой раненого майора-летчика. И проявилась она каким-то причудливым вывертом: проводив грузовик, Вахромеев вдруг ощутил острую, почти болезненную жалость к стоявшему рядом Афоньке Прокопьеву... Потом догадался: Афонька был единственным оставшимся подле него черемшанцем, который понял смысл разговора с летчиком, значение этого разговора для Вахромеева, если, конечно, не считать Егора Савушкина, оседлавшего со своим взводом левую сосновую опушку, на острие немецкой танковой атаки.

Он попытался уберечь Афоньку — пускай уцелеет хоть один черемшанец, к тому же желторотый Афонька еще жизни-то не пробовал ни с какого боку. Предвидел Вахромеев, с самого утра угадал, что быть на этой безмятежно-уютной горушке испепеляющему адовому пеклу, потому и поспешил послать Прокопьева с донесением в штадив, хотя без особой нужды — имелась рация.

Но опоздал. Обе лесные тропинки уже были перехвачены, отрезаны немцами.

Афонька переобувался на пороге блиндажа, поочередно вытряхивая из сапог набившийся песок. В который раз за эту неделю Вахромеев подивился его несобранности, раздерганному, вовсе не солдатскому виду. Вечно общипывает себя, как курица, вечно занят собой: то колет новую дырку в ремне, то штопает или пуговицу пришивает, то вот песок ему помешал перед самой немецкой атакой.

Охорашивается бы вроде, а оно для него все наоборот получается. Лучше бы воротник у гимнастерки ушил, а то шея из него торчит, будто пестик из амбарной ступы. Недаром полковник-комдив расхохотался третьего дня, разглядев вахромеевского ординарца.

— Ай да комбат! Где ж ты себе такого «громовержца» подобрал?

Знал бы комдив, что этот прыщавый «громовержец» еще и молится тайком в укромные минуты!

Замполит Тагиев негодовал — бессильна его антирелигиозная пропаганда. «Это какой-то прибитый хлюст-фанатик!» Да и сам Вахромеев давно понял, что из Афоньки ординарец как из перловки — шрапнель (хоть солдаты и называют «шрапнелью» перловую кашу). А вот, сколь ни странно, привык к нему за одну неделю.

Со стороны, наверно, смешно. Не ординарец за ним, а он, комбат, за своим ординарцем досматривает: поужинал ли вовремя, получил ли доппаек у старшины, правильно ли набил автоматные диски? Да еще от солдатских подначек ограждать приходится — тощий вихлястый Афонька вроде гадкого утенка в гусином стаде. Ни постоять за себя, ни ответить забористо — пыжится-краснеет да гляделками хлопает.

Вахромеев не только жалел его, но, честно говоря, чувствовал перед ним собственную вину. Он помнил Афоньку еще босоногим белобрысым мальцом, помнил ту крикливую кержацкую сходку летом тридцать шестого, на которой обсуждался проект новой Конституции. Это ведь Афонька бегал на почту за свежей газетой — староста Савватей посылал! Афонька сидел потом на нижней ступеньке крыльца и, равняясь на стариков кержаков, с недетской ненавистью вглядывался в лицо Вахромеева — председателя Кольши.

Замотанный делами, хозяйственной, административной сутолокой, Вахромеев так и упустил тогда пацана из своих глаз (хоть и крепко приметил!). Упустил, а значит, дал ему пойти не по той дороге. Вот он и набрался блажи от бородатых «отцов — страстотерпцев». А сколько вот таких «упущенных» проворонили они в предвоенные годы!..

Нет, неверно говорят: «Война все спишет». Война вовсе не списывает, а, наоборот, с предельной жестокостью обнажает прорехи. И не дает времени, чтобы залатать их.

И все-таки за жалостью к Афоньке стояло нечто большее, тем более что Вахромеев никогда не считал себя жалостливым человеком... Вот об этом размышлял комбат, наблюдая за Прокопьевым-младшим, который спокойно и безучастно заглядывал в голенища, будто промысловик-охотник на пороге таежной избушки. «Где он набрал песку? — раздраженно недоумевал Вахромеев. — Ну да, наверно, обстрелянный в лесу немцами, возвращался сюда не кустарником — скрытно, как положено нормальному человеку, а поперся через песчаный бугор прямиком.

И дальше, и опаснее. Как его только не подстрелили, ведь откос весь на виду?

Прав Егор Савушкин: «везучий недотепа». Вот тоже один из странных фортелей войны. Другой — отчаянный рубака, смельчак, стоящий в бою целой роты, вдруг падает от шальной пули. А иного, который и пуляет-то всю дорогу в белый свет, не солдат — коровья коврижка, — его не царапнет даже. Как этого блаженного Афоньку, а ведь в каких только переделках не побывал батальон после памятных Выселок, уже не говоря о прошедшей трагической ночи».

Натянув сапог, Афонька полюбовался на него сбоку и хлопнул ладонью по голенищу, ладно, хлестко как-то хлопнул, и этот хлопок удивил Вахромеева. Он вдруг понял, уверенно осознал, насколько переменился Афонька за последние дни. Нет, он не перевоплотился в храбреца и не стал бравым парнем, но ведь исчезла та гнетущая пустота, безысходность, равнодушие, которые еще неделю назад явно виделись Вахромееву в Афонькиных голубовато-синих глазах. Да он и в бой ходит теперь не с тупой вызывающей открытостью, как было с ним раньше, а пригибаясь, короткими перебежками, ничем не выделяясь от остальных солдат. А недавно, когда Вахромеев послал его с донесением? Он же по-солдатски грамотно пошел скрытной тропой через кустарник. Правда, вернулся другой дорогой, полз, отчетливо видимый на белом песчаном откосе. Ну, так это, может быть, просто от дурости.

И тут комбата осенило: Афонька переменился неспроста! Не от сердитых поучений капитана Тагиева, не от въедливых солдатских насмешек, и уж вовсе не потому, что быстротечное фронтовое время сгладило его отчаяние, печаль по погибшим братьям.

Он снова обрел опору, почувствовал рядом крепкую заботливую руку, которая поддерживает, подталкивает, не дает оступиться и безошибочно направляет.

И эта рука не чья-нибудь, а именно его — комбата Вахромеева...

«А ведь верно, едрит твою корень! — мысленно ругнул себя Вахромеев. — Стоило бы и пораньше догадаться». Он смотрел на мальчишески тощего Афоньку, ощущая тоскливый комок у горла, удивляясь вроде бы беспричинной, навязчивой, остро волнующей связи, которая рождалась где-то между сегодняшним Афонькой-солдатом и его, Вахромеева, прошлым, давним довоенным августом, ок-

рашенным присутствием Ефросиньи. Это было нелогично, запутанно и смутно, как предутренний сон, как похмельное наваждение, но оно цепко держалось в душе, нарастало старой ноющей болью.

Он подумал, что у Афоньки Прокопьева, как и у Ефросиньи, очень похожие глаза — цвета размытого утреннего неба.

Ему захотелось что-нибудь сказать Афоньке, может быть, приободрить перед начинающимся боем, и он уже шагнул по направлению к блиндажу, но остановился. Понял, что искренних слов сейчас не найдет, а наигранная фальшь не для Афонькиной чуткой души...

Полдень наливался жаром, дымом, грохотом. За высотой, в сосняке, уже тупо буровили землю танковые снаряды, справа из черемушника затявкала сорокапятка — зло, торопливо, остервенело. Не выдержали нервы у Бориных артиллеристов. Сам он подскочил к Вахромееву, попросился, взбудораженно таращa глаза:

— Разрешите туда, товарищ капитан! Я мигом. Я им, сукиным детям, вправлю мозги! Попусту жгут снаряды, паразиты. Сам встану у панорамы!

Да, выдержки у ребят действительно не хватило. Правда, бить они пытаются по бортам, но дистанция пока что явно не по зубам пушчонке. Тем не менее Вахромеев спокойно осадил лейтенанта:

— Не гоношись. Ступай в блиндаж, к рации. Я же тебе приказал корректировать дивизионный артогонь. Кроме тебя некому. Понимаешь?

— Да ведь связи нет! Нет! — кричал Боря-артиллерист.

— А вот ты и добейся. Пошуруй за бок этого зануду радиста. Иди, лейтенант!

Дьявол бы побрал эту заморскую игрушку-рацию! Пищит, а толку никакого. Один треск, чтоб ее разворотило. Не надо было перетаскивать ее из «студебеккера». Пока стояла в кузове, связь была, а сюда принесли — молчит, хоть лопни. А с виду новенькая, аккуратная, вся в муаровой краске, в стеклышках и вертушках.

— Афанасий! — гаркнул Вахромеев. — А ну быстренько мотай к артиллеристам! Передай им, чтоб успокоились. А не то приду сам и за каждый пустой снаряд поотрываю им руки-ноги. Ну катись!

— Есть, товарищ капитан!

Прокопьев-младший затянул на две дырки брезентовый ремень, брякнул автоматом и мигом исчез по ходу сообщения. «Ишь ты! — изумился Вахромеев. — А ведь это привычка Егора Савушкина — натуго затягивать ремень перед атакой, перед тем как прыгнуть на бруствер. Интересно, когда успел подсмотреть Афонька? А подсмотрел, это точно.

Сколько ему лет: семнадцать или восемнадцать? Что ни говори, поздновато мать Степанида произвела на свет своего последыша, самой-то было уже за пятьдесят, пожалуй. Вот оттого, видать, и уродился Афонька хилым, неповоротистым, со старшими братьями равнять нипочем. Не струсит ли он сегодня, не драпанет? Вон она орава чумная ползет, вся в смраде и пламени, ни дать ни взять библейская геенна огненна.

Не побежит... Куда бежать-то — в лесу тоже немцы. И потом, как ни верти, Афонька солдат, а солдат знает: окоп в бою самое безопасное место».

Еще раз взглянув на дымно-пылевую завесу, в которой поплавками ныряли зализанные танковые башни, Вахромеев вдруг ощутил пронзительную тревогу, пополам смешанную со страхом: а ведь не устоять! Людей у него не наберется и полноценной роты, подмоги — никакой. Сейчас бы самый раз пройтись над полем штурмовикам-«илам», пошуровать бы немецкие танки эрэсами да фугасами-полусотками, вон как по-свинячьи нагло лезут! Так связи нет, молчит эта задрыганная красивая рация...

Отшвырнув на бруствер трофейный «цейс», Вахромеев в три прыжка достиг командирского блиндажа, скатился по ступенькам и, не сдерживаясь, заорал над головами радиста и Бори-лейтенанта:

— Ну!!.

Именно в этот момент, будто от испуга, заморская игрушка вдруг по-змеиному зашипела и загрохотала таким трехэтажным русским, что артиллерист Боря разулыбался во весь рот, довольный и счастливый.

— Теперь живем!

— Давай огня! — хлопнул его по плечу комбат. — Любого и немедленно!

Не успел он вернуться на свой окопный НП, как над головой зашелестели тяжелые снаряды, и далеко впереди, в тылу танковой фаланги немцев, черным гигантским веером встали гаубичные разрывы — первая пристрелоч-

ная серия, от которой вздрогнула, утробно заворочалась земля.

«Что ж, теперь и впрямь можно жить. Во всяком случае, воевать можно вполне». Вахромеев облегченно утер лицо, чувствуя обычную сосредоточенную уверенность. Раз пушкари за спиной, значит, пехота камнем в земле — сразу не сковырнешь. Он любил и уважал артиллеристов, верил в них еще со Сталинграда. Они пехоте родные братья, всегда рядом, всегда готовы «огнем и колесами». Попросил огонька, не откажут. А надо — добавят с присыпкой.

Вторая серия разрывов легла правее и ближе, зацепив бронетранспортер; третья — уже точнее. Прямо по танковому флангу: два «тигра» остались на месте, недвижные, густо чадящие, будто отсыревшие костры.

И все-таки Вахромеев уже оценил: танки прорвутся к высоте, больно жидок артиллерийский заградогонь. Он даже представил, как это произойдет: у самой подошвы холма, на рубеже проселка, вперед высунутся «огнеметки» и языками пламени станут выжигать окопы, а затем беспрепятственно на высоту влезут тяжелые «тигры». Против них некому будет вставать с гранатной связкой или с бутылками КС, они даже не станут утюжить обуглившиеся окопы.

Огнеметные танки — вот что было сейчас самое страшное, непоправимо опасное! Не устоят даже закаленные ветераны — остатки любимой комдивом «карманной роты»...

Нагнувшись, капитан нащупал телефон в окопной нише (единственная линия связи — к передовому отряду Савушкина). Крутнул ручку.

— Егор, твои пушки еще целы?

— Палят, чего им сделается, — солидно пробубнил Савушкин.

— Бить только по «огнеметкам». Понял?

— Так ведь соображаем. Вон две уже устряпали. Сам, поди, видишь...

— Не «соображаем», а это приказ! — неожиданно зло заорал Вахромеев. Ему показалось, что Савушкин, по своему обыкновению, что-то жует. Будто чавкает в трубку. — Каждый снаряд только по огнеметным танкам! Приказываю выбить! Не выполнишь приказ, расстреляю!

— Да что ты, ты чего... — испуганно глотая слова, зачастил Савушкин, потом спохватился: — Будет исполне-

но, товарищ капитан! Как есть изничтожим «огнеметки». Не пустим!

Помогло. Вскоре остановился еще один огнеметный танк. Закрутился на месте другой, пытаясь сбить пламя с кормы, и вдруг взорвался — вспух огромным зелено-красным шаром, который лопнул, брызгая вокруг свою ядовитую горючку. От нее, видать, тотчас же занялся, засмолил ближний «тигр».

И вот тут началось!

Нежданно-негаданно, неизвестно откуда высотку накрыл минометный шквал. Земля поднялась дыбом и так и не опускалась, повисла в воздухе, вздымаемая новыми и новыми залпами — мины ложились кучно, почти точно, высота наверняка была пристреляна заранее.

Падая в окоп, Вахромеев успел подумать, что это, вероятно, заготовленная немцами последняя оплеуха, под прикрытием которой танки должны выйти на рубеж решающего броска, прямо перед высотой.

В воздухе еще клубилась пыль, поднятая взрывами мин, а он уже бежал вдоль склона, спотыкаясь и падая в неглубокие воронки. Он спешил к бронебойщикам, потому что теперь они оставались единственной, чего-нибудь стоящей силой, способной остановить или хотя бы задержать танковую ораву. Позиции Савушкина, сразу накрытые минометами, уже давили, утюжили «тигры».

Однако к бронебойщикам он так и не добрался, на полпути, у второй линии окопов, его подбросило взрывом. Придя в сознание, он сразу хватился планшета и каски — их при нем не было. Потом его кто-то потянул за ноги, бесцеремонно поволок прямо через колючие кусты терновника. Сдернул в полузаваленный окоп, посадил, прислонил.

Это был Афонька Прокопьев. Измазанный, без кровинки в лице, он что-то торопливо, испуганно говорил, в ужасе закатывая глаза, однако Вахромеев ровным счетом ни черта не понял. Он оглох, в ушах стоял сплошной тягучий звон.

А танки уже ползли на высоту. Навалившись на бруствер, Вахромеев почти равнодушно наблюдал, как они перестраиваются на ходу, как юрко занимают свои места в шеренге огнеметные танки — четыре уцелевших. Он понимал, что через несколько минут все будет кончено и тогда немцы, оседлав высотку, дадут чесу соседней дивизии: отсюда хорошо просматривается и село на магист-

ральном шоссе и даже крупная железнодорожная станция. Все будет по науке: «В бою кто выше — тот и бьет».

А в штабах еще сутки будут костить комбата Вахромеева, который «не удержал», «не выстоял», «не проявил солдатской стойкости». Вместе со своим батальоном...

Словно очнувшись, Вахромеев резко оттолкнулся от стенки окопа и взял за грудки Прокопьева-младшего, цепко, намертво притянул за суконные погоны. Не от злости — чтобы не упасть. Покачиваясь, крикнул ему прямо в лицо:

— Шпарь в блиндаж, Афонька! Пускай лейтенант передает в штаб: «Вызываю огонь на себя! Комбат Вахромеев». Ты слышишь, ты понял?

Ординарец очумело мотал головой, тыкал пальцем в сторону. Там неподалеку уже маячил, пер в гору головной «тигр».

Вахромеев изо всей силы дернул солдата, бешено выругался:

— Слушай, что тебе говорят! Пусть немедля передает: «Вызываю огонь на себя». Беги, Прокопьев, ну! И сам поберегись.

На приближающиеся танки он уже не смотрел, его интересовал теперь только Афонька Прокопьев. «Громовержец» бежал какой-то заячьей рысью, сигая в стороны от воронок и поминутно оглядываясь на ближний «тигр», что натужно ревел в терновнике.

Лишь убедившись, что Афонька благополучно скатился в блиндаж, Вахромеев сразу осел и, царапая ногтями глинистые стенки, медленно упал на дно окопа.

Он блаженно улыбнулся, почувствовав вскоре, как сильно и властно его подбросила земля — старый вояка, он узнал гаубичные разрывы. И уже когда терял сознание, ему пригрезился крохотный зеленый самолетик — в дымном небе, прямо над окопом.

Он подумал, что, может быть, это летит Ефросинья...

17

Перед уходом Миша толкнул дверь в соседнюю комнату и крикнул лежавшему на полу пану профессору:

— Эй, старик! Ты тут не рыпайся, не вертухайся! Имей в виду, я под дверью оставлю взрывчатку. Полезешь — взлетишь к чертовой матери вместе со своей буржуйской хибарой. Лежи смирно, мы скоро вернемся.

На крыльце долго стояли молча, вглядываясь в багровые, испятнанные пожарами очертания городских кварталов. Цугфюрер Кортиц-Корытин сидел на нижней ступеньке, угрюмо сопел, похожий на зловещего монаха в своем черном плаще и широкополой шляпе, которую Зайченко нахлобучил ему на самые уши.

Настроение у ребят было не из бодрых. Каждый понимал, предстоит лезть к дьяволу на рога, врываться в какой-то дом, кого-то хватать, в кого-то стрелять — не зная ни объекта, ни дороги к нему, не имея даже предварительного плана и полагаясь только на добровольную (а может, коварно предложенную?) помощь матерого эсэсовца. Все это очень попахивало авантюрой...

Но и другого выхода не было, просто не существовало другого выхода!

— Надо, пожалуй, послать Миколу по цепочке. Вызвать по тревоге кое-кого из наших... — тихо, не очень уверенно предложил Слетко.

— А зачем? — резко спросил Миша — Жареный.

— Мало нас для такого дела.

Лейтенант усмехнулся, блеснув в темноте металлическими вставными зубами.

— Времени нет, Павло! Сейчас ночь короткая. Ну, а кроме того, нас столько, сколько нужно. Я, например, на ночные вылазки больше четырех не беру, иначе в темноте своих же перестреляешь.— Он вдруг щелкнул зажигалкой, безбоязненно, не таясь, прикурил и, прыгнув, уселся на деревянные перила. — А знаете что? Мне кажется, командовать должен я, иначе мы зашьемся на первом же патруле. Не обижайся, Павло, но ты не годишься для ночной резни. А мне не впервой, я здесь все улицы и подворотни излазил, все развалины носом перепахал.

Слетко это, конечно, обидело. Но скорее не само предложение, а дерзкая бесцеремонная прямота, с которой оно было высказано. Как в дворовой ребячьей прибаутке: «Командиров нам не надо, командиром буду я». А с другой стороны — Слетко понимал: бесшабашный «летун» прав. Ему, человеку военному, главарю известных в городе отчаянных ночных «флибустьеров», сейчас и карты в руки.

Как ни странно, Слетко заинтриговала реакция гауптшарфюрера: похоже, самонадеянное предложение Миши обрадовало Кортица (приподнял голову, удовлетворенно кашлянул). Как это понимать? Он наверняка делает ставку на какие-то человеческие слабости, на командирские

изъяны «флибустьера». Какие же? Ну, это ясно: горячность, нетерпеливость, опрометчивость. Эсэсман явно рассчитывает на них, и именно с этой стороны Мишу надо основательно страховать. На каждом шагу.

— Ладно, — сказал Слетко. — Договорились. Назначаю тебя командиром группы. Но имей в виду: я — комиссар. И без моего согласия, чтоб ни одно твое решение...

— О чем разговор, Павло? — весело перебил Миша. — Я ж ответственный человек и своих никогда не подводил! Это вот они, боши-воши, на меня недовольство имеют. Я им давно поперек горла встал. Верно, эсэсман? — Миша нагнулся, поддел под бок Кортица. Желчно сказал: — Бодрее держись, иуда! И вообще, радуйся: ежели я командир, стало быть, успех обеспечен. Тебе прямая выгода — покоптишь белый свет еще несколько лишних дней.

— Мне все едино... — хрипло выдавил гауптшарфюрер.

— Врешь, эсэсман! Я ведь насквозь тебя вижу и отлично понимаю, что ты задумал. Но заруби себе на носу: Мишку — Жареного еще ни один немец в Харькове не объегорил. Ни один! Правда, застрелить пытались, в том числе ты две пули мне всадил.

— Первый раз тебя вижу!.. — испуганно шатнулся Кортиц.

— Ты меня первый, а я тебя — второй. И, думаю, последний. Или, может, забыл как достреливал наших раненых под окнами больницы? Нынче весной. Ну, вспомнил?

Гауптшарфюрер дернулся, привстал, потом снова сел — нервы у него явно сдавали. Значит, эти мстители следили за ним давно, еще с марта... И вряд ли теперь упустят, уж слишком длинный хвост намотали. Вот от чего, оказывается, бешеная злоба в глазах этого парня с пошкрябанной обожженной щекой!

Но все-таки надо держаться любой ценой, а главное — сохранять спокойствие. В конце концов, выигрывает тот, у кого окажется больше выдержки, самообладания. Ведь не он, а они приняли его план, он их должен вести по темным улицам средь развалин и пожарищ. Так что еще неизвестно, кто у кого в руках...

— Я исполнял приказ, — заученно буркнул цугфюрер.

— Приказ?! — взбеленился, прыгнул с перил Миша. — Это ты у немцев научился, продажная шкура? Запомни: предателям не дают приказы, предатель продается один

раз, а уж потом просто гадит, выворачивает наизнанку свою черную душу. Смердит, покуда, как тифозную вшу, его не приберут к ногтю.

— Я присягал...

— Ты, гнида, присягал?! Да ты присягаешь в каждом солдатском сортире! — Без замаха Миша чуть было не опустил пистолетную рукоятку на шляпу, но, как и недавно в комнате, руку его цепко перехватил Слетко.

— Кончай треп, командир! Надо действовать.

А Миша уже улыбался, показывая свои железные зубы. Поразительная была у него натура: огонь и лед рядом. Без всякого перехода и без наигрыша.

Стоявший в тени молчаливый Микола Зайченко неожиданно пошутил:

— Веселый у нас командир! Бравый. Боевую речуху толкнул.

— Правильно, Микола, — отозвался Миша. — Это и была моя речь перед боем. Только не для вас, а для него, для эсэсмана, — вы же давеча не давали мне рта раскрыть. А он вот начуфырился, я же чувствую. За дурачков нас принимает. — Он махнул с крыльца на землю и пальцем резко снизу ударил по подбородку Кортица, поднимая эсэсовца со ступеньки. — Ты все понял, герр гауптшарфюрер? И еще специально для твоего сведения: воевать сегодня будем грамотно, умно и смело. Как положено действуют две группы — группа захвата и группа прикрытия. В каждой по четыре человека. Начнем по моему сигналу.

Это было неожиданно не только для эсэсовца, но и Слетко, Зайченко тоже несколько опешили: что за странная арифметика?

— Ты подожди, ты объясни! — недовольно шагнул Слетко. Он начал жалеть, что, пожалуй, слишком легко поддался на доводы напористого «флибустьера». Его определенно заносит с самого начала. А что будет дальше?

— И вы не поняли? — хохотнул командир. — Все очень просто: неужели вы думаете, что Мишка-летун ходит в одиночку по ночному городу? У меня тут недалеко в развалинах мои боевики припрятаны. Молодец к молодцу. Недаром их немцы называют «нахте гешпенстер». Ну-ка переведи, цугфюрер!

— Ночные призраки... — нехотя буркнул Кортиц.

— Верно, паскуда. Соображаешь по-немецки. Ну, а теперь раздевайся.

— Как?! — не понял эсэсовец.

— А так. Как вы раздеваете наших перед расстрелом. До подштанников.

— Но я же... Но мы же решили... — Кортица сразу начал колотить озноб.

Миша сдернул с него шляпу, сорвал и бросил на крыльцо плащ.

— Снимай мундир, живо! Ишь ты, «мы решили»! Здесь решаю я, командир. И не мандражируй, не тронем, время твое еще не пришло. Мундир твой надену я, а с тебя хватит плаща и шляпы. Буду вас всех троих конвоировать.

Теперь дело пошло веселее. Уже через десять минут вооруженная плоскими немецкими автоматами, что хранились на чердаке слетковского дома, группа появилась из переулка и гуськом стала спускаться к деревянным кладкам через Лопань.

На левобережье — глухие, по-деревенски заросшие травой пустынные улицы. Кое-где давние и свежие воронки, черно-белые осыпи разрушенных домов, выползающие за палисадники, и стойкий странный запах, забивающий гарь, — сладковатый запах печеных яблок. Впрочем, он держался по всем городским окраинам: в последние дни голодные горожане, имеющие сады, перешли на яблоки, жарили-парили, пекли их вместо давно забытой картошки.

Перед тем как пересечь Клочковскую, остановились. Впереди был крутой склон холма, на котором «пуп города»: тесные кварталы серых кубических зданий, создававших вместе с Госпромом когда-то еще до войны архитектурную славу «железобетонного Харькова». Немцы этот район патрулировали жестко и круглосуточно — держали здесь крупные штабы. А на подступах к центру, на скатах холма среди густого кустарника, — позиции зенитных батарей. Это было известно любому харьковчанину.

— Ты спятил, что ли? — раздраженно сказал Слетко своему командиру. — Нас же тут возьмут, как котят в мешке. Надо через Павловку заворачивать. И выходить на Шатиловку.

— Рассуждаешь правильно, комиссар! — ухмыльнулся Миша. — Я бы тоже так поступил год назад, когда хорошо не знал немцев. Видишь ли, против немцев надо

действовать их же оружием: наглостью. Они настолько наглы, что за нами это качество не признают. Ну а я им за это частенько спасибо говорю. Сегодня тоже скажу.

— Нет уж дудки! — заупрямился Слетко. — Ишь психолог выискался. Командирское решение должно гарантию иметь. Здравый смысл. А ты мне байки рассказываешь.

Павло начал горячиться всерьез, Миша — Жареный тоже с ходу взвился на дыбы — что другое, а уж это он умел. Микола Зайченко, видя такое дело, предусмотрительно оттер в сторону, подальше в тень забора, Корытина-Кортица — незачем пленному эсэсовцу слушать командирские распри.

Дошло до того, что Миша яростно вцепился в борта засаленного комиссарского пиджака. И тут неожиданно расхохотался:

— Ну и зануда ты, Павло! Знал бы, не стал бы с тобой связываться. Ей-богу! Да пойми, у меня ребята там сидят, вон в том доме, что на самом откосе. Все в форме фельджандармов и при круглосуточных аусвайсах — печать самого коменданта! Двое из них по-немецки шпарят не хуже твоего вонючего цугфюрера. Понял?

Слетко сразу остыл, облегченно плюнул: надо было с этого и начинать, дьявол жареный! А то растрепался про разные заумные фигли-мигли, что любят немцы и чего не любят, кого уважают и чего боятся... Боятся они силы, только силы — теперь после Сталинграда и Курска этого и доказывать не надо. Младенцу понятно.

— Силой и дурак возьмет! — настырно, но уже миролюбиво хмыкнул Миша. — А ты умом побори, смекалкой превзойди — вот это будет стоящая победа. Я люблю драться с риском и на всю катушку. Заходить, так со всех козырей. Не повезет, так вывезет.

— Боюсь я за тебя, — вздохнул Павло. — Авантюрист ты, Миша... Ну прямо жиган.

— Утро вечера мудренее! — рассмеялся тот. — Вот утром и подсчитывай, делай выводы, комиссар. А пока — рано.

По склону поднимались медленно и долго, часто затаивались, выжидали. Сначала миновали заброшенный двор, потом переползли огород и попали на отвальную кучу мусора: вонь тут стояла несусветная. Отбивались в кустах от своры одичавших собак — они бросались без лая, исподтишка, злобно, по-волчьи. Цугфюрер матерился, поста-

нывал: собаки порвали ему плащ и покусали ляжки (отбиваться он не мог, руки за спиной склепаны наручниками).

— Цыц, замолкни! — шикнул на него командир. — Не тебя, собак жалко: они от твоей крови теперь перебесятся. Форвертс, завоеватель!

И хорошенько поддал ему коленом под зад. Так, с бранью и пинками, Миша вытурил его из кустов на булыжник начавшейся улицы, очевидно разыгрывая эту сцену в расчете на возможный немецкий патруль. Впрочем, улица была безлюдна, пуста.

Он затащил их на крышу какого-то гаража и велел всем лежать тихо, без звука, пока он сходит в развалины за своими «архаровцами». По обыкновению, сверкнул в темноте зубами:

— Сосредоточьтесь покуда! Поразмышляйте. Это полезно перед делом.

Отсюда хорошо была видна вся залопаньская низина, особенно привокзальный район — там, на путях, что-то горело сильно и ярко, с частыми брызгами слепящих искр. Просматривалась и улица Свердлова, будто глубокий черный шрам па искромсанном теле города. Многое было связано у Слетко с этой улицей, которую немецкие власти еще в первую оккупацию пытались переоборудовать под «райские кущи для ветеранов-фронтовиков». Богоугодные заведения майора Филиппа недавно тоже располагались здесь.

Слетко дважды встречался с толстеньким розовощеким словаком, который любил украинское сало с чесноком и обожал французскую парфюмерию. Этот человек улыбался с утра до вечера, а может быть, даже во сне. Он нравился Павлу деловитостью: если говорил, то обязательно делал.

Ходили слухи, что Миша — Жареный однажды выпорхнул на ночные улицы именно из-под его крылышка. И что разнообразными аусвайсами, особыми пропусками и прочими не липовыми, а подлинными документами ночные «флибустьеры» обязаны круглощекому майору Филиппу — «заслуженному культуртрегеру вермахта».

Все-таки странно, что осторожный хитрый словак столь смело пошел на деловые контакты с безалаберным сорвиголовой.

А почему бы нет? Ведь и сам он, Павло Слетко, пошел на это и даже не просто пошел, а безответно доверился,

поставив буквально все, что имел, на крайне рискованную карту.

Говорят, что бесшабашная смелость захватывает, завораживает, гипнотизирует других. Это — как красота в женщине...

Да при чем тут красота?! Все предельно просто — другого выхода нет.

Ведь, по сути, решается судьба города. И они, подпольщики, все — вместе с группой Миши — крохотная частица в этой огромной запутанной схватке, маленькая незримая сила, которая при удаче может решить все или — ничего не решить. Но в любом случае, даже не рассчитывая на успех, они должны действовать, стремиться вперед, рисковать — обязательно рисковать! Никто заранее не сможет сказать, где и как их попытки, усилия вольются в общий наступательный поток, но то, что они не останутся напрасными, — не подлежит сомнению. Даже бесследно погибнув, группа обязательно что-то сделает ради спасения города. В конце концов — каждый оправдает себя перед собственной совестью...

Но на душе у Павла было пасмурно, тревожно. Он, конечно, понимал, что подспудный смысл предстоящей операции, скрытая ее пружина — это дуэль между лейтенантом Мишей и пленным эсэсовским цугфюрером: кто кого перехитрит. И ставки тут неравные — эсэсману терять нечего, они теряют все. Подстраховка — дело нереальное, пустое. Жареный сейчас как бык, выскочивший из загона, а цугфюрер вроде красной тряпки. Он его всю дорогу бесит... Можно не сомневаться: Миша начихает и на исход операции, лишь бы не упустить эсэсовского палача.

Надо что-то придумать, что-то сделать... Тем более что эсэсовец явно замышляет подвох. Угрюмо сопит, старательно прячет под шляпой лицо.

Пожалуй, надо контроль за эсэсовцем взять на себя, «развязать» руки и самому Мише, он ведь даже не осознает, что, как командир, тоже связан. Он «пасет» эсэсовца, он «пастух», а не командир.

Слетко настроил себя крайне решительно, готовый пойти на любые последствия вплоть до разрыва с необузданным «флибустьером». Но, к немалому удивлению, все это не понадобилось. Вернувшийся командир молча выслушал Павла, беспечно хохотнул:

— Блажишь, комиссар? Проявляешь высокую бдительность? Ладно, не стану спорить, я ведь как-нибудь слыхал про твое знаменитое упрямство. Так и быть, «паси» эсэсмана. Но учти: ежели упустишь, до конца жизни со мной не рассчитаешься. Я долги не прощаю.

Всю улицу Данилевского — относительно свободную, не считая нескольких завалов из битого кирпича, прошли скоро, беспрепятственно, соблюдая заведенный фашистами порядок для ночных патрулей: две пары по противоположным тротуарам. По левой стороне патруль сопровождал случайно задержанных. Как положено.

Миновали Сумскую, и тут гауптшарфюрер, которого Слетко постоянно чувствовал локтем, начал проявлять нервозность. Заупрямился, ни с того ни с сего попросил закурить. Миша — Жареный, настроенный благодушно, сунул ему в рот зажженную папиросу.

— Что труханул, приятель? Или мы что-то делаем не так, как ты задумал? Выкладывай, не стесняйся.

Эсэсовец молча жевал сигарету, жадно затягиваясь. Потом сказал:

— Сейчас будет особняк, посередине квартала — направо. Двор глухой. Две проходные: одна с улицы, другая сбоку — на открытую гаражную стоянку. — Он затянулся еще несколько раз, выплюнул окурок на асфальт. Спокойно поинтересовался: — Руки не освободите?

— Нет! — отрезал Миша.

— Понимаю... — Он поежился, подталкивая плечами сползшую шляпу. Вздохнул: — Боюсь я... ох, боюсь! Тут ведь вся охрана отборная. Из зондеркоманды.

— А ты не бойся, — сказал Миша. — Свои тебя не убьют, мы тоже покуда дорожим твоей шкурой. Так что топай смелее. И без фокусов. Не то — финка в спину. За нами не заржавеет.

— Боюсь... — опять охнул цугфюрер, на этот раз с неподдельной дрожью в голосе.

Он в самом деле боялся. Однако — не смерти. Он верил в свою звезду и знал, что сегодня наверняка уцелеет. Если его не прикончили сразу, значит, он получил счастливый шанс. Как в прошлом году, когда его приговорили к расстрелу за ограбление кассы «русского охранного корпуса». Расстрел отложили на сутки, а потом исполнение приговора просто не состоялось: во время бомбежки прямым попаданием уложило всех его судей и палачей. Провидение распорядилось иначе.

Он боялся одного: удастся ли довести до конца задуманный план? Пока все шло без отклонений, почти так, как ему хотелось. Они зорко стерегут его, они постоянно наготове. Они ждут. Ну что ж, это хорошо, пусть измотают себе нервы, пусть устанут от этого. Они все равно не предугадают его решающего истинного намерения.

Противоборство человеческих судеб имеет свои законы: какой бы сложной ни была ситуация, побеждает человек сильной, запутанной судьбы, закаленной в житейских бурях. Они не знают этого, в своей жизни все они, вместе взятые, не испытали и десятой доли того, что выпало ему одному. Его путь здесь не кончится, он просто не может завершиться в каком-то голодном, разрушенном полуазиатском городе, потому что проходил ранее, прочертан был кровью, деньгами, чужими смертями от Харбина и Сингапура, через Рим и Париж, Мадрид и Берлин...

Шел уже второй час ночи, когда Миша — Жареный подвел свою немногочисленную группу к боковой проходной. Здесь «просочиться» наверняка было легче: одиночный пост, а сама стоянка отделялась от главного двора только метровой высоты проволочной сеткой.

Начало получилось рисковым. Миша подтолкнул цугфюрера к смотровому окошку, а сам подсунул сбоку в узкую щель его эсэсовский зольдбух.

Слетко, жавшийся рядом к стене, обмер, облился холодным потом: на жилистой Мишиной руке был наколот пропеллер с крылышками — он четко виделся в оконном свете!

Однако обошлось... Сонный часовой небрежно пролистал удостоверение, зевая, вгляделся в лицо Кортица — цивильная шляпа и наглухо застегнутый плащ ничуть не удивили его. Состоялся сухой официальный разговор.

— Кто вам нужен?

— Я из полевой группы гестапо. Мне срочно необходимо в штаб минирования. Имею поручение к полковнику.

— Да, полковник здесь. И кажется, еще не спит. Но почему через эту проходную?

— Мне так приказано.

Очевидно, ответ удовлетворил часового, потому что он вышел из бетонной будки и не спеша отодвинул засов на калитке. И вот именно в этот момент гауптшарфюрер Кортиц сделал свой давно рассчитанный ход, на какие-то доли секунды все-таки опередив молниеносного «флибу-

стьера». Вместо того чтобы резко шагнуть в сторону (как было уговорено), цугфюрер мешком упал под ноги часовому, упал с подкатом, сразу сбивая его на землю. Мишина финка, предназначенная на этот случай Кортицу, блеснув, вонзилась в спину часового.

С непостижимой верткостью цугфюрер нырнул под стоящий рядом грузовик, выскочил по другую сторону и в несколько прыжков оказался у разграничительной сетки. Он успел прыгнуть на нее и тут же сел, остановленный сразу двумя пулями. Первым выстрелил Слетко, а вторую Кортиц получил в грудь — через двор бежала караульная смена (выходя из будки, часовой нажал кнопку вызова — согласно инструкции посту на ночное время).

Выстрелы — а они приказом Миши допускались лишь в крайнем случае, в безвыходном положении — были обусловленным сигналом для группы прикрытия. Тотчас же из развалин соседнего дома застрочили автоматы, мощно и гулко ухнули гранатные взрывы, выметая на дворе все живое.

Автоматически, по сигналу из караула, с треском захлопнулась бронированная калитка.

18

За последнюю неделю обстановка настолько осложнилась, что оборонявшая город оперативная группа генерала Вернера Кемпфа приказом Гитлера была спешно преобразована в третью полевую армию с задачей: удержать Харьков любой ценой.

Расторопные штабисты из нового армейского управления попытались зачислить полковника Крюгеля в свой инженерный отдел, но последовал телефонный окрик штандартенфюрера Бергера: «Не трогать!» С ним боялись связываться даже высокопоставленные генералы, как-никак, он приходится двоюродным братом группенфюреру Бергеру — заместителю самого Кальтенбруннера.

Бергер пояснил, что оставляет при себе оберста Крюгеля потому, что дело, которое им поручено, в одинаковой степени разделяет между ними особую государственную, имперской важности ответственность. Штандартенфюрер, как и всегда, выражал свои мысли веско, с витиеватой значительностью.

Впрочем, сам Крюгель усматривал за этим нечто другое: «старина Хельмут» желал иметь под рукой удобного собутыльника. Штандартенфюрер, страдавший пристрастием к выпивке, в последнее время отбросил всякие тормоза и пил напропалую. Подчиненные, как он резонно полагал, ему в компанию не годились. С Гансом Крюгелем он пил по вечерам, на равной ноге, тем более что полковник держался крепко, а хмелея, становился молчаливым, почтительно, со вниманием выслушивал длинные речи эсэсовского ветерана, в которых частенько проскальзывали весьма рискованные суждения.

Хотя, может быть, как доверительно сообщил штандартенфюрер, тут и впрямь были замешаны интересы его, Крюгеля, личной безопасности. Почему бы нет, ведь именно в его голове держались сведения, которых не знал никто другой и за которые дорого дало бы советское командование.

Что ж, если даже опека — Крюгель не возражал. Говорят же русские: «Береженого бог бережет». А ему очень следует поберечься, хотя бы ради ближайшей перспективы. Остров Узедом, Пенемюнде действительно удел избранных, уже не говоря о том, что начнется новая жизнь, полная высокого смысла, не в пример теперешнему опасному прозябанию.

Уже который день Крюгель чувствовал угнетающую опустошенность, измотанность. И шло это не от физической усталости и даже не от постоянной опасности, связанной с поспешным минированием, — иногда под огнем, бомбежкой, пренебрегая элементарными требованиями технических инструкций.

Он считал пакостным то самое дело «имперской важности», которым занимался. Он считал его грязным и аморальным, никоим образом не связанным с военной необходимостью. Он много думал и все больше приходил к выводу, что пресловутая теория ««спонтанной жестокости», проповедуемая Бергером и его единоутробниками — эсэсовцами, не более, чем бред озверевших от злобы обреченных висельников. Бред опасный, гибельный для нации не только в трагическом настоящем, но и в будущем.

И честно говоря, он боялся за себя. Потому что знал: будущее рано или поздно предъявит ему лично свой страшный счет, от которого он потом никуда не уйдет, ибо не может уйти человек от суда собственной совести.

Как ни странно, он начинал привыкать к регулярным вечерним попойкам — коньяк хоть на несколько часов выводил его из состояния мрачной самопожирающей депрессии. Иногда ему начинало казаться, что он очень близок к жизненному финалу и что именно Харьков, заминированный им, станет его собственным бесславным концом.

Поздно возвращаясь от Бергера, он уже не один раз с жадным интересом включал радиоприемник, слушая приглушенные передачи Союза немецких офицеров. Удивлялся знакомым фамилиям пленных генералов: фон Зейдлиц, Хоовен, фон Даниэльс. Были даже дивизионные инженеры, которых он знал лично — Гетц, Штеслейн... Нет, плен его не устраивал, он не был готов к нему, да и просто не был способен на это.

Город наводнили войска, они затрудняли минирование, уже не говоря о том, что на многих объектах после окончания работ приходилось выставлять предупреждающие посты. Первоначальные схемы и расчеты летели к черту, технических средств не хватало, а один из трех саперных батальонов так и не поступил в распоряжение Крюгеля — его прямо из эшелона бросили на передовую, в район хаотических развалин Тракторного завода.

Штандартенфюрер Бергер стервенел с каждым днем, нередко напиваясь теперь с самого утра. Впрочем, делами Крюгеля он почти не интересовался: у эсэсовской айнзатцкоманды, зондеркоманды СД и групп полевого гестапо полно было своих забот в городе, который уже напоминал осажденную крепость (оставались только две дороги на юго-запад).

Находясь под крылышком штандартенфюрера в одном с ним особняке, Крюгель тем не менее не испытывал особого удовольствия, не говоря уже о комфорте. Сквозь зарешеченное окно в его комнату на первом этаже постоянно доносились со двора гвалт и ругань полупьяных эсэсовцев, визг тормозов на полном ходу въезжающих машин, а после обеда, как правило, душераздирающие вопли из подвала, где пытали разного рода дезертиров и диверсантов. В такие минуты Крюгель обычно включал на полную громкость радиоприемник или, плюнув, уходил в свой автовзвод на соседнем переулке, пользуясь, как и сам Бергер, ключом от потайной двери. Это была его единственная привилегия в кошмарном содоме, какой являл собой эсэсовский особняк.

В этот вечер Крюгель вернулся после одиннадцати и, минуя постовых во дворе, с облегчением взглянул на темные окна второго этажа — штандартенфюрера не было в кабинете.

Войдя к себе в комнату, Крюгель включил аккумуляторный ночник, выпил полстакана коньяка, и, не мешкая, занялся делом, которое ежедневно, как ни странно, доставляло ему тайное удовлетворение. Он корректировал по итогам рабочего дня схему минирования, убеждаясь всякий раз, что она все больше отличалась от того графически четкого совершенно секретного чертежа, какой он неделю назад вручил Хельмуту Бергеру, расписавшись в регистрационном журнале.

Жизнь вносила существенные коррективы и одновременно тем самым вводила в заблуждение твердолобого самоуверенного Бергера, и эти отклонения от расчетных планов, этот естественный обман был отчего-то приятен Крюгелю. Хотя, в сущности, места расстановки фугасов или даже количество мин на том или ином объекте не имели практического значения.

А он все-таки немножко гордился: истинная схема находится у него, а не у всесильного штандартенфюрера. Именно он, а не эсэсовец Бергер владеет подлинной тайной, а следовательно, реальной решающей силой.

Зато штандартенфюрер, эмиссар Кальтенбруннера, хорошо знал, когда и как распорядиться этой силой, а он, армейский оберст, изощренный в технике инженер, — не знал. Пока совершенно не знал... Может быть, потому, что не обладал соответствующим характером, ибо известно, что сила подчиняется характеру. А не наоборот.

Бергер появился в полночь. Сначала во двор въехал штабной бронеавтомобиль, затем загремели гусеницы бронетранспортера охраны. Против обыкновения, штандартенфюрер не стал подниматься на второй этаж в кабинет, а прямо с лестничной клетки повернул направо, в гости к оберсту, очевидно заметив свет в его комнате.

Он был уже изрядно пьян и в правой руке двумя пальцами держал за горлышко пузатую бутылку своего неизменного «камю».

Вошедшему следом адъютанту-гауптштурмфюреру Бергер приказал подать в эту комнату дополнительный свет с аварийного щитка и отослал прочь.

Даже не сказав Крюгелю обычного «прозит»!, штандартенфюрер залпом выпил рюмку коньяку и в течение

нескольких минут молча, осоловело глядел в окно. Был он, очевидно, чем-то расстроен. Пробурчал глухо:

— Сидишь, как в клетке... Не люблю решетки. Убери!

Крюгель поднялся, отщелкнул внутренний засов раздвижной пластинчатой решетки. Со скрежетом сдавил ее, закрепил на оконном косяке.

— Может, распахнуть окно?

— Не надо. Там внизу часовой — ему будет слышно.

Ну ясно: опять следует ожидать «просветительные речи» о сущности германского духа, выражение которого в упоении властью, в «высшем достижении динамического космополитизма»... Унд зо вайтер... Крюгель уже знал, что в тридцатых годах Хельмут Бергер последовательно занимал должности гауштабсамтлейтера и гаулейтера Мюнхена, где и поднаторел основательно на многочисленных публичных выступлениях. Оберст даже всерьез подозревал, что Бергер репетирует перед ним свои давние полузабытые речи, каждый раз варьируя проблемные вопросы теории национал-социалистского движения. Судя по предыдущим вечерам, штандартенфюрер, надо отдать ему должное, неплохо в свое время проштудировал Шпенглера, Гаусгофера, Розенберга, а уж «Майн кампф» знал почти всю поцитатно.

Наполняя очередную рюмку, Бергер приметил на столе газету. Это была «Фолькишер беобахтер» за 30 мая 1943 года с нашумевшей статьей министра вооружений Шпеера (Крюгель вчера отыскал и выпросил эту газету в армейском отделе пропаганды). Статья посвящалась уже якобы созданному оружию возмездия.

Пьяно щурясь, штандартенфюрер вслух прочитал броский заголовок:

— «Когда придет время сводить счеты — все будет отомщено!» — Икнул, укоризненно погрозил пальцем Крюгелю: — Значит, надеешься, оберст? Будешь строить ракеты? А я не верю. Это все пустая болтовня. Никакие ракеты не помогут — только железный дух солдата решает войну. Только! А вот у тебя, Ганс, его и нет, этого железного духа. Не пугайся, это я по-дружески.

«С чего его сегодня так круто понесло? — обеспокоенно подумал Крюгель. — Теорию вдруг побоку и сразу — оскорбительные намеки. Видно, вечером где-то провалился со своей очередной «санитарной акцией». Фронтовики нынче обозлены и ожесточены».

— Не понимаю вас, штандартенфюрер...

— А тут и понимать нечего. — Бергер поднялся, закурил сигарету и подошел к окну, прислонившись лбом к холодной пластине свернутой решетки. Не оборачиваясь, спросил: — Почему ты, полковник вермахта, так и не вступил в НСДАП? Только честно.

— Я просто не считал себя достойным быть в ней... Ведь я одно время состоял в социал-демократической партии. А это, согласитесь, пятно?

— Ответ правильный, откровенный, — хмыкнул штандартенфюрер. — Особенно что касается быть достойным партии фюрера. Но помни, Ганс, не будучи моим партайгеноссе, ты обязан разделять идеи и взгляды НСДАП. Обязан, как полковник вермахта.

— Я их разделяю, штандартенфюрер!

— Черта с два. Мне доложили, что ты освободил сегодня от расстрела трех местных жителей и тем самым нарушил мой приказ. Это нечестная игра, оберст! Мы же договорились работать дружно, рука об руку?

— Но они были абсолютно невиновны! Они просто случайно подошли к объекту минирования и даже не пересекли запретной зоны. Я проверил.

— Это не твоя функция, оберст! Ты должен заниматься своими хлопушками и не совать нос в дела карательных органов. Неужели это не ясно? А впрочем, не в этом дело... — Штандартенфюрер вернулся к столу, наполнил доверху обе рюмки, миролюбиво подвинул одну из них Крюгелю. Усмехнулся с подчеркнутой снисходительностью. — Конечно, мы все сейчас издерганы до предела. Я это понимаю... Но скажу тебе честно, как фронтовик фронтовику, в том, что ты скис и потерял солдатскую жесткость, не только твоя, но и моя вина. Я не оказал на тебя должного укрепляющего влияния. Вернее, это влияние до сих пор было только односторонним, только в теоретическом плане. Убежден, что ты многое усвоил из наших предыдущих ночных бесед и еще не раз будешь благодарен мне за это... Но... — Штандартенфюрер вскочил со стула и, включив свой «стрессовый тормоз», бессмысленно таращa глаза на стену, повторил несколько раз: — Абер... абер... абер...

Крюгель интуитивно съежился, предчувствуя, что сейчас за этим многозначительным «абер» непременно последует не только очередная теоретическая тирада, но и... нечто изощренно-жалящее, неприятное и оскорбительное. Он достаточно хорошо знал штандартенфюрера Бергера,

чтобы понять и оценить злорадный блеск в его бесцветных глазах.

На этот раз Хельмут Бергер довольно кратко и популярно изложил теорию «типологии личности» геббельсовского любимца Эриха Иенша. Все просто: человечество состоит из двух психологических типов — «интегрированного» — собранного, волевого, целеустремленного и «дезинтегрированного» — хлипкого, неустойчивого фантазера и романтика, плода полярного смешения рас. «Дезинтегрированный» тип или «тип С» нуждается в особо активном воспитательном воздействии, в первую очередь — в закалке чувств.

И если первый тип — «истинный ариец», при неудачах мобилизуется, ожесточается, то второй «тип С» — падает духом, испытывая жалость и сострадание.

Жалость — на первый взгляд, безобидная, а на самом деле страшная и пагубная слабость. Тот, кто жалеет врага, предает своих.

Какая между всем этим связь и каков общий логический вывод? И есть ли он, этот вывод?

Безусловно, есть. Те трое русских, которых сегодня сострадательно отпустили с места секретного минирования, завтра будут непременно стрелять в немцев. Безжалостно и без промаха.

— Но это были женщины! — не выдержал Крюгель, ощущая на висках ручейки горячего пота.

— Они тоже умеют стрелять, — отрезал штандартенфюрер. — И я уверен: будут стрелять!

Бергер поставил коньяк и трезво, игриво взглянул на взбудораженного, притихшего оберста. Штандартенфюрер явно издевался над ним, щеголяя красноречием. Взгляд его говорил: потерпи, голубчик, это еще далеко не все!

— Ты не обижайся, мой дорогой Ганс, но в тебе определенно есть что-то от этого слабого «дезинтегрированного типа». Может быть, на тебя пагубно повлияло кратковременное пребывание среди большевиков, а может — какое-то давнее кровосмешение. Нет, нет! Ты не волнуйся, я этого не утверждаю. Это лишь в порядке слабой гипотезы. Я хочу сказать о главном: тебе необходимо помочь, и я обязан тебе помочь. Тебе крайне необходим эмоциональный тренинг для закалки чувств. Я это упустил раньше, но еще есть возможность все наверстать. С завтрашнего дня я буду тебя непременно приглашать на допросы в подвал, в наш так называемый операционный зал. Нет,

уж ты не отказывайся, потому что, сам видишь, я делаю это из добрых побуждений. Хотя айн момент! Зачем откладывать на завтра, когда начать можно сегодня? Прямо сейчас. Ты не возражаешь?

— Уже поздно, штандартенфюрер...— промямлил Крюгель, с ужасом наблюдая, как пьяные глаза Бергера наливаются дьявольским огнем.

— На войне бывает поздно только в одном случае: после смерти, — меланхолично заметил штандартенфюрер и крутнул ручку телефона. — Караульное? Говорит Бергер. Пришлите-ка в кабинет оберста Крюгеля кого-нибудь из нашего подвала. Разумеется, арестованного. Ну хотя бы из первой камеры того русского разведчика с разбитой губой. Переводчик у нас есть. Да, и пришлите, конечно, чемоданчик с инструментами. Это пусть захватит унтершарфюрер Буземан.

С внутренним содроганием Крюгель представил себе этот тренинг: белое от бешенства лицо штандартенфюрера, сдавленные стоны, кровь на полу и на стенах комнаты, в которой ему придется спать... Надо было найти мужество теперь, чтобы потом не потерять самого себя. Он встал, чопорно, по-офицерски дернул подбородком:

— Герр штандартенфюрер! Я прошу освободить меня от участия...

— Освободить?! — взревел Бергер, яростно раздувая ноздри. — А кто будет освобождать меня? Я тебя спрашиваю, полковник Крюгель. Кто? Или вы, армейские чистоплюи, думаете, что эта грязная работа — только наш удел? И что мы не люди, а звери, лишенные человеческих чувств? Нет, мы — железная основа нации, люди более, чем вы, хлюпики-интеллигенты, сопливые романтики. И советую запомнить, Крюгель: я — это не ты, я не способен освобождать никого! — Выплеснув ярость, штандартенфюрер сразу остыл, обычным ленивым движением опять потянулся за коньяком. Щелкнул зажигалкой. — Извини, Ганс. Но ты иногда говоришь непростительные глупости. И если ты расцениваешь предстоящую маленькую экзекуцию, как мое тебе наказание, то это тоже глупость. К твоему сведению, я обычно за невыполнение моих приказов, расстреливаю. Даже офицеров. Видишь, как тебе повезло? — Бергер потер виски, пожаловался: — Чертовски болит голова! Давай выпьем и немного развеемся. Клянусь дьяволом, уже после этой экзекуции ты впредь не выпустишь из своих рук ни одного русского! Прозит!

«Да... — устало и обреченно подумал Крюгель. — Вот теперь это будет самое настоящее блюттауфе — кровавое эсэсовское крещение... Что поделаешь, обстоятельства иногда бывают сильнее нас...»

Он даже не взглянул на вошедших, и когда поднял голову, то увидел справа от двери недовольно зевавшего эсэсовца. Впрочем, он был готов к «работе», судя по закатанным рукавам льняного мундира.

А русский его опять удивил, как и в тот первый раз, неделю назад: какая-то странная жгучая пристальность виделась в его прищуренных глазах. Держался с прежней независимостью, только, пожалуй, без той демонстративной вызывающей ненависти, которая тогда, помнится, словно бы обожгла Крюгеля. Надо полагать, подручные Бергера уже сбили ему спесь.

— Азиат-унтерменш! — презрительно скривился штандартенфюрер. — Но дьявольски вынослив: прекрасно выдержал два моих сеанса. Очень жаль, что время не позволяет использовать его по намеченному варианту. Я хотел на нем крупно сыграть. Скоро начнем очищать от них подвал.

Он взял чемоданчик из рук коренастого унтершарфюрера, показал на дверь: можешь идти спать.

Крюгель продолжал разглядывать пленного русского, с удивлением сознавая, что все время пытается сравнить его с кем-то из знакомых раньше. Разумеется, не из немцев — это был типично сибирский тип. Широкий нос, широкоскулое лицо, широко расставленные глаза — вся физиономия, будто приплюснутая сверху. В свое время он много встречал таких лиц в Черемше, да и, в конце концов, все русские чем-то похожи друг на друга.

Бергер подал оберсту блестящую стальную цепочку и сказал, точнее, приказал:

— Пристегни его к дверной ручке, а то он способен бросаться, как бульдог. Я это знаю. Кстати, спроси его, назовет ли он наконец свою фамилию? Хотя бы перед смертью.

Услышав ответ, Крюгель криво усмехнулся.

— Он матерится, штандартенфюрер.

— А что это такое?

— Это непереводимое, но очень грязное ругательство. С упоминанием бога, вашей матери и всех ваших родственников.

— Доннер веттер! — удивился Бергер. — А этот мерзавец, наш штатный переводчик, уверял меня, что это какое-то азиатское заклинание. Ну что ж, придется ответить на оскорбление этому паршивому недоноску.

Штандартенфюрер вынул из чемодана хлыст — стальной тросик, обвитый кожей, шагнул вперед, пошатываясь и прикидывая расстояние и... замер с поднятой рукой — во дворе, совсем рядом, грохнул выстрел.

Он успел обернуться к окну, вместе с дребезгом стекла в комнату вошла автоматная очередь — Хельмут Бергер, словно бы переломившись, медленно осел и упал к ногам пленного.

Погас свет, взрывы гранат во дворе вспыхивали частыми огненными языками, захлебываясь, трещали автоматы, на втором этаже из кабинета Бергера басовито и солидно застрочил пулемет.

Под окном что-то взорвалось, загорелось, комнату залил густой багровый свет. В отсветах пламени силуэт пленного был четко виден на фоне белой двери, пули секли штукатурку со стен, а русский стоял в рост, смотрел в окно, широко распахнув глаза. Крюгель, вспомнив про стальную цепочку, метнулся к двери, освободил руки пленного и крикнул ему в лицо:

— Ложись!

И тут же почувствовал ошеломляюще сильный удар в плечо. Падая, он решил, что это, наверное, русский разведчик толкнул его, однако, уже очутившись на полу, понял, что ранен.

Русский, стоя на четвереньках, торопливо вынимал пистолет из кобуры штандартенфюрера Бергера. Он улыбался, и странно, жутко было видеть его лицо, окровавленное, окрашенное зловещими багряными бликами, темный провал рта без единого зуба...

Крюгель машинально сунул руку за борт мундира, чувствуя липкую кровь и нащупывая в кармане вчетверо сложенную схему минирования, его личную рабочую схему, о которой не знал никто, даже Бергер. Это прикосновение будто встряхнуло, сразу отрезвило его. Он вдруг совершенно ясно понял, что между пленным русским разведчиком и секретной инженерной схемой все эти дни существовала невидимая, но очень прочная, почти всесильная связь, и к этой связи сам оберст Крюгель был только причастен, сам зависел от ее магически-необъяснимых фатальных проявлений.

Он должен был сейчас сделать то, что, может быть, помимо его воли, было предопределено судьбами тысяч людей с их жизнью и смертью, судьбами и законами войны. И даже, он это не исключал — велением самой справедливости.

— Слушай, солдат! Возьми! Это план минирования города. Уходи и доложи своему командованию. Пробирайся на Лысую гору. Иди направо по коридору, там, в тупике, дверь. Ключ от нее — на столе.

Пленный без удивления принял бумагу, быстро упрятал ее за пазуху. Потом склонился над Крюгелем, приподняв ему голову, вгляделся все тем же распахнутым взглядом, в котором горела колючая пристальность одержимого.

— Я узнал тебя... Еще тогда узнал! Ты наш. Верно, ты ведь наш?

— Нет, я не ваш, — резко сказал Крюгель. — Я немец. И делаю это только ради Германии. Беги!

У Крюгеля еще хватило сил выбраться в коридор и проползти там несколько метров — ему хотелось лично удостовериться, что пленный разведчик благополучно ушел.

Перестрелка стихла. Пахло порохом, на лестницах топали кованые каблуки, мелькали желтые пятна карманных фонарей. Кто-то истошно орал во дворе: «Оберст Крюгель!»

Оказалось, его разыскивал прыщавый унтершарфюрер, тот самый, что конвоировал ночью пленного русского разведчика.

— Буземан?

— Яволь, герр оберст! Вы живы? — обрадованно гаркнул эсэсовец. — Сущий ад, герр оберст: штандартенфюрер убит, за вами тоже шла охота.

Он приподнял Крюгеля, прислонил к стене, не проявляя, впрочем, особого участия. Дескать, ранение не серьезное, слава богу, легко отделались.

— Охота за мной? — удивился Крюгель.

— Так точно! Там, во дворе, уложена вся диверсионная команда этих ночных дьяволов. Среди них был один из наших — гауптшарфюрер. Они захватили его в качестве поводыря. Так вот он сообщил, что охота была организована именно на вас.

— Не может быть... — болезненно поморщился Крюгель. — Наверняка он путает, допросите его еще раз.

— О ля-ля! — присвистнул эсэсовец. — К сожалению, это невозможно, герр оберст. Он тоже уже мертв. А мертвых, как известно, допрашивают только архангелы. Потерпите еще минут пять, я побегу за санитарами.

...В окнах на уцелевших стеклах появилась тусклая желтизна, над цементным полом тянул сквозняк — начинался рассвет.

19

Генерал по собственному боевому опыту знал, что в долгой кровопролитной схватке самый трудный всегда — последний рывок. Тот рывок, когда до крайности напряжены физические и нравственные силы, когда кажется, что опасно перетянутой струной звенит само время. Когда до победы остается всего один шаг, но чтобы сделать его, нужно совершить сверхвозможное, по сравнению с которым все бывшие тяготы и страдания выглядят мелкими и отодвигаются на второй план.

В преддверии победы особенно остро хочется жить... Не просто победить, а уцелеть при этом, остаться живым. Хотя бы для того, чтобы самому почувствовать горькую сладость победы, чтобы встать потом во весь рост, полной грудью вдохнуть пропахший гарью воздух и сказать самому себе: «Я победил!»

Он знал, что живет сейчас этой вековечной солдатской думой не один. Десятки тысяч людей, беспредельно измотанных боями, которых вынесла огненная волна наступления к окраинам города — по огромной дуге от пологих роганских холмов, через Цвиркуны и Пятихатки, до укрытой в сосняках Куряжанки, — все они, молодые, и старые, солдаты и офицеры, пришедшие сюда от далеких родных мест, уцелевшие, милованные до сих пор фронтовой фортуной, думают об одном и том же: взять наконец город, чтобы живыми пройти по его улицам, раскаленным августовским солнцем.

А многие все-таки не пройдут...

Они останутся на журавлевском крутояре, среди бетонных развалин авиационного завода, в дергачовских оврагах и на песчаных откосах Залютина. Упадут, срезанные на бегу, так и не успев пожалеть о несбывшейся последней мечте. Город встретит свое освобождение ценой их жизни, но встретит без них...

Оперативная карта с нанесенными на ней последними данными предельно четко рисовала замысел командую-

щего фронтом: сдавливающая подкова армий Манагарова, Шумилова, Крюченкина, Гагена. Манагаровцы, наносящие главный удар посредством обходного маневра с запада, уже очистили за несколько кровопролитных суток лесной массив, вплотную вышли к городским окраинам.

Теперь последний гвоздь в подкову должны забить его танкисты: ударом на Люботин, Коротич перерезать основную коммуникацию, питающую немецкий гарнизон — железную дорогу Харьков — Полтава. Тогда для немцев остается только «бутылочное горлышко» — дорога на Мерефу и Красноград, единственный путь отхода. Именно на этом пути (не в городе, а в поле!) будут и добивать отходящие фашистские дивизии.

А у него осталось всего сто шестьдесят танков... Да и среди них нет ни одного, не имеющего «боевых поражений».

Вспомнился канун Прохоровки, когда из кабины самолета он с гордостью оглядывал бесконечные танковые колонны, блестевшие свежей заводской краской. Их арьергарды терялись в пыли, уходили за горизонт.

Он думал о безжалостной науке войны, которая учит кровью и смертью, не прощает ошибок и не терпит теоретизированного верхоглядства. И особенно не терпит малейшего, даже однодневного отставания, предъявляя немедленно и сполна свой страшный непогрешимый счет.

Эта наука рождается войной, ею проверяется и обогащается. Интенсивность ее не сравнима ни с чем другим, ибо нигде так лихорадочно не изощрена человеческая мысль в поисках правильного решения, как именно и только в бою. Ведь речь идет о жизни и смерти.

Масштабность мышления, синтез уроков и прочная база боевого опыта — вот ее тернистый путь, уходящий в завтрашний день. А пишется она повседневно и ежечасно, пишется победами и поражениями, сожженными городами, остовами подбитых танков, орудийными залпами и солдатскими атаками, перечеркнутыми пулеметными трассами.

Генерал усмехнулся, подумав, что может со временем эти написанные войной строки лягут на бумагу под его пером. Может быть, если фронтовая судьба будет благожелательна к нему, если он останется жить...

А пока лишь карта — фиксируемое вместилище поисков, озарений, противоречивых выкладок, переменчиво-

го счастья фронтовых удач. Он уважал карту, но не очень ей доверял. «Карта — местность (рекогносцировка) — снова карта» — в этом был стиль выработки его командирского решения.

Уже сейчас карта (на первом этапе триады) его настораживала: завтрашнее форсирование реки Уды виделось задачей крайне рискованной. Широкая заболоченная пойма — в километр-полтора — и господствующие на противоположном берегу высоты, почти не оставляли танкам шансов на успех.

Он это понял раньше, еще на фронтовом КП, когда получал задачу от командующего: нужна пехота для предварительного захвата плацдармов на том берегу.

А пехоты у него не было...

Просить у комфронта — безнадежное дело, он это понимал. Слишком критическое время, когда стрелковые дивизии обескровлены, у них, идущих на штурм города, на строжайшем учете каждая рота.

К тому же он сам полгода назад предлагал Сталину в целях мобильности исключить из состава танкового объединения чисто стрелковые подразделения. И ему уже делали намеки на этот счет.

Что ж, его рейд на Золочев, а Катукова — на Богодухов подтвердили правоту танковых командиров. Хотя здесь, под Гавриловкой, обстановка складывается совсем по-иному.

Да, война не любит и не терпит шаблона. К тому же она слишком щедра на исключения из правил. Даже твердых правил.

А пехоты у него все-таки нет...

Он вспомнил, с какой дотошностью его штабные командиры очищали в эти дни тыловые и хозяйственные службы, чтобы укомплектовать полноценную роту охраны. Улыбнулся: даже комфронта напоролся на этих гренадеров-охранников. Два дня назад в ста метрах от танкового КП машину командующего остановил сторожевой пост. Офицер-адъютант внушительно предупредил: «Едет командующий фронтом».

— Ну дак что же, — спокойно сказал пожилой усатый охранник. — Мне все равно доку́мент нужон.

И не пропустил, пока не посмотрел этот самый «доку́мент». Прибыв на КП, командующий долго ворчал (понаставили тут каких-то кержаков медвежатников!),

однако в заключение приказал объявить постовому благодарность за проявленную бдительность.

Этим бдительным постовым оказался старый знакомый из аэродромного БАО, усатый пожилой ефрейтор, с которым генерал полтора месяца назад еще под Острогожском косил траву на взлетном поле.

Дядька невозмутимо и солидно жмурился, когда с ним беседовали генералы, изредка трогая ногтем прокуренный ус. Был он неестественно длиннорук, а от его крупной жилистой фигуры, громадных задубело-черных кулаков исходила спокойная сила, какое-то очень домашнее неколебимое благодушие.

— Пахарь войны,— сказал про него комфронта.—Этот и до Берлина дойдет.

Не дошел... Теперь уже не дойдет — сегодня утром погиб тут, на сосновой опушке, в перестрелке с блудившей по лесу случайной группой немцев.

Адъютант капитан Потанин долго потом сокрушался:

— Эх непутевый старик... Сам на свою смерть напоролся. Я ж его полдня уговаривал к вам ординарцем пойти. Варил бы сейчас генеральский чай и махру покуривал. Так нет, куда там! Я, говорит, охотничьего складу человек. Мне, дескать, с ружьем сподручнее, чем с чайником.

Смерть старого сибиряка опечалила генерала, больно задела сердце. Он знал в лицо сотни людей, встречая их на причудливых трагических дорогах войны, и еще знал, что лишь немногие из них прочно фиксируются в памяти. Остаются и долго помнятся только те, с чьим обликом и именем связаны необычайно яркие события или острые, встряхивающие душу переживания. Генерал лишь сейчас понял, что этот большеносый сутулый солдат с его крестьянскими руками, далеко торчащими из обшлагов гимнастерки, стоял от всех особняком — словно в изначалье этого третьего лета войны, кровопролитного, тягостного трудом и потерями, но победного, ведущего к будущим, еще более крупным победам. Он стоял таким, каким запомнился: в розовом утреннем свете, с литовкой на спелом июльском лугу...

И еще генерал понял, что усатый дядька-сибиряк, очевидно, виделся таким и адъютанту Потанину: не зря же он пытался приблизить его, соблазнить ординарской должностью (между прочим, даже не спросив генеральского согласия!).

А жива ли его землячка-летчица, глазастая и язвительная бабенка в офицерских бриджах? Нашла ли она того, кого искала, который «больше, чем муж»?

И тут генерал вспомнил — в который раз за этот месяц! — белобрысого мальчишку-лейтенанта, так явственно, до боли отчетливо напоминавшего родного сына. Но увидел вдруг не июльское жаркое раздолье, а зимнюю околицу большого села. Это было в начале года: по разрешению Ставки он прилетел на По-2 в глухой уголок Заволжья, куда еще в начале войны эвакуировалась его семья. Дочь с трудом узнала его, а он с трудом узнавал сына: тонкошеего вихрастого паренька...

Как ни странно, он со скрытым внутренним удовлетворением воспринял недавно доклад о безрезультатности поисков исчезнувшей в конце июля под Золочевом разведгруппы Белого. Лейтенант пропал без вести — это было лучше, чем если бы он узнал правду о его гибели. Такая формулировка оставляла надежду.

И потом он привык верить в разведчиков. Они из тех, кого более других щадит война. Они часто пропадают, чтобы воскреснуть.

Он любил разведчиков — золотые крупинки человеческих душ, которые безжалостно просеивает война. Может быть, потому, что сам когда-то начинал армейскую службу в конной разведке. Любил лично инструктировать разведгруппы, отправляющиеся за передовую, а потом по возвращении слушать их доклады, вглядываясь в опаленные смертью открытые лица, в глаза, где еще не угас огонек душевного боевого взвода, за которым, слитые воедино, смелость и осторожность, бесшабашность и хитрость.

Те две разведгруппы, что нынче ночью ушли к Старому Люботину, уже сообщили неутешительные данные: у немцев вдоль всего берега сильная противотанковая оборона. И довольно крупные танковые резервы в глубине.

Но Люботин должен быть взят...

И он будет взят. Весь вопрос в том, какой ценой?

Генерал смотрел на карту и сквозь зеленые разводья видел уже знакомую, тихую и неширокую речку с топкими берегами, густо заросшими камышом, осокой, и чем дальше вглядывался, тем крупнее и ярче виделась ему речная пойма, некруто петляющее русло, дальние косогоры, уже пожелтевшие от летнего зноя. Потом он увидел все

это как бы сверху, с высоты птичьего полета, увидел ряды танков, выходящих с рубежа побригадного развертывания, черные грязные колеи, прочертившие болото, и разрывы снарядов — сначала редкие, разбросанные и вот уже сплошной стеной встающие вдоль всего берега. Увидел вязнущие танки: то тут, то там чадили смоляные дымы прямых попаданий.

Вот уже десяток их на другом берегу, они опять вязнут в трясине, они утратили скорость и горят один за другим — до командных высот, с которых бьют немецкие орудия, еще далеко...

Он устало потер лоб, записал в рабочий блокнот: «Выяснить, жива ли летчица?» Подумав, добавил ниже: «Пехота!!»

Всегда трудно и логически необъяснимо шел он к своему решению. Соотношение сил и реальная обстановка были лишь общим фоном, на который накладывалось очень многое и разнообразное: от утренней кружки колодезной воды, мельком вспомнившегося лица друга комбрига, погибшего под Верхне-Чирской, до запахов вечерних солдатских костров и сыновнего письма на школьном тетрадном листе в косую линейку.

Он не боялся отвлечься, наоборот — стремился к этому, хорошо понимая, что командирская интуиция не лежит на поверхности, а питается потаенными, артезианской глубины ассоциациями, она рождается из сочетания всего окружающего, из прошлого и настоящего, точно так же, как появляется к свету росток травы, благодаря не только земле и солнцу, а еще тысячам больших и малых благоприятных обстоятельств.

«Малой кровью» — это было его заветным девизом, все остальное подчинялось.

Впереди еще состоится вечерняя рекогносцировка на местности, но уже сейчас он твердо знал: она тоже ничего не решит.

Где-то в глубине души он отчетливо понимал, что его командирское решение — это решение сотен солдатских судеб, которое заранее сурово определяло: кому жить, кому — умереть. Именно поэтому он не имел права ошибаться, а не только и не столько из-за своего генеральского престижа.

И если надо будет, если потребует совесть, он пойдет на все: на уязвленное самолюбие, даже на унижение, но настоит на своем.

Кажется, без пехоты наступать нельзя.

Впрочем, он еще не уверен...

Вошел адъютант. Тихо притворил дверь, выжидательно склонил голову. Он был хорошо вышколен и знал, что в такие моменты хозяина безнаказанно беспокоить нельзя. И все-таки вошел — значит, случилось что-то серьезное.

— Что тебе? — Генерал сердито обернулся.

— Товарищ генерал, немцы начинают взрывать город.

— Откуда сведения?

— Так слышно же. Я лично насчитал пять крупных взрывов. За полчаса.

Генерал шагнул к блиндажной двери, прислушался: ничего, кроме обычной канонады далекого боя.

— Может, почудилось тебе?

— Никак нет! Да и от Манагарова звонили. Там визуально наблюдают. Взрывы идут в районе Основы и в центре.

— Так бы и доложил. А то «я — лично»...

Была у адъютанта такая страстишка: не упускал случая, чтобы где-то и в чем-то не подчеркнуть свою личную причастность. Генерал уже не раз подумывал: не отпустить ли парня в строевую часть, помаленьку портится он тут под боком высокого начальства. Тем более сам просится.

В это время явственно донесся мощный и раскатистый гул взрыва: будто рванули вагон с боеприпасами. Шелест пошел по вершинам сосен.

Генерал шагнул за порог блиндажа, сощурился от яркого солнца. Чувствуя волнение, подумал: вот он, наверное, самый веский аргумент для принятия решения. Опять все та же дилемма: жизнь города — жизни солдат. Как две чаши беспощадных весов...

Искрился, жарко горел на солнце песок на изрытой гусеницами сосновой опушке. На тенистом пригорке, у кустов боярышника, свежий холмик, закиданный сосновыми ветками. И фанерный, наспех сколоченный обелиск с некрашеной, тоже фанерной, звездой — там утром похоронили четырех солдат из роты охраны, убитых в перестрелке.

— Краски не нашлось, — извиняющимся тоном пояснил Потанин. — Я уже послал в автобат за краской. А табличку сделали, как вы сказали.

Генерал опять вспомнил солдата-сибиряка, его литовку с крепко, на клинья посаженной пяткой.

— Троеглазов, кажется?..

— Так точно, Троеглазов Устин Карпович, девяносто первого года рождения.

— Мир праху солдата...

По дороге, в ложбине между холмами, пылил бронетранспортер. Нырнул за лесопосадку и, грохоча гусеницами, выскочил перед самым КП. Остановился резко, сразу пропал в желтом облаке догнавшей его пыли.

К генералу спешил чем-то взволнованный начальник разведки полковник Беломесяц. Козырнул, потом сдернул каску с головы, мокрой от жары:

— Товарищ генерал! Отыскался... Вот он.

Генерал сначала ничего не понял: следом за полковником устало плелся человек в немецкой солдатской куртке без погон: пленный, что ли? Он на ходу сдернул пилотку, и генерал радостно замер, увидав знакомую белобрысую голову: лейтенант Белый!

С отцовской нежностью прикоснулся к распухшей, сплошь посиневшей щеке, с трудом узнавая дерзкого мальчишку в этом изможденном постаревшем человеке.

— Где же так тебя разделали, шалопут ты мой?

— Было дело, товарищ генерал...

Резко повернувшись, генерал быстро пошел на ближний пригорок, откуда открывалась задымленная панорама гигантского боя.

Теперь он твердо знал, какое примет завтра решение.

20

— Двигай вперед, сталинградец! — сказал Вахромееву комдив. — Бери несколько штурмовых групп, просачивайся через боевые порядки дивизии и — напролом к центру города. Чтобы к утру был на площади Дзержинского. И красный флаг на Госпроме — само собой. Уяснил задачу?

— Так точно!

— Ну, а опыт уличных боев у тебя есть, в том числе и ночных. Главное — докладывай по рубежам. Вышел туда-то в такое-то время. Ежели понадобится, то огоньку подбросим — это мы можем. Небось не забыл еще высоту 207? Очухался?

— До сих пор звенит в ушах, — усмехнулся Вахромеев. — Особенно по утрам.

— Да... Круто вам тогда пришлось! Честно сказать, за ту высоту тебе бы орден положено. Но сам виноват: оконфузился ты накануне, порастерял ночью людей в лесу. Так что будем считать: сам ты и компенсировал свое взыскание. Уж я тебе собирался врезать на всю железку.

— Я за орденом не гонюсь, — сдержанно сказал Вахромеев. — Воюю как умею. Как могу.

— Но-но, не ерепенься! — благодушно пробурчал полковник. — Уж больно вы занозисты, сибиряки. Никакой критики не выносите. Ты мне вот что скажи, комбат: как насчет своего замполита смотришь? Мужик он боевой, каленый, и, честно говоря, в том ночном ералаше он фактически тебе полбатальона спас. Политотдел настаивает на его переводе с повышением. Ты как?

— Ну ежели командование считает...

— Да погоди ты! Командование, командование... Он сам-то не хочет, вот какое дело. «Пока, — говорит, — город не возьмем, не трогайте меня от Вахромеева». А ты, получается, с ходу готов его с рук сбыть.

— Ну что вы, товарищ полковник! Вы не так меня поняли. Я, конечно, ценю и люблю Тагиева, это ж какой офицер! Комиссарская душа! Правильно он говорит: вместе будем брать город. Пускай идет моим заместителем и командиром одной из штурмовых групп.

— Это другой разговор! Так и затвердим, — довольно сказал комдив. — Считай, что это мой приказ.

Разговаривали они накоротке, прямо на дороге. Вахромеев спешил на дивизионный КП по вызову, да не поспел — встретил тут знакомую полковничью полуторку: полковник всегда ездил только на полуторке с отделением автоматчиков в кузове.

Уже шагнув к кабине и взявшись за дверную ручку, комдив язвительно прищурился:

— Слушай, Вахромеев, а что это ты на наш узел связи повадился? Раньше тебя сюда и арканом не затянешь, а теперь сам бегаешь. Вчера я тебя видел, нынче утром тоже. На моих телефонисток, что ли, пикируешь? Ты гляди у меня.

— Да нет, товарищ полковник... — смутился Вахромеев. — Это я звонить прихожу, на фронтовые тылы надо выйти. Друга разыскиваю.

— Врешь, врешь, комбат! — Полковник ухмыльнулся, погрозил пальцем. — По глазам вижу — виляешь! Ну а кроме того, мне ведь доложили, что друга твоего зовут Ефросиньей.

— Ну зовут, так что же?..

— Вот опять надулся! — рассмеялся комдив. — Ну нельзя так, Вахромеев! Ты же матерый мужик, а обидчивый, как студентка, которую неловко пощекотали. Давай-ка по-деловому: оставляй мне координаты твоего друга, а я дам задание — разыщут.

— Нет координат...

— Ну давай что есть! Все равно найдем.

Под вечер Вахромеев вывел свою командирскую группу на рекогносцировку. Они лежали в картофельной ботве на самом гребне склона и пристально, молча разглядывали город — беспорядочное нагромождение развалин, затянутое предвечерней черно-синей дымкой...

Вахромееву приходилось видеть обуглившиеся руины Сталинграда, улицы-кладбища Воронежа, на которых не было ни одного целого дома; известковую пыль над бесконечными грудами кирпича в Белгороде... Лежащий внизу город был всем им сродни своей трагической судьбой. А впереди еще была ночь решающего штурма, ночь пожаров и грохота, минных взрывов и сплошной артиллерийской канонады...

Город и сейчас рушился на глазах. Рвались снаряды средь переплетения кварталов, ухали то тут, то там тяжелые мины, грозно пучились, набухали в безветрии, дымы многих пожаров, и дым от них медленно накапливался в низине, над рекой, и почти сплошь — над железнодорожными путями внизу, под горой.

Даже в бинокль нигде не видно людей. Это казалось странным и жутким — будто огромное живое существо, истерзанное, распластанное, истоптанное, город медленно умирал, будоража окрестности предсмертной утробной тряской...

Прямо напротив, на холме, на одной высоте с ними, печально и строго возвышались серые кубические здания, немногое из того, что можно было назвать уцелевшим. На них густо падал багровый отблеск заката, и от этого бетонные небоскребы казались языками пламени над гигантским набухающим костром города.

Это было совсем недалеко: километров пять по прямой. Но путь к ажурным, будто парящим в воздухе зданиям не

измерялся ни километрами, ни даже временем. У него был только один отсчет: солдатские жизни.

Вахромеев вдруг подумал, что вся предшествующая его жизнь была незримо, но накрепко связана с этим изрытым картофельным огородом и этими странными домами-башнями, окрашенными в зловеще-торжественный цвет. Он шел к ним от самой Черемшы, уже тогда услыхав от ершистого хохла Павла Слетко заманчиво-звучное слово «Госпром». Уже тогда эта веха кем-то и почему-то была поставлена на его пути.

И все эти годы, сам того не сознавая, через бои и лишения, теряя друзей и товарищей, он шел к заветной вехе, потому что она определялась самой его судьбой, потому что за ней и в ней заключался смысл жизни, смысл и суть того великого общего дела, которое они вершили в таежной глухомани вместе с Павлом и черноглазыми девчатами-харьковчанками. За всем этим стояло то незыблемое и святое, что называется в просторечье человеческим долгом.

Он пришел сюда за тем же, за чем пришли в тридцать шестом в алтайскую Черемшу харьковчане: чтобы помочь...

И еще он понимал, что эти несколько километров через ночные взрывы, через горящие кварталы к вершине покатого холма, к плоским крышам бетонных зданий — это отчаянный прыжок через последнюю, но самую опасную преграду на долгом маятном пути к Ефросинье. Если он совершит его и останется живой — там, за этими домами, похожими на горные скалы, после них, непременно будет встреча. Долгожданная встреча с ней.

И Вахромеев, и командиры штурмовых групп, каждый по-своему прикидывал, измерял сейчас этот последний путь-бросок. И откровенно говоря, все они жадно вглядывались в зачерненные городские кварталы не столько для того, чтобы рассчитать маршрут, распределение сил и этапы ночного боя (они отлично знали, что такое ночной бой, когда все предварительные планы в минуту могут лететь к чертям!), сколько привыкнуть к адовой свистопляске, творящейся внизу, в черте города, почувствовать ее близость, чтобы потом испытать уверенное облегчение, подобно пловцу, опускающему палец в воду перед нырком.

Вахромеев смотрел на город и вспоминал недавний неудачный бой в лесу. Сколько он не прошел до этого

фронтовых дорог, в какие атаки не поднимал людей, а по-настоящему командир в нем начал рождаться только в то похмельное горькое утро, когда он вывел потрепанные остатки своих рот на утреннюю опушку, на памятную высоту 207!..

С кержацкой сотней ему было просто: он всех их знал, как облупленных, еще по довоенной Черемше, по хозяйским и семейным делам, знал, как надежных мужиков-охотников, которые привыкли к оружию, крови и имели решающее солдатское качество — чувство собственного достоинства. На волжских откосах, под Тракторным, они сидели прочно и намертво, как гвозди, забитые в кедровую плаху.

И когда под Белгородом война окончательно растрясла его роту, повыбила степенно-неустрашимых кержаков-черемшанцев, а вместо них пришел необстрелянный разношерстный народ, Вахромеев ощутил свою командирскую слабость. Не сразу, но постепенно стал понимать, что командиром, похожим на артельного вожака, каким он был до этого, больше быть нельзя, не позволяла война. Да и не разрешала совесть.

Лейтенантом-запасником привел он свою стрелковую роту под Сталинград, и теперь капитаном-комбатом должен был штурмовать центр Харькова, командиром подвижного отряда, в который входили и саперы, и бронебойщики, и огнеметчики, и даже артиллеристы-сорокапятчики во главе с повелительно-властным лейтенантом Борей.

Замполит Гарун Тагиев еще с Выселок настырно и постоянно твердил ему о командирском стиле, без которого, дескать, командира нет и не может быть. Черт его знает, что он в действительности хотел сказать, во всяком случае, постыдная неудача в ночном лесу имела к этому самое прямое отношение. Вахромеев понимал.

Роты потеряли тогда локтевую связь... Но ведь и сам Тагиев тоже потерялся в бою на просеке, его даже посчитали погибшим. Однако он с остатками двух рот совершил-таки дерзкий ночной налет на немецкий полковой штаб и привел нескольких пленных офицеров.

Вот тебе и командирский стиль: где умному упрек, дураку — наука. Правду сказал командир дивизии: «Воевать надо так, чтобы врага не щадить, а себя не жалеть». Пожалеешь, дескать, самую малость — потеряешь все.

Да разве в этом дело?..

Вот все они через несколько часов, очертя голову, нырнут с горы в этот огненный омут, и среди них не будет ни одного, кто станет жалеть себя или даже думать об этом, и уж в первую очередь такая мысль не придет в голову самому капитану Вахромееву.

Там будут решать их судьбы, решать общий исход многие неведомые силы, десятки случайных обстоятельств, непредсказуемых неожиданностей, но среди кажущегося хаоса будут связующие все прочные нити, которые должны сходиться в один командирский узел. И если он в ночной неразберихе и сумятице сумеет удержать его в своих руках, сводный отряд обязательно пробьется к цели. Вот что самое главное...

А утром он спросит у Тагиева, обязательно спросит: что такое командирский стиль?

Конечно, это просто кратчайший путь к победе...

— Смотри сюда, командир! — Капитан Тагиев легонько толкнул в бок Вахромеева. — Видишь берег Лопани? Видишь вкопанные танки у моста слева и справа?

— Вижу.

— А пулеметные гнезда на откосе видишь?

— Вижу. И батарею минометную в парке угадываю. А правее, очевидно, зенитчики.

— Хороший у тебя глаз! — сказал Тагиев. — А вообще, этот бросок как раз для тебя. Ты ведь любишь идти лихо, напролом. Поставишь меня на авангард?

Вахромеев понял намек хитрого кавказца: дескать, гибкости тебе недостает, а вот ежели поставишь мою штурмовую группу впереди, я все сглажу, выправлю.

— Нет, — сказал Вахромеев. — В авангарде ты, Гарун, не пойдешь.

— Зачем обижаешь, командир? — Замполит повернулся на бок, обиженно нахмурился. — Я от тебя скоро ухожу, ты слыхал? Почему на прощание не уважишь?

— Перекатами пойдем, Гарун. Понял? В авангарде все побывают попеременно. И твоя группа тоже.

Именно так они в Сталинграде очищали улицы. Одна группа связывает противника боем, другая соседними дворами пробивается ему в тыл, третья уходит на очередной рубеж.

Правда, здесь несколько иная задача, хоть и похожая внешне: не очищать улицы и даже по возможности не

ввязываться в бой, а пробиться через огневые заслоны врага.

Ну что ж, придется сделать корректировку, а в основном тактика приемлемая.

— Правильное решение, командир! — после паузы веско сказал Тагиев. — Умное. А все-таки после Лопани пусти меня первым, а? Я ведь, понимаешь ли, тут в Харькове университет кончал до войны. Мне как бы по долгу положено идти первым. Так пустишь вперед, командир?

— Ладно, посмотрим по обстановке, — нехотя буркнул Вахромеев, уже сейчас испытывая беспокойство: как бы норовистый, горячий Тагиев не наломал дров, оторвавшись в азарте от основных сил. Придется придерживать его, да и не только его, остальных тоже.

Город — это не лес, и тут отрыв от своих может обойтись всему отряду значительно дороже, чем это было неделю назад в ночном сосняке.

Вахромеев привстал и сказал громко, почти крикнул, обращаясь ко всем командирам групп:

— Предупреждаю: в стороны не рыскать! Если кто попытается оторваться, сразу отстраню от командования. — И уже тихо, но тоже жестко сказал Тагиеву: — А ты займись-ка еще раз составом штурмовых групп! Чтоб везде на главных местах были поставлены обстрелянные солдаты, коммунисты.

Очень жалел потом Вахромеев, что сказал это жестко, пожалуй, даже грубовато своему замполиту Гаруну Тагиеву, человеку распахнутой души, в которого верил беспредельно и которого искренне любил. А может быть, наоборот — жалел о том, что сказал недостаточно резко... Вахромеев думал об этом уже ночью, когда после ожесточенного двухчасового боя его подвижной отряд, потеряв всю противотанковую батарею, пробился наконец к Лопани и под огнем вброд форсировал речку.

Над городом полыхало зарево, а впереди, вверху на холме, уже виднелись близкие каменные глыбы Госпрома, будто стены неприступной древней крепости. Именно здесь, на прибрежной кривой улице, штурмовая группа капитана Тагиева, которая первой форсировала Лопань, напоролась на крупную немецкую засаду... Может быть, им не следовало сразу ввязываться в активный бой, а подождать подхода основных сил, подержать кратковременную оборону. Кроме того, они, наверно, могли бы

взять правее и вообще обойти огневую ловушку врага. Может быть...

Но тогда фашисты нанесли бы неожиданный удар во фланг всему переправившемуся отряду и как знать, не опрокинули бы его обратно в реку...

Бой произошел яростный, скоротечный. Уже через пятнадцать минут немцы отошли в сторону Алексеевки, оставив три горящих танка. Штурмовая группа Тагиева полегла почти вся. Выручили немногих, в том числе вынесли на плащ-палатке смертельно раненного замполита: грудь его была перехлестнута автоматной очередью.

Он жил еще около часа, до того момента, когда бойцы вслед за последней атакой вынесли его на гранитную брусчатку площади Дзержинского.

Вахромеев сидел рядом, держал его холодеющую руку и думал о том, что за короткий фронтовой месяц очень многому научился у этого человека... Капитан Тагиев был из тех редких людей, которые идут по жизни, имея всюду свой почерк, живут своим ярким своеобразием и требуют обязательного своеобразия у других. Наверно, в этом Гарун ошибался — оригинальность дана лишь немногим. Но насчет командирского стиля был прав: настоящий командир просто немыслим без собственного почерка.

Замполит уже не мог говорить, молча смотрел на крышу здания: там, на фоне серого рассветного неба, маячили фигурки солдат, а еще выше, на уступе, уже четко краснело полотнище победного флага.

Чуть слышно сжав пальцы, Тагиев глазами вопросительно показал в сторону Холодной горы. Вахромеев понял вопрос: доложили ли в штаб?

— Доложил, доложил, Гарун! Не беспокойся.

Он не стал его тревожить, не стал говорить правду. Доложить о победе было нельзя, рация давно разбита, а оба радиста погибли еще на Лопани. Да и не столь это важно сейчас: оттуда и так все видят.

Над площадью еще стоял сплошной гул огневого боя. Стреляли средь задымленных этажей подорванного, торчащего гигантской спичечной коробкой соседнего Госплана, рвались гранаты у обвалившихся стен гостиницы «Интернационал», ухали немецкие минометы из кустарников Ботанического сада, и с разных концов врывались на площадь штурмовые группы других дивизий и полков.

И вдруг все это начисто заглушил грохот мотора: откуда-то со стороны Сумской выскочил «кукурузник», темным вихрем мелькнул над площадью и с креном, в развороте, ушел в сторону Павлова поля. Через несколько минут самолетик снова появился над площадью, прошел низко, будто примериваясь, и бросил вымпел — длинная красная лента зазмеилась в воздухе, медленно опускаясь прямо на груду развороченного взрывом асфальта.

Первым к вымпелу подоспел сержант Савушкин. Выскочил из подъезда, на бегу перемахнул через снарядную воронку и опасливо помедлил, прежде чем взять в руки брезентовый мешочек. Разглядедся, вынул оттуда пакет и бегом бросился к капитану Вахромееву.

Это был приказ из штаба: «Комбату Вахромееву немедленно направить отряд в сторону Южного вокзала».

Егор Савушкин, которому Вахромеев отдал разорванный пакет, вдруг радостно завопил, выхватив из кобуры ракетницу, принялся ошалело палить в воздух.

Вахромеев рассерженно повернулся, но отпрянул, когда Савушкин, что-то крича, сунул ему под нос белый плотный конверт:

— Читай, Фомич! Да читай же, едрит твою корень!

На обратной стороне конверта, наспех нацарапанные, плясали крупные буквы: «Коля, я нашла тебя, здравствуй».

Вахромеев растерянно смотрел в голубеющее небо, туда, где только что исчез, растворился шумливый зеленый самолетик. Не то от бессонной ночи, не то от порохового дыма мягко и сладко слезились глаза...

Над площадью вставало знойное утро 23 августа — семьсот девяносто второго дня войны.

Город встречал его свободным.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Владимир Николаевич Петров

ЕДИНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Роман

Редактор *С. П. Бенке*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Художник *О. П. Шамро*
Технический редактор *А. П. Бабина*
Корректор *К. В. Смирнова*

ИБ № 1720

Сдано в набор 21.03.80. Подписано в печать 27.11.80.
Г-32899. Формат 84×108/32. Бумага № 2. Обык. нов. гарн.
Высокая печать. Печ. л. 13¾. Усл. печ. л. 23,15. Уч.-изд. л. 24,88. Тираж 65 000 экз.
Изд № 4/6611. Цена 1 р. 80 к. Зак. 351.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 1 р. 80 к.

ВИ


В. Петров
Единая параллель